

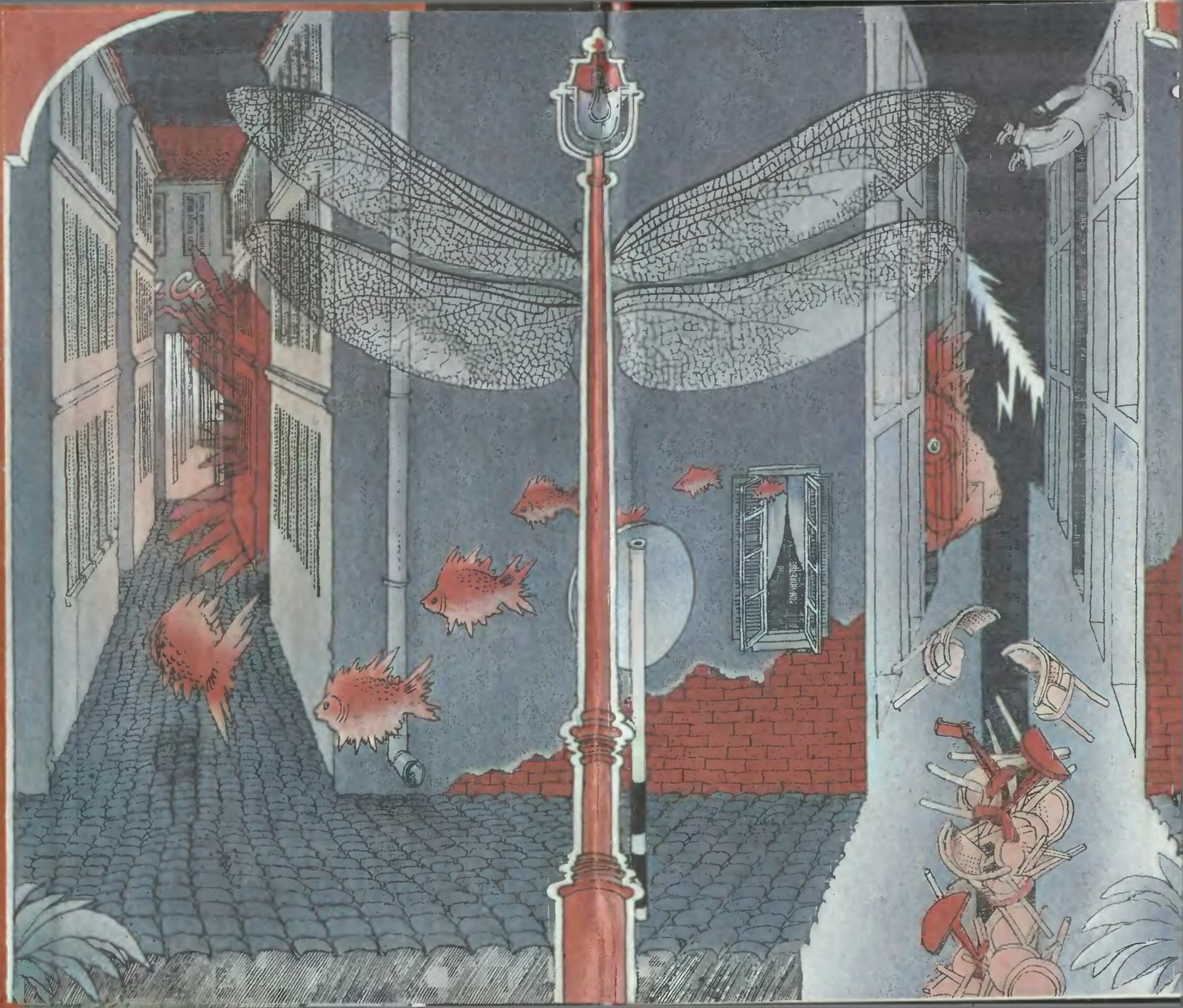
французская
фантастическая проза

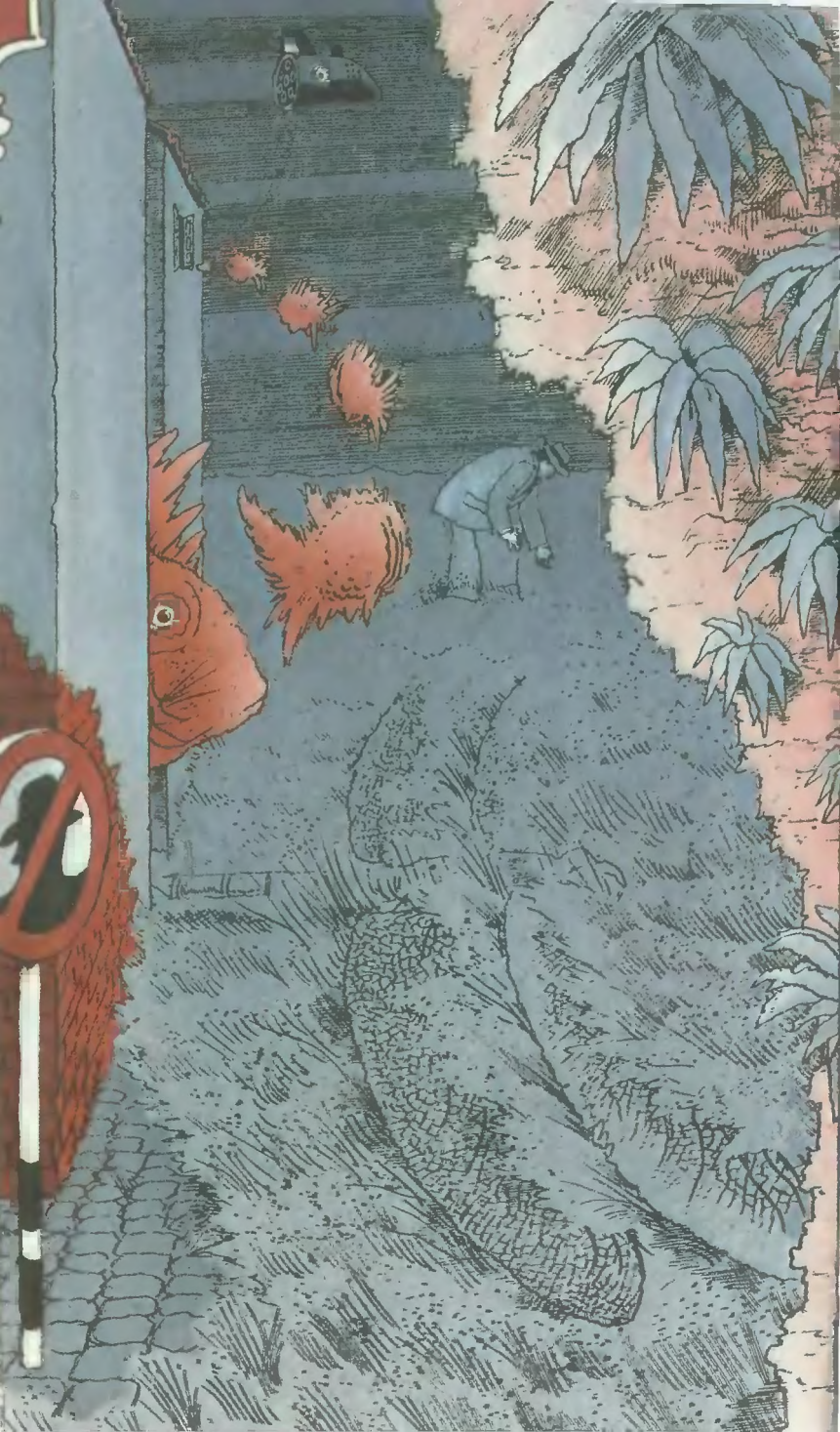
БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ

Французская фантастическая проза

23







Бібліотека фантастики в 24 томах

БІБЛІОТЕКА
ФАНАСТИКИ
23

Редакционная
коллегия:

А. П. Казанцев
(председатель)

Д. А. Жуков

В. П. Карцев

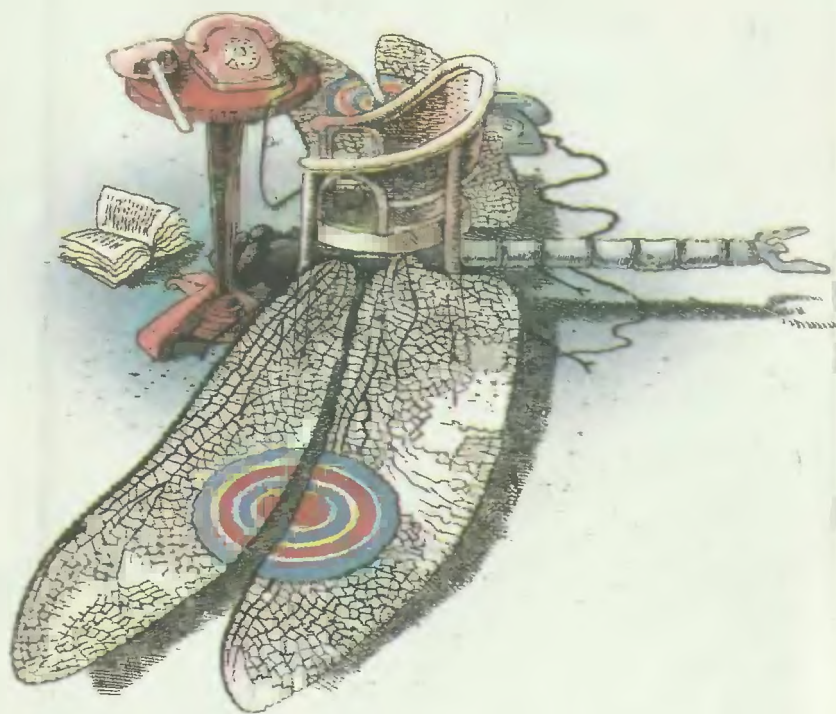
А. П. Кешоков

А. П. Кулешов

А. А. Леонов

Е. И. Парнов

В. Д. Петров



Французская фантастическая проза

Москва «Мир» 1987

ББК 84.4Фр
Ф 83

Составитель А. М. Григорьев
Предисловие А. М. Горбунова

Ф83 **Французская фантастическая про-**
за: Пер. с фр./Сост. А. М. Григорьев;
Предисл. А. М. Горбунова.—М.: Мир, 1987.—495 с.: ил.—
(Б-ка фантаст.: В 24 т.: Т. 23)

В настоящий том включены произведения крупнейших французских писателей-фантастов (Ж. Рони-старший, Ф. Карсак, П. Буль, Ж. Клейн, М. Демют), а также известных прозаиков, работавших и в научно-фантастическом жанре (А. Моруа, Веркор).

Ф 4701000000—447
041 (01)—87

подп. изд.

ББК 84.4Фр

*Редакция научно-популярной
и научно-фантастической литературы*

Художник Н. Ящук

© состав, предисловие, оформление,
«Мир», 1987

Предисловие

Истоки современной французской фантастики уходят в даль веков. В своих творческих поисках она следует литературным традициям, у начала которых находился титан эпохи Возрождения Франсуа Рабле. Он создал гротескные образы великанов Гаргантюа и сына его Пантагрюэля, отправившегося в удивительное путешествие к оракулу Божественной бутылки, чтобы узнать о смысле человеческого существования, и нарисовал картину счастливого будущего людей в Телемском аббатстве, основанном на полном доверии к человеку. Позже к фантастическим образам, несущим идеи гуманизма и бунт против духовной ограниченности праздного существования, помогающим осмыслить противоречия социальной действительности, прибегали в своем творчестве Сирано де Бержерак, Луи Себастьян Мерсье, Вольтер, Оноре де Бальзак, Анатоль Франс... Во второй половине минувшего столетия особое место в этом историческом ряду занял Жюль Верн, по праву считающийся отцом научной фантастики. Автор замечательных романов, фантастические идеи которых нашли техническое воплощение и научное обоснование лишь в XX в., был одним из первых писателей, кто предугадал грандиозные благотворные последствия научно-технического прогресса для судеб человечества. Вместе с тем он, как и его английский собрат по перу Герберт Уэллс, предостерег об опасности антигуманного использования достижений науки и техники в условиях капиталистического общества. Жюль Верн понял, что открытие тайн природы может при определенных обстоятельствах вооружить мощными средствами разрушения тех, кто преследует своекорыстные интересы и угрожает миру насилием, войнами.

Современные французские фантасты в своих лучших произведениях солидарны с социальным пафосом жюльверновского наследия — с утверждением созидательной деятельности на благо жизни и отрицанием обращения плодов разума во зло человечеству. Пугающим картинам глобальных катастроф — отражению

тупиков буржуазного сознания и обреченности собственнического миропорядка — фантасты противопоставляют мощь смелого, пытливого, творческого духа человека, ищущего и находящего конструктивный выход из, казалось бы, самых безнадежных ситуаций. Этим пафосом надежды и веры в человека, его созидательную энергию пронизаны произведения, включенные в настоящий том, начиная с классика фантастической литературы Жозефа Рони-старшего (1876–1940).

Более пятидесяти лет продолжался творческий путь Рони-старшего. Им было создано немало увлекательных социально-бытовых, исторических и фантастических произведений. Наибольшая популярность выпала на долю книг, написанных им совместно с младшим братом Жюстеном. Они посвящены первобытному человеку. Это «Вамирэх» (1892), дилогия «Борьба за огонь» (1911) и «Пещерный лев» (1920). Подвиги их героев, совершенные в борьбе за существование, выживание в суровых, немилостивых к нашим предкам условиях, были поиском нового, неизвестного, когда адаптация к привычной среде обитания оказывалась недостаточной и требовались дополнительные усилия, чтобы расширить горизонт представлений о природе. По сути это были не столько исторические, сколько фантастические повествования-гипотезы, построенные на основе археологических данных, как художественная реконструкция давно утраченной картины жизни. В преддверии первой мировой войны Рони-старший пишет фантастические романы «Гибель Земли» (1912) и «Таинственная сила» (1914). В первом из них выражена тревога за судьбу человеческой цивилизации, угасающей из-за опустошительной войны. Второй построен на сюжете, связанном с ломкой представлений о физических законах, которую вызвал падающий на Землю поток неизвестной энергии.

Повесть «Ксипехузы» написана значительно раньше, в 1887 г. Рони-старший предвосхитил в ней драматическую ситуацию, в которой очутились обитатели Земли, близкие к персонажам романа английского писателя Г. Уэллса «Война миров», но разрешает ее более оптимистично. Фантазия автора содержит в себе прорыв в новые области фантастики и будущее техники. Если у Г. Уэллса в конфликт с землянами вступают моллюскообразные пришельцы с Марса, то у Рони-старшего ксипехузы — существа, чей облик и поведение сегодняшнему читателю напоминают скорее кибернетическое устройство с кристаллоподобной структурой и лазерной установкой, способной испепелять предметы на расстоянии. Приходится только удивляться, как писатель смог создать образ того, чему в его время не было аналогов ни в природе, ни в научных разработках. Даже смутных представлений о принципах и о возможности построения компьютеров не существовало. Больше того, в оригинальном замысле автора содержится и такая мысль, что саморазвивающийся и управляемый бездушным разумом механизм по своей природе не мо-

жет не быть враждебным человеку. Неконтактность ксипехузов губительна для людей, но вместе с тем она противоречит принципам земной жизни и таким образом таит в себе обреченность. Возникает конфликт: люди не могут мириться с агрессией, угрозой их существованию. На первый взгляд поражение людей в неравной схватке с неуязвимыми пришельцами неизбежно. Однако это только до поры до времени, хотя жизнедеятельность и поведение врагов недоступны пониманию людей. Автор умышленно переносит действие за тысячелетие до возникновения первых поселений, из которых впоследствии вырастут Ниневия и Вавилон — древнейшие цивилизации на нашей планете. Сражения кочевых племен с пришельцами разгораются в побоища гомеровского масштаба. О них читателю сообщает книга жреца-мудреца Бакуна, одного из центральных героев повести, который уже отказался от кочевой жизни, приручил быков и лошадей. Бакун взял на себя труд помочь отчаявшимся соплеменникам в их общей беде, изучить грозных пришельцев, найти способ общения с ними или возглавить борьбу за их изгнание. Его многолетние наблюдения и действия нашли отражение в «книге» доклинописного периода, состоящей из шестидесяти гранитных плит. Она-то и донесла до грядущих поколений историю о том, как человеческий разум вышел победителем в сражении с неведомыми зловещими силами и спас племена от уничтожения.

Вера в мудрость человеческого интеллекта, его способность найти выход из самых затруднительных положений присуща творчеству Веркора. Наиболее значительным в этом отношении представляется роман «Люди или животные?» (1952). До его написания художник Жан Брюлер, инженер по образованию, был известен как автор повести «Молчание моря» (1942) — яркого художественного свидетельства о возникновении движения Сопротивления немецко-фашистским захватчикам. Повесть вышла под псевдонимом Веркор. В своих последующих книгах — романах «Оружие мрака» (1946), «Сила света» (1951), «Гнев» (1956), «Кругосветное путешествие» и «Господин Пруст» (1958), «Декабрьская свобода» (1960), «Сильва» (1961), психологических новеллах, в темпераментной публицистике писатель с разных точек зрения рассматривает проблемы человека и его связи с природой, хранительницей многих, еще не раскрытых тайн, источником подчас неоправданных страданий людей, сложности их существования. Единства человечества, по мнению Веркора, нельзя достичь, пока в мире существуют силы, стремящиеся пробудить в людях звериные инстинкты, провоцирующие кровопролития. Каков он, «гомо сапиенс»? — вопрос, на который писатель не находит ответа в буржуазной науке. Чтобы его получить, нужно общественную мысль направить на объяснение необыкновенного факта, случая, требующего безотлагательного решения. В романе «Люди или животные?» эта проблемная ситуация заостряется детективным сюжетом с фантастическим допущением.

Известно, что эволюционная теория английского естествоиспытателя Чарлза Дарвина обосновала общие истоки в происхождении человека и человекообразной обезьяны. Это научное открытие породило взрыв возмущения части ученых и богословов, а исследователь подвергся грубым и недостойным нападкам реакционеров всех мастей. Роман Веркора как бы воскрешает забытые конфликты. На Новой Гвинее в вулканическом обвале обнаружен кусок черепа неизвестного существа. Британские ученые Грим и его жена Сибила вместе с журналистом Дугласом Темплмором отправляются на место находки, чтобы освидетельствовать ее достоверность. Открытие может подтвердить существование промежуточного, связующего звена в цепи эволюции от обезьяны к неандертальцу. Результаты исследования сенсационны: в доселе недоступной местности обнаруживается целое племя необычных существ. Ученые пазывают их, используя греческую терминологию, «тропи» (среднее между человеком и обезьяной).

Случай не вышел бы за границы научных дискуссий и определений в духе античного спора о том, «сколько камней составляют кучу», или обывательского зубоскальства по поводу новоявленных сородичей людей, если бы повышенный интерес к открытию не проявили крупный делец Ванкрайзен, глава акционерной компании фермеров, и отец-бенедиктинец Диллиген, терзающийся проблемой — крестить или не крестить тропи. Если тропи — всего лишь представители местной фауны, то Ванкрайзен со свойственной ему акульей хваткой станет использовать их на своих предприятиях как даровую рабочую силу, а местные жители будут беспрепятственно охотиться на них. Ванкрайзен находит поддержку в трудах некоего Джулиуса Дрекслера, антрополога, расовая теория которого открывает дверь самым мерзким преступлениям.

Таким образом фантастическое допущение Веркора завязывает в тугой гордиев узел целый комплекс философских, этических, правовых, биологических, этнографических, политико-экономических проблем. Многое в поведении тропи кажется Темплмору загадочным, незамедлительно требующим правильной оценки. Отчетливо сознавая, что в одиночку ему не доискаться истины, не спасти тропи от неизбежного истребления, он решает на отчаянный шаг.

И вот в одном из лондонских особняков совершается убийство ребенка. Виновником преступления устанавливается его отец — Дуглас Темплмор. Он не только не скрывает своей причастности к убийству, но даже настаивает на вынесении ему смертного приговора. Именно так рассчитывает Темплмор добиться торжества справедливости. Зачин романа сродни захватывающим сценам детектива. Затем следуют события, разъясняющие драматизм ситуации, — научная экспедиция на Новую Гвинеею, осуществление хитроумного замысла Темплмора и на-

конец судебный процесс. Жестокая схватка сторонников противоположных воззрений на происшедшее перемещает повествование в плоскость нравственных рассуждений и острых коллизий. Проблемы поднимаются и формулируются персонажами романа как бы вне зависимости от авторской позиции, так, как их подсказывает буржуазное сознание, отягощенное порой наивно-обывательскими, религиозными или расовыми предрассудками и довольно часто экскурсами в область отвлеченных и предвзятых умозаключений. Автор же остерегается предлагать собственные выводы, предоставляя читателю возможность самому задуматься, насколько обоснованны высказываемые мысли, ощутить вкус «запретного плода» познания, пережить остроту напряжения и разгадать фантастический ребус, заданный в романе.

Веркор умышленно обходит молчанием вопрос о двойственности биологического и социального начал в человеке. Лишь вскользь упоминает он об ином, диалектическом подходе к проблеме. Разрубить стянувшийся гордиев узел можно лишь с помощью марксистско-ленинской методологии. Разрыв биологической непрерывности развития между человеком и нечеловеком образует пропасть и в области поведения, морали, психологии и философии. Писатель исключил тропи из эволюционного процесса и тем самым изъясил из поля зрения читателя самый важный — социальный — аспект проблемы. А именно в нем таится разгадка ребуса: без социальных связей человек не стал бы тем, кем он является. Если бы человек не был щедро наделен социальными инстинктами, ему не удалось бы возвыситься над миром животных, взять на себя ответственность за всю планету по имени Земля.

Специфические человеческие особенности — рука, интеллект и осязаемый с их помощью труд, естественное чувство коллектива, вне которого немисливо существование, обретение дара речи, культурной традиции, моральной ответственности — могли развиваться только у такого существа, жизнь которого еще до появления зачатков понятийного мышления протекала в хорошо организованных сообществах. Предок человека должен был обладать способностью копить индивидуальный опыт и научаться коллективному опыту своего сообщества, изменять социальные и культурные модели своего поведения, познавать их и тем самым самого себя, руководствоваться этими знаниями, независимо от того, как далеки его действия от побуждений, желаний, влечений. Эта способность усваивать приобретенную мудрость вида увеличивает дистанцию между человеком и животным, чья реакция на воздействие окружающей среды зависит главным образом от унаследованных инстинктов. «... В причинах, определяющих человеческие поступки, — говорит Темплмор, — есть нечто такое, нечто совсем особенное, единственное в своем роде, чего не найдешь у представителей всех других ви-

дов. Вот хотя бы даже то, что каждое поколение людей ведет себя по-разному. Образ жизни людей постоянно меняется. Животные же на протяжении тысячелетий ничего не меняют в своем существовании. Тогда как между взглядами на жизнь моего деда и моими собственными не более сходства, чем между черепахой и казуаром».

Финал романа оптимистичен, хотя главный герой испытывает неудовлетворенность исходом дела. Автор верит в преодолимость человечеством самых трудных вопросов бытия, на каком бы уровне они ни возникали и какие бы испытания и страдания ни выпадали на его долю. Поступательное историческое движение гуманно по своей природе; оно ведет к утверждению величия и красоты человека, правоты его исканий и борьбы. Эти мысли автор поручает диалогу двух дам: «Неужели вы думаете, что тропи будут счастливее, став людьми? <...> Жили они, не зная забот, а теперь их, наверное, начнут приобщать к цивилизации?—с ядовитым сочувствием осведомилась Гертруда. <...> И они станут лжецами, ворами, завистниками, эгоистами, скрягами. <...> Они начнут воевать и истреблять друг друга. <...> Нечего сказать, мы сделали им прекрасный подарок!»—«А все-таки подарок,—возразила Френсис.—<...> В этом страдании, в этом ужасе—красота человека. Животные, конечно, гораздо счастливее нас: они не способны на подобные чувства. Но ни за какие блага мира я не променяю на их бездумное существование ни этого страдания, ни даже этого ужаса, ни даже нашей лжи, нашего эгоизма и нашей ненависти. <...> После процесса ... нам по крайней мере стало ясно одно: право на звание человека не дается просто так. Честь именоваться человеком надо еще завоевать, и это звание приносит не только радость, но и горе. Завоевывается оно ценою слез. И тропи придется пролить еще немало слез и крови, пройти через раздоры и горькие испытания».

Высокое звание человека—основная тема творчества Андре Моруа (1885–1967), верного наследника традиций мировой классики, общепризнанного мастера биографического романа, обогатившего нас документированным и психологическим прочтением многих славных страниц в истории художественной культуры. В его литературном наследии более семидесяти томов. В их числе переведенные на русский язык романы «Ариель, или Жизнь Шелли» (1923), «Байрон» (1930), «Тургенев» (1931), «Лелия, или Жизнь Жорж Санд» (1952), «Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго» (1954), «Три Дюма» (1957), «Жизнь Александра Флеминга» (1959), «Прометей, или Жизнь Бальзака» (1965) и др. В этом ряду фантастика занимает скромное место, но она весомо заявляет о себе в обличении пороков собственнического миропорядка.

В авторском сборнике «Только для фортепиано» (1960) мы находим рассказ «Из “Жизни людей”», включенный в настоящий том. Это своеобразная стилизация под просветительскую философскую повесть. Писатель прибегает к фантастике, чтобы пока-

зять привычный буржуазный образ жизни как бы извне, глазами сторонних наблюдателей, когда наиболее выпукло проступает его абсурдность, нелогичность, нарушение здравого смысла. С помощью телемикроскопа с далекого Урана ведет кропотливые наблюдения над «плюдскими муравейниками» на Земле академик А. Е. 17. Он изучает, есть ли у «двуногих бескрылых» какие-либо зачатки разума, и приходит к неутешительному выводу, что эти существа – рабы слепых инстинктов. Ему удается установить, что в их суесть нет элементарной логики, признаков разумности. В своей массе они лишены радостей бытия, склонны опекать малочисленную касту ничего не производящих, праздных особей. Ими организуются склады предметов, какими в избытке переполнены соседние «муравейники». Более того, они укорачивают свой и без того короткий век междоусобными войнами, истребляя себе подобных. По заключению ученого с Урана, жизнь на Земле соответствует низшей стадии развития. Ситуация заставляет вспомнить о «Путешествиях Гулливера» Свифта или «Микромегасе» Вольтера. У Моруа она исполнена сатирического сарказма, нацеленного на пороки капиталистической системы и одновременно на пустоцветы науки – скоропалительные «открытия», сенсации, которые лопаются как мыльные пузыри. К счастью для себя, А. Е. 17 не дожил до дня, когда между Землей и Ураном устанавливаются дружественные отношения. Факты ниспровергли труд всей его жизни, но только не воздвигнутый в его честь на Уране барельеф, воспроизводящий нью-йоркскую Пятую авеню.

Другой рассказ Моруа «Отель "Танатос"», впервые опубликованный в сборнике «Обед под каштанами» (1951), не на много более фантастичен, чем сенсации, предлагаемые буржуазными средствами массовой информации. Обывателям предлагается то поспешить с приобретением участков на ближайших к Земле планетах Солнечной системы, то позаботиться о захоронении своего праха в космосе, то подвергнуться замораживанию до лучших времен и т. д. и т. п. Герой же рассказа Жан Монье, доверенный нью-йоркского банка, всего-навсего получает обычный конверт. Распечатав его, он не без удивления читает, что «в жизни самого мужественного человека могут возникнуть обстоятельства настолько тягостные, что борьба становится непосильной и мысль о смерти представляется спасительной». И в самом деле, Жан Монье проигрался на бирже, и подобная мысль его посетила. И вот теперь ему предлагается за не слишком обременительное вознаграждение свести счеты с жизнью, отбыть в небытие с гарантированным комфортом и легкостью. Где-то на границе между США и Мексикой находится отель «Танатос» с теннисными кортами, плавательным бассейном, гольфом на восемнадцать лунок – последнее пристанище для отчаявшихся людей. Туда и направляется герой рассказа. Фантастическое допущение автора соответствует параметрам предприимчивости изобретатель-

ного бизнесмена. Только смысл его проясняется лишь в конце повествования, когда отель «Танатос» — порождение собственной инициативы — обретает символическое значение тупика социального развития, где нет будущего, нет места надеждам, сочувствию, гуманности.

Нетерпимость к философии абсурда проявляет Пьер Буль, автор многих приключенческих романов, новелл, среди которых наибольшую известность получили «Мост через реку Квай» (1952), «Планета обезьян» (1963), сборники рассказов «Новеллы абсурда» (1953), «Е-те²» (1957). В них он показывает несостоятельность и собственного мира, и военного психоза, и науки, отвернувшейся от идей гуманизма. В определенной мере абсурд насилия и попрания человечности находит саркастическое изображение в его рассказе «Бесконечная ночь» (1953), написанном с блистательным остроумием.

Необыкновенное происшествие обрушилось вдруг на героя рассказа — Оскара Венсана, владельца небольшой книжной лавки в парижском квартале Монпарнас. Однажды, сидя на открытой террасе кафе, он заметил посетителя в римской тоге, который с растерянным видом спросил его на чистой латыни, какой сейчас век. Им оказался пришелец из древней цивилизации, за которым с интересом наблюдал из-за соседнего столика другой не менее странный посетитель, одетый в облегающее трико, — пришелец из далекого будущего. Обнаружилось, что оба они с помощью машины времени странствуют из одной исторической эпохи в другую. Перед глазами Венсана происходит запутанная, искрометная игра со временем, с внезапными появлениями и исчезновениями пришельцев. Одним из пришельцев она затеяна с тем, чтобы переселить в древность избыточное население будущего, а другим — чтобы предотвратить эту агрессию.

Ирония писателя, заставившего уэллсовскую машину времени перемещать странников взад и вперед и наконец совместить в одном лице, направлена на бессмысленность милитаристских акций, предпринимаемых с целью насильственного изменения хода истории.

На эффекте относительности времени, по-разному протекающему на Земле и в условиях движения со скоростью света, построены некоторые произведения Жерара Клейна.

Ироническая фантастика этого писателя обладает удивительным свойством — развлекает, разоблачает и, разоблачив, убедить в ценности человеческой жизни. Автор прибегает к оригинальным сюжетам и средствам для выражения своих идей. Он то использует шахматную доску для общения с высшей внеземной цивилизацией — роман «Звездный гамбит» (1971), то «усмиряет» взбесившееся галактическое чудовище, угрожающее гибелью миллионам людей — рассказ «Иона» (1966). Иногда, обличая, писатель проецирует большие проблемы современности на «галактический экран». И тогда из-под его пера выходят книги

антиимпериалистической направленности. В фантастическом романе «Непокорное время» он осуждает безнравственность засылки космических командос в иные эпохи и иные миры теми, кто считает себя хозяевами над временем и насильственно вторгается в течение истории.

Рассказ Ж. Клейна «Голоса пространства» (1958) — поэтическая фантазия о космосе, о его освоении, о бесконечности постижения его тайн, о человеческой мечте. По композиции он напоминает музыкальное произведение. Это как бы повествовательный вариант Четырнадцатой сонаты Бетховена, «квазифантазии», названной ее почитателями Лунной.

Главный герой рассказа, от имени которого ведется повествование, одарен способностью целостного, гармоничного мироощущения. В первой, певучей, замедленной части («кадажио стеснуто») он находится на околоземной орбите и впервые слышит нечто, что не похоже на равномерное шуршание радиопомех, а скорее напоминает протяжную песнь исполинского колокола и пробуждает в душе человека воспоминания о вздохах осеннего ветра в ветвях деревьев и тонких органных трубах высохших трав ... Во второй, более энергичной части («аллегретто») участники экспедиции на Марсе, явившем человеческому глазу разочаровывающую пустыню, полны нестерпимого ожидания увидеть сверкающий тысячами огней город и вновь услышать манящий голос Пространства. И тут возникает догадка, высказанная вслух одним из космонавтов: «... У нас есть кое-что общее и с гадалками и с астрологами ... Мы ждем зова. Ищем контакта. И очень надеемся дождаться и найти. Через пять лет мы дойдем до Юпитера. А через столетие, возможно, достигнем звезд. И нравится тебе это или нет, Ферье, мы стремимся туда все по той же старой-престарой причине: нам ненавистно одиночество».

В третьей части, бурной, насыщенной тревогой и ожиданием («престо аджитато»), экспедиция на Юпитере, жидком зеленом шаре, «скопище бесстрастных бурь и гигантских волн». Расшифровка грозного гула Пространства задает новую загадку: не голоса ли это космического корабля, движущегося со скоростью света в сжатом для него пространстве, его приветствие космонавтам с Земли, в котором каждое слово растягивалось на земную неделю? Наука, вооруженная совершенной техникой, сделает свои выводы. Но голос Азлиты, взывающей в Пространстве к человеку со страниц романа А. Толстого, продолжает звучать в современной фантастике, вселяя надежду на ответ. Рассказ Ж. Клейна кончается мажорной нотой. Не сегодня-завтра ключ к неведомой музыке Пространства будет подобран, и тогда рассеются сомнения.

В рассказе Ж. Клейна «Развилка во времени» (1969) роль механизма связи настоящего с будущим выполняет телефон. Его звонки раздаются в конторе, где служит парижанин Жером Боск, французский тезка великого голландского художника рубежа

XV–XVI вв. Иеронима Босха, знаменитого своими калейдоскопическими полотнами, где фантастический вымысел мешается с деталями реального, повседневного быта. Ассоциация не случайная, хотя и не обязательная.

Однажды Боску одновременно позвонили по двум телефонам. И в каждом прозвучал мужской голос: в левом – ясно, требовательно, почти торжествующе, в правом – неразборчиво, приглушенно, испуганно, с плачущими интонациями и мольбой. Оба голоса были ему знакомы, похожи и принадлежали, как ни странно, ему самому. Оба доносились из разного будущего. Так создается развилка во времени. Фантастический прием передает нравственную мучительность выбора человеком своей судьбы.

В часы досуга Боск пишет романы, возможно недурные. Бодрый голос настаивает, чтобы он принял предложение миллионера-предпринимателя экранизировать понравившийся тому роман, робкий голос с отчаянием просит ни в коем случае не соглашаться на это. Каждое решение возможно и чем-то обосновано, но какое из них более разумно? Следовать ли тому, что сулит богатство, беззаботность, успех, или тому, что исполнено тревоги? Альтернатива волнует героя рассказа и держит в напряжении читателя до самой последней строки.

Если человек вправе выбирать, то нет альтернативы, когда перед человечеством встает проблема быть или не быть. Такова писательская позиция Франсиса Карсака. Под этим псевдонимом печатает фантастические произведения ученый-геолог Франсуа Борд, профессор университета в Бордо. По своему мировоззрению он гуманист, оптимист, интернационалист, сторонник мира без войн, ядерных угроз. Искреннюю веру в силы разума, науки, доброй воли он воплощает в социальных аллегориях, где действует союз человеческих миров на бесчисленных планетах Вселенной. Союзу удается объединить все «гуманоидные» цивилизации на основе равенства и братства, созидательной, преобразующей деятельности, преодолеть пространственно-временные барьеры, различия биологической эволюции, сорвать попытки космических агрессоров погрузить все мироздание в вечный мрак и оледенелую неподвижность. Во время своих невероятных приключений герои Карсака решают серьезные социальные и нравственные проблемы. В их основе всегда находится место отклику на международные ситуации сегодняшнего дня. Поступками героев в романах «Робинзоны космоса», «Пришельцы ниоткуда», «Этот мир – наш», «Львы Эльдорадо» движет идея мирного сосуществования в галактических масштабах, как непреложный закон бытия... Все, что ему противоречит, обречено на поражение.

Роман Карсака «Бегство Земли» (1960) – весомое слово в современной фантастике, произнесенное с оптимистической верой в грядущую судьбу нашей планеты. Космическая одиссея, развернутая писателем, грандиозна по масштабам действия,

эпична по художественному воплощению и жизнеутверждающая по своему идейному пафосу. Ощутима в ней и полемическая направленность против целого фронта реакционных концепций, выставляемых идеологами буржуазного индивидуализма, глобального превосходства, силовой политики, милитаризации космоса. Писатель не вступает в полемику, он заставляет своих героев действовать и своими поступками отбрасывать завалы реакционной догматики — исторический пессимизм, бессмысленность человеческого существования, бесконечность циклического повторения социального развития, апокалипсическое ожидание конца света, фатальную смертность всех разумных цивилизаций. Естественно, такая всеохватность авторского взгляда вынуждает Карсака усложнять сюжетную линию, перегружать ее вставными эпизодами, а заодно поддерживать интригу приемами развлекательно-приключенческой литературы. Писатель не выдвигает в романе никаких социальных гипотез, увековечивающих капиталистический строй. Пожалуй, лишь в одном можно было бы упрекнуть его: в картине будущего, где осуществлено равенство и братство, все-таки ощутимо предпочтение технократической формы управления обществом. Но будем и справедливы к автору. Избранный им сюжет во всех острых драматических поворотах требовал решений тех, кто, обладая достаточным нравственным потенциалом, основывал свои действия на совершенном знании точных наук. Сегодняшние успехи в освоении космоса человечеством создают предпосылки для оптимистического взгляда на судьбу земной цивилизации в случае непредвиденной космической катастрофы. Один из фантастических вариантов такой экстремальной ситуации возникает в романе Карсака.

Писатель не прибегает к детальному изображению социальной картины отдаленного будущего нашей планеты, ограничиваясь лишь наброском отдельных контуров. Его более всего занимает механизм спасения колыбели человечества Земли и родственной ей планеты Венеры. Карсак подключает сюда и марсианскую тему с уже привычным вариантом исчезнувшей цивилизации, знакомой со звездоплаванием и использованием сверхпространства в целях ускорения полетов.

Примечательно, что автора заботит не выживание горстки избранных людей на межпланетной ракете, а спасение всего человеческого рода с его материальной и духовной культурой, накопленной за всю историю человечества. Карсак допускает возможность острых конфликтов в процессе установления контактов с внеземными цивилизациями. Но выход из них он видит в мудрости и мужестве землян, в их стремлении к взаимопониманию, к миру, добрососедству. Конец романа глубоко оптимистичен, он звучит как завещание отдаленным поколениям. Словами главного героя Карсак говорит: «Никогда не отчаивайтесь! Даже если узнаете, что ваша цивилизация исчезает подо льдами но-

вого палеолита, не прекращайте борьбу!.. Я – живое свидетельство того, что ваши усилия не напрасны и что ваши потомки достигнут звезд!»

Завершает сборник рассказ-шутка «Скучная жизнь Себастьяна Сюша» Мишеля Демюта, печатавшегося также под псевдонимом Ж. М. Ферре. Эту миниатюру трудно воспринять иначе, как забавный анекдот или остроумную пародию на уже успевший примелькаться от частого употребления арсенал художественных средств в англо-американской фантастике. Из книги в книгу, от одного автора к другому кочуют описания звездных лайнеров, космопортов, залитых лучами многоцветных искусственных солнц Земли, мелькают силуэты путешественников во времени, на миг «вынырывающих из прошлого, дабы после утомительной охоты на милодонта набраться сил накануне оргии у фараона Аменхотепа», стертые копии чиновников многочисленных Посольств Рынка, девушек-мулаток, страхангелов и зверосекомых и т. д. и т. п. Герой рассказа Себастьян Сюш живет, а точнее – прозябает в подобном фантастическом будущем, в некоем подобии рая на восемьдесят восьмом этаже. К его услугам плоды самой изощренной фантазии психографов – продавцы снов, роботы-кулинары, облака ароматов... Но из этого царства немислимых материальных благ исключено то, без чего оскудевает человеческое существование.

В своем романе «451° по Фаренгейту» прогрессивный писатель-фантаст США Рэй Бредбери, уловив тревожные симптомы в современной капиталистической действительности, предостерег об опасности обесценивания и уничтожения книги, о безнравственности посягательства на радость интеллектуальной жизни, на приобщение к культурным ценностям, на право размышлять, мечтать ... Себастьян Сюш изнывает от скуки в бездуховном мире, созданном банальными произведениями англо-американской фантастики. Но парадокс сюжетного хода автора заключен в том, что его герой, минуя ориентиры современного Парижа, утратившие реальность в новых названиях – Великой Площади Звезд, Трехэтажного проспекта, Спиральной башни, направляется в библиотеку, где его ждут горы книг тех самых англо-американских авторов, по чьей милости его жизнь стала неинтересной и никчемной, чтобы из унылого быта умчаться в мир фантастики.

Нацеленность авторской иронии на бездумное потребление благ научно-технического прогресса несомненна. И все же шутка содержит в себе не только сарказм, но и добрую улыбку, с которой писатель как бы приглашает нас к чтению, к тому, что духовно обогатит человеческую личность, разбудит мечту, поможет выработать критерии отношения к современности и к научной фантастике.

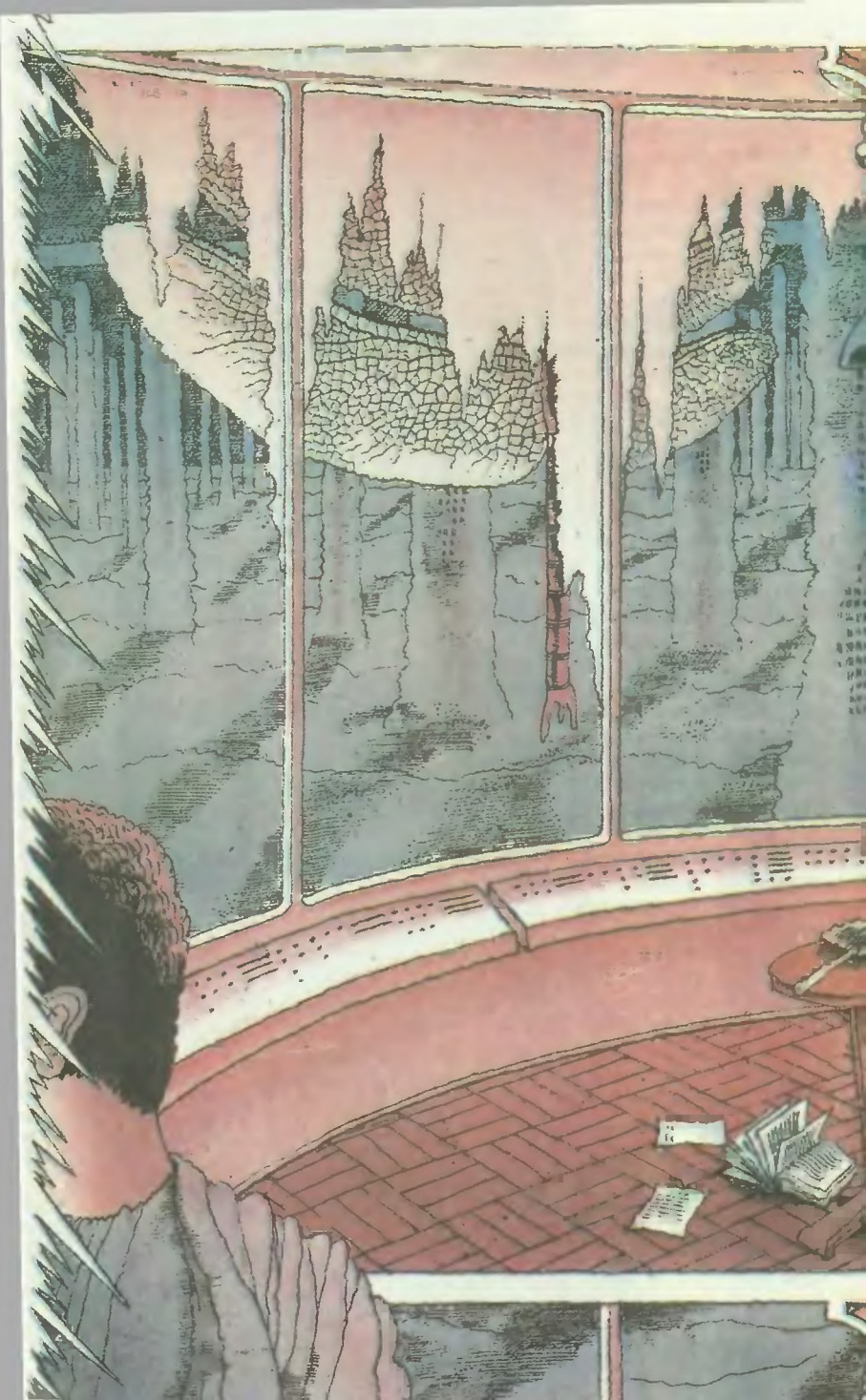
Ну что ж, последуем совету. Тем более что соотечественники Жюль Верна предоставляют нам такую возможность.

А. Горбунов

Франсис Карсак

Бегство Земли









Часть
первая

*Потерпевший кораблекрушение
в океане времени*

Странное происшествие

Я знаю, что никто не поверит мне. И тем не менее только я могу сегодня до какой-то степени объяснить события, связанные с необычной личностью Орка, то есть я хотел сказать Поля Дюпона, самого выдающегося физика, какой когда-либо жил на Земле. Как известно, он погиб одиннадцать лет назад вместе со своей молодой женой Анной во время взрыва в лаборатории. Согласно завещанию, я стал опекуном его сына Жана и распорядителем всего его имущества, ибо у него не было родни. Таким образом, в моем распоряжении оказались все его бумаги и неизданные записи. Увы, их никогда не удастся использовать, разве что появится новый Шамполион, номноженный на Эйнштейна. Но, кроме того, у меня осталась рукопись, написанная по-французски, которую вам предстоит прочесть.

Я знал Поля Дюпона, можно сказать, с самого рождения, нотому что я немного старше и мы жили в одном доме на улице Эмиля Золя в Перигё. Наши семьи дружили, и, насколько себя помню, я всегда играл с Полем в маленьком садике, общем для наших двух квартир. Мы вместе пошли в один и тот же класс и сидели в школе за одной партой. После ее окончания я выбрал отделение естественных наук, а Поль, согласно воле его отца, занялся

Печатается по изд.: Карсак Ф. Бегство Земли: Пер. с франц.—М.: Молодая гвардия, 1972.—Пер. изд.: Carsac F. Terre en fuite. Gallimard, Paris, 1960.

© перевод на русский язык с исправлениями, «Мир», 1986

элементарной математикой. Я говорю: «согласно воле его отца», инженера-электрика, потому что, как это ни странно для человека, совершившего настоящую революцию в современной физике, Поль никогда не был особенно силен в математике и пролил немало пота, чтобы получить свой аттестат.

Его родители умерли почти одновременно, когда мы с Полем были в Бордо: я готовил свой реферат по естественным наукам, а он — по электромеханике. Затем он окончил Высшую электротехническую школу и устроился инженером на одну из альпийских гидроэлектростанций, которой заведовал друг его отца. Я в это время работал над своей диссертацией.

Надо сказать, что Поль довольно быстро продвинулся, потому что к тому времени, когда с ним приключилось это странное происшествие, он был уже заместителем директора. Мы лишь изредка обменивались письмами. Моя должность заведующего сектором на факультете естественных наук в Тулузе не позволяла мне часто наведываться в Альпы, а каникулы я предпочитал проводить в Западной Африке. Таким образом, я стал свидетелем этого происшествия по чистой случайности.

Возник проект создания еще одной плотины в альпийской долине, и мы с профессором Маро отправились туда, чтобы изучить этот проект с геологической точки зрения. Так я очутился всего в сорока километрах от гидростанции, где работал Поль, и воспользовался этим, чтобы навестить его. Он припал меня с искренней радостью, и мы засиделись допоздна, вспоминали наши школьные и студенческие дни. Он много говорил о своей работе, которая его живо интересовала, о проектируемой гидростанции и даже рассказал о своем недавнем романе, который, к сожалению, быстро оборвался. Но ни разу — я повторяю, ни разу — он не упомянул ничего, что относилось бы к теоретической физике. Поль легко сходился с людьми, но я был его единственным близким другом. И я уверен, что если он уже тогда занимался исследованиями, которые вскоре обессмертили его имя, он бы мне об этом обязательно рассказал или хотя бы намекнул.

Я приехал к нему в понедельник 12 августа и собирался уехать через день. Однако он настоял, чтобы я остался у него до конца недели. Катастрофа произошла в ночь

с пятницы на субботу, точно в двадцать три часа сорок пять минут.

День был душный и жаркий. Под молодым вязом, затенявшим маленький садик, я приводил в порядок свои геологические записи. Неожиданно тучи закрыли небо, и к семи часам стало совершенно темно. Над горами разразилась гроза. Поль вернулся примерно через полчаса под проливным дождем. Мы пообедали почти молча, и он, извинившись передо мной, сказал, что должен эту ночь подежурить на гидростанции. Около половины девятого я помог ему натянуть промокший плащ и поднялся в свою комнату. Я слышал, как он отъехал от дома на автомашине.

В десять я лег и уснул. Несмотря на ливень, жара несколько не спала. Было двадцать три тридцать, когда меня разбудил страшный раскат грома. Молнии озаряли растрепанные ветром, быстро бегущие черные тучи. Дом Поля стоял над долиной, и сверху я видел, как молнии трижды ударили в опоры как раз перед входом в здание электростанции. Обеспокоенный, я уже хотел позвонить на станцию и справиться, все ли там в порядке, но подумал, что сейчас не стоит этого делать: Полно и без меня хватает забот!

И вдруг прямо на электростанцию начал опускаться с неба фиолетовый клинок. Это уже была не молния, а как бы длинный разряд электричества в трубке с разреженным газом, но усиленный тысячекратно! В то же время фантастическая огненная колонна поднималась от станции к небесам, прямо в черные тучи, по которым пробегали светящиеся пятна, как по люминесцирующим волнам моря. Это продолжалось, может быть, с десятков секунд. Я смотрел как замороженный. И в то мгновение, когда фиолетовый клинок с неба и огненная колонна от электростанции соединились, все огни вдруг погасли и долину залил мертвенно-белый свет. И все кончилось. Наступила крошечная тьма, прорезаемая только вспышками обыкновенных молний. Водопадом обрушился проливной дождь, заглушая все звуки. Я стоял, ошеломленный, добрую четверть часа.

Звонок телефона внизу вывел меня из оцепенения. Я бросился в кабинет Поля и схватил трубку. Звонили с электростанции, и я сразу узнал голос одного из молодых инженеров-стажеров. С Полем «что-то приключилось», и меня просили немедленно приехать, прихватив по дороге

доктора Прюньера, до которого они не могли дозвониться, потому что обычная телефонная линия вышла из строя. А дом Поля был связан с гидроцентральной особым кабелем.

Я поспешно оделся, натянул плащ, потерял еще несколько секунд, пока отыскивал ключи от гаража, где стоял мой мотоцикл. Мотор завелся с первого же толчка стартера, и я ринулся в непроглядную тьму, разрываемую теперь лишь редкими молниями.

Я разбудил врача, и через десяток минут на его машине мы были уже на месте.

Всю гидростанцию освещали только аварийные лампы, подсоединенные к аккумуляторам. Там царила атмосфера потревоженного муравейника. Молодой стажер немедленно провел нас в медпункт. Полю — я забыл сказать, что он был очень высок, два метра четыре сантиметра! — лежал на слишком короткой для него койке, бледный и бездыханный.

— У него, наверное, шок, — с надеждой сказал стажер. — Он стоял около генератора, когда ударила эта странная молния. Извините меня, я должен бежать. Все на станции вышло из строя. Не знаю, что делать, — ни директора, ни инженеров, никого нет! И позвонить никому не могу — телефоны не работают...

Но доктор Прюньер уже склонился над телом моего друга. Прошло минут пять, прежде чем он не совсем уверенно проговорил:

— По-моему, просто обморок. Но его нужно немедленно перевезти в больницу. Это, несомненно, шок, пульс очень слабый, и я боюсь...

Я вскочил, позвал двух рабочих, и мы перенесли Поля в грузовичок, где для него наспех устроили что-то вроде носилок. Прюньер уехал с ними, нообещав держать меня в курсе дела.

Я собирался покинуть станцию, когда снова появился инженер-стажер.

— Месье Перизак, — обратился он ко мне, — вы бывали в тропиках; скажите, вам когда-либо доводилось видеть подобное явление? Говорят, что там грозы куда сильнее, чем здесь.

— Нет, такого я никогда не видал! И даже не слышал, что подобное бывает. Из своего окна я видел огненный столб, он опускался на станцию, и это было самое неве-

роятное зрелище в моей жизни! При каких обстоятельствах произошло несчастье с месье Дюпоном?

— Это мы узнаем, когда механик, единственный свидетель, сможет говорить?

— Его тоже задело?

— Нет, но он ошалел от страха. Бормочет какие-то глупости.

— А что он рассказывает?

— Пойдите расспросите его сами...

Мы вернулись в медпункт. Там на койке сидел мужчина лет сорока с выпученными глазами. Инженер обратился к нему:

— Мальто, расскажите, пожалуйста, все, что вы видели, этому человеку — он друг месье Дюпона.

Механик бросил на меня затравленный блуждающий взгляд.

— Понятно, вы хотите, чтобы я говорил при свидетеле, а потом вы упрячете меня в сумасшедший дом как психа! Но все равно, клянусь, это правда! Я видел, видел собственными глазами!..

Он почти кричал.

— Полно, успокойтесь! Никто вас никуда не упрячет. Нам нужны ваши показания для отчета. Кроме того, они могут принести пользу месье Дюпону, врачу будет легче его лечить.

Механик заколебался.

— Ну если для врача... А, да наплевать мне на все! Пове-рите вы или нет — ваше дело. Тем более я и сам не знаю, может, я и впрямь свихнулся?

Он глубоко вздохнул.

— Так вот. Месье Дюпон попросил меня проверить вместе с ним генератор номер десять. Я стоял в метре от него, слева. Вдруг нам показалось, что воздух сразу насытился электричеством. Вы бывали в горах? Тогда вы знаете — это когда альпеншток пачинают петь, как струны. Тут месье Дюпон мне крикнул: «Мальто, беги!» Я бросился в дальний конец машинного зала, но там дверь была закрыта, и я обернулся. Месье Дюпон все еще стоял возле генератора, и по всему телу его пробегали синие искры. Я закричал ему: «Скорее сюда!» И тут весь воздух в зале засветился фиолетовым светом. Знаете, как в неоновой трубке, только свет был фиолетовый... Свечение не дошло до меня примерно на метр!

— А Дюпон?—спросил я.

— Он бросился в мою сторону и вдруг замер. Он смотрел куда-то вверх, и вид у него был растерянный, удивленный. Он стоял в самом центре светящегося столба, но это его, похоже, не тревожило. И тогда...

Механик умолк, несколько мгновений колебался и наконец выпалил, словно бросился в воду:

— И тогда я увидел призрачную фигуру! Она плыла по воздуху прямо к нему и была почти такого же роста, как месье Дюпон. Он, должно быть, тоже увидел, потому что вытянул руки, словно хотел ее оттолкнуть, и закричал: «Нет! Нет!» Призрак коснулся его, и он упал. Вот и все!

— А потом?

— Потом я не знаю, что было. Я от страха грохнулся в обморок.

Мы вышли, оставив Мальто в медпункте. Инженер спросил меня:

— Ну что вы скажете?

— Скажу, что вы, наверно, правы: ваш механик просто ошалел от страха. Я не верю в призраки. Если Дюпон поправится, он нам сам расскажет, как это произошло.

Было уже пять часов утра, поэтому вместо того, чтобы вернуться домой, я зашел к доктору, взял там свой мотоцикл и помчался в больницу. Полю стало лучше, но он спал. До рассвета я просидел с доктором, которому не преминул рассказать фантастическую историю Мальто.

— Я его хорошо знаю,—заметил Прюньер.—Его отец умер два года назад от белой горячки, но сын, насколько мне известно, спиртного в рот не берет! Впрочем, все возможно...

Незадолго до рассвета сестра-сиделка предупредила нас, что Поль, видимо, скоро проснется. Мы немедленно прошли к нему. Он был уже не так бледен, сон его сделался беспокойным. Поль все время шевелился. Я склонился над ним и встретился с ним взглядом.

— Доктор, он проснулся!

Глаза Поля выражали бесконечное изумление. Он оглядел потолок, голые белые стены, затем пристально посмотрел на нас.

— Как дела, старина?—бодро спросил я.—Тебе лучше?

Сначала он не ответил, потом губы его зашевелились, но я не смог разобрать слов.

— Что ты сказал?

— Анак оэ на? — отчетливо проговорил он вопросительным тоном.

— Что?

— Анак оэ на? Эрто син балурем сингалету экон?

— Что это ты говоришь?

Я едва удерживался, чтобы не расхохотаться, и в то же время во мне нарастало беспокойство.

Он пристально поглядел на меня, и непонятный страх отразился в его глазах. Словно делая над собой отчаянное усилие, он проговорил наконец:

— Где я? Что со мной случилось?

— Ну вот, это уже лучше! Ты в клинике доктора Прюппера, который стоит рядом со мной. Ночью тебя поразила молния, но, похоже, все обошлось. Ты скоро поправишься.

— А тот, другой?

— Кто другой? Механик? С ним ничего не случилось.

— Нет, не механик. Другой, который со мною...

Он говорил медленно, как в полусне, с трудом подбирая слова.

— Но с тобой больше никого не было!

— Не знаю... Я устал...

— Не разговаривайте с ним больше, месье Перизак, — вмешался доктор. — Ему нужен полный покой. Завтра или послезавтра, я думаю, он сможет вернуться к себе.

— Тогда я пойду, — сказал я Полю. — Буду ждать у тебя.

— Да, жди меня... До свидания, Кельбик.

— Какой я тебе Кельбик! — возмутился я.

— Да, правда... Извини меня, я так устал...

На следующий день ко мне заехал доктор.

— Пожалуй, будет лучше перевезти его домой, — сказал он. — Ночь прошла беспокойно, он все время звал вас: бредил, произносил какие-то непонятные слова вперемежку с французскими. Он твердит, что белые стены больницы — это стены морга. Здесь, у себя, в привычной обстановке, он поправится гораздо скорее.

Старая экономка прибрала в спальне, и вскоре мы уже укладывали Поля на огромную, сделанную специально по его росту кровать. Я остался с ним. Поль проспал дотемна, а когда проснулся, я сидел у его изголовья. Он долго рассматривал меня, потом сказал:

— Вижу, тебе хочется знать, что со мной случилось. Я тебе расскажу позднее... Понимаешь, это настолько неве-

роятно, что я и сам не могу еще поверить. И это так изумительно. Сначала мне было страшно. Но сейчас, ах, сейчас!..

Он громко расхохотался.

— В общем сам увидишь. Благодарю тебя за все, что ты для меня сделал. Я в долгу не останусь! Мы еще повеселимся в этой жизни, и ты и я! У меня много замыслов, и ты мне наверняка понадобишься.

Затем он изменил тему разговора и принялся расспрашивать, как идут дела на гидростанции. Мое сообщение о том, что генераторы вышли из строя, вызвало у него новый взрыв смеха. На следующий день он поднялся раньше меня и ушел на станцию. Через два дня я уехал сначала в Тулузу, а потом в Африку.

Вскоре я получил от Поля письмо. Поль сообщал, что намерен оставить свою нынешнюю должность и поступить в Университет Клермон-Феррана, чтобы «поучиться» (это слово было в кавычках) у профессора Тьебодара, знаменитого лауреата Нобелевской премии.

Благодаря странной случайности, едва я защитил свою диссертацию, как в том же самом университете открылась вакансия и мне предложили прочесть курс лекций. Тотчас по прибытии я бросился разыскивать Поля, но его не оказалось ни на факультете, ни у себя дома. Нашел я его в нескольких километрах от Клермона в Атомном исследовательском центре, которым руководил сам Тьебодар.

Тьебодар принял меня в кабинете за рабочим столом, на котором необычайно аккуратно стопками лежали всяческие бумаги. Он сразу без околичностей принялся расспрашивать меня о Поле:

— Вы давно его знаете?

— С самого рождения. И мы вместе учились.

— Он был силен в математике еще в лицее?

— Силен? Скорее средних способностей. А в чем дело?

— В чем дело? А в том дело, месье, что это величайший из современных математиков и скоро будет самым великим физиком! Он меня поражает, да, просто поражает! Является ко мне какой-то инженеришко, скромно просит возможности поработать под моим руководством и за полгода делает больше открытий, причем важнейших открытий, чем я за всю свою жизнь. И с какой легкостью! Словно это его забавляет! Когда он сталкивается с какой-нибудь сложнейшей проблемой, он усмехается, запирается в своей норе, а на завтра приходит с готовым решением!

Тьебодар немного успокоился.

— Все расчеты он делает только у себя дома. Всего один раз мне удалось заставить его поработать в моем кабинете, у меня на глазах. Он нашел решение за полчаса! И самое интересное, у меня было впечатление, что он его уже знал и теперь только старался вспомнить. В других случаях он из кожи вон лезет, стараясь по возможности упростить свои расчеты, чтобы я мог их понять, я, Тьебодар! Я навел справки у его бывшего директора. Он сказал, что Дюпон, конечно, неплохой инженер, по звезд с неба не хватает! Если эта молния превратила его в гения, то я тотчас отправляюсь на станцию и буду торчать возле генератора во время каждой грозы! Ну ладно. Вы найдете его в четвертом корпусе. Но сами туда не входите! Пусть его вызовут. Вот ваш пропуск.

Поль был просто в восторге, когда узнал, что отныне я буду жить в Клермоне. Вскоре у нас вошло в привычку паведываться друг к другу в лаборатории, а поскольку оба мы были холостяками, то и обедали вместе в одном ресторане. По воскресеньям я часто выходил с ним по вечерам поразвлечься, а однажды Поль отправился со мной на целую неделю в горы.

Характер его заметно изменился. Если раньше он был скорее флегматичен и застенчив, то теперь у него появились властность и явное стремление повелевать. Все более бурные столкновения происходили у него с Тьебодаром, человеком превосходным, но вспыльчивым, который, несмотря на это, продолжал считать Поля своим преемником на посту руководителя Атомного центра. И вот во время очередной такой стычки завеса тайны начала передо мной приоткрываться.

Меня теперь хорошо знали в Центре, и у меня был постоянный пропуск для входа на территорию. Однажды, проходя мимо кабинета Тьебодара, я услышал их голоса.

— Нет, Дюпон, нет, нет и нет! — кричал профессор. — Это уже чистейший идиотизм! Это противоречит принципу сохранения энергии, и математически — слышите? — математически невозможно!

— С вашей математикой, пожалуй, — спокойно ответил Поль.

— То есть как это с моей математикой? У вас что, есть другая? Так изложите ее принципы, черт побери, изложите!

— Да, изложу!— взорвался Поль.— И вы ничего не поймете! Потому что эта математика ушла от вашей на тысячи лет вперед!

— На тысячи лет, как вам это нравится, а?— вкрадчиво проговорил профессор.— Позвольте узнать, на сколько именно тысяч?

— Ах, если бы я это знал!

Дверь распахнулась и с треском захлопнулась — Поль выскочил в коридор.

— Ты здесь! Слышал?

Он был разъярен.

— Да, у меня особая математика. Да, она ушла от его математики на тысячелетия вперед! И я узнаю, на сколько тысячелетий. И тогда...

Он оборвал фразу и пробормотал:

— Я слишком много болтаю. Это было моим недостатком и там...

Я смотрел на него, ничего не понимая. На электростанции за ним, наоборот, упрочилась слава молчуна, который лишнего слова не скажет. Он в свою очередь взглянул на мое изумленное лицо и рассмеялся.

— Нет, я говорю не о станции! Когда-нибудь ты все узнаешь. Когда-нибудь...

Прошел год. В январе в научных журналах за подписью Поля Дюпона появилась серия коротких статей, которые, по словам специалистов, совершили в физике настоящий переворот, более значительный даже, чем квантовая теория. Затем в июне, как гром с ясного неба, всех потрясла основная работа Поля, поставившая под сомнение принцип сохранения энергии, а также теорию относительности, как общую, так и частную, и попутно ниспровергавшая принцип неопределенности Гейзенберга и принцип исключения Паули. В этой работе Поль демонстрировал бесконечную сложность так называемых элементарных частиц и выдвигал гипотезу о существовании еще не открытых излучений, которые распространяются гораздо быстрее света. Против него ополчился весь научный мир. Физики и математики всех стран объединились, чтобы разгромить Поля. Но он предложил серию абсолютно непровержимых решающих опытов, и даже злейшие враги вынуждены были признать его правоту. Его все еще называли молодым ученым из Атомного центра в Клермоне. На самом же деле он был физиком № 1 всей Земли.

Он продолжал жить очень скромно в своей маленькой квартирке, и каждое воскресенье мы отправлялись с ним в горы. На обратном пути после одной из таких прогулок Поль наконец заговорил. Он пригласил меня к себе. Его рабочий стол был завален рукописями. Видя, что я паправляюсь к столу, Поль хотел было меня удержать, но потом весело рассмеялся.

— На, читай!—сказал он, протянув мне один листок.

Он был покрыт какими-то кабалистическими знаками, причем это были не математические формулы, а непонятный, странный алфавит.

— Да, я заказал специальный шрифт. Мне гораздо удобнее пользоваться им, чем вашими буквами. К ним я так и не мог до конца привыкнуть.

Я смотрел на него, ничего не понимая. И тогда очень осторожно и мягко он сказал:

— Да, я Поль Дюпон, твой старый друг Поль, которого ты знаешь с пеленок. Я *по-прежнему* Поль Дюпон. Но в то же время я Орк Акеран, Верховный Координатор эпохи Великих Сумерек. Нет, я не сошел с ума,—продолжал он.—Хотя я прекрасно понимаю, что эта мысль может у тебя появиться. Однако выслушай меня, я хочу наконец кое-что объяснить.

На миг он задумался.

— Не знаю даже, с чего начать. Ну да ладно! Историю Орка до того, как он встретился с Полем Дюпоном, ты прочтешь когда-нибудь в этой рукописи. Историю Поля Дюпопа ты и так знаешь не хуже меня, во всяком случае, вплоть до той знаменательной августовской ночи. Поэтому я начну с того момента, когда в разгар грозы стоял возле генератора.

Рядом со мною был этот славный работяга Мальто. Я хорошо помню, как внезапно воздух резко насытился электричеством и как я приказал Мальто уходить. Если бы он не послушался, возможно, он сейчас был бы великим физиком, а я так и остался бы рядовым инженером. Хотя, с другой стороны, не знаю, достаточно ли развит его мозг, чтобы вместить сознание Орка. Итак, не успел я отойти от генератора, как меня залил поток яркого света. Ты его видел издали, и он показался тебе фиолетовым. Механику тоже. Но для меня он был синим. Удивленный, я остановился. Свет медленно пульсировал. Я чувствовал головокружение, казалось, я ничего не вижу и могу парить над

землей. И вдруг я с ужасом увидел в воздухе прямо перед собой неясную, призрачную человеческую фигуру. Она коснулась меня. О, как передать тебе это странное ощущение прикосновения изнутри! Вот тогда-то я и крикнул: «Нет! Нет!» Затем все во мне взорвалось, словно мозг распадался на атомы, словно я умирал и боролся со смертью. Помню только, как яростная воля к жизни вспыхнула во мне, а потом — бездонная тьма.

Когда я очнулся, ты был рядом со мной. И у меня было странное чувство, что я тебя узнаю и в то же время не узнаю. Вернее, я знал, что ты — Перизак, но одновременно знал, что ты должен быть Кельбиком, хотя ты на него совершенно не похож. В моей памяти боролись два воспоминания, одно — о грозовой ночи и другое — о ночи великого опыта, который я проводил, когда... когда с Орком случилось это несчастье, для меня до сих пор необъяснимое. Тебе, наверное, приходилось видеть очень яркие сны, после которых спрашиваешь себя, не является ли реальная жизнь сновидением, а сон явью? Ну так вот, нечто подобное происходило со мной — с той лишь разницей, что это чувство не исчезало! Понимаешь, я знал, что был Полем Дюпон-ом, и в то же время знал, что был Орком.

Ты заговорил со мной, и, естественно, я тебя спросил: «Анак оэ на?», то есть «Где я?», как и полагается в подобных случаях. И я был очень удивлен, что ты меня не понимаешь. Ты следишь за моей мыслью? Во мне два человека. Я Орк-Дюпон или Дюпон-Орк, как тебе угодно. У меня одно сознание, одна жизнь, но две различные памяти, которые слились. Память Поля, твоего друга, инженера-электрика, встретилась с памятью Орка, Верховного Координатора. Для Поля это произошло в 1972 году, а для Орка... Дорого бы я дал, чтобы это определить! Очень быстро я сообразил, что личность Орка надо скрывать — иначе меня бы просто заперли в сумасшедший дом. Мне нужно было подумать, поэтому я симулировал переутомление и взял отпуск. Я решил запово прослушать курс физики, чтобы потом понемногу открывать людям свои знания — знания Орка! Разумеется, я мог делиться с вами только крохами: если бы я открыл все, ваша цивилизация не выдержала бы подобного удара.

Для начала я тщательно изучил вашу историю, применяя особый метод апализа, наши социологи пользуются им ископ веков, и он входит у нас в курс обязательного

обучения во всех университетах как один из элементов общей культуры. Я обнаружил, что большая часть тех открытий, которые я намеревался обнародовать, так или иначе будут сделаны вашими теоретиками и экспериментаторами в течение ближайших десятилетий. Поэтому, слегка ускорив прогресс, я не нарушу общего закона развития. Остальные знания останутся при мне и уйдут вместе со мной. К тому же многого вы просто не сможете понять, и вовсе не из-за недостатка интеллекта, а из-за отсутствия материальной основы. Таким образом, я ничем существенно не изменю ваше будущее, которое для меня — бесконечно далекое прошлое.

Да, мои знания умрут вместе со мной, — повторил он тихо. — Разве что...

— Договаривай! — сказал я.

— Разве что мне удастся вернуться туда!

В течение следующих лет я часто и надолго уезжал по делам в Африку. Каждый раз по возвращении мы встречались с Полем. Он больше ничего не публиковал, зато лихорадочно работал в своей частной лаборатории, построенной по его указаниям. За время моей второй поездки он женился на Анне, студентке физического факультета, а за время третьей — у них родился сын. Катастрофа произошла, когда я вернулся в четвертый раз.

Я приехал в Клермон поздно ночью и с раннего утра отправился прямо в лабораторию Поля. Она стояла на невысоком холме в уединенном месте, в нескольких километрах от города. Когда я уже сворачивал с шоссе на боковую дорогу, в глаза мне бросилась крупная надпись на щите:

ВЪЕЗД ВОСПРЕЩЕН! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

Я не остановился, полагая, что ко мне это предупреждение не относится. Но едва я выехал на лужайку перед домом, как волосы встали у меня на голове дыбом и длинная фиолетовая искра проскочила между рулем и приборной доской. Я резко затормозил. Всю лабораторию заливал дрожащий фиолетовый свет, который я сразу узнал. За стеклом большого окна я увидел высокую фигуру Поля. Он поднял руку, то ли приказывая остановиться, то ли прощаясь со мной. Фиолетовое сияние сделалось вдруг ослепительным, и я зажмурился. Когда я снова открыл глаза, все уже вошло в пору, но у меня было предчувствие, что

случилось нечто непоправимое. Я выскочил из машины и плечом высадил дверь, запертую на ключ. Изнутри повалил густой дым, поднимаясь клубами в безоблачное небо. Лаборатория горела. С трудом отыскал я Поля: он лежал рядом с каким-то страным аппаратом. Я наклонился над своим другом: он был, видимо, мертв, на губах его застыла улыбка. Возле него недвижно лежала Анна.

Я вынес ее наружу, вернулся за Полем и с огромным трудом вытащил из дому его длинное тяжелое тело. Едва успел я уложить его рядом с жепой на траву, как в доме раздался глухой взрыв, и пламя в миг охватило все здание. Я уложил их в машину и па предельной скорости помчался в городскую больницу, хотя падеяться можно было только на чудо. Увы, чудес не бывает! Они оба были мертвы.

Вот и вся история. Военные и гражданские власти произвели тщательнейшее расследование, переворошили и просеяли на пожарище весь пепел, по ничему не обнаружили. У себя в лаборатории я нашел толстую рукопись в запечатанном конверте. Накануне Поль сам принес этот пакет и вручил моему ассистенту. Эти страницы вы прочтете.

Контуры будущего

Это я, Орк, говорю с вами, Орк Акеран, Верховный Координатор эпохи Великих Сумерек, который пока еще необъяснимым способом был перенесен в такое далекое прошлое, что мы, люди Эллеры — по-вашему Земли, — не знаем об этом времени почти ничего.

Я хочу немного приподнять завесу будущего перед моими сегодняшними современниками.

Для начала — несколько исторических сведений. Их немного.

С геологической точки зрения вы приближаетесь к концу вашей эры. Я не знаю, угрожает ли вам повая война, которая, как вы опасаетесь, может разрушить вашу цивилизацию. Эти подробности до нас не дошли. Зато я могу сказать, что вы, кроме Луны, где уже высадились, освоите еще несколько планет. Потому что мы обнаружили ваши следы на Марсе и на Венере. Сомневаюсь, однако, чтобы вы там укрепились надолго, потому что таких следов мало — я сам видел их на Венере. Вы оставили Венеру в ее первозданном состоянии, не попытавшись даже приспособить эту планету для человека. Возможно, ваши инопла-

нетные работы были прерваны войной, но скорее всего — пятым оледенением, которое по времени было близко и наступило внезапно. Мне легко представить, что тогда произошло. Ваша техника была слишком слаба, чтобы бороться с наступлением льдов, несмотря на то что вы овладели атомной энергией и что посеянные мною идеи тоже скоро принесут свои плоды. Должен предупредить вас: использование атомной энергии против оледенения без эффективного контроля над погодой в конечном счете лишь ускорит оледенение. Это приведет к ожесточенной борьбе за свободные ото льда экваториальные земли. И тогда начнутся Первые Сумерки человечества, предшественники тех, которые известны нашим историкам.

Пятый, шестой и седьмой ледниковые периоды, видимо, будут следовать один за другим с короткими интервалами, насколько я помню лекции по земледоведению. Сомневаюсь, чтобы за эти небольшие промежутки люди хотя бы однажды достигли уровня вашей цивилизации. Во всяком случае, мы не пашли этому подтверждений. Зато после седьмого оледенения начнется длительный цикл — я не знаю причин, но наши геологи могли бы все объяснить, — цикл, который продолжался бы миллионы лет, если... Но не буду забегать вперед.

После седьмого оледенения человечество начало почти с нуля, с уровня культуры, подобной вашему верхнему палеолиту с незначительными вариациями. Наши геологи считают, что все эти ледниковые периоды с промежуточными оттепелями продолжались примерно 200 тысяч лет и еще 10 тысяч лет понадобилось людям, чтобы перейти от пещерного существования к первым поселениям и наконец к настоящей цивилизации. Я родился в 4575 году этой новой эры.

Кто же мы, ваши далекие потомки? Рискую жестоко разочаровать многих ваших пророков, скажу, что мы остались почти такими же, как вы. Черепная коробка не достигла у нас чудовищного объема, мы не облысели, не потеряли ни ногтей, ни зубов: и то, и другое, и третье у нас куда лучше ваших! Мы не превратились ни в хилых карликов, ни в полубогов, хотя средний рост у нас много выше. У нас сохранилось по пять пальцев на руках и ногах, хотя мизинец на ногах и стал более рудиментарным. Мы не стали телепатами или ясновидцами и не овладели телекинезом. Но кое-какие изменения произошли: различные расы слились

в одну, кожа у нас, в общем, темнее, но скорее смуглая, чем темная, и у большинства из нас черные волосы и карие глаза. Тем не менее среди нас встречаются блондины и люди со светлыми глазами: у меня, кстати, глаза серые. Однако важнее всего были внутренние изменения: количество и плотность мозговых извилин у нас увеличились, и люди стали умнее, хотя и не превратились в гениев. Просто исчезли индивидуумы с низким уровнем интеллекта. А что касается гениев, то они у нас так же редки, как и в ваше время.

Человечество сохранилось лишь на одном огромном острове Киобу, который вскоре стал единым государством. Затем люди вновь расселились по всей Земле, но у нас всегда сохранялась единая великая цивилизация с незначительными вариантами. Однообразие этой цивилизации, однако, замедляло развитие, что приводило к долгим периодам застоя, иногда даже регресса, которые наши историки называют «сумерками».

Примерно в 1840-х годах со дня объединения острова Киобу начался наш первый период великих открытий. Мы вновь изобрели паровую машину, затем электричество и наконец где-то в 1920-х годах мы начали использовать атомную энергию. (Совпадение дат с датами вашей эры наводит меня на мысль, что, должно быть, существует естественный ритм человеческого прогресса!) Менее чем через двадцать лет — у нас не было военных тайн, которые так мешают науке! — первая экспедиция отправилась на Луну, где мы, к величайшему своему изумлению, обнаружили следы человеческого пребывания. Но могу вас заверить, вы были там первыми! Немного позднее, в 1950-х годах, мы высадились на Марсе, где тоже нашли свидетельства вашего пребывания, а затем, в 1956 году, мы достигли Венеры. По совести говоря, долгое время мы думали, что прибыли туда первыми, пока я сам не сделал сенсационное открытие. Но об этом позже.

Луна, как вы знаете, бесплодна, не имеет атмосферы, и жизни на ней не было никогда. На Марсе существовала раса разумных существ, однако даже следов их цивилизации долго не удавалось обнаружить, пока наш археолог Клобор не нашел подземный город. Что касается Венеры, она оказалась окруженной плотным облаком формальдегида, лишенной жизни и непригодной для жизни. Однако это нас не смутило. Наша наука шла вперед гигантскими

шагами, и вскоре нам удалось полностью изменить атмосферу этой планеты.

Когда Венера стала пригодной для жизни, ее быстро колонизовали. А Марс остался главным образом планетой для исследований, рудных разработок и космодромом для полетов к дальним планетам. Отсюда же мы пытались достичь звезд.

С 2245 до 3295 года продолжалось то, что мы называем «Тысячелетием мрака». Внезапно Земля была захвачена и поработана. Пришельцы из космоса, обладавшие неизвестным вооружением, обрушились на людей. За несколько кровавых недель они сломали всякое сопротивление и стали хозяевами планеты почти на целую тысячу лет. В них не было ничего человеческого: они походили на бочонки, стоявшие на восьми лапах с семью щупальцами сверху. Долгое время люди страдали и покорялись молча, но в тайных лабораториях под землей немногие уцелевшие ученые день и ночь искали оружие, которое принесло бы освобождение. И наконец они нашли его — культуру вируса, смертельного для захватчиков, но безвредного для человека. Враг так и не догадался, что уничтожившая его эпидемия была делом наших рук. В конце концов он сдался, и однажды утром все его звездолеты покинули Землю, унося уцелевших — всего одну тысячную от общего их числа! Перед отлетом они разрушили все, что успели построить, и можно было бы сказать, что человечество потеряло тысячу лет зря, если бы пришельцы не оставили после себя одну неоценимую вещь: представление о космомагнетизме, который стал основой нашего могущества. Позднее я объясню, что это такое.

Период после отлета друмов (я не без удивления узнал, что на вашем английском языке это слово означает «барaban» и довольно точно передает представление о внешности пришельцев) был периодом восстановления. Люди были по большей части безграмотны, ученых почти не осталось, источников энергии — и того меньше. Однако наша цивилизация с помощью колонистов с Венеры, на которую друмы не обратили внимания, снова рванулась вперед, и в 4102 году мы сделали величайшее из наших открытий — открытие сверхпространства. Мы думали, что теперь нам доступна вся Вселенная!..

До этого мы с помощью реактивных, а потом космомагнетических кораблей исследовали всю Солнечную си-

стему. Однако даже космомагнетические корабли не могли достичь скорости света, тем более ее превзойти. И хотя в природе существуют излучения более быстрые, чем свет, скорость света действительно остается непреодолимым барьером для всех тел, обладающих электромагнитными свойствами.

Мы уже решили послать на ближайшую звезду космомагнетический корабль, когда Сникал открыл эффект сверхпространства. Это было как гром с ясного неба. Даже друмы вряд ли пользовались перелетами через сверхпространство, хотя их научные познания были гораздо выше наших. Сникал для начала доказал существование сверхпространства, затем возможность его использования. Все физические лаборатории занялись этой проблемой, и три года спустя мы начали строить первый сверхпространственный звездолет.

Он покинул Землю на тридцатый день 4107 года. Экипаж состоял из одиннадцати мужчин и тридцати трех женщин. Этот звездолет исчез без следа. Второй отправился в 4109 году, третий в 4112-м, а затем ежегодно улетало по звездолету, и так продолжалось до 4125 года. Лишь один из этих кораблей вернулся на Землю в 4132 году.

И тогда мы узнали печальную истину. Да, через сверхпространство мы можем достичь любой точки Галактики и даже выйти за ее пределы, но мы не знаем, куда приведет нас очередной скачок, и практически не имеем возможности вернуться обратно на Землю!

Одиссея «Тхиусса», звездолета, который вернулся, продолжалась почти двадцать лет. Он вынырнул из сверхпространства вблизи Солнечной системы, которая так и осталась неизвестной. Одиннадцать планет ее вращались вокруг звезды типа Д2. Две из них были пригодны для жизни, но на них не нашли никого, кроме животных. Небо, совсем не похожее на наше, по ночам озаряли гигантские звезды. Пять лет разведчики исследовали эту Солнечную систему, затем собрались в обратный путь. Тщательно перепроверив все расчеты, они ушли в сверхпространство.

Вынырнули они почти в абсолютной тьме, где-то между нашей Галактикой и Туманностью Андромеды. Видимо, что-то не ладилось. Они заново сориентировались на нашу Галактику и сделали новый «скачок». В этот раз они вынырнули так близко от гигантской звезды, что им пришлось тотчас вернуться в сверхпространство. И так про-

должалось в течение долгих лет, с короткими остановками на гостеприимных планетах, которые им время от времени попадались. Лишь по чистой случайности экипаж «Тхиуса», поредевший на три четверти из-за неведомых болезней и незнакомой пищи с чуждых планет, сумел наконец вернуться на Землю. Собранные ими данные были проанализированы, и ученые пришли к выводу, что в сверхпространстве нарушается связь причин и следствий, что понятие направления, по существу, теряет там смысл. Так на долгое время была похоронена, пожалуй, самая древняя мечта человечества — добраться до звезд! О, не думайте, мы не потеряли надежды, и поиски продолжались. Но мы еще не нашли решения, когда надвинулись Великие Сумерки.

Что касается остальных звездолетов, то о них мы ничего не знали. Может быть, они погибли в неведомых галактиках? А может быть, их экипажи, изнуренные годами блужданий среди звезд, в конце концов поселились на каких-нибудь планетах? Лишь много позднее мы частично получили ответ на эти вопросы.

Не желая сдаваться, мы вновь сосредоточили все наши усилия на космомагнетических двигателях. Они были изобретены, вернее, вновь открыты людьми, потому что друмы их знали, в 3910 году. Питающую их энергию за неимением более точного термина мы называли космическим магнетизмом. Космомагнетизм является основной силой, связывающей все, от атомов до галактик. Вся наша Вселенная пронизана силовыми полями этого типа, и с их помощью корабль может развивать скорость порядка восьми десятых скорости света. Для этого необходимо создать нечто вроде однополюсного космомагнита (пример очень грубый, но и его достаточно), и таким образом...*

Итак, мы вернулись к старому проекту Брамуга. В 4153 году космомагнетический корабль начал разгон в пределах солнечной системы, за орбитой Гадеса, последней планеты нашей Галактики, достиг половины световой скорости и направился к ближайшей звезде...

Учитывая время, необходимое для разгона и торможения, корабль должен был вернуться через двенадцать лет. Но вернулся менее чем через пять, в начале 4158 года. И мы узнали причину нашей новой неудачи. Каждая звезда окружена космомагнетическим полем, которое распро-

* Нижняя часть страницы отрезана ножницами.

страняется до такого же поля соседней звезды. На месте соприкосновения двух полей возникает своего рода барьер потенциалов, который нисколько не влияет па различные излучения, но совершенно непреодолим для материальных тел, не обладающих определенной критической массой. Наш звездолет постепенно начал терять скорость, затем был остановлен, и все усилия прорваться вперед оказались тщетными.

Однако совершенно очевидно существовал какой-то способ преодолеть это препятствие, поскольку звездолеты друмов его преодолели! Но и этот способ мы не успели открыть до начала Великих Сумерек.

Расчеты показывали, что для преодоления незримого барьера звездолет должен обладать массой почти такой же, как масса Луны! Или скорость звездолета должна быть близкой к световой.

Но пока мы не обнаружили способа друмов или какого-нибудь иного, мы не могли вырваться из нашей космической тюрьмы.

Теперь я должен кое-что рассказать о нашей жизни, столь не похожей на вашу.

С географической точки зрения поверхность Земли в целом не особенно изменилась. По-прежнему существовало два больших континентальных массива — Евразия-Африка и обе Америки, только более слитные, чем сегодня, потому что Мексиканский залив исчез и стал сушей. Но в наше время в центре Атлантики возник большой остров, сильно вытянутый с севера на юг, с хребтом невысоких гор по всей его протяженности. Он появился, очевидно, довольно неожиданно во время седьмого ледникового периода на месте теперешнего подводного хребта в Атлантическом океане, где глубины относительно невелики.

Общее население Земли в наше время достигало пяти миллиардов. Оно сосредоточивалось главным образом в 172 гигантских городах, из которых самый большой, Хури-Хольдэ, расположенный примерно на месте теперешней Касабланки, насчитывал 90 миллионов жителей. Поэтому обширные пространства оставались почти необитаемыми, и на них в изобилии размножались дикие животные, избежавшие гибели от руки человека — от ваших рук! Ибо мы получали продукты питания частично со своих полей, частично из океанов, но главным образом за счет искусственного фотосинтеза.

Строения Хури-Хольдэ вздымались на тысячу метров в высоту и уходили на 450 метров под землю. В них было до 580 уровней, и они располагались неровным кругом диаметром до 75 километров. Здания не теснились друг к другу, а стояли свободно среди зеленых парков, разбитых на разных уровнях. На северном краю города у берега моря возвышался дворец Большого Совета, где заседали Совет Властителей наук, правительство и где на нижних уровнях размещались университеты. Между дворцом и морем был обширный парк с многочисленными стадионами и Музеем искусства.

Наша общественная структура покажется вам непонятной и даже немыслимой. Дело в том, что на Земле тогда жило как бы два народа: текны и триллы.

Текнами, составлявшими ничтожное меньшинство населения, были ученые, исследователи, инженеры, врачи и некоторые категории писателей. Я часто спрашиваю себя, не происходит ли это название от вашего слова «техник». Это отнюдь не было замкнутой или наследственной кастой. Каждый ребенок, в зависимости от его способностей и наклонностей, к шестнадцати годам получал звание текна или трилла. Трилл, который позднее проявлял какие-либо способности к науке, мог ходатайствовать о переводе его в категорию текнов. Но это случалось редко.

Основой нашей цивилизации было представление о науке как о могучем, благотворном и... очень опасном оружии! Лучше пребывать в неведении, чем быть полубразованным дилетантом, и тайны науки ни в коем случае нельзя доверять людям сомнительной нравственности. Каждые юноша или девушка, отнесенные к текнам, должны были торжественно поклясться перед Советом Властителей, что они никогда никому не откроют никаких научных знаний кроме тех, которые можно распространять. Зато среди текнов никаких ограничений не существовало, и между собой они могли свободно обсуждать любую проблему, даже если они работали в разных областях. За малейшее нарушение этого закона текна ждала страшная кара: пожизненное изгнание на Плутон без малейшей надежды на возвращение.

Что касается триллов, то они были механиками, которые, кстати, довольно часто переходили в разряд текнов, кормильцами (категория, охватывающая ваших пекарей, мясников, бакалейщиков и т. д.), актерами, художниками,

писателями. Между двумя группами не было ни соперничества, ни вражды, потому что звание текна в обычное время не давало ему никаких общественных преимуществ. Поэтому зачастую в одной семье были и триллы, и текны, и сын пекаря мог занимать пост Властителя неба, а его сын в свою очередь мог снова стать пекарем. В этом смысле каждый ребенок от рождения имел поистине одинаковые права, и наше общество было подлинно демократическим.

У триллов было свое правительство. В случае конфликта между текном и правительством дело разбирал Большой Совет из представителей правительства и Совета Властителей. Если же дело заходило в тупик, Большой Совет обращался к третьей группе, состоявшей всего из 250 человек — членов Верховного Суда. Мы были гораздо либеральнее в сексуальных вопросах и допускали полигамию. У нас осталось несколько различных религий, одна из которых весьма напоминала христианскую и, возможно, даже происходила от нее. Однако большинство моих сограждан были атеистами. Мы уже давно осуществляли контроль над рождаемостью, не прибегая, впрочем, ни к каким принуждениям. Правительство триллов и Совет Властителей действовали методами воспитания и убеждения и в обычное время почти никогда не прибегали к силе. И вас, наверное, удивит в ваш век нетерпимости и фанатизма, что самым большим пороком, самым дурным тоном как среди текнов, так и среди триллов считалась претензия на непогрешимость, на единоличное обладание истиной, Абсолютной Истиной!

А теперь перехожу к истории Великих Сумерек.

Солнце скоро взорвется!

Я родился в Хури-Хольдэ, в доме 7682 на довольно зеленой, как сказали бы вы, улице Станатин, на сто двенадцатый день 4575 года. У меня был старший брат Сарк, который хотя и мог войти в категорию текнов, тем не менее предпочел стать триллом и вскоре сделался одним из наиболее прославленных художников Хури-Хольдэ. Мой отец Раху, также трилл, был пусть не гениальным, но довольно известным драматургом. Моя мать Афия была текном, астрофизиком обсерватории Тэфантиор в Южном полушарии.

Детство мое прошло безоблачно, без особых происшествий. В школе я довольно скоро выдвинулся благо-

даря способности быстро и жадно усваивать любые научные знания, и к двенадцати годам стало ясно, что я буду текном.

В пятнадцать лет, на год раньше срока, я сдал психотехнический экзамен получил звание текна. После этого я ушел из общей школы и до восемнадцати лет учился на подготовительных курсах университета. По окончании их я должен был принести клятву текна.

Никогда не забуду этого дня. Накануне я выдержал другой экзамен. Одновременно он был испытанием моей честности, хотя я этого не знал. Я сидел совершенно один в комнате, ломая голову над задачами, а неподалеку на столе лежал случайно забытый учебник с объяснениями и решениями. Я провел в этой комнате несколько самых страшных часов. Мне сказали, что, если я не решу задач, моя квалификация текна будет пересмотрена. Я подозревал, что забытый учебник — ловушка, и в то же время знал твердо — потому что мог это проверить, — что никто за мной не следит. Но я преодолел искушение и сдал экзаменатору почти чистый листок. Из шести задач мне удалось решить лишь одну, да и то, как сказал позднее Властитель чисел, совершенно необычным способом. И хорошо, что я не сплутовал — меня бы просто вынали из текнов без всякой жалости!

Утром перед клятвой я в последний раз надел свою обычную светлую одежду. Отныне и до конца жизни мне предстояло носить темно-серое одеяние текнов. Меня привели на самый верхний уровень Дворца Большого Совета, в Зал Посвящений, как мы его называли, и я предстал перед Советом Властителей. Они все были там, даже Властители с Марса и Венеры, и восседали за большим хромированным столом в форме полумесяца. Зал был огромен, я чувствовал себя жалким и потерянным — совсем один перед лицом этого собрания величайших умов.

Траг, Властитель-координатор, поднялся и медленно заговорил:

— Орк Акеран, ты удостоен чести называться текном. Сейчас ты принесешь клятву. Но прежде чем ты это сделаешь, я хочу в последний раз предупредить тебя, что твое назначение не даст тебе никаких привилегий, ни общественных, ни личных. Подумай как следует в последний раз. Закон текнов гораздо суровее и требовательнее закона триллов, и отныне тебе придется ему подчиняться. На спе-

циальных лекциях по истории ты узнал, какие ужасные беды обрушились на наших предков, слишком легкомысленно относившихся к науке. Став текном, ты будешь нести тяжкую ответственность перед всем человечеством, нынешним и будущим. Итак, ты решился?

— Да, Властитель.

— Хорошо. Клянись!

— Памятью тех, кого уже нет, перед теми, кто есть и кто будет, я, Орк Акеран, клянусь не разглашать без разрешения Совета Властителей никаких научных открытий, которые я могу сделать в своей или в какой-либо иной области. Я клянусь ни из гордости, ни из тщеславия, ни из корысти или по небрежению, или тем более по политическим расчетам никогда не сообщать никому, кроме текнов, ни слова, ни имени без особого разрешения Совета Властителей. Точно так же клянусь не разглашать открытий других текнов, и, если себе и людям на горе я нарушу эту клятву, обещаю без возражений принять справедливую кару. Единственное исключение из этого закона возможно только в том случае, если сообщенные мною сведения смогут спасти человеческую жизнь, но и тогда я всецело отдамся на суд Властителей, и только они решат, прав я был или нет.

Вот и все. Я получил серое одеяние текна и вернулся в университет. Через два года я специализировался по астрофизике. После этого еще четыре года мне пришлось работать в лунной обсерватории Теленкор, расположенной в цирке Платона. Наконец, опубликовав в специальных изданиях для текнов несколько статей, которые вызвали некоторый интерес, я попросил перевести меня в астрофизическую обсерваторию Эрукои на Меркурии, откуда велись наблюдения за Солнцем.

Два года провел я в обсерватории Эрукои. Там был целый научный городок, расположенный у подножия Теневых гор на терминаторе, на 10° северной широты. Над поверхностью выступали только четыре купола с антитермическим покрытием. Два из них находились в зоне сумерек, почти на границе знойной зоны, и два других — в зоне вечной ночи. Зато подземные сооружения простирались далеко под поверхностью знойного полушария, где в различных местах рядом с зеркалами, улавливавшими солнечную энергию, были установлены различные автоматические обсерватории.

На Меркурии постоянно находилось не больше трехсот человек, мужчин и женщин, и все они были текнами. Я прибыл туда в тот день, когда мне исполнилось 25 лет. Космолет доставил меня в аэропорт на ночном полушарии. Я едва успел разглядеть голую замороженную почву, поблескивавшую в свете прожекторов, и лифт унес меня в подземелье.

Несколько дней спустя наша маленькая группа поднялась на поверхность. Нас окружала ледяная ночь. Неподвижные звезды ярко сверкали, ослепительный свет Венеры отбрасывал на почву наши резкие тени. Мы сели в массивный экипаж, специально сконструированный для малых планет со слабым притяжением. За рулем был Сни, который прибыл в Эрукои на полгода раньше меня, а впоследствии стал моим ассистентом.

Мы двинулись к терминатору. По мере приближения к нему темнота медленно рассеивалась. Вершины Теневых гор, расположенных у границы ночной зоны, сверкали на фоне черного неба, освещенные косыми лучами Солнца. Они казались нереальными, словно висящими в пустоте над странно переливающимися тенями, которые и дали им это название — Теневые. Мы прослали мимо блоков № 1 и 2 и проникли в знойную зону. Фильтрующие экраны мгновенно оградили нас от слепящего света. Я слышал, как потрескивает от жара броня машины.

— Расширение, — коротко объяснил Сни. — Внешняя анти-термическая броня — из подвижных пластин, вот они и ходят.

Наша машина не позволяла далеко углубиться в освещенную зону. В центре освещенного полушария температура превышала 700° от абсолютного нуля. Я побывал там лишь однажды, воспользовавшись подземным туннелем, чтобы осмотреть главную солнечную энергоцентральный, расположенную в глубине долины. Ее мощные генераторы работали, используя перегретый ртутный пар.

Мы добрались только до 3° долготы. Почва Меркурия — это сплошное нагромождение глыб, растрескавшихся от резких температурных колебаний еще в те далекие времена, когда планета вращалась вокруг своей оси. Иногда передо мной вздымались мрачные голые скалы, иногда попадались долины, заполненные тончайшим сыпучим пеплом, в котором можно было утонуть, как в воде. Нет слов, чтобы описать мертвящий ужас этих равнин, над ко-

торыми вздымаются черные вулканы на фоне спящего неба, где пылает безумное Солнце!

Жизнь в подземном городке немного напоминала жизнь на ваших полярных станциях. Нас было достаточно много, чтобы зрелище одних и тех же слишком знакомых лиц не вызывало неприязни. Наоборот, нас всех, или почти всех, связывала тесная дружба. Нас объединял «меркурианский дух», как мы говорили, и он сохранялся даже на Земле, возрождаясь на наших вечерах «бывших меркурианцев». Все здесь были добровольцами, и лишь немногие просили сократить им нормальный трехгодичный срок. Наоборот, большинство рано или поздно снова возвращались на Меркурий. Некоторые даже родились здесь, например старина Хорам, единственный человек, который действительно знал всю эту планету. С нежностью говорил он о ее ледяных пустынях и раскаленных плато.

Год спустя я стал директором обсерватории, а Сни — моим ассистентом. Это был довольно мрачный человек, великолепный физик, правда недалекий, но абсолютно надежный.

Мои исследования заставляли меня проводить много времени в подземной лаборатории глубоко под блоком № 3. Я обрабатывал данные о деятельности Солнца, собираемые семью автоматическими обсерваториями на знойном полушарии, и вместе со мной, кроме Сни, трудилось еще пять молодых физиков.

Каждые два месяца космолет с Земли доставлял оборудование, продукты, которые как-то разнообразили наше меню, состоявшее в основном из плодов гидропонных теплиц, и новости.

Однажды около полудня я разрабатывал свою теорию о солнечных пятнах, когда вдруг обнаружил, что, если мои расчеты верны, скоро настанет «конец света». Помню, как я был ошеломлен, как не верил самому себе, двадцать раз проверял расчеты. Я пришел в ужас!словно безумный выбежал я из лаборатории, поднялся на поверхность в освещенном полушарии. Солнце, висевшее низко над горизонтом, пылало в небе как всегда. И тем не менее, если я не ошибался, это светило должно было в ближайшем будущем — через сто лет, через десять, завтра, а может быть, через секунду — взорваться и уничтожить огненным ураганом Меркурий, Землю и всю Солнечную систему!

Я ринулся в свою лабораторию, заперся там и, не гово-

ря никому ни слова, проработал без передышки, не отходя от компьютера, почти шестьдесят часов. Я не ел, не пил и поддерживал силы только возбуждающими таблетками. Человек — любопытнейшее создание! Когда я высчитал, что взрыв Солнца неизбежен, но произойдет не раньше чем через десять-пятнадцать лет, я разразился торжествующим смехом и, несмотря на усталость, пустился в пляс, распевая во всю глотку и опрокидывая столы и стулья. Затем я постепенно успокоился. Нужно было срочно предупредить Совет Властителей Наук. Я попросил директора обсерватории немедленно послать на Землю запасной космолет с моим сообщением. Через несколько дней космолет возвратился; на нем прибыл сам Властитель неба Хани. Он оказался высоким стариком с холодными голубыми глазами и холеной, по-старомодному длинной седой бородой. Он сразу же прошел в мою лабораторию в сопровождении своей внучки Рении, прелестной блондинки, геофизика из института Властителя планет Снэ. Я изложил Хани свой новый метод расчетов и результаты, к которым пришел. Он долго проверял мои вычисления. Все было точно. Хани поднял глаза, обвел взглядом тихую пустую лабораторию, печально посмотрел на внучку, затем на меня.

— Орк,—сказал он,—мне жаль, что вы не ошиблись в своих расчетах. Если бы не они, вы когда-нибудь сами стали бы Властителем...

Мы долго сидели молча. Я смотрел на Рению. Она не дрогнула, когда я излагал результаты своих вычислений. Ее зеленые глаза затуманились, но тонкие, правильные черты лица сохранили выражение спокойной решимости. Она заговорила первой:

— Неужели мы ничего не можем сделать? Неужели человек жил напрасно? Может быть, лучше отправиться на звездолетах сквозь сверхпространство хоть куда-нибудь?

— Я думал о другой возможности,—сказал я.—Похоже — во всяком случае, сейчас мне так кажется,—взрыв достигнет только орбиты Урана или, на худой конец, Нептуна. Вряд ли Солнце превратится в обычную, сверхновую звезду — мы имеем дело с чем-то совершенно особым. И если нам удастся отвести Землю на достаточное расстояние...

— Именно это и нужно сделать,—прервал меня Хани.— Но успеем ли мы? Десять лет слишком малый срок! Я останусь на месяц с вами. В конечном счете все ваши выводы основаны только на наблюдениях последнего полу-

годия. Я затребую из архивов все, что относится к новым звездам и к деятельности Солнца за последние годы. Мы вместе продолжим вашу работу, а там посмотрим.

За исключением Хани, Рении и моих непосредственных помощников, никто на Меркурии, даже астрономы, не подозревал о жестокой истине. Считалось, что Хани прибыл на Меркурий для проверки нашей работы — иногда это бывало, хотя и редко.

Я взялся за работу вместе с Хани и почти каждый день виделся с Ренией. Казалось, старик не мог и часа обойтись без своей внучки. Только она могла его успокоить, когда он злился и нервничал.

Мы перепроверили все архивы о солнечной деятельности и все наблюдения последних лет. На Земле в это время целая армия астрофизиков изучала все, что было известно о новых и сверхновых звездах в начальной стадии их образования, и пересылала нам результаты на космолетах особого назначения. Чтобы отвлечь хотя бы на время любопытство астрономов, Хани распространил слух, будто он проверяет одну из моих теорий, согласно которой наиболее близкая к нам звезда, Этанор, вскоре превратится в сверхновую.

Воспользовавшись первым понавшимися довольно неопределенным предлогом, Совет Властителей наук через правительство триллов снова ввел закон Алькитта, который позволял Совету в случае необходимости мобилизовать все энергетические и людские резервы обеих планет. Постепенно, чтобы не вызвать огласки, начались подготовительные работы.

Наши расчеты позволили уточнить срок солнечного взрыва. Нам оставалось десять лет и шестьдесят четыре дня. Однако мы не могли рассчитывать больше чем на восемь лет — это было пределом, за которым кончался «запас прочности». Следовательно, через восемь лет Земля и Венера должны были удалиться от Солнца за орбиту Урана. О том, чтобы спасти другие планеты, не могло быть и речи, и одно время мы даже рассматривали всерьез проект, по которому колонистов Венеры предполагалось переселить на Землю. Но в конечном счете выяснилось, что эта операция плюс сооружение герметических подземных убежищ еще для семисот миллионов человек, а также сельскохозяйственных ферм, чтобы обеспечить их питанием, ока-

зались бы гораздо сложнее перемещения с орбиты самой Венеры.

Хани с Ренией отбыли на Землю, и лишь некоторое время спустя я почувствовал, как мне их не хватает. Я привык к старику, к его гневным вспышкам и грубому юмору, к неоценимой помощи, которую он мне оказывал. И должен признаться, что я так же привык к умиротворяющему присутствию Рении. С грустью поднимался я теперь на вершины Теневых гор.

Через полгода о грядущем взрыве Солнца сообщили всему человечеству, но лишь как о наиболее трагичном из возможных исходов. По решению Совета, одобренному правительством триллов, началось сооружение гигантских космомагнетических движителей на полюсах Земли и Венеры, которые должны были вывести обе планеты с их орбит. Еще некоторое время спустя вступил в силу закон Алькитта, и с этого момента все на обеих планетах было подчинено одной великой цели. Затем совершенно неожиданно я был отозван на Землю. В последний раз обошел я знакомые лаборатории, которые мне не пришлось больше увидеть, и улетел, оставив Сни своим заместителем и поручив ему продолжать наблюдения.

Я ничего не знал о причинах столь срочного вызова. Поэтому, наверное, был удивлен больше всех, когда приказом Совета Властителей меня вдруг назначили главой Солодины, вновь созданной организации для контроля над всей подготовкой к великому путешествию наших планет сквозь космос, с почти забытым древним званием Верховного Координатора.

Так в мои двадцать семь лет я оказался во главе организации, которая в той или иной степени контролировала всю жизнь двух планет!

Едва я вышел из космолета, как меня потребовали в Совет. Впервые после принесения клятвы текна я снова вошел в этот зал. На сей раз атмосфера была куда менее торжественной, зато более напряженной. Все Властители были в сборе, даже Властитель людей.

Я сел, и Тхар, Властитель машин, начал свой доклад. Гигантские космомагнетические движители будут готовы через три года и еще через год смонтированы и установлены. Раньше с этим не справиться, потому что невероятные размеры космомагнитов требуют разрешения множества совершенно новых проблем. Так, например,

прежде всего необходимо построить станки, способные обрабатывать огромные детали.

Затем заговорил Властитель планет Спэ: установка гигантских космомагнитов на полюсах требует решения сложнейших вопросов из области геологии и геофизики. Можно сравнительно легко растопить ледяной панцирь на Южном полюсе, но это вызовет значительный подъем уровня Мирового океана, который затопит целые страны. Поэтому лучше избавиться ото льда лишь на ограниченном участке, таком, какой необходим для космомагнита. Что же касается Северного Ледовитого океана, при глубине, достигающей почти километра, нечего и думать об установке в столь короткий срок надежного фундамента. Подводный космомагнит слишком сложен, и постройка его тоже требует много времени. Поэтому Спэ предлагал вместо одного космомагнита на Северном полюсе разместить кольцо из менее мощных движителей на суше, в наиболее высоких широтах.

Властитель энергии Псил ответил на это, что хотя такой проект и кажется ему единственно приемлемым, однако малейшее расхождение в синхронной работе малых космомагнитов вызовет избыточные напряжения земной коры, чреватые сейсмическими сдвигами.

Один за другим Властители высказывали свои соображения. Постепенно я начинал понимать, какая титаническая задача возлагалась на меня. Нужно было предусмотреть эвакуацию всех людей в подземные города с герметической изоляцией и автономным снабжением, законсервировать значительную часть атмосферного воздуха, создать подземные поля и гидропонные плантации, способные кормить все население в течение долгих лет. Разумеется, можно было бы оставить часть автоматических заводов фотосинтеза на поверхности, чтобы они использовали энергию сверхновой, но я надеялся, что к тому времени, когда она вспыхнет, мы будем уже далеко.

Величайшее из дел человеческих

Едва приступив к своим обязанностям, я был целиком захвачен работой координатора, которая вынудила меня полностью забросить мои собственные исследования. Я поручил продолжать их Сни, вызванному по моей просьбе на Землю. К тому же основная часть работы была уже сделана мною и Хани, а все остальные изыскания, не имев-

шие прямого отношения к великому путешествию, были приостановлены.

Здание директората в Солодине находилось на южной окраине Хури-Хольдэ, и я мог из окна любоваться прекрасной долиной Хур с ее бескрайними полями, лесами и спокойной рекой. Природа, навсегда избавленная от изгородей, телеграфных столбов и опор электролиний, которые так уродуют ее в вашу эпоху, была прекрасна как никогда!

Огромный метрополис с 90 миллионами жителей кончался сразу, и уже в пятидесяти метрах от городских утесов начинался кедровый бор. Всего несколько месяцев назад небо было заполнено легкими планерами, ибо парящий полет был у нас самым популярным спортом. Но сейчас планеры оставались в ангарах, и только космолеты земных линий как черные мухи возникали на горизонте, со свистом зависали над взлетными площадками, причем их пассажиры даже не чувствовали перегрузок благодаря антигравитационным и внутренним антиинерционным полям. И нигде ни одного наземного экипажа!

Из моего кабинета я видел уходившие за горизонт висячие сады и небоскребы Хури-Хольдэ. Однако ни один из них не достигал 1200-метровой высоты Солодины. На востоке возвышался курган Эроль, воздвигнутый две тысячи лет назад во время постройки города из отвалов породы, вынутой из подземных этажей. Всего полгода назад он был высотой в полтора километра, а теперь стал на триста метров выше, ибо люди и машины день и ночь углубляли и расширяли подземную часть Хури-Хольдэ, рыли огромные пещеры, где должны были зреть хлеба под искусственным солнцем, строили гигантские резервуары для сжиженного воздуха и воды. Свежие отвалы светло-коричневого цвета резко выделялись на склонах, буйно поросших лесами. По подземным путям, связывавшим их с Уром и Лизором, крупными городами-заводами, непрерывно поступали металл, цемент и всевозможные материалы. Подземелье содрогалось от грохота машин. То же самое происходило во всех земных городах, то же самое было и на Венере, столица которой Афрой насчитывала 80 миллионов жителей.

Проблема океанов прибавила немало седых волос и мне и моим помощникам. Хотя поверхность океанов в наше время уменьшилась, они все еще покрывали бóльшую

часть Земли. Сами по себе моря и океаны нас не волновали; они либо замерзнут, либо испарятся, чтобы потом выпасть ливнями, вот и все. Но они представляли собой неисчерпаемый резервуар жизни, и эта жизнь была для нас бесценным сокровищем, которое мы хотели спасти. Единственным выходом было сооружение подземных водоемов. Нам так и не удалось найти решения всех этих вопросов. Группа биологов составила список лишь тех видов, которые необходимо было сохранить любой ценой.

Наконец-то я смог отправиться в инспекционный полет для осмотра геокосмосов. Я начал с Южного полюса. Собственно, я прекрасно знал о ходе работ по докладам, поступавшим каждую неделю, а также благодаря телевидению и частым беседам, которые вел из Хури-Хольдэ с Ренией и другими техническими работниками. Но я хотел видеть собственными глазами эту гигантскую строительную площадку. Поэтому я вызвал свой космолет и с удовольствием сел в кресло пилота.

Сразу же я поднялся на высоту более тридцати километров. На этой высоте не было грузовых космобусов, а межпланетные корабли следовали по строго определенным маршрутам. Опасность столкновения здесь была почти исключена, поэтому я разогнался до 10 тысяч километров в час.

Когда я приземлился, сияло Солнце и ледяная шапка ослепительно сверкала в его лучах. Из котлована диаметром около двухсот километров лед был удален, и почва Антарктиды впервые за миллионы лет предстала глазам человека. По периферии котлована были расположены рабочие лагеря, группы маленьких домов из изофлекса. Я спустился прямо к лагерю № 1, где рассчитывал найти Рению и главного инженера Дилка.

Несколько часов я провел с инженерами, затем вместе с Ренией облетел на небольшой высоте весь котлован. Самое трудное уже было сделано. Прозрачные стены из резилита надежно удерживали льды. Ось геокосмоса проникла на двенадцать километров в глубь Земли.

Строительные работы приближались к концу. Но к монтажу самого гигантского движителя, который должен был придать скорость звездолету «Земля», только приступили. Первые части его лишь начали поступать с заводов, и сборка должна была занять еще несколько лет. За-

тем последует критический период испытаний. И наконец, когда все будет готово, человечество спрячется в свои подземные города, и начнется великий путь.

Мы переместим обе наши планеты далеко за Плутон, а когда после взрыва сверхновая утихомирится, мы вернемся на подходящие орбиты возле Солнца. В то время ни о чем ином мы не думали, хотя у меня уже тогда зарождались сомнения.

С сожалением покинул я Южный полюс и направил свой космолет на север. Я приземлился в Гренландии, на северном побережье, где строился геокосмос № 3. Гораздо меньшего размера, чем южный гигант, он был уже почти готов. Однако нужно было смонтировать десять таких геокосмосов по периферии Северного полярного круга. Из Гренландии я вернулся в Хури-Хольдэ и погрузился в повседневную рутину. Так продолжалось до того памятного дня, когда Властитель людей Тирал попросил у меня аудиенции.

Тирал руководил всеми социологическими исследованиями, был посредником между Советом и правительством триллов, но одновременно — разумеется, эту тайну знали только члены Совета — являлся начальником нашей секретной информационной службы. Это был физически еще молодой человек — ему едва исполнилось 87 лет, — высокий и очень сильный — в студенческие годы он не раз завоевывал звание чемпиона по борьбе. До сих пор я почти не имел с ним дела и не испытывал к нему особой симпатии.

— Орк, — сказал он, — в своей работе вы никогда не сталкивались с чем-либо, хотя бы отдаленно напоминающим саботаж?

— Нет, — ответил я, слегка удивленный. — Разумеется, бывают случаи недовольства, однако это понятно, и мы это предвидели. Но что касается злого умысла, то этого нет. Тем более случаев саботажа. Если бы они были, я бы немедленно предупредил Совет!

— Ну да, конечно, если бы у вас были доказательства. Но разве вы предупредили бы Совет, опираясь только на подозрения? Впрочем, это неважно, раз вы ничего не заметили. Значит, заговорщики еще не решились приступить к действиям...

— Какие заговорщики?

— Фаталисты. Шайка идиотов, которые утверждают,

что, если Солнце взорвется, значит такова судьба, фатум, рок, и Земля должна погибнуть. Похоже, они думают, будто, спасая свою плоть, мы губим душу и солнечный огонь должен нас очистить. Они основывают свою веру на всяких вздорных пророчествах, сохранившихся в священных книгах киристан, этой религиозной секты, которая, по словам некоторых историков, восходит, может быть, даже к эпохе первой цивилизации.

— Я полагал, что киристане — разумные люди, хотя и не разделял их убеждений... Я с ними знаком... Да что там говорить, моя бабушка была одной из них!

— Да нет, это вовсе не они. Если мои сведения точны, это новая, но уже достаточно влиятельная секта. По несчастной случайности, один из пророков объявил о грядущем конце света ровно за два месяца до того, как Совет решил обнародовать сведения о неустойчивом состоянии Солнца. Возможно, среди них уже сейчас есть люди, занимающие высокие посты, например из полиции триллов.

Я выругался. При условии, что *все* пойдет хорошо, мы только-только успеем все сделать. Но если начнутся волнения...

— Что же делать?

— Пока ничего. Я надеялся, что вы припомните какие-нибудь подозрительные факты, которые мне позволят действовать. Но при таком положении вещей, если даже мы арестуем кое-кого из заправил, — а мы знаем далеко не всех! — нам не избежать конфликта с правительством, потому что с юридической точки зрения это будет чистейшим произволом. Наш закон гарантирует свободу мысли и вероисповеданий. Мы не можем арестовать человека лишь за то, что он верит, будто мы поступаем неправильно, не желая покориться судьбе!

— Понимаю, — сказал я. — Очевидно, у вас уже есть агенты на всех геокосмосах?

— Разумеется! Тем не менее, если кто-нибудь из ваших инженеров сообщит вам о неполадках...

— Договорились! В свою очередь, если вы что-либо обнаружите...

Тирал ушел. Как всякий техн, я был воспитан на мысли, что человек может и должен бороться с враждебными силами природы, и мне трудно было поверить, что кто-то думает иначе. Это казалось невероятным!

Однако подозрения Тирала оправдались, правда много позднее, а пока все было спокойно, все шло своим чередом, и я отправился в инспекционное турне на Венеру.

Часть вторая *Катаклизм*

Венерианские джунгли

Я никогда раньше не был на Венере. Наши отношения с венерианцами были довольно щекотливыми. Венеру освоили и заселили задолго до нашествия друмов. Планета, как и предполагалось, была окружена густым слоем формальдегида, и прежде чем начать заселение, необходимо было сделать ее пригодной для жизни. Под руководством выдающегося ученого Пауля Андресона началась физико-химическая обработка Венеры, известная под названием «Большой дождь», которая полностью изменила всю атмосферу планеты. После ее окончания Венера была по-прежнему окружена плотным слоем облаков, но на сей раз облака состояли из водяных паров. Затем был ускорен слишком медленный суточный цикл вращения Венеры и доведен до двадцати восьми земных часов. В ту отдаленную эпоху мы еще не знали космомагнетизма, и необходимую энергию дали атомные станции, мало похожие на ваши, потому что мы использовали не распад атомов, тяжелых или легких, а гораздо более мощную реакцию аннигиляции материи.

И гораздо более опасную! В 2244 году произошла катастрофа. По неизвестным причинам семь из десяти атомных станций взорвались одновременно, и почти над всей Венерой повисло облако радиоактивного газа. К счастью, период его распада оказался коротким! Помощь уже начала прибывать с Земли, когда на нас обрушились друмы.

Так всякая связь между двумя планетами прервалась более чем на тысячу лет. Все документы, которые могли подсказать друмам, что у нас есть потомки на Венере, были спрятаны или уничтожены. А Марс уже был в их руках, если только можно так назвать суставчатые щупальца друмов.

На Венере люди жили еще в городах под куполами, из последних сил борясь за свое существование. Среди них

произошел целый ряд странных мутаций, в основном регрессивного типа, но, к счастью, недолговечных. Так что вы не рассчитывайте, что атомная война создаст новую расу сверхчеловеков! Однако на фауну Венеры радиация оказала неожиданно сильное влияние.

До прихода людей на Венере не было никаких форм жизни, поэтому мы ввезли животных и растения с Земли. В основном это были различные виды из африканских и американских заповедников: крупные и мелкие млекопитающие, хищные и травоядные, некоторые насекомые и так далее. Нам удалось сначала под куполами, а затем под открытым небом за сто лет создать на Венере почти устойчивое экологическое равновесие. Большая часть земных животных погибла в результате атомной катастрофы. Некоторые наиболее стойкие виды не претерпели изменений. Зато остальные животные стали жертвой странных мутаций. В отличие от того что произошло с людьми, у животных эти мутации не всегда приводили к вырождению или смерти. И теперь на слабо заселенной Венере, особенно на слишком жарком для людей экваториальном континенте, обитали кошмарные существа.

Немногочисленные и лишенные мощной техники колонисты Венеры тем не менее сохранили большую часть теоретических знаний, забытых на Земле за время владычества друмов. И когда после отлета друмов к нам прибыл первый корабль с Венеры, мы сумели быстро наверстать потерянное. Новая цивилизация расцвела на Земле, и мы опять вырвались вперед. Венериане вынуждены были крепя сердце признать наше превосходство в знаниях. Их собственная цивилизация в некоторых отношениях была более утонченной, чем наша, особенно в области искусства, а разделение на текнов и триллов менее четким. Их столица Афрои насчитывала не многим меньше жителей, чем Хури-Хольдэ, хотя все население Венеры составляло лишь ничтожную часть земного.

Монтаж гигантских космомагнитов на Венере продвигался не так успешно, потому что у них не было больших городов-заводов. Однако мы стремились во что бы то ни стало спасти эту плодородную планету, необычайно богатую минералами. Я прибыл туда в сопровождении Хани, Рении и целого штаба специалистов.

Облака, вечно окружающие Венеру, лишь изредка по-

зволюали видеть Солнце, поэтому здесь царил смутный полумрак, тягостный для только что прибывших землян. Все очертания казались неясными, размытыми. И здесь было невыносимо жарко, поэтому венериане одевались более чем легко. Их глаза, приспособленные к полумраку заметно больше, чем у землян, гораздо светлее, обычно бледно-серого цвета. Но эта особенность была нестойкой, и дети от смешанных браков между венерианцами и землянами всегда рождались с нормальными глазами.

Рения происходила из венерианской семьи, но по какому-то капризу наследственности ее огромные глаза были светло-зелеными, поэтому она не страдала от яркого света земного дня. Большинство же венериан на Земле вынуждены носить контактные светофильтры. Рения покинула Венеру еще в детстве, но хорошо помнила все обычаи своей родины и была для меня бесценным гидом. Благодаря ей я не так уж часто попадал впросак.

Как описать сказочное великолепие этой планеты? На Венере было пять материков, три северных, из которых самый населенный — полярный, и два южных, протянувшихся от тропиков до Южного полюса. В северном полушарии близ экватора разбросана по океану цепь необитаемых островов, средняя температура там выше 55°. Под почти непрекращающимися ливнями среди странных желтых деревьев на этих островах живут фантастические создания: лерми — огромный жук, способный своими клешнями перерубить пополам человека, фориа — далекий потомок земного крокодила, бронированная рептилия длиной в двадцать пять метров, тяжелая и медлительная, но способная на расстоянии убить любого зверя ядовитым плевром, и наконец, гориллоподобная Эри-Куба — загадочное существо, которое никто никогда не видел вблизи, потому что все, кто встречался с ним, погибали. На северных континентах фауна была не столь устрашающей: здесь встречались слоны, крупные, необычайно умные, с раздвоенным хоботом, их стада уже напоминали организованные общины, светло-желтые тигры, сочетавшие качества тигра и льва, а по сообразительности превосходившие ваших шимпанзе (у них на передних лапах даже начал появляться хватательный палец!), и конечно, флеа — шестиметровые летающие ящерицы неизвестного происхождения, которых молодые спортсмены на Венере приручали под седло.

Венерианский пейзаж под низким сводом облаков, за-

литый рассеянным сумеречным светом, вызывал у землян щемящую грусть. Дожди без конца хлестали по серым просторам неглубоких океанов, которые пенили постоянные ветры. Берега почти всюду резко обрывались нагромождением голых скал, но широкие мутные реки далеко выносили свои разветвленные дельты, где вызревал необычайно крупный и вкусный венерианский рис.

Молодые горы, едва затронутые эрозией, вздымались к облакам иглы черных и красных вершин. В общем-то они были невысоки, за исключением хребта Акачеван на севере, достигавшего в высшей точке 6600 метров. Экваториальные континенты сплошь были покрыты лесами гигантских деревьев, которые более чем на триста метров вознесли там свои кружевные душистые кроны.

Венерианские города поражали своим блеском и красочностью. Построенная из мрамора Афрой с ее широченными проспектами, огромными ступенчатыми террасами и великолепными памятниками привольно раскинулась полумесяцем на берегу Казомирского залива Теплого моря. По сравнению с этой столицей даже Хури-Хольдэ казался захолустьем.

Меня приняли члены правительства Венеры. В отличие от Земли здесь не было Совета Властителей наук. Разумеется, некоторые Властители были родом с Венеры или Марса, но они все входили в Земной Совет — высшую инстанцию для всех планет. Такая структура сохранялась по традиции. Когда речь заходила о судьбах всего человечества, решение принимал он.

На Венере мне оказали полную поддержку. Как и на Земле, я осмотрел гигантские космомагниты. Их было всего два, оба того же типа, что и у нас на Южном полюсе. На Венере нет ни полярных океанов, ни льдов, зато здесь пришлось вырубать девственные леса, а на Южном полюсе — и уничтожать опасных зверей. Для станций релейной связи, возводимых близ экватора, мы вынуждены были предусмотреть охлаждающие установки. Эти станции оказались необходимыми, потому что на Венере не было такой густой сети энергоцентралей, как на Земле.

Всюду работы шли полным ходом. Уже начали прибывать блоки космомагнитов и на полюсах приступили к их монтажу. Отставали только некоторые экваториальные релейные станции.

Обедая за столом с венерианскими текнами — инженера-

ми, физиками и натуралистами, я не раз слышал рассказы о таинственной Эри-Кубе, которую никто никогда толком не видел. Очень давно, когда темное владычество друмов на Земле только начало приходить в упадок, здесь, на Венере, была организована экспедиция на остров Зен. Исследователи успели сообщить, что обнаружили гигантскую обезьяну, и это было последним их сообщением. Они исчезли все до единого. С тех пор многочисленные экспедиции безуспешно пытались разгадать эту тайну. Джунгли на острове Зен были поистине непроходимыми. Даже маленькие индивидуальные космолеты не могли проникнуть под полог тропического леса. А о том, чтобы пробраться туда пешком, не могло быть и речи — слишком много опасностей, не говоря уже об убийственной жаре, подстерегало смельчаков, и за сомнительные результаты пришлось бы расплачиваться человеческими жизнями. Уже немало венериан и землян исчезли бесследно. И поскольку экваториальные острова для малонаселенной Венеры не представляли особого интереса, исследования их были не то чтобы запрещены, но отложены.

Однако меня мучило любопытство: сколько важных для биологии открытий таят эти джунгли? К тому же в недалеком будущем фауна островов должна была исчезнуть. Предстояло построить еще одну релейную станцию, и наиболее подходящим для нее оказался большой остров Зен.

Решение строить станцию на этом острове сначала ошеломило венериан, а затем вызвало взрыв энтузиазма. Студенты даже устроили под моими окнами овацию. Народ беспокойный и энергичный, венериане страдали от мысли, что какой-то уголок их планеты остается неисследованным. Всеобщий энтузиазм еще более возрос, когда на обеде у президента венерианского правительства я объявил, что сам возглавлю экспедицию. Работы продвигались успешно, новости с Земли были обнадеживающими, а потому я мог позволить себе провести несколько дней с экспедицией.

Мы снарядили три межпланетных корабля, каждый из которых нес на борту по два маленьких космолета. Вылетали мы на рассвете из столичного астропорта на берегу Теплого моря. Могучие корабли поблескивали в свете прожекторов. Сразу же за пилотами вместе с Ренией я поднялся на борт одного из них, «Силк аффри», что означает «Сверкающая молния».

Мы летели низко, под сплошным облачным сводом. Пользуясь своими привилегиями, почти все время я проводил в штурманской рубке. На экранах перед нами катил свои длинные серо-свинцовые волны венерианский океан. Иногда их вспарывали черные тела чудовищных потомков земных китов. Через десять часов мы достигли зоны тропических испарений. Плотность тумана (для наших радаров его не существовало) была неравномерной, так что иногда сквозь колодцы, образованные восходящими потоками воздуха, мы воочию видели поверхность океана. Километрах в двадцати от острова Зен просветы в тумане стали учащаться, а над самим островом туман вдруг рассеялся окончательно. Мы вошли в зону экваториальных воздушных течений, таких мощных, что порой они даже разрывали завесу облаков, поэтому остров Зен был одним из немногих мест на Венере, где иногда по ночам можно было видеть звезды.

Остров протянулся под нами на добрую сотню километров. Ширина его не превышала сорока километров. Сверху он походил на огромное животное с двумя длинными мысами вместо лап и узкой пастью залива. Весь остров, кроме хребта Зериф, был покрыт сплошным лесом. Мы начали спускаться на плато между двумя вершинами примерно на полкилометра выше границы джунглей. Огромные корабли приземлились с легкостью, недоступной даже вашим вертолетам. Ветер доносил дыхание джунглей: тяжелый, пряный аромат крупных белых цветов, смешанный с терпким запахом перегноя. Внизу за пологим склоном колыхалось темно-зеленое море сомкнутых крон. Позади нас ступенями титанической лестницы уходили уступы хребта Зериф.

Мы разбили лагерь под сенью межпланетных кораблей. Их внушительная масса защищала нас от ветра, иначе мы бы здесь долго не выдержали. Этот ветер дул на плато беспрестанно, извлекая из высокой травы и отдельных кустов странную, монотонную и волнующую мелодию. Техники быстро собрали металлические дома-убежища и прочно укрепили их стальными крючьями, вбитыми в каменистую почву. К концу второго дня все было готово.

На третье утро мы спустились к лесу в маленьком космолете. Нас было пятеро: Рения, венерианский биолог Собокол, два его помощника Реум и Тулл и я. На высоте десяти метров мы долго маневрировали вдоль границы

джунглей, прежде чем смогли углубиться под своды леса. Между гигантских стволов здесь рос «подлесок», высотой и мощностью подобный земной дубраве, но сплошь окутанный лианами, изъеденный лишайниками и мхами. Великолепные цветы — эпифиты — гнездились в развилках ветвей. Мы двигались по узкому просвету между деревьями с черепашной скоростью, то и дело останавливаясь перед неожиданными завалами из мертвых ветвей или завесами лиан, которые наш слишком слабый космолет не мог прорвать. Однажды на нас обрушилась настоящая сеть из лиан, и нам с Собоколом пришлось выйти наружу, чтобы, орудуя электропилами, освободить аппарат. К вечеру лес поредел. Блеснула река. Лететь вдоль нее стало гораздо легче. Вскоре пришлось включить прожекторы. Уже в полной тьме мы добрались до озера, казавшегося черным кратером среди нависших над его берегами ветвей.

Мы посадили космолет у самой воды на единственную подходящую площадку. Здесь мы чувствовали себя в безопасности. Космолет, отлитый целиком из самого прочного сплава, перед которым, поверьте, ваши лучшие стали — просто жалкий свинец, казался нам неприступным убежищем. И все же нам было не по себе: заросли подступали со всех сторон, надвигались, давили, вызывая клаустрофобию... После ужина мы погасили фары и затаились, надеясь увидеть обитателей джунглей, если они вообще здесь существовали.

Эту ночь в венерианском лесу мне никогда не забыть!

Едва прожектор погас, мы увидели, как в озере появилось синеватое сияние: сначала слабое, оно быстро разгоралось и вскоре достигло яркости полной луны на Земле, над экватором. Оно словно всплывало из глубины озера, по которому, как по горячей сере, переливались синие огни. У самой поверхности замелькали стремительные змееподобные тени. Сидя перед левым экраном между Ренией и Собоколом, я как замороженный смотрел на это захватывающее зрелище. Реум и Тулл дежурили у правого экрана, обращенного в сторону джунглей. Волны озера отбрасывали танцующие блики на черные, как тушь, стволы, и молодые венериане несколько раз подзывали нас, когда им казалось, что они видели между деревьями какие-то смутные фигуры.

Это произошло около полуночи. Более чуткая, чем все мы, Рения ощутила это первой. Она внезапно побледнела

и сказала, что у нее ощущение, будто какое-то чудовище смотрит на нее в упор из темноты. Чтобы успокоить Рению, я включил прожектор, но потом снова погасил его, дабы не привлекать к нам внимание обитателей джунглей. Через несколько секунд мы все тоже почувствовали, что за нами *кто-то* следит. Это было страшное чувство, оно то усиливалось, то ослабевало, как будто кто-то бродил вокруг, то приближаясь, то удаляясь. Скрывая растущее беспокойство, я сел на место пилота, чтобы при необходимости мгновенно подняться в воздух, и положил левую руку на спуск боевого излучателя, фульгуратора.

На несколько минут нас вроде бы отпустило. Затем смутное чувство опасности усилилось.

И вдруг Рения, указывая рукой на озеро, крикнула:
— Там, Орк, там!

Синеватое сияние пульсировало в том же ритме, в каком сжимались от боли и отчаяния наши сердца. И тут мы увидели на отмели чудовищную тень, которая ритмично изгибалась в жутком завораживающем танце.

Побледнев, Тулл пробормотал:

— Эри-Куба...

— Говори!—крикнул я.—Что ты об этом знаешь?

— О, ничего... Это древняя легенда. Во времена владычества друмов на Земле, говорят, Эри-Кубы захватили весь континент Тхора.

И, прислонившись к переборке, Тулл запел угасающим голосом:

Когда накатит вдруг тоска,
То далека, то вновь близка,
Знай — рядом Эри-Куба!
У ночи встанет на краю
И выпьет кровь и жизнь твою
Из мрака Эри-Куба.
И трус презренный, и герой,
Умрет от ужаса любой,
Кто видел Эри-Кубу...

Он умолк, и в наступившей тишине я слышал только наше хриплое дыхание да заглушенные всхлипывания Рении. Ужас нарастал неотвратимо, и одновременно я чувствовал, как жизнь покидает меня, как с каждым мгновением уходят мои силы. Это было непередаваемое фантастическое ощущение! Синевато-лиловый свет в глубине озера начал угасать, кошмарное уродливое создание вдалеке на отмели замерло в неподвижности. Все это я отмечал подсознательно, как во сне. Рения рядом со мной по-

вторяла едва слышным шепотом слова, долетавшие до меня из бесконечной дали:

У ночи встанет на краю
И выпьет кровь и жизнь твою
Из мрака Эри-Куба...

Я чувствовал, что погружаюсь в черную бездну. Собокол медленно опустился на пол, согнувшись пополам, за ним рухнули Реум и Тулл. Рения мягко упала у моих ног. Я еще не потерял сознания, но в глазах у меня мутилось, в ушах звенело. Последним усилием воли я нажал кнопку старта, и почти одновременно — спуск фульгуратора. Ослепительная вспышка в миллиарды вольт на миг озарила гигантское обезьяноподобное чудовище, которое грузно оседало в воду, а затем все исчезло в огненном вихре. Космолет с ходу врезался в зеленый купол леса, я ощутил удар и потерял сознание.

Очнулся я на койке в кабине «Сверкающей молнии», вокруг хлопотали три врача. Я чувствовал себя безмерно слабым и, едва узнав, что Рения вне опасности, тотчас погружился в глубокий сон.

Два дня спустя Кель, которого я оставил своим заместителем по экспедиции, объяснил мне, как все произошло. Вспышка фульгуратора привлекла их внимание, а затем они увидели наш космолет, который стремительно поднимался к зениту. Они засекли нас с помощью радара, последовали за нами и установили телеконтроль над нашим управлением, когда мы были уже на стокилометровой высоте. Всех нас нашли в бессознательном состоянии. Но жизнь удалось сохранить только мне и Рении. Венериане погибли от своего рода мгновенной анемии, думаю, что я спасся потому, что был землянином, а вот как спаслась венерианка Рения — ни один биолог не мог объяснить.

Так или иначе, я увидел наконец Эри-Кубу и, будь моя воля, оставил бы весь их род подыхать от холода, когда Венера удалится от Солнца. К тому же новое загадочное открытие отвлекло мое внимание. Я уже поправлялся и довольно быстро, когда Кель сообщил мне, что в котловане одной из релейных станций экскаватор наткнулся на «что-то, похожее на бетон». Оставив еще слишком слабую Рению в лагере, я немедленно спустился в котлован.

По образованию я не геолог, однако один мой друг, безвременно погибший в результате несчастного случая (такое хоть и редко, но все-таки бывало и в наше время), ча-

сто брал меня в юности с собой, и я довольно хорошо разбирался в петрографии. Масса в ковше нашего экскаватора была явно искусственного происхождения. Я приказал расширить и углубить раскоп. Несколько часов спустя перед нами предстал бетонный купол. Да, это действительно был низкий купол с круглыми иллюминаторами, помутневшими от времени! У основания его мы нашли запертую дверь шлюзовой камеры. Нам удалось ее вскрыть, не причинив строению особого вреда, и мы с Келем, надев респираторы, вошли внутрь.

Я быстро понял все значение этой находки. На Венере никогда не было своей автономной жизни, и, поскольку купол весьма походил на такие же купола, обнаруженные на Марсе, напрашивался вывод, что обе планеты посетили одни и те же пришельцы. Но кто они были? Предположение о существах неведомой расы отпало сразу. Нет, как и на красной планете, здесь, на Венере, побывали земляне! Они жили в герметичной станции, отгороженные от смертоносной ядовитой атмосферы. И так же, как и на Марсе, эти первые поселения погибли, когда рухнула породившая их цивилизация.

Купол был небольшим и, видимо, представлял собой разведывательную станцию. В ней сохранились следы борьбы. Металлическая мебель, похожая на мебель позднейших человеческих поселений на Марсе, была вся искорежена и даже оплавлена. В какой-то момент мне показалось, что я грежу: за толстой стеклянной дверью на диване лежало превосходно сохранившееся тело молодой женщины. Губы ее слегка улыбались, глаза были закрыты, длинные белокурые волосы свешивались до пола. В руке она сжимала маленький зеленый флакон.

Мы долго молча смотрели на нее. Жестом я удержал Келя, который хотел разбить стекло: тело сохранилось каким-то чудом и могло рассыпаться в прах от малейшего толчка.

И действительно, когда позднее ученые проникли в этот склеп, анализ показал, что он был заполнен инертным газом. На столе они нашли полуистлевшую записку, которая отчасти приподняла завесу тайны. Она была написана на одном из древних языков эпохи, предшествовавшей оледенению. Молодая женщина, которую звали Хильда Свенсон, по каким-то причинам считалась крупной политической фигурой. Она предпочла покончить с собой,

чтобы не попасть в руки врагов. Ее приверженцы подоспели слишком поздно. Они превратили станцию в усыпальницу.

Мы решили не тревожить покой гробницы, и тело Хильды так и осталось там, как его уложили ее последние друзья. Один из наших лингвистов, Нилк, прославился благодаря переводу найденной записки. С ее помощью он доказал, что древние диалекты той эпохи, несмотря на прошедшие тысячелетия, происходят непосредственно от языков первой цивилизации. Итак, никто не тревожил уединения усыпальницы, только я иногда приходил туда и подолгу простаивал перед стеклянной дверью. Ибо юная женщина, спавшая там вечным сном, была точной копией Рении!

Мы заложили станцию немного поодаль, расчистив фульгураторами несколько сотен гектаров зарослей. И тут я получил приказ Совета вернуться немедленно в Хури-Хольдэ.

Фаталисты

Хани ждал меня в своей лаборатории. Его суровое, осунувшееся лицо говорило, что он смертельно устал. Без всяких предисловий он вдруг сказал:

— Орк, некий Кельбик, молодой ученый из Арекнара, несколько дней назад прислал нам подробный анализ состояния Солнца. Выводы далеко не радостные. Мы провели все его расчеты. Взрыв Солнца распространится далеко за орбиты Нептуна и даже Плутона. Но это еще не самое худшее. После взрыва Солнце превратится в черного карлика!

— В черного карлика? Но ведь мы нашли всего две такие звезды в радиусе десяти тысяч световых лет!

— Да, но что делать? Нам не повезло. Вот расчеты. Зато у меня есть для вас и хорошая новость. Очевидно, до взрыва у нас будет на несколько месяцев больше, чем мы рассчитывали.

— Итак, к какой звезде мы направим свой путь?—спросил я.—К Этанору? Или к Белюллу?

— К Этанору. Попытаем сначала счастья у ближайшей звезды. Но пока у нас новые осложнения. Движение фаталистов ширится, и я уже не раз себя спрашивал: не подведет ли нас наше старое правило? Если бы мы только могли подробно и точно объяснить положение триллам!

Увы, скоро я убедился, что дело обстояло значительно хуже, чем думал Хани. Фаталисты, оставаясь пока что в тени, умело выдвинули на первый план другую группировку, так называемых экономистов. Экономисты, явно науськиваемые фаталистами, сеяли слухи, будто текны сознательно лгут, чтобы заставить триллов согласиться на безумный полет к другим звездам, который текны в действительности задумали только ради удовлетворения собственного любопытства. Вся беда заключалась в том, что мы ничего не могли как следует объяснить: мой собственный метод расчетов, благодаря которому я обнаружил, что Солнце скоро взорвется, был доступен лишь нескольким десяткам математиков на всей планете, а что касается кельбиковского анализа, то, едва познакомившись с ним, я понял, что даже мне придется над ним попотеть. Мы сами стали жертвами своей старой политики сознательного ограничения знаний масс. Теперь из-за нее мы не могли объяснить народу, насколько реальна была нависшая над ним угроза, причем объяснить так, чтобы нас поняли. Мало того — среди самих текнов лишь немногие могли усвоить выдвигаемые нами доказательства.

Через неделю после моего возвращения глава экономистов Ужъях начал против нас кампанию в триллаке — палате депутатов. В яростной речи он обрушился на Совет Властителей, обвиняя их в непомерной растрате энергии, припомнил несколько смертельных случаев, какие неизбежны на больших стройках, несмотря на все предосторожности, обвинил дирекцию Солодины в неспособности руководить работами и наконец потребовал отмены привилегий текнов и возвращения их под общую юрисдикцию, суда над виновными и передачи общего руководства геокосмосами правительству триллов. В заключение он обвинил Совет в распространении сознательной лжи относительно будущего состояния Солнца. Разумеется, Тирал сразу же включил прерыватель волн и отрезал зал триллака от остального мира, но это дало отсрочку всего на несколько часов. С некоторым беспокойством мы ожидали решения правительства. Наконец оно было объявлено: вынося порицание Ужъяху за его резкий тон, правительство тем не менее постановило начать расследование относительно необходимости путешествия к Этанору. Одновременно президент Тхел обратился ко всем триллам с призывом никоим образом не замедлять работ по сооружению

геокосмосов, поскольку Солнце так или иначе взорвется — в этом не сомневался уже никто.

Ободренный первым тактическим успехом, Ужьях ультимативным тоном потребовал, чтобы я его принял. Сначала я хотел отказаться, но вмешался Тирал и уговорил меня. Итак, я ждал у себя в кабинете, положив на всякий случай маленький лучевой пистолет, фульгуратор, под папку с бумагами у себя на столе.

Вождь экономистов вошел с надменным видом. Он оказался очень мал ростом, что среди нас было редкостью, и держался неестественно прямо и скованно. Он сел, не дожидаясь приглашения. Я молча рассматривал его, припоминая все, что мне рассказал о нем Тирал. Отец Ужьяха был текн, мать — из триллов, сам он сначала был отнесен к текнам, однако в 17 лет исключен из этой категории как неспособный заниматься науками: в них он искал не знания, а способ пробиться к власти. Разумеется, самолюбие его это нанесло жестокий удар. Он приобрел редкую в наше время профессию антиквара и занялся перепродажей древностей, но вскоре у него начались неприятности с полицией. За незаконные раскопки на том месте, где был Сан-Франциско, Ужьях попал под суд и был вынужден прикрыть свое дело. После этого он ударился в политику и вскоре стал признанным главой экономистов.

— Итак? — спросил я наконец. — Что скажете?

Он небрежно оперся локтем о мой стол и ответил:

— Итак, полагаю, вы слышали мою речь...

— Да, набор глупостей и вранья, если хотите знать мое мнение...

— Возможно, возможно, однако эти глупости и вранье попали в цель!

— Вам известно, что я мог бы вас арестовать?

— Пожалуйста, попробуйте!

Я пожал плечами.

— Пока в этом нет необходимости.

В действительности я был встревожен гораздо больше, чем признавался даже самому себе. Движение фаталистов оказалось много сильнее и шире, чем мы предполагали. Мы уже не знали, можно ли доверять полиции.

— Что вам нужно?

— Откажитесь от этой безумной идеи путешествия к другой звезде, и я обещаю, что все успокоится.

— Это вовсе не безумная идея! После взрыва Солнце

превратится в черного карлика. Вы знаете, что такое черный карлик?

— Звезда, которая больше не испускает излучений?

— Не совсем так. Это такая горячая звезда, что большая часть ее излучений располагается в ультрафиолетовом диапазоне. Кроме того, Солнце будет окружено газовым облаком, которое не позволит нам приблизиться. А на том расстоянии, на котором нам придется остаться, мы сможем обеспечить жизнь всего несколькими сотням миллионов людей, да и то на два-три поколения в лучшем случае.

— А кто подтвердит, что все это правда? Вы мне можете это доказать?

— И вы еще были текном!—с горечью воскликнул я.—Неужели вы думаете, что можно так просто доказать нечто бесконечно сложное? Мне самому понадобилось несколько недель, чтобы все понять до конца.

— Иными словами, вы отказываетесь?

— Я просто не могу. Поверьте, я предпочел бы вас убедить с цифрами в руках...

— В таком случае мне здесь больше нечего делать.

— Тем хуже для вас!

И он вышел, прямой как палка. Я позвал Тирала.

— Может быть, стоит его арестовать?

— Нет, еще не время. Мы не готовы...

— Что же делать? Этот мерзавец сорвет все наши сроки, если ему удастся организовать на стройках забастовки.

— Постараемся выиграть время. Пока вас не было, я начал устанавливать на улицах защитные устройства под видом улучшения освещения. Это делают надежные текны. Через несколько часов все будет закончено.

— И никто ничего не заподозрил?

— Пока нет! К тому же мои установки могут служить и давать освещение, разумеется, если кое-что в них изменить.

— А в действительности?

— Триллеры принимают нас за дураков. Совет уже давно предвидел возможность восстания. И если наша информационная служба не всегда была на высоте, то этого не скажешь об отделе обороны. Вы знаете план номер двадцать один? Ах, нет, конечно, я забыл! Вы ведь не входите в Совет, несмотря на свой высокий пост. Поэтому я не смогу вам ничего рассказать без разрешения Совета Властителей. Впрочем, они разрешат...

— В таком случае у вас на сегодня все?— раздраженно прервал я его.— У меня срочные дела. А пока я прикажу раздать моим инженерам фульгураторы.

Едва Тирал ушел, я отдал необходимые приказания и снова погрузился в работу.

Прошло, наверно, немало часов— для меня они пролетели, как минуты,— когда в спокойной тишине вечера прозвучал первый взрыв. Грохот докатился издалека, но здание Солодина дрогнуло— так велика была сила взрыва. А через несколько мгновений до открытых окон снизу донесся неясный гул. Я поднялся, вышел на балкон и взглянул на расположенные далеко внизу террасы. На самой нижней сверкнула молния, прорезав по диагонали густую толпу. Я бегом бросился в кабинет и вернулся на балкон с биноклем. Прижавшись к углу террасы, стоял текн, которого можно было легко узнать по серому одеянию, и сжимал в руке сверкающий фульгуратор. Он успел выстрелить еще два раза, потом толпа сомкнулась над ним, и тело его полетело через паранет.

Я вернулся в кабинет, недоумевая, почему меня никто не предупредил о таком стремительном и грозном развитии событий. И тут же побледнел и проклял себя за глупость: чтобы меня не беспокоили, я сам отключил питание и прервал всякий контакт с окружающим миром. В тот момент, когда я вновь опустил рубильник, прозвучал второй взрыв. Экран тотчас осветился, и я увидел встревоженное лицо Хани.

— Орк, наконец-то! Где вы были?

Я объяснил, в чем дело, сторя от стыда.

— Ладно, это неважно. Мы боялись, что буптовщики добрались до вашего этажа и убили вас!

— Но что происходит?

— Переключите экран на Ракорину, и вы увидите!

Я повиновался. Широкая улица была заполнена орущей толпой, вооруженной чем попало: топорами, ножами, железными прутьями; кое-где мелькали фульгураторы. Толпа двигалась к перекрестку Кинон, сметая редких полицейских.

— Как видите, наши друзья перешли от слов к делу.

— Кто? Экономисты?

— Экономисты? Эти бездарные болтуны? О нет! Это фаталисты! Пока что опасность не так велика. Мы осуществили план номер двадцать один. Все подступы к жизнен-

но важным центрам перекрыты решетками. Но в Хури-Хольдэ много взрывчатки, и даже триллы легко смогут ею воспользоваться. Боюсь, что эта отсрочка ненадолго.

На экране во главе толпы шагал высокий человек. Он размахивал огромным черным знаменем с изображением земного шара, пронзенного молнией. Знамя фаталистов!

— Много ли их?

— К счастью, меньшинство. На Венере все спокойно.

— Что с геокосмосами?

— Им пока ничто не грозит. Да, кстати, не вздумайте подняться на своем космолете! Мы излучаем из физического факультета волны Книла.

Мне стало нехорошо от одной мысли, что я мог, поддавшись панике, броситься к своему космолету. Под действием волн Книла любой космомагнетический двигатель при включении мгновенно высвобождает всю свою энергию. Теперь я понял происхождение этих невероятных по силе взрывов!

— Много жертв?—спросил я.

— Увы, уже достаточно! Погибли все, кто находился поблизости от космолетов, которыми эти болваны хотели воспользоваться несмотря на наши предупреждения. Теперь они охотятся за отдельными текнами и убивают всех без пощады. Но довольно слов, время не ждет! Мы не можем к вам пробиться. Слушайте, командный щит обороны города находится в комнате сразу под вашим кабинетом. Там должен был оставаться Тирал, но от него нет никаких сообщений, и мы боимся, что он погиб. Спуститесь вниз и займите его место!

Дверь распахнул передо мной офицер охраны. Огромный стол представлял собой светящуюся схему Хури-Хольдэ с красными кнопками на каждой улице. Я включил экран и снова увидел Хани.

— Теперь, Орк, беспрекословно выполняйте то, что я вам прикажу! Я говорю от имени Совета, который принял решение исходя из интересов всего человечества и ради нашего будущего. Нажмите красную кнопку на схеме, на Ракорине!

— И что последует?—спросил я.

— Смерть нескольких сумасшедших и, увы, многих идиотов, которые за ними последовали. Центральную ось улицы залиют лучи Тюлика.

Я побледнел. Лучи Тюлика были дьявольским изобре-

тением, которое никогда еще не использовалось,— эту тайну Совет оберегал особенно тщательно. Лучи Тюлика вызвали распад нервных клеток.

— Неужели нет другого способа?— спросил я.

— Нет, Орк. Поверьте, нам это не менее отвратительно, чем вам. Но мы не можем позволить этим кретинам отнять у человечества единственную возможность выжить ради удовлетворения их мании.

Как замороженный смотрел я на маленькую красную кнопку. Легкий нажим пальцем — и миллионы человеческих жизней угаснут. Я включил другой экран и снова увидел Ракорину. Теперь черным знаменем размахивала очень красивая молодая женщина. Толпа остановилась. Прислонившись спиной к стене, какой-то человек со значком партии экономистов пытался образумить обступивших его фанатиков. Человеческие существа!.. Одно движение пальца — и от них не останется ничего, кроме холмиков инертной протоплазмы. Меня мутило от бессмысленности всего этого, и на мгновение я даже подумал: а может быть, фаталисты правы? Может быть, человечество и не стоит спасать?

А на экране толпа снова двинулась вперед. Нарастая, зазвучала песня:

Все хотим мы умереть,
Все хотим в огне сгореть
Со своей Землею!

— Итак, Орк?— прозвучал холодный голос Хани.

Я посмотрел на него с ненавистью. Как он был хладнокровен! Но я взял себя в руки. Под маской невозмутимости угадывалось страшное напряжение всего его существа. Я был только орудием, а он вместе с другими Властителями — волей.

Солнце, всех планет отец,
Примет всех нас наконец
С нашею Землею!

Куплеты были в плясовом ритме, но песня звучала мрачно и грозно. Последний раз взглянув на экран, я нажал кнопку.

Совсем близкий взрыв потряс стены, и обломки посыпались дождем. Я приблизился к окну, взглянул вниз. На верхней террасе вопящая толпа теснилась возле небольшой металлической рамы. Блеснуло пламя, и под крики фанатиков с рамы соскользнул маленький снаряд. Он

взмыл вверх и взорвался на уровне моего личного кабинета, разнеся на куски бронированное стекло. Без колебаний я подошел к столу, отыскал на схеме кнопку, соответствующую этой террасе. Крики смолкли.

Бунт был подавлен без всякой жалости. Правительство триллов, опомнившись наконец, объявило вне закона экономистов заодно с фаталистами.

Если в Хури-Хольдэ и других местах мятежников удалось усмирить довольно скоро, то кое-где события развернулись иначе. В Хориарто фаталисты захватили город, убили всех текнов и многих триллов, и пришлось осаждать их по всем правилам целых две недели. До последнего момента мы пытались спасти заложников, но когда бунтовщики начали обстреливать ракетами один из северных геокосмосов, находившийся от них в трехстах километрах, мы были вынуждены разрушить город. Затем на Земле вновь воцарилось спокойствие. Беспощадно преследуемые всюду фаталисты исчезли, словно их и не было.

Тирал так и не появился. Мы поняли, что он был убит в самом начале восстания.

Отлет

После мятежа фаталистов, который произошел в конце 4604 года, для людей потянулись месяцы тяжелого труда, прерываемого редкими часами досуга. Великие работы завершались одна за другой. Постепенно люди переселялись в герметические подземные города: днем они еще работали на поверхности, но на ночь спускались под землю. Все геокосмосы были смонтированы и являли собой внушительное зрелище, особенно гигант на Южном полюсе, с его куполом диаметром в 12 километров, который медленно поворачивался вокруг своей оси в направлении, обратном вращению Земли. И тогда возникла сложнейшая проблема: как вывести с орбит обе планеты, избежав при этом сдвигов коры, которые грозили неисчислимыми жертвами и полным разрушением всех наших сооружений?

Не без труда мы справились с расчетами, и наконец великий день настал. В контрольном зале на глубине семисот метров вокруг меня собрались все члены Совета; тут же были представители правительства триллов и несколько делегаций от текнов и триллов. Перед нами на приборном щите светились интеграционные экраны, отмечавшие графиками малейшие изменения в напряжении земной коры.

Я приблизился к щиту в сопровождении своего штаба специалистов: Совет единогласно доверил мне эту высокую честь. Из застекленной кабины, где находились автоматы-регистраторы, Рения ободряюще кивнула, и я сел за пульт.

Положив руки на пульт управления, я пробежал пальцами по клавишам. Питание еще не было подключено, и клавиши мягко подавались от малейшего нажима. Старт должен был произойти ровно в полдень, а сейчас было только 11 часов 40 минут. Я сидел, чувствуя страшную неловкость, и не знал, как себя вести. Я включил межпланетный экран, и передо мной появилось лицо Килнара, которому на Венере предстояло сыграть ту же роль, что и мне на Земле. Выдающийся геофизик, он был моим соучеником по университету, и мы остались добрыми друзьями, хотя виделись редко. Он скорчил мне лукавую малопочтительную гримасу, которую почти мгновенно, без временного отставания донесли до Земли волны Хэка — мы лишь недавно начали их использовать для связи.

— Осталось пять минут, — прозвучал голос моего бывшего ассистента Снн.

Зная его непоколебимое хладнокровие, я настоял, чтобы он находился рядом со мной.

— Хорошо. Включить запись!.. Проверить контакты!..

— Все в порядке!

Я пристально смотрел на контрольную лампу прерывателя, который должен был мгновенно отключить энергию, если какой-нибудь геокосмос выйдет из фазы. Достаточно было нескольких секунд несинхронизированной работы геокосмосов, чтобы земная кора под влиянием противоречивых импульсов треснула, как скорлупа ореха. За клавишами управления передо мной бежала по кругу стрелка хронометра. Оставалось две минуты... одна... Я бросил последний взгляд на экран, показывавший контрольный зал на Венере: Килнар по-прежнему гримасничал, но теперь уже от волнения. Тридцать секунд... десять секунд... пять секунд... Ноль!

Я вдавил до конца центральный клавиш, включая автомат, который и должен был заняться настоящей работой. Зажглась контрольная лампа. Произошло величайшее событие в истории Земли, и ничто его не отметило, кроме ровного света маленькой зеленой лампочки.

— Север-один! Говорит Север-один! — прогремел из

динамика голос.—Все в норме.

— Север-два! Говорит Север-два! Все в норме.

— Север-три! Все в норме.

Переключка продолжалась. И наконец:

— Говорит Юг! Говорит Юг! Все в норме.

На геофизическом экране бежала непрерывная прямая линия с едва различимыми всплесками. Она представляла собой сводный график всех сейсмических станций Земли, а слабые всплески отмечали обычные микросейсмы.

Мало-помалу мы успокоились. По поступавшим сведениям, на Венере тоже все шло нормально. А ведь в это время на обе планеты уже воздействовали титанические силы, которые должны были по спиральной орбите удалить их от Солнца и направить к другой звезде! Они возрастали бесконечно медленно, постепенно и казались неощутимыми. К двум часам пополудни орбитальная скорость Земли возросла всего на 10 сантиметров в секунду!

Внезпно резкий зубец прервал ровную линию на геофизическом экране. У всех сжалось сердце, но тут же прозвучал спокойный голос Рении:

— Сильное землетрясение на оконечности западного материка. Эпицентр близ Тарогады. Гипоцентр на глубине двенадцати километров. Сейсм обычного типа.

Линия на экране уже выпрямилась. Нам оставалось только ждать. Ускорение было слишком сложным процессом, чтобы его доверить человеческим рукам, поэтому все команды подавали великолепные машины, непогрешимые точнейшие автоматы. Тем не менее мы просидели в зале управления до самого вечера, наблюдая, как стрелка орбитальной скорости медленно ползет по циферблату, прибавляя новые и новые метры в секунду. Пройдет еще немало месяцев, прежде чем диаметр Солнца начнет зримо уменьшаться.

Впервые за долгие годы, если не считать пребывания на Венере и коротких дней отпуска, я мог наконец свободно вздохнуть и подумать о своих делах. Прежде всего я с головой ушел в изучение кельбиковского анализа, потому что не мог вынести, чтобы какой-то новый раздел математики оставался для меня недоступным. Это оказалось нелегким делом, и мне не раз пришлось обращаться за разъяснениями к самому Кельбику. Он был еще молодым человеком, высоким и стройным, и в жизни имел только две настоящие страсти — математику и планеризм. Доволь-

но быстро между нами завязалась тесная дружба, тем более тесная, что до сих пор только я да Хани сумели проникнуть в созданный им новый мир.

Первое, о чем попросил меня Кельбик, — это отменить запрет на планерные полеты. Такое решение было принято в самом начале великих работ, и вовсе не из какого-то аскетизма — наоборот, всевозможные развлечения только поощрялись, поскольку приносили пользу, — а потому, что в окрестностях городов бесчисленные грузовые космолеты уже не придерживались заранее намеченных маршрутов и представляли смертельную угрозу для планеристов. Когда геокосмосы были построены, транспортные космолеты вернулись на свои линии, однако запрет так и остался в силе — его просто забыли отменить.

У меня не было случая научиться управлять планером, но Кельбик рассказывал об этом благородном спорте так живо, так увлекательно, что я сам загорелся. Совет разрешил полеты, однако обязал меня принимать все меры предосторожности. Единственный кто был против, так это новый Властитель людей Хэлин. «Такая возможность слишком хороша для фаталистов, — говорил он. — Они попытаются отыграться». И, как выяснилось позднее, слова его оказались пророческими.

И вот я начал учиться управлять планером. Моим инструктором стал Кельбик, и вскоре я познал несведомую доселе радость свободного парения. Оно ничем не походило на полеты в аппаратах с космомагнетическими двигателями: тут не было ни стремительных подъемов в атмосферу, ни сумасшедшей скорости, когда Земля словно крутится под тобой. Наоборот, это скорее напоминало беспечный бесшумный полет птицы, и пейзажи медленно проплывали под крылом — долины сменялись холмами, равнинами, речными извилинами. А как передать наслаждение полетом над вершинами гор, радость борьбы с нисходящими воздушными потоками, величественных ястребиных подъемов по спирали или ленивых, плавных спусков к земле!..

Отныне по несколько раз в неделю Кельбик, Рения и я отправлялись в свободный полет каждый на своем планере. Мне пришлось заказать для себя личный планер, однако он мне не очень нравился. Мне казалось, что он тяжелее и неповоротливее учебного планера, но я объяснял все своей неопытностью и, скрывая уязвленное самолюбие,

старался выжать из своего аппарата все, что можно.

Однажды мы спокойно парили над обширным заповедником. Метеостанции пообещали постоянный ветер, и мы действительно легко удалились на 450 километров к югу от Хури-Хольдэ. Без труда преодолели мы горный хребет. Вдалеке стадо слонов купалось в реке Керал, которая берет начало из внутреннего моря Кхама. Кельбик ушел вперед, Рения держалась слева от меня. Далеко позади нас в небе медленно кружились другие планеристы.

Внезапно Кельбик вызвал меня по радио:

— Орк, ты видишь планеры прямо впереди?

— Да, а что?

— Они не из Хури-Хольдэ. На такое расстояние от базы могли залететь только Камак, Атюар и Селина. Но я точно знаю, что сегодня они не поднимались. И мы слишком далеко от Акелиора, чтобы кто-то из тамошних планеристов успел сюда добраться.

— А нам-то какое дело?

— Большое! Я, например, очень хотел бы знать, почему эти планеры летят так быстро, а главное — против ветра?

Три черные точки действительно росли на глазах, и тем не менее, когда стало возможным различить их силуэты, я безошибочно узнал безмоторные планеры, а не короткие сигары космолетов.

— Берегись, Орк! — вmeshалась Рения. — Вспомни, что тебе говорил Хэлин! Фаталисты...

Все произошло с невообразимой быстротой. Три планера, летевших нам навстречу, словно рассыпались в воздухе: их крылья надломились и, вращаясь, начали падать вниз. А три черные зловещие сигары ринулись прямо на нас.

— Вниз, Орк, вниз! — закричал Кельбик.

Но было уже поздно. Один из космолетов ударил меня по правому крылу, и оно отломилось с легким шорохом. Земля перевернулась подо мной и начала быстро приближаться. Воздух свистел вокруг изувеченного планера.

— Орк, оторви приборную панель! Скорее, скорее!

Растерявшись, я потерял несколько драгоценных секунд. Наконец я нагнулся, просунул руки под приборную панель и потянул ее на себя. Она отскочила целиком, и я увидел знакомый щит управления космолета. Теперь я знал, что делать, и попытался замедлить падение. Это удалось лишь наполовину. Мой космопланер глухо уда-

рился о землю, и я врезался головой в щит управления. Кровь заливала мне глаза, но я прежде всего взглянул в небо. Там оставался только один планер с наполовину отсеченным крылом: он быстро терял высоту. Это был планер Кельбика. Планер, на котором летела Рения, исчез.

Планер Кельбика снизился всего в нескольких сотнях метров от меня: он резко скользнул вниз и разбился о дерево. Немного дальше, почти в реке, я заметил изуродованный планер Рении и бросился к нему, задыхаясь от страха и ярости. Рения, согнувшись пополам, лежала в кабине. Все мои попытки вытащить ее были тщетны.

— Не так!—услышал я спокойный голос Кельбика.— Сдвинь фонарь назад...

Я обернулся. Лицо его пересекала бледная вздувшаяся царапина, из которой начинала сочиться кровь.

Вдвоем нам удалось вытащить Рению, и мы уложили ее на песок под уцелевшим крылом. Кельбик склонился над ней—как любой планерист, он умел оказывать первую помощь.

— Мне кажется, ничего серьезного. Обморок от потрясения.

И в самом деле, Рения быстро пришла в себя. С момента нападения прошло не более пяти минут.

— Что ты об этом думаешь, Кельбик?—спросил я.

— Почерк знакомый. По глупости или от великого ума фаталисты, те, что еще уцелели, решили, что от тебя надо избавиться. Возможно, одновременно они попытаются покончить с другими членами Совета, но в этом я сомневаюсь. Меня больше тревожит то, что для такого камуфляжа космолетов под планеры потребовались определенные технические навыки, которыми обладает далеко не каждый. Значит, среди фаталистов есть текны. Тскны-фаталисты... Не могу в это поверить!

— Может быть, они обучали своих специалистов? В конце концов, для людей, решивших идти против всех человеческих законов, в этом нет ничего невозможного. И вполне вероятно, что у них есть свои собственные тайные мастерские...

— Не знаю, какая из ваших догадок хуже,—вмешалась Рения.—Меня удивляет, что они промахнулись. Почему они не ударили прямо по кабинам планеров? Тогда бы они убили нас наверняка!

— Остатки планеров рассказали бы, как это было, Ре-

ния, и тогда начали бы искать виновных. А крыло может и само отломиться, особенно в бурю, которая надвигается. Взгляни на небо! В общем я рад, что сумел это предвидеть и приказал установить на наших планерах маленькие космодвигатели. Летать на них было нельзя, но как парашюты онигодились...

— Значит, поэтому мой планер казался таким тяжелым?

— Да, поэтому. А сейчас нам остается только сообщить о своем местоположении в Хури-Хольдэ и ждать помощи.

— Не думаю, чтобы они так легко отказались от мысли разделаться с нами,— сказал я.— Поспешим!

Сначала мы испробовали передатчик Рений, но он вышел из строя. Передатчик Кельбика был вообще разбит всмятку. Мы уже начали беспокоиться. К счастью, мой передатчик, хотя и поврежденный, нетрудно было починить, чем я и занялся. Рения пошла в сторону леса.

У Кельбика оружия не оказалось. Я попросил его посторожить возле планера, пока я налаживаю радиопередатчик. Я уже почти закончил настройку, когда он меня предупредил:

— Орк, люди!

Их было семеро; они возникли, как призраки, из темных зарослей. На них были длинные черные тоги, развевающиеся на ветру. Не выходя из кабины, я проверил свой маленький фульгуратор и взглянул в том направлении, куда пошла Рения. Ее не было видно.

Небо темнело с каждой секундой, мертвенный, лунный, как при извержении вулкана, свет заливал песчаный берег, река с глухим рокотом катила черные волны.

Внезапно тучи прорезала молния.

Один из незнакомцев отдал короткий приказ, и все они устремились к Кельбику, выхватывая на ходу оружие. Далеко позади нападающих на краю леса появились другие еле различимые в сгущавшейся темноте фигуры — их было много! Кельбик, отступая, повернул ко мне.

Радировать в Совет было поздно. Я быстро огляделся. Нас отгесняли от леса в излучину реки.

— Скорее в заросли! — шепнул я. — Бегом!

Кельбик бросился к лесу, и я последовал за ним. Заметив меня, один из нападавших вскрикнул, поднял руку. Понесся глухой выстрел, и песок у меня под ногами взвился маленьким смерчем. Еще несколько пуль пропело над самой моей головой, пока я продирался сквозь кусты.

Вспышки молний освещали мне путь. Наконец, добежав до леса, я обернулся и дважды нажал на спуск фульгуратора. Молнии, созданные людьми, ответили небесным молниям, и черные тени рухнули на оплавленный песок.

Мы оказались под лесным покровом в тот момент, когда по листве забарабанили первые капли дождя. Через секунду это был уже глухо ревущий водопад тропического ливня. Мы сразу перешли на шаг, утоная во мхах и травах, однако продолжали идти не останавливаясь. Когда мы пересекали поляну, сзади в нас дважды стреляли — преследователи были близко. Я не стал отвечать, предпочитая приберечь на крайний случай последние заряды фульгуратора. Спина Кельбика еле виднелась впереди. Я все время думал: куда делась Рения? Позвать ее я не решался, боясь привлечь внимание преследователей и к ней, и к нам самим.

Завал из полустгнивших стволов, опутанных лианами, заставил нас потерять драгоценные минуты. Когда мы преодолели его, шум погони уже слышался не только сзади, но и справа и слева: нас окружали! Наконец мы выбрались на большую поляну у подножия почти отвесной каменной гряды. Позади из леса выходили преследователи.

Мы бегом пересекли поляну. Несколько пуль просвистело над нашими головами, но мы не обращали на них внимания, надеясь найти спасительный проход между скалами. Увы, каменная стена оказалась сплошной и неприступной — только одна пещера зияла перед нами. В отчаянии мы устремились к ней, и я едва успел сразить из фульгуратора великолепного тигра, преградившего нам путь в свое логово.

До какой-то степени положение наше улучшилось. Гроза почти прошла, и полная луна ярко освещала поляну, лишь изредка по ней пробегали тени от разорванных туч. Если мы сумеем продержаться до утра, нас отыщут встревоженные посланцы Совета или, по крайней мере, поисковые вертолеты заставят убраться наших врагов. Главное — продержаться! Но когда я взглянул на счетчик фульгуратора, настроение мое омрачилось. У меня осталось всего семнадцать зарядов...

Мы притаились за грудой каменных обломков, как пещерные жители, ожидающие нападения. Но враги наши медлили. Отдельные пули изредка щелкали по камням, не причиняя никакого вреда, или, наоборот, отскакивали ри-

кошетом от сводов пещеры, грозя нас задеть. Однако сами нападающие не выходили из-под прикрытия зарослей. Меня снедала тревога за Рению.

Когда горизонт на востоке начал бледнеть, я заметил в кустах на краю поляны какое-то движение. И сразу же, как стая черных демонов, враги устремились на нас. Я расстрелял все заряды, но, оставляя позади обугленные трупы, они бежали к пещере без единого выстрела.

«Хотят взять живьем», — успел я подумать, швырнул в голову первого нападающего фульгуратор и схватил толстый сломанный сук. Кельбик встретил их градом камней. Затем началась рукопашная. Мне удалось ненадолго отбросить врагов, размахивая своей узловатой дубиной, но потом они скопом навалились на меня. Меня сбили с ног, и от страшного удара по голове я потерял сознание...

Придя в себя, я почувствовал, что крепко связан. Рядом со мной неподвижно лежал Кельбик с распухшим, окровавленным лицом. Под деревом спиной к нам стоял часовой, а остальные, сидя неподалеку прямо на траве, о чем-то спорили. Их было человек пятнадцать, но я не узнал никого.

Внезапно деревья на краю леса раздвинулись, и на поляну вышли четыре слона, за которыми неторопливо выступало все стадо. Фаталисты не обратили на них внимания. Слоны в заповеднике давно привыкли к посетителям и никогда не трогали людей. Однако эти слоны, видимо, были чем-то заинтересованы. Они обошли группу фанатиков с двух сторон, приблизились к нам. И вдруг я услышал звонкий голос Рении:

— Пора, Хлларк, скорей!

Самый крупный слон повернулся, взмахом хобота оттолкнул часового и легко подхватил меня. Другой слон так же аккуратно поднял еще не пришедшего в себя Кельбика. Вожак нес меня, обхватив хоботом поперек туловища, так что голова и ноги мои свешивались. Напрягая шею, я поднимал голову: черные фигуры в панике разбежались.

— Сюда, Хлларк!

Мой слон двинулся к лесу, и тогда прозвучали выстрелы. Пуля, предназначенная мне, попала ему в хобот. Затрубив от ярости, слон выпустил меня, и я больно ударился о землю. Вожак развернулся на месте и ринулся на врагов, за ним устремилось все стадо. Крики ужаса, топот, отдельные выстрелы — и все смолкло.

Растрепанная, в порванном платье, Рения склонилась

надо мной, торопливо развязывая мои путы. Я с трудом поднялся, руки и ноги у меня затекли. Черные бесформенные пятна на поляне — вот и все, что осталось от фаталистов, которых пастигли слоны.

— Что с Кельбиком? — спросил я.

— Он жив.

— Как тебе удалось привести этих слонов, Рения?

— Это не слоны, Орк. Это параслоны!

Я пригляделся внимательнее. Животные уже успокоились. С первого взгляда они ничем не отличались от обыкновенных слонов, только головы их показались мне крупнее, а лбы — более выпуклыми. И я вспомнил трагический эксперимент Биолика.

Этот выдающийся физиолог за пятьсот лет до моего рождения пытался создать сверхчеловека. Он с успехом провел серию опытов над крупными хищниками и слонами; толщина костных тканей черепа у них уменьшилась, а мозг почти вдвое увеличился в объеме и одновременно стал гораздо сложнее. В результате разум параслонов достиг уровня разума пяти-шестилетнего ребенка. И это их свойство благодаря тщательному контролю и отбору стало наследственным. Ободренный успехом Биолик, не предупредив Совет, начал эксперименты со своими собственными детьми и внуками. Результаты оказались столь ужасными, что он покончил с собой. По-видимому, человеческий разум невозможно развить таким способом. Однако параслоны уцелели и продолжали размножаться. Их присутствие в заповедниках никого не стесняло, тем более что они сами именно благодаря своему уму сторонились людей и старались не попадаться им на глаза.

Когда Рения углубилась в лес, она увидела большой космолет, который шел на посадку. Сначала она решила, что это посланцы Совета, побежала к космолету, но вовремя успела разглядеть черные тоги фаталистов. После этого ей самой пришлось спасаться от преследователей; она заблудилась в лесу, потеряла свой фульгуратор, пробираясь через болото, и наконец присела на пенек и заплакала. Тут ее и нашел уже ночью после грозы вожак параслонов Хлларк. Хлларк немного понимал человеческую речь. Рения долго, терпеливо объясняла ему, что с нами случилось, уговаривая Хлларка поспешить к нам на помощь. Наверное, это было фантастическое зрелище, когда юная девушка в лохмотьях на какой-то поляне, залитой светом луны,

пыталась заключить союз с величественным гигантом. Наконец Хлларк согласился, собрал свое стадо и выступил, посадив Рению себе на спину.

Сейчас он возвращался к нам, удовлетворенно помахивая хоботом. Пуля только оцарапала его, и рана была пустяковой. Рения негромко заговорила с вожаком, выбирая самые простые слова. Он кивнул головой. Мы с Ренией очутились на его спине, другой слон посадил на себя очнувшегося Кельбика, и мы двинулись к реке.

Спасаясь от преследователей, мы ушли довольно далеко, и нам понадобилось более часа, чтобы добраться до наших планеров. С первого взгляда я понял, что фаталисты разбили все, что уцелело после катастрофы. О том, чтобы починить радиопередатчики, не могло быть и речи. Оставалось одно — добираться своими средствами до ближайшего города Акелиоры, если только нас не обнаружат патрульные космолеты, которые теперь уже наверняка вылетели на поиски.

Уговорить Хлларка и его приятеля не составило особого труда, и мы направились прямо на юг, к Акелиоре. Параслоны шли быстро, однако наступил вечер, до города было еще далеко, а я за весь день не заметил ни одного космолета или планера. Пришлось заночевать на лесной поляне.

Пробудился я на рассвете. Заря только занималась, небо было затянуто серой дымкой, и удушающая жара предвещала новую грозу. Силуэты слонов резко выделялись на фоне белесого неба.

Я тихонько высвободил руку из-под головы Рении, с трудом встал и разжег костер. У Кельбика был жар, рана его гноилась. Наскоро подкрепившись бананами, мы снова двинулись в путь. Это был ужасный день для бедняги Кельбика, но к вечеру мы наконец увидели на фоне заката черные силуэты башен Акелиоры. Хлларк продолжал идти прямо на юг, огибая болото, и мы прибыли в город только ночью, когда уже взошла луна.

Появление трех оборванцев на гигантских слонах на главной улице Акелиоры вызвало своего рода сенсацию, но мне было не до этого. Доставив Кельбика в ближайшую больницу, мы с Ренией за несколько минут добрались до «теркань» — нашей мэрии; я сразу связался с Хури-Хольдэ и вызвал к видеофону Хэлина. В столице все было спокойно, однако Хэлин безмерно удивился, когда я повесдал ему

о наших приключениях. Дело в том, что он получил сообщение, написанное моим шифрованным кодом, в котором говорилось, что мы будто бы приземлились в Акелиоре и вернемся только через несколько дней. Значит, фаталисты знали мой шифр! Это говорило о том, что измена проникла в верха нашей организации, может быть, даже в Совет Властителей! Поэтому я решил немедленно вернуться. Перед отлетом мы навестили Кельбика. Врач нас уснокоил: заражение крови нредотвращено, и через несколько дней Кельбик снова будет на ногах.

Тщательная проверка позволила через несколько дней обнаружить изменника, который передал мой шифр фаталистам. Им оказался молодой техн, секретарь открытых заседаний Совета. Его немедленно лишили звания, однако не успели отправить на Плутон: исправительная колония уже была эвакуирована оттуда на Землю.

Nova Solis

А дни летели! Мало-помалу Земля удалялась от Солнца по все более широкой орбите, увлекая за собой Луну. Венера приблизилась к Земле: ее космомагниты работали интенсивнее, чтобы Венера не отстала от нас — ведь ей пришлось стартовать с более близкой к Солнцу орбиты! Из-за этого там произошло несколько сейсмических толчков, впрочем не причинивших вреда. К концу года видимый в небе диск Солнца уменьшился, средняя температура Земли начала снижаться, и мы вынуждены были переселить в подземные заповедники наиболее теплолюбивых животных.

В том же году мы с Ренией поженились. Повсюду царил покойствие, фаталисты были, видимо, окончательно разгромлены или ушли в глухое подполье. Свадьба наша была незаметной и скромной, как мы оба того хотели.

Три месяца спустя мы начали делать запасы воды. Обширные подземные резервуары были вскоре заполнены. Мы уже пересекли орбиту Марса, где несколько археологов все еще продолжали лихорадочные поиски, надеясь проникнуть в тайны прошлого этой обреченной планеты. Затем сила и направление действия геокосмосов были изменены, и Земля в сопровождении Венеры, которая казалась в небе второй луной, вышла из плоскости эклиптики, чтобы пройти над поясом астероидов.

До этого момента повседневная жизнь людей оставалась без особых изменений. Но теперь, несмотря на нако-

пленные океанами запасы тепла, температура начала быстро падать, и над Землей бушевали метели. Все живые существа — во всяком случае особи, выбранные для продолжения рода, — были постепенно переведены в подземные парки. Уже и в Хури-Хольдэ на поверхности работали только самые необходимые группы техников, и лишь Совет Властителей должен был оставаться в Солодине до самого последнего часа. Огромные герметические ворота отделили верхний город от нижнего. В других городах высоких широт все наземные строения были давно уже эвакуированы. Человечество готовилось к великой зимовке.

Когда мы пересекли орбиту Юпитера, океаны замерзли даже на экваторе и по ночам температура падала до -70° . В чистом небе ни облачка: вся атмосферная влага давно уже окутала Землю снежным белым саваном. Почти все формы животной жизни исчезли, и только растения еще сопротивлялись. То же самое происходило и на Венере.

Наконец, когда мы пересекли орбиту Урана, Совет, в свою очередь, спустился в нижний город, и я тоже окончательно поселился во Дворце Планет на глубине шестисот метров. Большие экраны в моем кабинете создавали иллюзию окон, глядящих в черное небо. Атмосферное давление быстро падало, и сжиженный воздух ложился серым покровом на обычный снег.

Я еще поднимался изредка, обычно вместе с Ренией и Кельбиком, в мой старый кабинет на верхнем этаже Солодины. Маленький терморadiator поддерживал там сносную температуру, а герметические окна были усилены дополнительными рамами, чтобы выдерживать внутреннее давление. Я хорошо помню день, когда мы пересекли орбиту Гадеса. Все трое мы сидели на своих обычных местах, но сейчас мой кабинет, когда-то заваленный всякими документами, был чист и гол, если не считать листа белой бумаги на моем столе, — мы по-прежнему пользовались бумагой, правда не такой, как ваша, по составу и гораздо более прочной. И на этом листе лежал грубый каменный топор. Давным-давно мне подарил его мой покойный друг, геолог Рварк. Топор относился к первой доисторической эпохе, и я хранил его как символ непрерывности человеческих усилий и, может быть, как счастливый талисман. Он воплощал в моих глазах дух наших предков, которые сражались с враждебной природой, победили, выжили и завещали нам никогда не сдаваться! Возможно также, что это

оружие безвестного воина давно забытых времен как-то ассоциировалось у меня с борьбой, в которую вступили мы.

Я сидел возле окна. Снаружи была ночь, усеянная звездами, и среди них, в неизмеримой дали, чуть крупнее других и немного ярче сверкало Солнце — отец всего сущего. У самого горизонта на фоне неба еле выделялся бледный диск нашей старой, верной Луны. Венера была едва видна.

Передо мной простирался мертвый город, освещенный только прожекторами обсерватории. Здания утопали в снегу и в отвердевшем воздухе и напоминали горбатые спины гигантских животных. Под холодным слабым светом лишь отдельные деревья, убитые слишком долгой зимой, еще вздымали с террас оголенные ветви.

Я включил экран и увидел лицо Верховного астронома Керлана.

— Когда мы пересечем границу? — спросил я.

— Через три минуты пятнадцать секунд...

Граница! Так мы называли теоретическую орбиту Гадеса. Это была для нас граница Солнечной системы.

Минуты неощутимо уходили. Нам следовало бы присоединиться к тем, кто ожидали нас в нижнем городе, но я предпочел более интимную атмосферу моего старого кабинета. В сущности, эта граница не имела никакого значения, но все мы, текны и триллы, привыкли к мысли, что настоящий большой путь через космос начнется тогда, когда мы пересечем эту условную черту.

Раздался легкий хлопок. Кельбик торжественно откупорил бутылку маранского вина и наполнил три бокала, поставленные Ренией на стол. Мы ожидали в молчании.

Сначала тихо, затем все громче и громче, все мощнее и гуще запели сирены города, усиленные динамиками. Вой сирен терзал наш слух, как жалобный стон всей планеты, как безумные голоса машин, изнемогавших от непосильного напряжения. Откуда-то сверху, с купола Солодины, луч прожектора в последний раз осветил террасы, вырывая из темноты отдельные контуры и отбрасывая жесткие тени. Затем отовсюду взвились ракеты. Они взлетали в черное небо, рассыпая разноцветные искры, и тут же падали маленькими огненными кометами. И сразу все кончилось. Сирены умолкли, прожектор погас. Земля пересекла границу.

Мы долго сидели молча. Наконец я встрепенулся, взял Рению за руку.

— Довольно, пора спускаться! У нас еще много работы...

Прошло несколько недель, и мы уже удалились на безопасное расстояние, когда однажды в несусветную рань меня разбудил сигнал видеофона. На экране появилось взволнованное лицо Хани.

— Орк, скорее приходите, на Солнце замечены первые признаки реакции. Рения, ты здесь? Приходи тоже!

Мы торопливо оделись и бросились к лифту. Через несколько минут мы уже были у входа в центральную обсерваторию, где едва не столкнулись с взъерошенным и тоже полусонным Кельбиком.

Хани ожидал нас в окружении целого штаба своих астрономов. Он был в отчаянии. Я не стал тратить времени на утешения.

— Вы сказали: «первые признаки реакции». Почему так рано? Вы уверены?

Не говоря ни слова, главный астроном Керлан протянул мне фотоснимок, сделанный автоматическою обсерваторией на Меркурии. Я склонился над снимком, а Кельбик рассматривал его через мое плечо.

— Ну что скажешь?

— Орк, ты знаешь, я ведь не астроном, дай мне показания спектрографа, клочок бумаги и компьютер, и я скажу тебе свое мнение.

— Как будто ничего страшного нет. Но ты прав, надо рассчитать. Что вы думаете об этом, Ртхал?

Ртхал, специалист по Солнцу, взял в руки фотографию.

— Согласно вашим расчетам, Орк, которые мы провели и уточнили по методу Кельбика, первым признаком должно быть появление на Солице особо темного, быстро увеличивающегося пятна с температурной инверсией. Вот серия снимков, на которых зафиксировано это явление.

Ртхал показал нам, как на снимках сначала появилось крохотное пятнышко, почти незаметное на солнечном диске, как оно быстро росло, а затем вдруг исчезло и сменилось расплывчатым светлым полем, особенно ярким в том месте, где первоначально находилось черное пятно.

— Все цифровые данные в вашем распоряжении,— закончил Ртхал.

— Хорошо. Установите прямую связь с центральной

вычислительной станцией. Пойдем, Кельбик!

Мы заперлись и тщательно проверили данные. Мы давно работали вместе, поэтому я усвоил его систему анализа, а он — мои, пусть более грубые, но зато более прямые и зачастую более быстрые способы исчисления. Часов шесть мы считали порознь, не отрываясь, разве что на пять минут, когда Рения приносила нам по чашке питательного бульона. Вычислительная станция выдала по нашим формулам результаты. Я поднял голову и взглянул на Кельбика. Лицо его было серым.

— Ты думаешь?..

— Я думаю, что если мы уцелеем, то только чудом!

— Черт нас всех побери, как же мы могли так ошибиться? Мы рассчитывали по крайней мере еще на полгода... А вместо этого — две недели!..

Кельбик горько улыбнулся в ответ.

— Все очень просто, и мы с тобой, Орк, можем утешаться тем, что это не наша вина. Ты, как и я, строил все расчеты исходя из константы Клоба, не правда ли?

— Да, ну и что?

— Так вот, она неточна, друг мой. И неточность начинается с семнадцатой цифры после запятой. Я только что это проверил. Константой Клоба пользовались самое большее до двенадцатой цифры после запятой. Но в нашем случае получился кумулятивный эффект — крохотная неточность вызвала лавину ошибок. И вот вместо шести месяцев — две недели!

Я почувствовал себя разбитым.

— Значит, все наши усилия были напрасны? Неужели фаталисты правы?

— Нет, надеюсь, мы уцелеем. Для Венеры это будет труднее, потому что она отстает. Но, может быть, она тоже успеет, если немедленно увеличит скорость. Я сейчас посчитаю...

— А Марс? — спросил я бледнея.

На Марсе все еще работали археологические группы, которые должны были вылететь вдогонку за нами лишь через несколько месяцев.

— За четырнадцать дней, если они не будут терять ни минуты, может быть, им удастся опередить волну взрыва. Предупреди их немедленно, используй передатчик на волнах Хэка!

Совет Властителей, получив наше сообщение, тотчас

принял все необходимые меры. Геокосмосы заработали с большей нагрузкой, изыскатели на Марсе получили приказ возвращаться. Теперь оставалось только ждать. Через несколько часов Кельбик вернулся с целым рядом новых расчетов. Он убедился, что реальная отсрочка равнялась всего двенадцати дням!

Из четырех археологических марсианских экспедиций три сразу сообщили, что вылетают. Четвертая попросила разрешения задержаться на сутки, и я, еще раз предупредив об угрожающей им опасности, дал согласие. А как было не согласиться? Они только что обнаружили вход в подземный город и теперь пытались за оставшиеся часы осмотреть его и выяснить, что из находок можно спасти. Я разговаривал на волнах Хэка с главой экспедиции. Это был глубокий старец с длинными седыми волосами, звали его Клобор.

— Какое невезение, Орк! Мы нашли первый, почти не поврежденный марсианский город, и у нас всего одни сутки, чтобы его обследовать!

— Да, только двадцать четыре часа, и то на ваш страх и риск,— ответил я.— Но раз все участники вашей группы согласны... Однако помните: двадцать четыре часа, и ни минуты больше, если вам дорога жизнь!

Находка Клобора меня живо заинтересовала: я словно предчувствовал, что она сыграет огромную роль в будущем человечества, и весь день поддерживал с Марсом постоянную связь. Около пяти часов пополудни Клобор сообщил, что впервые за всю историю теперь можно наконец составить представление о физическом облике марсиан. Археологи нашли множество статуй, сфотографировали их на месте, затем тщательно уупаковали и погрузили на большой экспедиционный космолет. Затем, в семь часов,— сенсация, как гром среди ясного неба! На экране появилось лицо Клобора:

— Орк! Орк! Величайшее открытие! Марсиане посещали другие звездные миры!

— Откуда вы это знаете?

— Мы нашли фотографии, они прекрасно сохранились. Смотрите, вот они!

И на экране одна за другой начали появляться большие цветные фотоснимки, еще блестящие от закрепляющей эмульсии, которой их предварительно покрыли. Всего было около пятидесяти снимков различных планет, сде-

ланных с большой высоты, и я убедился, что ни одна из наших планет никогда не могла так выглядеть.

— Снимки слишком подробные — такие не даст никакой супертелескоп. И речь может идти только о планетах иных звездных систем. Посмотрите-ка на эту фотографию!

Я увидел незнакомую планету, зеленую и синюю, с двумя спутниками. И хотя ничто не давало масштаба, мне она показалась примерно такой же величины, как Земля.

— А теперь взгляните на этот снимок — он сделан с небольшой высоты на ночной стороне.

На экране появилась темная равнина, усеянная пятнами света.

— Это города, Орк, города! Планета обитаема. Возможно, мы найдем снимки, сделанные на ее поверхности. Тут кипы документов, но мы грузим их не глядя. Нет времени!

Экран погас. Я сидел задумавшись. Итак, помимо Земли и неведомого мира, откуда явились друмы, в нашей Галактике были другие населенные планеты, другая разумная жизнь!

Около 21 часа, обеспокоенный молчанием экспедиции, я вызвал Клобора. Мне тотчас ответил капитан космолета, все еще стоявшего на поверхности Марса. Однако прошло довольно много времени, пока на экране не появилось лицо старого археолога.

— Я сам собирался вызвать вас, Орк! Мне нужно еще двадцать четыре часа дополнительно. Самое важное из всех открытий...

— А почему не восемь суток плюс еще один месяц? Вам остается ровно пятнадцать часов, и ни секунды больше!

— Но поймите меня, это имеет огромное значение...

— Я понимаю, Клобор, понимаю, но Солнце — оно не войдет!

— Капитан мне сказал, что, если потом уходить на предельной скорости, можно добавить еще часов десять...

— Об этом не может быть и речи! Вы стартуете точно в назначенный час. Это приказ!

— Но вы не представляете, насколько это важно! Мы нашли звездолет марсиан! И почти неповрежденный!

— Что? Марсианский звездолет?

— Да. Мы делаем чертежи, фотографируем все что можно, демонтируем двигатели, но, чтобы закончить, нам понадобится больше пятнадцати часов! Если бы среди нас

были физики! Мы бы хоть знали, что именно нужно искать...

Я быстро взвесил все «за» и «против». «За» — возможность открыть новые принципы космических полетов; «против» — уверенность, что, если экспедиция не покинет Марс через пятнадцать часов, двести человек погибнут.

— Мне очень жаль, Клобор... Через пятнадцать — нет! — уже через четырнадцать часов пятьдесят минут вы стартуете.

— Но ведь я вам открываю путь к звездам, Орк! Как вы можете отвергнуть такой дар? Умоляю вас... Это самое великое открытие за все времена!

— Знаю. Но я не могу рисковать жизнью двухсот человек ради неопределенной возможности. Спасите все, что сумеете, главное, постарайтесь демонтировать двигатели, сфотографировать все и составить чертежи. Вы можете внести камеру телевизора в этот аппарат?

— Да, это возможно.

— Так сделайте это поскорее, а я соберу группу специалистов, которые будут вам помогать. Но помните: точно в назначенный час — старт! Вы нашли еще какие-нибудь документы о самих марсианах? Как хоть они выглядели?

— Судя по статуям и фотографиям, они не слишком отличаются от людей. Но я должен вернуться к работе, простите меня. Срок так мал... Дайте мне еще хотя бы час!

— Ни одной минуты!

Экран вдруг стал серым. Я вызвал коммутатор, затем контрольный пункт. Там дежурил Сни, мой бывший ассистент.

— Как у тебя дела?

— Все в порядке, Орк. Скорость возрастает.

— А на Венере?

— Они постепенно догоняют нас.

Поскольку масса Венеры была меньше, чем Земли, им было легче увеличить ускорение, то есть достигнуть максимальной скорости...

Затем я вызвал Рению с ее геофизического пульта.

— Как там у тебя, Рения? — спросил я.

— Возникают сильные напряжения коры на глубине около сорока пяти километров под Тихим океаном. Возможно землетрясение с эпицентром под островами Кильн,

если мы будем идти с таким же ускорением. Мое мнение: надо сейчас же эвакуировать Кильнор, а на западном побережье — Альсор и Кельнис.

Я быстро посчитал в уме: Кильнор, три миллиона жителей, Альсор — двадцать семь миллионов, Кельнис — тринадцать. Итого сорок три миллиона человек, которых нужно немедленно вывезти и хотя бы временно где-то разместить. Слава богу, мы предвидели такую возможность, и все подземные города имели резервы.

— Хорошо, — сказал я. — Сейчас отдам приказание правительству триллов.

— А что у тебя? — спросила Рения.

— Плохо. Мы делаем все возможное, однако боимся, что не успеем уйти на нужное расстояние. Наверное, погибнут все верхние города, особенно те, которые стоят близ экватора и не покрыты достаточно толстым слоем снега. А значит, Хури-Хольдэ.

— Это страшно.

— Не так уж страшно! Город пуст...

— Да, но потом его придется восстанавливать.

Чтобы снять усталость, я заперся в камере дезинтоксикации и через полчаса вышел оттуда освеженный и отдохнувший. Эти камеры были чудесным изобретением!

В два часа ночи Рения сообщила мне о новом землетрясении. Подземные толчки необычайной силы отметили все сейсмографы планеты. Архипелаг Киль за полчаса погрузился в океан, и на этом месте началось извержение подводных вулканов. Поскольку эвакуация населения уже закончилась, жертв почти не было, но зрелище этой катастрофы, переданное с космолета, потрясло меня. Гигантский фонтан поднимался к черному, усеянному звездами небу из середины темного пятна растаявшего в этом месте океана, а вокруг сверкало белизной ледяное поле. В четыре часа утра чудовищный взрыв выбросил к зениту миллионы тонн подводного грунта, который обрушился каменным градом на лед. В Кельнисе и Альсоре от этого взрыва провалились верхние этажи подземных улиц, а в Борик-Реве, на месте вашего Лос-Анджелеса, герметичный панцирь нижнего города дал опасную трещину.

Незадолго до полудня я вызвал Марс. Последняя экспедиция грузилась на корабль, так и не раскрыв тайну мар-

сианского звездолета. Они успели осмотреть лишь часть очень сложных двигателей. Я посочувствовал им, однако был рад, что мой приказ исполняется. Выключив экран, я прилег отдохнуть.

На следующее утро я проснулся довольно поздно, когда Рения уже ушла на свой пост. Я поспешил в рабочий кабинет и сразу включил экраны. Всюду все было как будто в порядке. Сейсмографы не отметили новых толчков, и напряжение коры под Тихим океаном постепенно уменьшалось. На Венере, где нет глубоких океанов, толчки были незначительными.

Ко мне зашел Кельбик, мы переговорили о текущих делах, а затем я поставил перед ним новую задачу: организовать производство мощных фульгураторов. В нашем мире без войн они были не нужны, и этот вопрос никогда не изучался. Однако документы, обнаруженные на Марсе, говорили о том, что на далеких планетах Галактики существуют иные разумные существа, и неизвестно еще, встретят ли они нас мирно и дружелюбно.

Около полудня один из моих экранов включился, и я увидел ошеломленное лицо Тирика, главного инженера по связи.

— Орк, кто-то вызывает вас с Марса!

— Этого не может быть. Экспедиция вылетела еще вчера вечером!

— Знаю, однако передача идет с главной ретрансляционной станции, что близ Эрикобора, марсианского города, который они раскапывали.

— Но кто передает?

— Неизвестно. Он не называет своего имени и не включает экран. Требуется прямой связи с вами.

Страшное подозрение мелькнуло у меня.

— Хорошо, дайте связь.

На экране, как я и ожидал, появилось лицо Клобора. Он улыбался.

— Не злитесь, Орк, это бесполезно. Вам до меня не добраться! Вы уже не сможете отправить меня на Плутон...

— Клобор! Старый безумец! Как вы могли?.. И почему пилот не сообщил о вашем отсутствии на борту? Уж до него-то я доберусь!

— Он не виноват. Я сбежал из космолета в последнюю секунду, а перед этим повредил их передатчик, чтобы они не смогли попросить разрешения вернуться за мной...

— Такого разрешения я бы не дал! Но почему вы остались, черт побери?

— Все очень просто. Я тут собрал одну схемку, которая позволит вашим физикам руководить мною, пока я буду разбирать двигатель марсианского звездолета. Надо же довести дело до конца! Я буду работать до тех пор, пока Солнце... Короче, остается еще восемь дней, и надеюсь, я успею, несмотря на свою неопытность.

Я не находил слов. Мне хотелось встать и поклониться этому старику. Какое самопожертвование и какое спокойствие!

— Но послушайте, Клобор, вы подумали о том, что... когда солнечные протуберанцы достигнут Марса... Да, это произойдет быстро, но последние минуты будут ужасными!

Он улыбнулся и вынул из кармана розовый флакончик.

— Я все предвидел. У меня есть бринн.

Я умолк. Бринн убивал молниеносно.

— Мы теряем время, Орк! Свяжите меня с вашими физиками.

Все ждали начала катаклизма. В целях безопасности верхние этажи подземных городов были эвакуированы, герметические двери между этажами заперты. На поверхности во мраке, прорезаемом только лучами прожекторов, специальные машины-автоматы засасывали снег и отвердевший воздух и засыпали этой смесью города, чтобы надежно спрятать их под гигантскими сугробами. Теперь мы знали, что успеем избежать катастрофы, но нам хотелось по возможности сохранить наземные сооружения.

За несколько часов до взрыва ко мне пришел Кельбик с последними результатами. Он был так же озабочен, как и я, но в то же время сиял: его расчеты были проверены и подтвердились с точностью до двадцатой цифры после запятой! Все солнечные пятна исчезли, и Солнце уже начинало пульсировать, сжимаясь и расширяясь во все более учающемся ритме. Вместе с Кельбиком мы направились в контрольный зал.

Здесь собралось всего семьдесят семь человек. Множество телевизионных экранов было установлено по всем городам, но только мы получили привилегию непосредственно принимать все передачи восемнадцати релейных станций, оставленных между нами и Солнцем. Эти переда-

чи на волнах Хэка записывались и одновременно проецировались на восемнадцать отдельных экранов. Первая релейная станция была на спутнике, обращавшемся примерно в тридцати миллионах километров от Солнца, вторая — на Меркурии, где еще работала автоматическая обсерватория Эрукои. Третья станция осталась на бывшей орбите Венеры. Четвертая — на бывшей орбите Земли, пятая стояла на поверхности Марса. Остальные равномерно распределялись между Марсом и Землей, продолжавшей свой бег.

Я сидел между Хани и Кельбиком, положив руки на пульт управления геокосмосами, которые работали почти на полную мощность. Теперь с каждой секундой мы удалялись от Солнца на две тысячи километров. Если наши расчеты были правильны, огненная волна уже не могла нас догнать. Однако оставалась опасность радиации.

На восемнадцати экранах как бы с разного расстояния мы видели лик Солнца. Лик грозный и гневный, косматый от протуберанцев, в пятнах такой невыносимой яркости, что глазам было больно, несмотря на светофильтры. Особая настройка позволяла менять увеличение или рассматривать солнечную поверхность в различных полосах спектра, соответствующих тем или иным элементам. Три тысячи регистрирующих автоматов на центральной обсерватории должны были сохранить все записи и снимки для последующего анализа — если только мы не ошиблись, если только Земля не погибнет...

Хани нарушил молчание:

— По расчетам Орка и Кельбика, катаклизм должен начаться огромным протуберанцем в экваториальной зоне. Перед этим на Солнце снова появятся пятна...

Мы долго сидели, не произнося ни слова.

На экранах перед нами пылали изображения Солнца. Властитель машин склонился ко мне.

— Орк, я только что получил сообщение из лаборатории космической физики. Они проанализировали планы марсианского звездолета, переданные Клобором. Наши физики клянутся, что за несколько лет сумеют воссоздать марсианский двигатель. Тем более что последний космолет с Марса доставил некоторые детали...

«Клобор! — подумал я. — Пора!...»

Вызвав центральную станцию, я приказал:

— Свяжите меня с Эрикобором на Марсе!..

Несколько минут спустя справа от меня осветился маленький экран. Клобор стоял ко мне спиной, вглядываясь в свой собственный экран, на котором нестерпимо сверкало Солнце. Возле него на столике стоял флакон с розовой жидкостью, бринном. Я быстро посоветовался с Хани и Хэлином.

— Ретранслируйте эту сцену на все экраны обеих планет!—приказал я.—Пусть у Клобора будет свой час славы. Он его заслужил!

Затем я склонился к микрофону и позвал:

— Клобор! Клобор! Говорит Совет!

Там, на Марсе, седой старик вздрогнул, оторвался от захватывающего и жуткого зрелища и нажал кнопку видеоскопа. Перед ним появилось изображение контрольного зала. Он улыбнулся.

— Спасибо, Орк, что не забыли меня. Грустно было бы умирать одному.

— Клобор, от имени всех людей—спасибо! Благодаря вам мы когда-нибудь сможем отправиться к звездам, не увлекая для этого за собой всю Землю. Ваше имя будет жить вечно, пока существуют люди!

Старый археолог усмехнулся.

— Я предпочел бы, чтобы мое имя жило в моих научных трудах, а не благодаря случайной находке. Но что делать? Приходится принимать славу, как она есть. Однако не занимайтесь мной, у вас дела поважнее. Когда приблизится последняя минута, я позову...

Я перевел взгляд на астрономические экраны. На солнечном диске близ экватора отчетливо выделилась более темная зона с рваными, вихрящимися краями.

— Все идет, как мы предвидели,—проговорил Хани спокойным, даже слишком спокойным голосом.—Теперь взрыва ждать недолго...

Однако прошел целый час, а ничего нового не происходило. Солнце неторопливо вращалось. Затем его медленно пульсирующий диск исказился. Сбоку появился гигантский протуберанец, взлетевший, наверное, на миллионы километров.

Хани прильнул к объективу спектроскопического анализатора.

— Реакция Орка-Кельбика началась! Через несколько секунд...

Закончить он не успел. Несмотря на почти мгновенную

автоматическую перенастройку светофильтров, мы все были почти ослеплены нестерпимо яркой вспышкой в самом центре Солнца. Когда способность видеть вернулась к нам, весь диск был окутан фантастическими фиолетовыми протуберанцами. В течение одной-двух минут Солнце раздувалось, теряло шарообразную форму, словно распадалось на части. Затем последовал сам взрыв. Кипящее огненное море заполнило весь экран ретранслятора № 1, и он прекратил передачу, разнесенный на атомы.

— Теперь остается только ждать,— пробормотал Хани.

Чудовищный световой поток устремился за нами вдогонку. Однако телескоп на вершине центральной обсерватории все еще показывал нам Солнце как сверкающую звезду. Ретранслятор № 2 перестал работать еще до того, как раскаленные газы достигли его, расплавленный радиацией. Последнее изображение с Меркурия показало людям Теневые горы, резко выделяющиеся на фоне неба, охваченного пламенем. Даже с Марса Солнце казалось теперь крупнее и ярче, чем некогда с обсерватории Эрукои.

Несколько минут спустя нас вызвал Клобор.

— Я вернулся с последней прогулки по Марсу. Уже сейчас на поверхности невыносимо. Лишайники горят. Думаю, что теперь мне осталось недолго жить,— закончил он тихо.

На мгновение он исчез, затем снова появился на экране.

— Даже здесь уже тридцать два градуса! Когда стрелка покажет пятьдесят...

Он положил термометр на стол так, чтобы мы его видели. Стрелка перемещалась на глазах. Сорок градусов... сорок пять...

В подземелье марсианского ретранслятора Клобор поднял наполненный розовой жидкостью бокал.

— Друзья, тост Кальра, основателя! Думаю, сейчас он самый подходящий. За прошлые века, которым я посвятил свою жизнь!

— За этот час!— хором ответили мы.

— За вечные дни грядущего!

Клобор поднес бокал к губам, отпил глоток и рухнул на стол; рука его бессильно свесилась.

Мы продолжали стоять молча. Стрелка термометра двигалась все быстрее. Когда она показала девяносто градусов, экран погас.

Часть третья *Великие Сумерки*

Власть

Совет принял меня тотчас же. Политическая обстановка прояснилась, однако космическая оставалась тревожной. Кельбик представил мне последние данные.

Земля и Венера теперь убегали со скоростью, превосходящей скорость раскаленных газов Солнца. Во всяком случае мы уже вышли за пределы зоны, которой эти газы могли бы достичь в ближайшее время. Однако расчеты показывали, что, если мы немедленно не увеличим ускорение, температура почвы Земли и Венеры под воздействием радиации скоро превысит точку спекания глины. Это означало, что почва обеих планет станет бесплодной и непригодной для обработки на многие десятилетия. Со своей стороны геологи и геофизики сообщили — и Рения это подтвердила, — что дальнейшее ускорение геокосмосов приведет к разрывам земной коры, которые могут оказаться катастрофическими. У нас оставалось всего несколько часов, чтобы принять решение. А пока мы очень осторожно увеличили мощность геокосмосов.

Это было самым тревожным заседанием Совета. С одной стороны, нам грозило немедленное и катастрофическое растрескивание коры. С другой — более отдаленная, но не менее ужасная опасность полной стерилизации почвы обеих планет. Продовольственные запасы, а также продукция синтезирующих фабрик и гидропонных теплиц обеспечивали нас еще на пятнадцать лет. Но после этого пришлось бы резко уменьшить население — исход поистине трагический! — либо завоевывать и осваивать чужие неизвестные планеты, если только вообще мы найдем подходящие для жизни планеты за столь короткий срок. Оставалась, правда, возможность, что нам удастся изобрести новый способ восстановления плодородия почвы.

Кельбик, Рения, Хани и я высказались за второй, менее рискованный вариант, и многие нас поддержали. Однако большинство Совета проголосовало «против», и было решено увеличить ускорение. Мы вернулись в контрольный зал. Прежде чем Рения ушла в свою геофизическую кабину, я успел шепнуть ей несколько слов. Она должна была предупредить меня, когда напряжение земной коры до-

стигнет предела. Я прекращу ускорение и — будь что будет! Кельбик, разумеется, был с нами заодно.

И вот я сел за пульт управления, подменив Сни. Nova на экранах заполняла большую часть неба, и блеск ее был почти нестерпим, несмотря на светофильтры. Раскаленные газы давно достигли орбиты Юпитера, и гигантская планета исчезла в сиянии радиации, превращенная в плазму. Я попросил передать из обсерватории изображение Сатурна. Он был на самой границе зоны, и облако светящегося газа окутывало его. Сатурн уже потерял свои кольца, состоявшие из космического льда.

Тянуть дольше не было возможности, и я осторожно увеличил ускорение. На экране интегратора линия напряжения коры дала небольшой скачок. Я вызвал Рению:

— Что у тебя?

— Почти никакого эффекта. Продолжай, раз у нас нет выхода. Но очень постепенно. Рано или поздно мы все равно до нее дойдем.

Я обернулся. Властители сидели в амфитеатре и следили за мной. Случайно или по расчету все противники ускорения, главным образом геологи и физики, сгруппировались на одном крыле. Напротив них сидело большинство, те, кто не верил в возможность восстановления плодородия почвы, — ботаники, химики, агрономы ... Кельбик склонился надо мной, оперся на мое плечо. Раздраженный, я уже хотел его оттолкнуть, как вдруг почувствовал, что он сунул что-то тяжелое за отворот моей туники.

— Все будет хорошо! — сказал он громко. — Главное, правильно использовать наши силы.

Сунув руку за пазуху, я нащупал рукоять фульгуратора.

— Да, но когда придет час, нужно действовать без колебаний! — ответил я, в свою очередь играя на скрытом смысле слов.

И я продолжал увеличивать скорость, не сводя глаз с экрана интегратора. Внутреннее напряжение коры теперь нарастало очень быстро, волнистая линия через каждые несколько миллиметров прерывалась новыми вспышками. Через два часа я услышал голос Рении:

— Орк, прикажи эвакуировать Илюр. При этом ритме ускорения сейсмологи предсказывают через пять часов землетрясение в девять баллов.

Девять баллов! Это означало, что город обречен. Я отдал приказ, встал и обратился к Совету:

— Властители, я считаю, что мы должны прекратить дальнейшее ускорение!

Гдан, Властитель растений, поднялся со своего места.

— Каково будет наше положение при теперешней скорости?

Хани сверился с показаниями приборов, сделал быстрый подсчет и ответил:

— Мы еще не выйдем из зоны, где глина спечется и структура почвы будет разрушена.

— В таком случае, я полагаю, нужно продолжать,— сказал Гдан.

Хани воспользовался своим правом председателя Совета.

— Пусть те, кто за ускорение, встанут! — предложил он. И, пересчитав голоса, повернулся ко мне: — Орк, большинство. Мне очень жаль, но ...

Повернувшись спиной к пульту управления, я оглядел аудиторию. Это большинство уменьшилось. Хэлин, Властитель людей, присоединился к нам. Рения выглянула из окна своей кабины. Я указал ей глазами на пульт. Она отрицательно покачала головой.

— Ну что ж,—сказал я негромко.— В таком случае я отказываюсь подчиняться.

Наступила зловещая тишина. Все были потрясены. Никогда еще со дня существования Совета ни один техн не осмеливался открыто восставать против его решений. Кельбик с удрученным видом пожал плечами и начал взбираться по лесенке к геофизической кабине, удаляясь от меня как от зачумленного.

— Я не ослышался? Вы отказываетесь повиноваться, Орк? — взорвался Гдан, Властитель растений.— Но это безумие!

— Безумие или нет, я отказываюсь! И я думаю, что скорее безумец вы, потому что вы рискуете взорвать планету!

— До этого еще далеко! Второй и последний раз именем Совета приказываю повиноваться!

— Второй и последний раз я отказываюсь!

И коротким нажимом кнопки я прекратил ускорение.

— Что ж, вы этого хотели, Орк. Хэлин, прикажите вашим людям арестовать его!

— Я это сделаю сам,—сказал Хэлин и подмигнул мне. Он небрежно вытащил свой фульгуратор, держа его за

ствол. Я выхватил из-за пазухи свой и направил на Властителей.

— Хэлин, ни с места! Я не знаю, на чьей вы стороне. Вы и все остальные, бросьте оружие! И быстро!

С выражением ужаса на лицах Властители поднимались один за другим под дулом моего фульгуратора и складывали оружие. Фиолетовая молния сверкнула с верхней площадки лесенки, и Белуб, помощник Гдана, рухнул на пол. Кельбик опередил его. Я чувствовал смертельную усталость и отвращение—события последних дней измотали меня. Я не спал уже двое суток.

— Можешь довериться Хэлину!—крикнул мне Кельбик.—Он был с нами с самого начала.

Хэлин уже отдавал приказания по своему микронередатчику. Агенты полиции текнов заполнили контрольный зал и начали подбирать оружие. Хани печально смотрел на нас.

— Орк! Кельбик! Я никогда не думал, что вы способны на такое ... Восстать против Совета!..

— Нисколько, учитель,—возразил ему Кельбик.—И Орк здесь ни при чем. Его личный бунт, его отказ выполнить идиотское решение только помогли нам, Хэлину и мне.

Он подскочил к ошеломленному Гдану и сделал быстрый жест, словно хотел вырвать ему глаза. В руке его осталась дряблая маска. Перед нами открылось искаженное страхом лицо, совершенно незнакомое и ничем не похожее на лицо Гдана.

— Властители, представляю вам нашего заклятого врага, истинного главу фаталистов. Во всяком случае, я так думаю. И думаю также, что это он убил настоящего Гдана. Пока Орк храбро сражался с заговорщиками наверху, я тут кое-что расследовал. У меня уже давно, еще со времени нападения на наши планеры, возникло подозрение, что среди самих членов Совета скрывается предатель, что кто-то проник в Совет под чужим обликом. Но только вчера я получил решающее доказательство. Пластическая маска этого самозванца, несмотря на все ее совершенство, имеет один недостаток, который я обнаружил по чистой случайности: она флюоресцирует в слабом ультрафиолетовом излучении. Вчера, примерно в то время, когда Орк летел в Килгур, этот лже-Гдан пришел ко мне в лабораторию, чтобы убедить меня в необходимости дальнейшего ускорения. У меня не была выключена ультрафиолетовая лампа,

и лицо его случайно попало под ее излучение. С этого момента я знал все. Я предупредил Хэлина, и мы решили ждать. Целью этого субъекта было уничтожение Земли, ни больше ни меньше! Представляете, какую великолепную политическую игру он вел последние годы?

— Самое интересное, — продолжил Кельбик, — что плодородию Земли ничто не угрожает, во всяком случае опасность не так уж велика. Мы были загипнотизированы доказательствами псевдо-Гдана, буквально загипнотизированы, и забыли один факт: прежде чем температура повысится до точки спекания глины, солнечная радиация сначала восстановит атмосферу, затем испарит огромные массы воды, которая в свою очередь образует защитный экран из пара и облаков. Вот расчеты! Можете их проверить, если угодно.

Как и предвидел Кельбик, плодородный слой нашей почвы в основном сохранился.

У Земли снова была атмосфера, сотрясаемая грозами невиданной силы. Ураганы тщетно пытались разорвать плотный слой клубящихся туч, которые большую часть времени скрывали от нас пылающую Nova. Мы потеряли некоторое количество воздуха и воды, потому что в верхних слоях атмосферы молекулы под влиянием высоких температур достигали скорости освобождения, однако эти потери можно было в дальнейшем восстановить. На поверхности температура была удушающей, постоянно бушевали циклоны, и лишь редкие группы геологов и агрономов выходили из подземных городов, чтобы подсчитать наши потери. Больше всего мы пострадали в период оттаивания, когда целые пласты пропитанной влагой почвы сползали со склонов и скальные породы растрескивались на поверхности от резких перепадов температуры.

Из центральной обсерватории на Луне Nova была видна, как пылающее ядро огромной флюоресцирующей туманности, которая занимала полнеба. Затем началась последняя стадия реакции. Ядро утратило свою невыносимую яркость, потому что основное его излучение перешло в ультрафиолетовую часть спектра. Осталась видимой только газовая оболочка, похожая на рваную светящуюся вуаль.

Удаление чувствовалось все больше. Внешняя температура снова понизилась, влага выпала снегом, а затем воздух перешел в жидкое и наконец в твердое состояние. Мед-

ленно, очень медленно сияющая туманность померкла в невообразимой дали. И наступили Великие Сумерки.

Теоретически Совет оставался у власти, но на деле последнее слово всегда оставалось за мной. При поддержке Хэлина я, сам того не желая, стал повелителем двух миров.

Сквозь космос

Великие Сумерки! Они продолжались всего пятнадцать лет и тем не менее заслужили это название. Наша цель, Этанор, была в то время самой близкой звездой, расположенной от нас на расстоянии пяти световых лет. Наши сверхтелескопы обнаружили вокруг Этанора по крайней мере семь планет.

Один вечер особенно врезался мне в память. Вместе с Кельбиком и Ренией я сидел в центральной обсерватории. Рения чувствовала себя усталой: скоро должен был родиться наш сын. Мы сидели в удобных креслах перед экраном панорамного обзора. В одном его углу светила газова туманность, которая некогда была нашим Солнцем, но мы уже обозначили ее техническим термином, скажем «Соль». В другом углу в созвездии, похожем на пятиконечную звезду, выделялась одна особенно яркая точка — Этанор. Мы говорили о том самом барьере, который некогда остановил наши звездолеты и к которому мы приближались.

— Я еще раз проверил расчеты, Орк. Все как будто в порядке. Понимаешь, после этой истории с константой Клоба я стал осторожнее.

— Значит, мы пройдем сквозь барьер?

— Несомненно! И наверное, даже сами этого не заметим. Однако надо, чтобы в этот момент в пространстве не было ни одного космолета. Если данные, оставленные нашими предками, точны, все пройдет превосходно.

— Думаю, они точны. Впрочем, я собираюсь послать вперед на разведку корабль ...

— При нашей скорости, учитывая, что старые релятивистские формулы * еще не отвергнуты, толку от этого будет немного. Космолет опередит нас всего на несколько дней!

* Нам они были известны под названием «уравнение Бернала»; для вас это уравнение Эйнштейна — Лоренца. — Прим. Орка.

— Да, пожалуй, это бесполезно. А как идет изучение марсианского звездолета?

— Топчемся на месте, ты сам знаешь. Впрочем, может быть, и не знаешь. Обязанности Верховного Координатора больше не оставляют тебе времени для изысканий ...

Да, я был вот уже несколько лет Верховным Координатором. На мне лежала ответственность за жизнь на двух планетах. Этот марсианский звездолет ... Может быть, Клобор упустил какую-то деталь, которая для него, археолога, показалась маловажной? Несмотря на весь наш оптимизм в начале работы, нам никак не удавалось восстановить этот двигатель. Он немногим отличался от гиперпространственного двигателя, каким безуспешно пытались воспользоваться наши предки. Кроме того, на марсианском корабле находился космомагнит обычного типа. И все же документы, найденные в первом городе, были неопровержимы: марсиане, существа, очень похожие на нас, посещали далекие звезды и уверенно возвращались. И много раз! Правда, был еще на их корабле какой-то специальный контур, в котором не могли разобраться наши лучшие специалисты, включая Кельбика. Действие его распространялось скорее на время, чем на пространство.

— Послушай, Орк! — осторожно вмешалась Рения. — Если марсиане достигли некогда иных звездных систем, то, может быть, они там и до сих пор? И может быть, с ними встретились наши предки, с тех звездолетов, которые не вернулись?

Я улыбнулся.

— Мы уже думали об этом, Рения. Именно предвидя такую возможность, я поручил разным группам ученых заниматься проблемой оружия ...

Мы приумолкли. На экране звезды сияли так безмятежно и приветливо, словно ожидали нас. Но они были так далеко!.. Печаль охватила меня. Уже столько лет мы не видели ласкового солнечного света! Неужели человеку суждено познать лишь крохотную частицу космоса? Пять световых лет ... А Вселенная раскинулась на миллиарды и миллиарды парсеков!

Кельбик, видимо, догадался о моих мыслях.

— В конце концов мы раскроем секрет марсиан! Может быть, это будет уже не при нас, но какая разница? Мы сдвинули с места наши планеты. Это уже немало, поверь мне!

— Ты говорил про оружие?—спросила Рения, словно пробуждаясь.— Неужели ты думаешь, что нам придется его применить?

— Я не знаю. Надеюсь, что нет. Но если в солнечной системе, в которую мы войдем, есть разумные существа и если они знакомы с межпланетными полетами, боюсь, что они встретят нас без особой радости. Я бы хотел, чтобы в системе Этанора вообще не было жизни!

— А если это мир друмов?

Рения содрогнулась.

— Мы лучше вооружены, чем наши предки,—ответил Кельбик.— На нашей стороне вся мощь двух планет.

— А сколько планет на их стороне?—возразил я.— Одна-ко такая возможность мне кажется маловероятной. Судя по ритму нашествия друмов, они летели из гораздо более далеких миров и со скоростью, меньшей чем скорость света. Между прибытием каждой новой армады проходило по шестидесят лет!..

— Кто знает, какие чудовища еще встретятся нам!—вздыхнула Рения.

— Поживем—увидим!

Пришло время, и мы преодолели барьер. Я не стал посылать на разведку космолет. Отчеты всех прежних экспедиций совпадали до мельчайших подробностей. Сначала замедление скорости, затем остановка и абсолютная невозможность продвинуться дальше, несмотря на колоссальный расход энергии. Телеуправляемые роботы предупредили нас о приближении к барьеру. И вот тогда-то мы поволновались за судьбу нашей Луны!

Теоретически массы нашего спутника, увеличенной благодаря скорости, было вполне достаточно, чтобы преодолеть барьер. А на практике? Этого мы не знали. Значит, надо было все рассчитать так, чтобы Луна не оказалась перед барьером впереди Земли, иначе мог бы произойти чудовищный карамболь на космическом бильярде.

Последние месяцы Кельбик разрабатывал теорию преодоления барьера по методу резонанса, но он пришел к уравнениям, физический смысл которых был неясен, и нам от них не было никакого толку. Например, мы не знали, где начинается опасная зона для масс планетарного порядка. Поэтому все обсерватории внимательно наблю-

дали за Луной, чтобы сразу сообщить о малейшем изменении ее орбиты.

Наступил момент, когда наши телеуправляемые роботы остановились. Дальше мы сами должны были преодолеть барьер через несколько часов, с Луной позади Земли. Нам, таким образом, ничто не угрожало. Но всех, кто был на Луне, мы на всякий случай временно эвакуировали. Оставив Совет в контрольном зале, я с Кельбиком уединился в лаборатории. Рения была дома возле Ареля, нашего новорожденного сына, но за несколько минут до критического мгновения она присоединилась к нам.

Впрочем, этого мгновения никто даже не заметил. Лишь по тому, что наши космолеты вскоре смогли беспрепятственно взлететь, мы поняли, что барьер позади. Ни сила тяготения, ни магнитное поле, ни скорость света — ничто в этот момент не изменилось. И Луна прошла следом за нами без всяких потерь.

Очень медленно цель нашего странствия, Этанор, приближалась. Звезда уже приобрела форму диска, видимого в обычные телескопы. Но планеты ее можно было различить лишь с помощью сверхтелескопа, и это не давало нам ничего нового, потому что в сверхтелескоп любое небесное тело, звезда или планета, выглядело, как белая точка. Лишь на расстоянии половины светового года от Этанора мы начали торможение. А несколько месяцев спустя, когда скорость была уже сильно снижена, я возглавил разведывательную экспедицию.

Мы должны были вылететь на одном из больших боевых космолетов, которых на всякий случай понастроили довольно много. Он назывался «Клингган», что означает «Устрашающий». Как видите, даже мы не избавились от привычки давать нашим боевым кораблям громкие имена! Длинной немногим более ста метров, при максимальном диаметре в двадцать пять метров, он был буквально начинен всеми видами старого полузабытого вооружения, которые удалось восстановить нашей мирной науке, и еще кое-какими новинками. Я решил принять участие в экспедиции, чтобы на месте определить, подходит нам эта солнечная система или мы должны, не снижая скорости, лететь к другой звезде. Разумеется, Кельбик захотел сопровождать меня, и хотя, наверное, было бы разумнее оставить его на Земле, я согласился. Моя высокая должность отдалила меня от остальных смертных, за исключе-

нием немногих друзей, и если уж Рения не могла быть со мной, то пусть рядом будет хотя бы один близкий человек!

Экипаж состоял из пятидесяти человек под командованием венерианина Тирила. Для управления кораблем было бы достаточно и десяти, остальные составляли боевую группу, но я от души надеялся, что в ней не будет нужды.

Мы вылетели утром — свет Этанора был уже достаточно силен, чтобы это слово приобрело прежний смысл. Рения проводила меня до входного шлюза, а затем удалилась — маленький силуэт в скафандре на поле из замерзшего воздуха. Я с Кельбиком устроился в рубке управления, и «Клинган» ринулся в небо, набирая скорость.

Часть четвертая *Одиссея Земли*

Место занято!

Мы рассчитывали достичь планетной системы Этанора дней за пятнадцать. Она состояла из одиннадцати планет, из которых по крайней мере две могли быть обитаемыми, если их атмосфера подойдет нам. Конечно, мы не рассчитывали тотчас колонизовать эти планеты. Для начала надо было вывести Венеру и Землю на подходящие орбиты, а там будет видно!

Когда мы начали приближаться к девятой планете — внешней по нашему курсу, — гиперрадары на волнах Хэка внезапно обнаружили три тела, летящие прямо на нас с большой скоростью. Я спал, и меня разбудил сигнал тревоги. Кельбик распахнул дверь моей кабины, что-то крикнул и тут же исчез. Я поспешно оделся и бросился в рубку. Кельбик уже стоял там, склонившись над экраном.

— Увы, Орк! — воскликнул он. — Похоже, что место уже занято!

— Очень похоже, — буркнул я. — Тирил, боевая тревога!

Не отрывая глаз, мы следили за тремя черточками на экране, а в это время экипаж и десантники занимали свои посты, готовясь, может быть, к первому космическому сражению с незапамятных времен вторжения друмов. Наконец три звездолета ясно обрисовались на экране. Они были меньше и тоньше нашего корабля и летели очень быстро. Ракетных дюз не было заметно: очевидно, неизвестные ис-

пользовали принцип космомагнетизма или какую-то иную столь же высокую технику.

Внезапно от передового корабля отделилась сверкающая точка и с огромной скоростью устремилась к нам.

— Тирил, внимание ... — начал я и остановился. Сверкающая точка описала идеальный полукруг и снова прилипла к борту корабля. Этот маневр повторился трижды.

— Я понял! — воскликнул Кельбик. — Они предупреждают, что у них есть оружие, но они не хотят к нему прибегать.

— Возможно, Тирил, ответьте им точно так же и начинайте торможение.

Из недр «Клингана» вырвались десять телеуправляемых торпед, мгновенно преодолели четверть расстояния, отделявшего нас от незнакомцев, и вернулись в свои гнезда. Постепенно мы сближались. Наконец, оставив далеко позади своих спутников, передовой корабль остановился примерно в тридцати километрах от нас. Теперь его было отлично видно на смотровых экранах: перед нами висела длинная блестящая сигара без единого иллюминатора. Она казалась монолитной: мы не могли разглядеть ни шва, ни заклепки.

— Попробуем связаться с ними по радио, — предложил я.

Довольно долго мы посылали сигналы на разных волнах, не получая ответа. Наконец наш приемник запищал, экран телевизора вспыхнул и тут же погас. Но за этот короткий миг мы разглядели человеческое лицо! Какого оно было цвета, определить не удалось — по экрану бежали радужные всплески.

— На какой мы были волне? Тридцать сантиметров? Ищите на тридцати!

Наш экран осветился, и на этот раз устойчиво. На нас смотрел человек. И не какой-нибудь гуманоид, отдаленно напоминающий людей, а настоящий человек! У него было энергичное загорелое лицо, пронизательные синие глаза и рыжие длинные волосы, ниспадавшие из-под серебристого шлема. Он заговорил. Язык его был мне непонятен, но мучительно что-то напоминал. Кельбик толкнул меня локтем и пробормотал:

— Орк, кажется, это наречие, родственное древнему языку клум начала тысячелетия!

— Как, ты знаешь этот язык, на котором никто не гово-

рит вот уже четыреста лет?

— Я выучил его студентом, чтобы проверить перевод, кстати не слишком точный, одного математического трактата. Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, этот человек спрашивает, кто мы такие.

— Что ж, попробуй ему ответить!

С трудом подбирая слова, Кельбик произнес короткую фразу. Лицо человека на экране отразило безмерное удивление, затем радость. Он тотчас коротко ответил.

— Он говорит, что рад встретить людей. Он боялся, что мы друмы.

— Значит, они знают про друмов?

Кельбик посмотрел на меня с жалостью.

— Раз это люди и они говорят на клумском языке, то скорее всего это потомки экипажа одного из наших затерянных в гиперпространстве звездолетов! Неужели ты не понял?

Я повернулся к капитану.

— Тирил, вы всегда увлекались историей. Скажите, был ли среди потерянных звездолетов хотя бы один с клумским экипажем?

Он подумал несколько секунд.

— Думаю, что да. Третий или пятый звездолет, а может быть, тот и другой. Начиная с десятого, вылетевшего в 4119 году, уже был введен универсальный язык, хотя древние местные языки еще кое-где сохранялись до 4300-х годов.

Новый поток на сей раз более настойчивых вопросов хлынул с экрана. Кельбик не очень уверенно перевел:

— Если я точно понял — язык сильно изменился, — он снова нас спрашивает, откуда мы. Сказать ему?

— Разумеется!

Несколько минут Кельбик говорил один. Человек в шлеме слушал. Я видел, как на лице его выражение недоверия сменялось изумлением и наконец восхищением. Он произнес несколько слов и прервал связь.

— Он переговаривает со своим правительством. Мы должны оставаться на месте, пока он не получит указаний.

На волнах Хэка мы в свою очередь связались с Землей. Я приказал продолжить торможение и попросил Совет привести наш флот в боевую готовность. Затем началось томительное ожидание.

Три звездолета по-прежнему плавали перед нами в пространстве, но теперь ближайший был всего в двадцати километрах, а остальные два — километрах в ста. Они не подавали признаков жизни. Наши люди оставались на боевых постах, готовые ко всему. Трижды мы пытались возобновить связь, но безуспешно. Время тянулось все медленнее. Наконец через двенадцать долгих часов экран снова осветился.

— Есть у вас на борту кто-нибудь, кто может вести переговоры от имени вашего правительства? — спросил все тот же рыжеволосый незнакомец в шлеме.

— Да! — ответил я.

— Приглашаем вас к нам на борт вместе с вашим спутником, который знает наш язык. Мы прибудем на Тилию, где вы встретитесь с нашими правителями. Двое из наших перейдут на ваш корабль как заложники. Вы вернетесь через срок, равный двенадцати оборотам планеты Ретор, которая перед вами.

— Хорошо, — сказал Кельбик. — Но если мы не вернемся в срок, наши друзья обрушат на вас всю мощь двух планет.

Человек пожал плечами.

— Я капитан Кириос Милонас, — сказал он. — Мы вас не боимся, и мы хотим мира ... если только мир возможен. Чтобы у вас не было опасений, можете прибыть к нам в своей собственной спасательной шлюпке.

— Согласны. У вас есть шлюз?

— Конечно. Он будет открыт.

Я быстро собрал в своей каюте необходимые мне личные вещи и, поскольку незнакомец ничего не говорил об оружии, прихватил с собой маленький легкий фульгуратор. Уже в шлюпке мы облачились в скафандры, и когда наш аппарат причалил к борту чужого корабля, шагнули в зияющее отверстие шлюза. Правда, выждав, пока две фигуры в скафандрах, похожих на земные, не заняли в шлюпке наши места, помахав нам на прощание рукой. Дверь шлюза бесшумно закрылась. Мы стали пленниками чужого звездолета.

Точно в назначенный срок мы вернулись на борт «Клингана» измученные и огорченные. Да, здесь для нас было места! Положение в системе Этанора оказалось настолько сложным и запутанным, что присутствие еще двух

густонаселенных планет грозило привести к братоубийственной войне. Тилийцы, действительно потомки людей с одного из наших звездолетов, обосновались здесь после долгих странствий по Вселенной. Но длительное пребывание в космосе вызвало у землян мутацию. Она выразилась в том, что на десять детей у них рождался только один мальчик. Отсюда — обязательная полигамия для поддержания хотя бы минимального числа мужчин. Дело осложнялось тем, что единственная другая планета, пригодная для жизни, была населена враждебными людям гуманоидами — триисами, уже знакомыми с межпланетными перелетами. Тилийцам приходилось постоянно отражать атаки, и у них образовалась высшая каста космических рыцарей. И сложная, непонятная нам социальная структура, напоминавшая иерархию боевого корабля. Они создали достаточно высокую, но совершенно чуждую нам цивилизацию. И они не хотели ничьей помощи, не терпели ничего вмешательства. Гордые воины, владыки своих прекрасных гаремов, отцы многочисленных семей, они хотели завоевать вторую планету для своих потомков. Тем более что триисы напали на них первыми.

Переговоры на Тилии не привели ни к чему. Тилийцы протягивали нам дружескую руку, закованную в стальную перчатку. Они восхищались подвигом землян, они готовы были с радостью принять любую помощь, научную и военную, и в свою очередь поделиться с нами своими знаниями, они готовы были даже предоставить в наше распоряжение лучших своих офицеров, закаленных в космических сражениях, но они твердо попросили оставить их систему во избежание конфликтов в будущем. И мы покорились.

Снова в путь!

По возвращении на «Клинган», который ожидал нас в той же точке пространства, я тотчас отправил Совету подробный отчет.

Совет одобрил принятые мною обязательства, и вот Земля и Венера под действием гигантских космомагнитов начали менять свою траекторию, снова набирая скорость. Несмотря на мои опасения, народ тоже поддержал Совет, когда узнал, что в противном случае грозила бы война с такими же людьми, как и мы.

Ни Кельбик, ни я не участвовали в совместных с тилий-

нами батальях против триисов, о чем было договорено. Когда мы вернулись на Землю, Кельбик сразу же заперся в нашей лаборатории, чтобы проверить идею, возникшую у него на Тилии. Спустя неделю он вызвал меня. Все шло хорошо, поэтому я на несколько дней передал свои полномочия Хэлину и отправился в лабораторию.

Кельбика я застал за большим деревянным столом — он ненавидел столы из металла или пластмассы. Перед ним в беспорядке громоздились стопки листов, сплошь покрытых его тонким капризным почерком. Он выбрал одну такую стопку и протянул мне.

— Прочти и скажи, что ты об этом думаешь.

Я взял бумаги, присел на край стола и начал их просматривать. Однако вскоре я выбрал кресло поудобнее и, придвинув его к столу, в свою очередь принялся выводить формулы на чистых листах. Мне трудно было следить за его мыслью, и если бы Кельбик не научил меня своему особому методу анализа, я бы с этим никогда не справился. Даже сейчас работа эта была нелегкой, и прошло немало часов, прежде чем я довел ее до конца. С изумлением я уставился на своего друга.

— Но послушай, Кельбик, ты же развиваешь здесь новую теорию времени! И довольно соблазнительную! Это представление о времени как о поляризованном потоке четвертого измерения ... Однако, готов поклясться, твое уравнение имеет обратную силу! А это значит ...

— Что можно путешествовать во времени. Да. Но это не ново. На такую возможность, если верить нашему другу археологу Люки, указывал еще до темных веков, а может быть, даже до ледниковых периодов, некий Уэрс или Уэллс — его имя упоминается в хрониках прорицателя Килна. Впрочем, мне кажется, это просто легенда — в противном случае он бы обосновал свою теорию. Однако это возможно сделать, только опираясь на основные уравнения космомагнетизма!

— Да, но кто знает, какого уровня достигли люди первой цивилизации? В конце концов, они до какой-то степени освоили Марс и добрались до Венеры! А может быть, это было просто ни на чем не основанное предвидение. Но подожди ... Теперь твое уравнение мне кажется чем-то знакомым. Ну да, ведь это уравнение распространения волн Хэка, только более сложное, потому что фактор времени в нем имеет четыре измерения, а не одно. Это

и объясняет, почему они распространяются быстрее света в континууме более сложного порядка, нужели пространство. Поздравляю, Кельбик! Это большое открытие. Но когда у тебя возникла такая мысль?

— Когда я увидел тилийский город Рхен. Я узнал его. Он изображен на второй фотографии марсиан.

Я смотрел на него в недоумении.

— Ну да, все очень просто! Этот город существует не более трехсот лет. А марсиане исчезли в незапамятные времена, задолго до появления на Марсе наших предков первой цивилизации. Следовательно, чтобы сделать фотографию города, который возникнет только через сотни тысяч или миллионов лет, нужно совершить путешествие во времени, в будущее. Так вот, простой космолет марсиан не мог посетить Тилию из-за барьера. Он не мог это сделать и через гиперпространство, потому что иначе бы он не нашел дороги обратно. Тем не менее на их звездолете мы нашли гиперпространственную установку! Но в таком случае зачем им понадобились мощные космомагнетические двигатели! Теперь понимаешь?

— Ничего не понимаю.

— Кроме того, у них там был контур, видимо влияющий на время. Это тебе ничего не говорит?

— Да объясни наконец, черт тебя побери!

— Ну ладно. У нас имеется звездолет, который, судя по многочисленным фотоснимкам, не раз совершал далекие путешествия. На звездолете обнаружены: а) космомагнетические двигатели; б) гиперпространственная установка; в) контур, видимо влияющий на время. Следовательно, эти три механизма необходимы для межзвездных путешествий. Барьер можно преодолеть разными способами, Орк. Проломить его или пройти над ним звездолет не способен. Однако можно пройти до того, как он возник, или после того, как он исчез.

Меня словно озарило.

— Ты хочешь сказать, что марсиане использовали галактическое течение?

— Или, проще говоря, движение звезд. Следи внимательно за моей мыслью. Барьер окружает каждую звезду полем, непроницаемым для любого тела, с массой, меньшей чем у нашей Луны. Но это поле, или барьер, передвигается в пространстве вместе со звездой. Представь космолет перед таким барьером. Скачок во времени — и барьера

перед ним уже нет или еще нет. Разумеется, это требует огромного расхода энергии, но, видимо, не большего, чем дают космомагнетические двигатели.

— Ну, а при чем здесь сверхпространственная установка? Что-то не вяжется... — Ты не обратил внимания на рассказ нашего рыжего капитана Кириоса Милонаса. Помнишь, он как-то говорил, что они с успехом используют гиперпространственный способ внутри своего барьера? Дело осложняется лишь при попытке его пересечь. Видимо, барьер как-то существует и в сверхпространстве, и именно из-за него установки разлаживаются и отпирывают звездолет куда попало. Но без сверхпространственных установок межзвездные перелеты отнимали бы слишком много времени. Я представляю марсианскую технику перелетов так: гиперпространственный скачок до барьера, временной скачок через барьер, удаление от барьера с помощью космомагнитов, еще второй временной скачок для того, чтобы вернуться в свое время, еще один гиперпространственный скачок до системы, которую хотят изучить, и снова космомагнетизм для приземления. Впрочем, второго временного скачка они могли и не делать. Для исследования неведомой вселенной интересен любой отрезок времени!

— Да, видимо только так можно объяснить марсианские фотоснимки. Но почему такой огромный скачок в будущее? На полмиллиона лет, если не больше!

— А ты обратил внимание, что мое уравнение времени квантованное? Я, правда, не знаю кванта времени; возможно, он сам очень велик, а возможно, марсианский контур времени действовал только на определенное число квантов одновременно, и не иначе...

— Как думаешь, друмам тоже был известен этот секрет?

— Мы это вряд ли когда-либо узнаем... Ну, а теперь пора переходить от теории к практике. Но для этого придется разрешить еще немало проблем!

И вот начались долгие месяцы напряженной работы. С несколькими ассистентами мы заперлись в лаборатории, отключившись от всего, что происходит снаружи. Лишь однажды Совет убедил меня открыть торжественное заседание по случаю начала второго этапа пути, когда обе наши планеты вышли на новую траекторию к Белюлю. Заодно я узнал, что война с триисами благодаря нашей помощи

была практически завершена. Едва церемония закончилась, я сразу вернулся к Кельбику и к нашей экспериментальной модели, которая только начинала вырисовываться.

Мы уже получили предварительные результаты — исчезновение предметов с минимальной массой, когда мне пришлось вновь вернуться на пост Верховного Координатора Земли и Венеры. Мы приближались к барьеру.

Я прочел многочисленные доклады, скопившиеся на моем столе. Наш боевой флот усиленно тренировался под руководством Кириоса Милонаса и других тилийских офицеров, которые захотели за нами последовать. Производство оружия увеличилось, может быть даже чересчур. По этому поводу я вызвал Кириоса и Хэлина.

— Скажите честно, Кириос, неужели вы думаете, что все это вооружение нам пригодится? Вы знаете: если мы обнаружим в соседней системе людей, мы не будем с ними воевать, как не стали воевать с вами.

— Когда спорят двое, редко обходится без драки, Орк, — ответил он с иронической улыбкой. — А я уверен в двух моментах: во-первых, в системе Белюля есть люди, потому что я слышал их голоса по радио, и во-вторых — они настроены враждебно.

— Может быть, они приняли вас за друмов?

— Сомнительно! Они пригрозили содрать с нас кожу живьем. Они не стали бы угрожать так друмам, у которых нет кожи. Да и вообще, они не стали бы разговаривать с друмами.

— А что вы им ответили?

— Ничего. Они сразу прервали передачу и к тому же не услышали бы нашего ответа. Их передатчик был гораздо мощнее нашего, потому что сигнал дошел до нас с расстояния по крайней мере пятидесяти миллионов километров. Нет, Орк, драки не избежать, и драка будет жестокой, если оружие у них не хуже средств связи.

— А если мы изменим курс и пройдем мимо этой системы?

— Психологически невозможно! — вмешался Хэлин. — На Земле и на Венере все устали от этой кротовой жизни. Человек не термит, Орк! Текны в крайнем случае еще могут потерпеть, если дать им веское объяснение и указать достойную цель. Но триллы ... Так что будем надеяться, что население, которое мы найдем, окажется дружелюбным

и позволит нашим планетам выйти на орбиты вокруг их солнца. Хотя бы на несколько десятков лет, чтобы люди отдохнули и набрались сил.

— Неужели дела так плохи?

— Хуже, чем ты думаешь, Орк. Пока вы с Кельбиком работали, было две попытки мятежа. О, без кровопролитий, всего лишь попытки! И еще был огромный приток добровольцев для войны против триисов. В десять раз больше, чем требовалось, по совести говоря. Люди с радостью шли на смертельный риск, лишь бы побывать на Тилии или на Трии, увидеть солнце, насладиться нормальным чередованием дней и ночей, искупаться в реке ... Мы этим воспользовались для посменной тренировки многочисленных экипажей для космолетов. Думаю, это нам пригодится.

— Значит, вы полагаете, что в случае необходимости народ согласится сражаться?

— Я в этом уверен! Все что угодно, лишь бы не третьи Великие Сумерки! Вчера я подслушал весьма характерное замечание. Когда мимо проходил один из соотечественников Кириоса, кто-то из наших сказал: «В общем-то очень жаль, что они оказались такими славными ребятами!»

— Ну-ну, в противном случае мы бы вас встретили иначе! — усмехнулся Кириос.

— Неужели возможен подобный возврат к дикости? — задумчиво проговорил я.

— Послушайте, Орк, мы вернулись вспять не по собственной воле, без всякого удовольствия, но и без особых потерь, — проговорил Кириос. — Однако, судя по тому что я слышал о восстании фаталистов и о том, как вы его подавили, мне кажется, что при случае дикарь пробуждается даже в вас, Орк Акеран! Верьте мне, как настоящий воин, я ненавижу войну. Обстоятельства сложились так, что многие наши юноши стали солдатами. Я был из их числа, хотя с детства мечтал о мирной жизни астронома. И клянусь Экланом, если я уцелею к тому времени, когда Земля выйдет на надежную орбиту, я осуществлю эту мечту! Но пока я должен оставаться солдатом. Мой начальник, которого я, наверное, никогда больше не увижу, приказал мне верно служить материнской планете. И пока ей угрожает опасность, я буду исполнять этот приказ и буду убивать без радости, но и без угрызений совести. Ибо я, варвар, хочу, чтобы вечно жила человеческая цивилизация!

— А если я прикажу вам напасть на мирную планету?
— Теперь вы мой начальник. Я исполню приказ как солдат, но совесть моя будет нечиста. Однако я знаю, что вы этого не сделаете. Если бы мой адмирал там, на Тилии, заподозрил, что вы способны на агрессию, я бы не был здесь с вами.

— Вы правы, вам нечего опасаться, Кириос.

В тот вечер он остался обедать у нас с Ренией. Кириос жил одиноко, его три жены остались на Тилии, и кажется, он был этому втайне рад. Он женился недавно, без любви, повинаясь закону, и детей у него еще не было. Кириос рассказал нам о своей суровой юности, о мучительной и жестокой военной подготовке и о том, как по ночам тайком он пробирался в обсерваторию, чтобы следить за звездами. Его математические познания оказались довольно глубокими, и позднее мы с Кельбиком были поражены быстротой, с какой он усваивал основы наших специальных методов расчета. Поистине он был для Земли ценным приобретением!

В последующие месяцы наша дружба еще более окрепла, и Кириос вскоре стал завсегдатаем нашей лаборатории, откуда Кельбик вовсе не выходил и где я появлялся, как только позволяло время. Кириос принадлежал к другой цивилизации, и его реакции часто бывали совершенно неожиданными. Иногда это нас забавляло, а иногда приносило нам пользу. Например, он не понимал, как это я, правитель двух планет, мог рисковать своей жизнью во время первого контакта с его эскадрой.

— А если бы я вас уничтожил?

— Это, Кириос, не имело бы решающего значения — для Земли, конечно, а не для меня! Совет назначил бы другого координатора, и все шло бы по-прежнему ...

— Значит, вы думаете, что люди взаимозаменяемы?

— Разумеется, нет! Однако нет людей незаменимых. Наша цивилизация не основывается, как у вас, на культе вождя. С точки зрения науки гибель Кельбика была бы гораздо более серьезной потерей, чем моя смерть, потому что я уже давно не занимаюсь серьезной работой, и никогда у меня на это не будет времени, пока я остаюсь координатором.

— Но, наконец, личная преданность ...

— Нет и не должно быть никакой личной преданности в столь сложной цивилизации, как наша. И я уверен, Ки-

риос, что ваша цивилизация со временем тоже станет совсем не такой, как сейчас. На трудности, которые вставали перед вами,— освоение новой чужой планеты, а позднее— появление триисов, вы нашли единственно возможный ответ: создание централизованной цивилизации, общества, сгруппированного вокруг вождя— сначала вождя деревни, затем военного вождя и наконец вождя государства. Мы находимся совсем в ином положении.

— Еще бы!— буркнул Кириос.

— По совершенно очевидным причинам на Земле существует одно правительство, и сама сложность нашей цивилизации требует, чтобы оно было коллегиальным со строгим иерархическим разделением функций. Венера от нас практически не зависит, и это превосходно, потому что мы не смогли бы отсюда управлять другой планетой. Единственный высший и тоже коллегиальный орган власти для обеих планет— это Совет Властителей, который по возможности действует убеждением, а не приказами. Что же до меня, то я лишь временный диктатор, назначенный Советом на период кризиса с определенной целью— руководить Великим Путешествием, и только для этого.

— Понимаю,— кивнул Кириос.

— Точно так же и сейчас, если нам придется вести войну в системе Белюля, ответственность за все решения падет целиком на меня. Но только на время войны! Поэтому не считайте меня вождем: я всего лишь технический специалист, которому поручено специальное задание. И я ожидаю от вас повиновения в целях выполнения этого задания.

— Пусть будет так. Может быть, я не все понял, но чтобы повиноваться, не обязательно все понимать. Что бы я, скажем, делал, если бы солдаты принялись обсуждать каждый мой приказ?

— Вы можете пожаловаться на наших людей, которыми командовали в схватках с триисами?

— Нет, что вы!

— И так же будет в дальнейшем, уверяю вас. Земляне способны соблюдать дисциплину, хотя и соглашаются на это лишь по доброй воле.

Мы благополучно преодолели барьер между Этанором и Белюлем и выслали на разведку боевые космолеты. Несмотря на это, нас застали врасплох, что едва не стоило мне жизни.

Я оставил Рению с сыном в Хури-Хольдэ и отправился

с Кельбиком навестить нашего друга — археолога Люки. Он вел раскопки очень древнего города, если не ошибаюсь, там, где сегодня стоит Бордо. Он работал без перерыва, за исключением наиболее опасных моментов, с самого начала подготовки к Великому Путешествию, и сумел за десять лет откопать целый ряд культурных слоев разных эпох. В самом древнем из городов Люки нашел множество интересных свидетельств о том человечестве, которое для нас было доисторическим, — о людях вашей эпохи.

На границе своих обширных раскопок Люки соорудил маленький, но удобный домик для себя и своих сотрудников. Мы навещали его не раз, чтобы немного отдохнуть и развеяться в компании археолога и его прелестной жены.

Люки показал нам свой котлован, освещенный и обогреваемый искусственным солнцем, так что, если бы не скафандры, мы могли бы подумать, что наступили старые добрые времена. Затем мы вернулись в дом, и я уже предвкушал приятный вечер среди настоящих друзей, вдали от всяких забот. Мы поужинали, и Люки достал почтенного вида бутылку, найденную, по его словам, во время раскопок. Но только он начал ее откупоривать, как земля слабо вздрогнула.

— Что это? — удивился я. Землетрясение? Люки, видеофон с Хури-Хольдэ! Быстро!

Он осторожно поставил бутылку и направился к аппарату. Яркая вспышка снаружи внезапно и резко обрисовала его силуэт. Кельбик бросился к окну, я последовал за ним. Далеко за холмами поднимался огненный столб. На этот раз толчок был сильнее. Кельбик, бледнея, повернулся к нам.

— Похоже, это атомная бомба. Примерно в двухстах километрах к югу отсюда.

— Двести километров? Там, кажется, находится Телефон ...

— Да. На нас напали, Орк! Кириос был прав.

— Надо возвращаться. Ты, Люки, и твои помощники тоже. Но сначала наденьте скафандры. А я попытаюсь связаться с Хури-Хольдэ...

Свет нестерпимой яркости залил комнату, и почти тотчас же страшный удар потряс дом. Еще одна бомба, на этот раз сравнительно близко. Люки метнулся к воздухопроводу, до конца открыл кран, затем попытался опустить рычажок возле двери.

— Скорее в убежище! — прохрипел он. — Переборка треснула, воздух уходит! Скафандры, берите с собой скафандры!

— Если еще одна бомба взорвется поближе, нам конец, — пробормотал один из его помощников.

Мы скатились вниз по лестнице и сгрудились восьмером в подземном убежище. Археолог задраил герметический люк.

— Не теряйте времени на болтовню! — торопил я. — В скафандры — и к космолету. Да поживее!

Облачившись, мы открыли люк и поднялись в дом. Переборка двери окончательно сдала, и Люки горестно всплеснул руками при виде своей драгоценной бутылки, расколотой замерзшим вином. Несколько минут спустя мы все втиснулись в мой космолет и на полной скорости помчались к Хури-Хольдз, бросив на произвол судьбы все находки археологов. Люки был в отчаянии! Бомбы продолжали взрываться, только теперь они бесшумно вспыхивали на большой высоте, где их обнаружили сверхрадары и перехватывали наши ракеты. Но все равно нас то и дело ослепляли эти взрывы, несмотря на защитные светофильтры. Оставив Кельбика за пультом управления, я связался с Советом.

Всего поверхности достигло семь бомб. Ничто не предвещало нападения. Бомбы внезапно устремились на Землю из пространства со скоростью, близкой к скорости света. В действительности же это Земля неслась с такой скоростью навстречу бомбам. Большая часть Телефора исчезла, и наши потери уже достигали десяти миллионов человек. Остальные бомбы упали в пустынных местностях или взорвались до соприкосновения с поверхностью Земли и почти не причинили ущерба, потому что взрывались в пустоте. Тем не менее одна из них превратила в развалины обсерваторию Алиор.

Кириос встретил меня в Солодине в окружении своего генерального штаба из землян и тилийцев. Он мне кое-что объяснил.

— Кто нас атаковал? — спросил я.

— Пока у меня нет точных данных. Знаю только одно: Землю не обстреливали управляемыми снарядами. Это космические мины.

— Космические мины?

— Мы сами хотели таким образом обезопасить под-

ступы к Тилии, но это требовало средств, которых у нас тогда не было. Наш космолет выудил одну такую мину. Это маленький автоматический корабль, выведенный на удаленную орбиту вокруг самой внешней планеты. Его притягивает любое достаточно массивное тело. Опознавательная система на особой частоте электромагнитных волн позволяет противнику избегать столкновения со своими игрушками. Сейчас мы ее изучаем и, надеюсь, скоро сможем сами передавать нейтрализующий сигнал на нужной волне. Тогда эти мины нам будут не страшны.

— Меня беспокоит не столько сама эта атака, — сказал я, — сколько промышленный и технический потенциал врага. Он должен быть очень велик, чтобы рассеять в пространстве достаточное количество таких мин. Если наши противники действительно потомки экипажа одного из наших пропавших звездолетов, трудно поверить, чтобы они за столь короткий срок достигли такого высокого уровня развития. Одно из двух: либо это гении, либо... они здесь не одни!

Кириос пожал плечами.

— Скоро мы это узнаем. Еще неизвестно, на какой планете или планетах базируется враг.

— По последним данным, в этой системе всего четырнадцать планет, из них три с кислородной атмосферой.

— Орк, могу я отправить эскадру в разведывательный рейд?

— Да, если считаете нужным. Во всем, что касается обороны, я полагаюсь на вас. Конечно, нельзя бросаться очертя голову на врага, о котором ничего не знаешь. Тем более на сильного врага, а в том, что он силен, мы уже убедились.

Спустя несколько дней три корабля, оборудованные особой радарной системой, позволявшей избегать столкновения с космическими минами, вылетели на разведку.

Тельбирийцы

Я был поглощен вместе с Кириосом организацией обороны наших планет, а Кельбик, по своему обыкновению, по целым дням, а то и неделями не выходил из лаборатории. Поэтому лишь через двенадцать дней после отлета разведчиков я забеспокоился и осведомился о нем. К своему величайшему удивлению и неудовольствию, я узнал, что он отправился в рейд на одном из кораблей.

О том, чтобы отозвать его на волнах Хэка, не могло

быть и речи. Три космолета составляли боевую единицу, звено, и если вернуть один из них, два других остались бы фактически беззащитными. Тем более нельзя было ни отменить, ни отсрочить разведывательный рейд. Мы слишком быстро приближались к системе Белюля даже при нашей теперешней «умеренной» скорости.

Я вызвал «Берик», космолет, на котором был Кельбик. Экран осветился, и на нем появилась его лукавая физиономия.

— Кого я вижу? Орк! Наконец-то ты вспомнил, что я существую. А мне казалось, что меня тебе давно уже не хватает!

— Что это тебе взбрело? Ты мне нужен здесь, сейчас же!

— Да? А вот мне нужно, чтобы я был там, где я есть, чтобы проверить кое-какие теории... Кроме того, не в обиду будь сказано тилийским офицерам и нашим собственным космонавтам, я полагаю, что стоит сделать некоторые наблюдения, которые им не под силу...

— Хорошо. Во всяком случае, спорить поздно. Но ни в какие стычки не ввязываться — понятно? Где вы сейчас?

— Примерно в пятидесяти миллионах километров от внешней планеты. Надеемся добраться до нее через несколько часов. Мы уже тормозим вовсю. У этой звезды мощное космомагнитическое поле, поэтому здесь возможно гораздо более сильное позитивное ускорение, чем возле нашего старого бедного Солнца!

— Ладно. Как только будет о чем доложить, вызывай!

Кельбик вызвал меня только на следующий день.

— Мы приземлились благополучно. Никакого сопротивления, и до сих пор — никаких следов того, что планета осваивалась. Атмосферы нет, почва — замерзший метан, почти никаких скальных выходов, тяготение — полтора g .

Так разведчики перелетали от планеты к планете, не встречая ни малейших следов жизни, пока не добрались до внешнего спутника шестой планеты, огромной, как Юпитер, — ее окружал целый рой из пятнадцати планетоидов.

Они начали приближаться к спутнику, как вдруг из черной расщелины на них ринулись десять сферических аппаратов. Несколько минут продолжалась яростная схватка, все подробности которой мгновенно передавались на наши экраны и регистрировались. Два наших корабля взорвались, космолет Кельбика, видимо поврежденный, начал падать на поверхность спутника. Из десяти вражеских ко-

раблей осталось только два: наши инфраатомные ракеты оказались эффективными.

Из динамика до меня донесся спокойный голос Кельбика:

— На этот раз мы попались, Орк. Нас уцелело всего трое. Попробуем сесть, не сломав себе шею. Насколько могу судить, враг использует излучение, взрывающее космомагнетические двигатели, вроде наших волн Книла. Если это то же самое, ты знаешь, что надо делать, чтобы их нейтрализовать. К счастью, я вовремя понял и выключил двигатели. Сейчас мы в свободном падении. У самой поверхности попробую резко затормозить. Надеюсь, враг считает, что мы вышли из игры, и не держит нас больше под своим излучением. В противном случае — прощай! Мы уже в десяти километрах... в пяти... в трех... Торможу!

Взрыва не последовало. «Берик» тихо опустился на замороженную поверхность спутника. Два вражеских корабля были еще высоко.

— Мне кажется, они не знакомы с нашими волнами Хэка, — хладнокровно продолжал Кельбик. — Во всяком случае, они переговариваются между собой на электромагнитных волнах. Поэтому я не выключаю наш передатчик. Видимо, они возьмут нас в плен, чтобы вытянуть из нас как можно больше сведений...

— Не беспокойся! — оборвал я его. — Усиленная эскадра немедленно вылетает на помощь. Мы уже гораздо ближе к вам и не будем задерживаться на внешних планетах, поэтому ждите нас через пять дней. Держитесь! Если придется туго, расскажи им какие-нибудь пустяки... Постарайся выиграть время!

— Понял. Но только не прилетай сам! Ты нужен Земле.

— Видишь ли, дело в том, что мне лично нужно проверить кое-какие теории! А кроме того, здесь команду я, и я буду делать то, что сочту нужным!

— Внимание! Вот они...

На экране я увидел, как Кельбик склонился к одному из расшторенных иллюминаторов. Снаружи по ледяной равнине осторожно приближался десяток фигур, прячась за отдельными глыбами. Скафандры деформировали их, но они походили на человеческие. Затем послышались громкие удары в дверь шлюза.

— Сопротивляться бесполезно, — обратился Кельбик к своим уцелевшим соратникам, Харлоку и Рабелю. — Мы

погибнем без всякой пользы, Орк, я открываю! И выключаю изображение на своем экране. Так ты сможешь за всем наблюдать, оставаясь невидимым.

Внутренняя дверь шлюза медленно открылась, и в рубку вошли трое в скафандрах, с короткими пистолетами в руках. Они повернулись к экрану, и я подскочил от неожиданности: двое были людьми, но третий!.. Я плохо различал сквозь прозрачное забрало шлема его лицо, однако мне показалось, что оно ярко-красного цвета.

Пока один из них держал Кельбика и его товарищей под прицелом, двое других сняли шлемы. Первый оказался еще молодым человеком с коротко подстриженными светлыми волосами. Второй... второй не был человеком. Под куполом лысого черепа и морщинистым лобиком сверкали три глаза, расположенные треугольником — средний выше двух крайних, лицо было пурпурного цвета, без носа, щелевидный рот с роговыми, как у рептилии, губами. Человек заговорил, и я понял его речь: он говорил на староарунакском, от которого произошел наш универсальный язык.

— Вы — пленники. Не пытайтесь бежать, иначе — смерть.

Кельбик небрежно облокотился о передатчик, заложив одну руку за спину — для врагов она была незаметна, но я ее прекрасно видел.

— Хорошо, — сказал он, — мы сдаемся.

Однако пальцы его в то же время лихорадочно сплетались и расплетались, образуя фигуры алфавита кари, которым мы студентами переговаривались в аудитории незаметно для профессоров. Он передавал:

«Попытаюсь узнать, куда нас поведут».

А вслух спросил:

— Но кто вы такие? Почему вы на нас напали? Мы только исследовали эту солнечную систему, не зная даже, что она обитаема...

— Не лгите! Нам известно, кто вы и откуда! Вы с Земли. С Земли, которая отправила в изгнание наших предков, а теперь приближается к нашим границам!

Непритворно удивленный, Кельбик пожал плечами.

— Значит, вы потомки экипажа одного из наших гиперпространственных звездолетов, не так ли? Однако никто не отправлял их в изгнание. Все наши предки были добровольцами!

— Еще одна ложь, — прорычал человек. — Я вижу, Земля

не изменилась с тех пор, как изгнала наших праотцев. Но теперь настал час расплаты, и теперь вас ничто не спасет!

Пальцы Кельбика передали:

«Это сумасшедший».

— Что вы собираетесь с нами делать?—спросил он.

— Надевайте ваши скафандры, мы отвеем вас в крепость Тхэр. Там вас допросят. Ваша судьба будет зависеть от вашей искренности. И знайте: у нас есть способы заставить говорить самых упрямых!

Кельбик не дрогнул, но Харлок и Рабель побледнели.

«Не бойся. Я не заговорю, остальные знают мало»,— передал Кельбик.

Как и все текны, он не боялся пыток, особая подготовка позволяла ему усилием воли подавлять болевые ощущения. Что касается гипноза, то и против него у текнов был выработан полный иммунитет. Кельбик рисковал только жизнью.

— А где он, этот ваш город Тхэр?—спросил он.

— На спутнике. Не считаю нужным от вас скрывать,— продолжал человек презрительным тоном.— Даже если бы вы сумели сообщить вашим приятелям о его местонахождении, это бы вам несколько не помогло. Тхэр неприступен!

— Значит, никто и не будет пытаться его захватить! Хорошо, ведите нас к вашим начальникам. Может быть, они окажутся рассудительнее и поймут, что мы явились с мирными целями, когда вы на нас напали.

Человек злобно ухмыльнулся, затем, повернувшись к пурпурному чудовищу, издал серию щелкающих звуков.

— Да, я забыл вам представить К'нора, тельбирийца. Тельбирийцы—наши добрые друзья и союзники. Прекрасные существа, преданные, исполнительные. Они для нас делают все, о чем ни попроси. А какая верность—вы такой не знаете! Предупреждаю, я ему приказал испенелить вас на месте, если вы вздумаете сопротивляться.

«У меня в кармане микропередатчик на волнах Хэка. Перед уходом включу взрыватель космолета»,—передал Кельбик.

— Будь по-вашему!—сказал он вслух.—Когда мы отправляемся?

— Сейчас же!

Вскоре они вышли, и через передний смотровой экран я видел, как все усаживаются в низкий бронированный эки-

паж. Затем изображение сразу исчезло. Сработал атомный взрыватель, который Кельбик включил, выходя из шлюза, и теперь космолет представлял собой массу кипящего металла, совершенно бесполезную для врага.

Я немедленно вылетел во главе эскадры из ста боевых кораблей, назначив Хэлина своим заместителем на тот случай, если мы не вернемся. Двести других кораблей под командованием Кириоса поднялись вслед за нами, чтобы отвлечь на себя и уничтожить любого противника в космическом пространстве.

Долгие часы приемник Хэка молчал, и я уже начал опасаться худшего, когда из динамика снова послышался голос Кельбика.

— Орк, говорит Кельбик. У меня всего несколько секунд. Вход в крепость — между двух красных холмиков в ста километрах севернее остатков нашего космолета. Осторожно, вход сильно укреплен, и, боюсь, сквозь него вам не прорваться. Лучше атакуйте сверху перфокротами. Что с Харлоком и Рабелем, я не знаю. Меня старались загипнотизировать, пока без толку. Однако наркотиков еще не употребляли. Я заметил, что от входа ведет длинный туннель. Вы его легко нащупаете гравитометрами. Затем — ряд залов со шлюзами между каждым из них, и все очень сильно укреплены. Затем — большая шахта. Я на втором верхнем уровне. Командный пункт, где меня допрашивали, — на двенадцатом и, видимо, самом нижнем. Гарнизон немногочисленный: около двух тысяч людей и примерно столько же тельбирийцев, но в отношении последних я могу и ошибиться. Тельбирийцы физически очень сильны. Вооружение: помимо того, которое было у нас пятьсот лет назад, — несколько новых видов неизвестного действия. Отношения между людьми и тельбирийцами — тут что-то не чисто. Люди неоднократно заявляли мне, что тельбирийцы — их верные союзники, чуть ли не слуги, однако на это не похоже. По меньшей мере они держатся с людьми как равные. Я подозреваю, что...

Внезапно голос умолк. Меня это встревожило, хотя Кельбик и предупредил, что время его ограничено.

Я связался с Кириосом на волнах Хэка.

— При таком положении вещей, — сказал он, — наша единственная надежда на успех — во внезапном, мощном и решительном штурме. Разумеется, остается один неизвестный фактор — тельбирийцы. Я присоединяюсь к вам,

оставив для прикрытия пятьдесят космолетов. У нас будет 250 кораблей и 28 тысяч десантников, и тогда сам черт не помешает нам взломать их оборону! Но надо спешить. Наши гиперрадары нацупали большую эскадру вражеских кораблей, которая летит на подмогу от одной из внутренних планет. Я приказал третьему флоту выдвинуться им навстречу.

Мы устремились к спутнику, на котором томились в плену наши друзья. Это был планетоид примерно в тысячу километров диаметром, весь изрезанный зигзагообразными ущельями, испещренный, словно фурункулами, красноватыми холмами и совершенно лишенный атмосферы. Когда эскадра Кириоса присоединилась к нам, со спутника поднялась дюжина вражеских кораблей. Последовала яростная и короткая схватка, озарившая пространство вспышками атомного огня, и мы прорвались, потеряв один космолет.

Капитанам был отдан приказ не мешкать, поэтому поверхность спутника приближалась с головокружительной скоростью. Появились два красных холмика. Навстречу нам сотнями взвивались ракеты, но наши антигравитационные поля легко отклоняли их, и они не причинили никакого вреда. Спустя несколько секунд два красных холмика перестали существовать. Мы спустились неподалеку и высадили десант. Кириос командовал боевыми силами, а я взял на себя всю технику. Быстро смонтированные дифференциальные гравитометры позволили нам с поверхности определить направление и глубину многочисленных туннелей. И тогда вступили в действие мощные перфокроты.

Я был встревожен: легкость, с которой мы высадились на спутнике, не сулила ничего хорошего. Противник либо отчаянно врал, уверяя Кельбика, что его позиция неприступна, либо, что гораздо вероятнее, не придавал обороне поверхности особого значения. В таком случае основные трудности встретят нас в подземном лабиринте. Но, может быть, враг просто не ожидал столь решительной атаки?

Высадив штурмовые отряды, почти все космолеты поднялись в пространство и образовали вокруг спутника защитную сеть. Перфокроты работали на полную мощность, и нам оставалось только ждать. Я воспользовался передышкой, чтобы попытаться вызвать Кельбика. Несколько минут я тщетно посылал сигналы, наконец услышал ответ:

— Я знаю, что вы атакуете. Мне удалось в суматохе сбежать и спрятаться в заброшенной пещере. Они убили Харлока и Рабеля. Будьте осторожны, здесь хозяева тельбирийцы, а...

Связь прервалась. Встревоженный, я обратился к Кириосу:

— Долго еще?

— Семь перфокротов дошли почти до свода туннеля. Они остановлены, чтобы другие могли их догнать. Штурм должен быть одновременным и массовым...

— А за это время они прикончат Кельбика!

— Понимаю, Орк. Но сейчас на карту поставлено гораздо больше, чем жизнь одного человека, даже если это гений и ваш друг!

— Да, знаю. Но все же поторопитесь!

Где-то очень высоко над нами яркая молния прорезала на миг космическую тьму. Несколько вражеских кораблей попытались было прорваться.

Наступил миг штурма. По приказу Кириоса перфокроты ринулись вниз, проломили своды и исчезли в туннелях. Десантники с антигравитаторами на поясах посыпались за ним следом. Я двинулся к одному из колодцев. Меня схватили за руки. Двое десантников оттаскивали меня от зияющего отверстия.

— Отпустите немедленно!

— Приказ генерала. Вы не должны туда спускаться.

— Что за глупости!

Я вызвал Кириоса.

— Послушайте, Кириос, что это за шутки? Кто вам позволил?..

— Послушайте вы меня, Орк! Там, внизу, уже сидит Кельбик, и я считаю, что этого вполне достаточно. Земля не может себе позволить такую роскошь — потерять сразу вас обоих!

— Прикажите меня отпустить! Это приказ!

— Нет. Можете меня расстрелять, если хотите, но только когда мы вернемся.

— Но ведь имею я право участвовать в спасении Кельбика!

— Нет. Вы не имеете права рисковать собой. К тому же от вас тут будет мало толку. Лучше всего — возвращайтесь немедленно под эскортом на Землю!

— Если вы думаете, что я боюсь...

— О нет! Мне порассказали о всех ваших подвигах, и я считаю, что вам давно пора бы понять, что вы гораздо полезнее у себя в лаборатории или в Солодине, чем здесь, в роли простого солдата. А теперь я спешу!

Он отключился.

Оставаться на поверхности спутника не было смысла, поэтому я вернулся в свой космолет и попытался еще раз связаться с Кельбиком. Он не отвечал. Зато через некоторое время я услышал голос Кириоса:

— Мы продвигаемся, Орк, но с большим трудом. У противника что-то вроде термических пистолетов — они, конечно, не стоят наших фульгураторов, но потери от них не меньше. Сейчас мы у входа в центральную шахту и готовимся к атаке.

— С кем вы сражаетесь? С людьми или с теми, трехглазыми?

— И с теми и с другими. Но мне кажется, Кельбик прав: эти краснорожие используют людей как пушечное мясо. Какие новости от разведывательных кораблей? Где флот противника, который они заметили?

— Пока ничего не известно.

Так я провел перед пультом связи не знаю уж сколько бесконечных часов, пытаюсь соединиться то с Кельбиком на волнах Хэка, то с нашим флотом, то с Кириосом. Этот хоть сообщал мне через неравные промежутки о том, как идут дела! Десантники пробивались все глубже, но несли тяжелые потери, несмотря на превосходство нашего оружия! Им не удалось пасть на след Кельбика, зато в одной из комнат они нашли тела Харлока и Рабеля. Их так зверски замучили, что Кириос не смог удержать своих солдат: они тут же расстреляли нескольких пленников.

Затем я получил сообщение от разведывательных космолетов. Вражеский флот насчитывал всего 60 кораблей. Тельбирийцы, видимо, еще не осознали размеров нависшей над ними опасности. Я связался с Кириосом и с его согласия отдал приказ ста двадцати космолетам двинуться на перехват противника, поскольку наш третий флот был еще далеко.

Внезапно замигал огонек вызова.

— Орк, говорит Кельбик! Я замурован в самом конце заброшенного туннеля: когда тельбирийцы бросились за мной, я обрушил свод. Слышу грохот боя. Я на последнем, самом нижнем уровне, видимо под машинным залом.

— Хорошо. Немедленно передам это Кириосу. Можешь ты сообщить что-нибудь полезное о противнике?

— Да. Люди всего лишь пешки в руках тельбирийцев. Возможно даже, что они действуют не по своей воле. Разумеется, они нас ненавидят, потому что уверены, будто их предки были изгнаны с Земли. Но тут есть еще кое-что. Блуждая по туннелям, я наткнулся на тяжелораненого. Хотел помочь ему, но он проклял меня и оттолкнул. Только перед самой смертью он вдруг словно избавился от кошмара и сказал: «В конце концов, вы тоже люди. Опасайтесь краснорезов!»

А теперь я отчетливо слышу взрывы и крики! Наверно, наши люди ворвались в машинный зал. Он сообщается с моим туннелем через вентиляционную трубу, но она слишком узкая, не пролезешь. Надеюсь, меня скоро вызовут. Скорее бы! Между нами говоря, я по горло сыт этим «непосредственным участием» в драке. Теперь мне до конца жизни хватит! Нет уж, да здравствует моя лаборатория!

— Думаю, ты прав, Кириос того же мнения.

Я быстро сообщил Кириосу о нашем разговоре. Динамик задрожал от раскатов его хохота.

— Наконец-то! Наконец нашелся человек, который тебе это сказал! Тем лучше.

Час спустя Кельбик выбрался из подземелья вместе с нашими десантниками. От пяти тысяч человек, спустившихся в туннели, наверх поднялось всего две тысячи семьсот пятьдесят. Мы потеряли почти половину!

Все как попало набились в космолеты, и мы на полной скорости помчались к Земле. Я призвал Кириоса и Кельбика на военный совет.

— Это было ужасно,— начал рассказывать Кириос.— Против нас было примерно две тысячи людей, если только их можно еще называть людьми. И около пятисот тельбирийцев, не более. Зато они дрались как черти, гораздо отчаяннее наших солдат. Хорошо хоть техника у них похуже—это как-то уравнивает силы. Иначе я бы посоветовал поискать другую звезду!

— Это бесполезно,— сказал Кельбик.— Насколько я понял, они уже нащупывают путь к практическому использованию гиперпространства. Один из людей похвалялся этим передо мной.

— Я тоже полагаю, что лучше раз и навсегда объяснить-ся сейчас.

В тот момент, когда мы уже приземлялись близ Хури-Хольдэ, я получил сообщение от нашего флота. Противник уничтожен. Но от третьей планеты прямо на нас стремительно движется целая армада. Я приказал разведывательным космолетам отступить.

Мы с Кириосом приложили все усилия, чтобы в кратчайший срок подготовиться к обороне. В известном смысле я был даже доволен, что враг нападает: мы сможем сражаться поблизости от своих баз, а это уже большое преимущество. Все наши города были скрыты глубоко под землей, и особые потери им не грозили. Земля, а следом за ней Венера усиливали торможение с каждым часом, но все еще продолжали мчаться к системе Белюля с головокружительной скоростью. Разумеется, наше появление должно было как-то нарушить равновесие системы, однако после того, как мы определили массы различных планет, расчеты показали, что нам удастся вывести наши миры на подходящие орбиты, не вызвав мирового катаклизма.

Вскоре после моего возвращения один из сторожевых космолетов примчался к Хури-Хольдэ на предельной скорости: он доставил первого пленника, живого человека в скафандре, найденного на разрушенном вражеском корабле. Я приказал немедленно его привести.

Он прибыл под охраной двух гигантов, которых Кириос выбрал для моей личной охраны. Это был человек среднего роста, довольно хрупкий, очень смуглый, с живым и открытым взглядом. Дождавшись прихода Кириоса, я начал допрос.

Его звали Элеон Рикс. Возраст — 32 тельбирийских года (на вид ему было не больше двадцати пяти земных лет). Он был на корабле инженером.

— Почему вы на нас нападаете? — спросил я. — Мы пришли к вам с миром. Наше Солнце взорвалось, но нам удалось спасти наши планеты. Единственное, чего мы просим, — это света какой-нибудь звезды. Мы не хотим врываться к вам силой, хотя ваша звезда могла бы согреть еще десяток планет! Мы не хотим войны. Перед тем, как достичь вашей солнечной системы, мы прошли через систему Кириоса Милонаса, которого вы видите, но поскольку его соотечественники отказали нам в гостеприимстве, мы мирно удалились. То же самое могло быть и здесь...

Я умолчал, что был в этом далеко не уверен!

Несколько секунд он молчал, затем презрительно усмехнулся.

— Значит, после того как вы изгнали наших предков, вы явились кланить местечка возле нашего солнца!

— Мне хотелось бы знать, откуда взялась эта дурацкая легенда,— сказал я.— Мы никогда не изгоняли ни ваших предков, ни предков Кириоса Милонаса, и вообще ни одного из тех, кто улетал на гиперпространственных звездолетах. К сожалению, только один звездолет сумел вернуться на Землю—вы это знаете?

— Откуда мы можем знать? Вы хотите сказать, что неуправляемость гиперпространственных двигателей была случайностью? Ха!

— Мы до сих пор не умеем как следует использовать гиперпространство! А что мы умели пятьсот лет назад? От какого экипажа вы происходите? Кириос—потомок третьего.

— А я—одиннадцатого, если верить преданию. Сколько их было всего?

— Шестнадцать. Вернулся только четвертый звездолет, и то по счастливой случайности.

— Значит, то, чему нас учат с детства, ложь? Нам говорили, что земляне на случай катаклизма, который, по вашим словам, все-таки разразился, решили рассеять по космосу род человеческий и отправили наугад обманутых людей, не сказав им даже, что они никогда не смогут вернуться. Значит, это выдумки? Ну и ну!

— Но послушай, звездолет ваших предков стартовал где-то между 4120 и 4125 годами. А первый отправился в космос в 4107 году. Следовательно, ваши предки прекрасно знали, что и они рискуют не вернуться!

— Они могли рисковать своей жизнью, согласен, но ведь их просто предали!

— Уверяю вас, никакого предательства не было. Хотите верить—хотите нет. Но в любом случае между вашим и моим народом началась война. Я ничего так не желаю, как прекратить ее. А к чему стремитесь вы?

— Уничтожить вас! А если это невозможно, изгнать из нашей системы!

Я пожал плечами.

— Боюсь, что теперь говорить об этом поздно. Если бы вы встретили нас мирно, как народ Кириоса, тогда, может быть... Но сейчас мы здесь, и мы здесь останемся. Мы

устали блуждать в межзвездной ночи!

— В таком случае — война!

— Пусть будет так. Значит, мы враги, если только ваше правительство не решит иначе. Потому что вы в конечном счете всего лишь бортинженер планетолета. На каком принципе основано действие ваших двигателей?

— Я этого не скажу никогда!

— Я и не ожидал, что вы все расскажете по доброй воле. Но у нас есть способы... Последний вопрос: кто эти существа, которые сражаются вместе с вами? Ваши союзники? Или слуги? Это аборигены?

— Какие существа? Мы здесь одни. На Тельбуре не было никого, когда мы его нашли.

— Перестаньте шутить! Вы прекрасно знаете, о ком я говорю. О трехглазых гуманоидах с пурпурно-красной кожей, которые всюду вам сопутствуют!

— Что это за сказки?

Он, казалось, был и в самом деле ошеломлен.

Я сказал несколько слов по интерфону, и на стенном экране началась демонстрация одного из фильмов, снятых во время подземного сражения. Рикс явно недоумевал.

— Да, это подземелья Тхэра. А человек, который сейчас упал, это Дик Ретон, мой бывший капитан на «Пселине». Но что это за чудища с красной кожей?

Другой фильм показал, как был захвачен в плен сам Рикс. На заднем плане в искореженном проходе отчетливо были видны два гуманоида.

— Ничего не понимаю! Это мой корабль, и это действительно я. Но кто эти чудовища? Вы сделали комбинированный фильм, фальшивку, но зачем? А, ясно — для пропаганды! Вы хотите выставить нас перед своим народом как союзников отвратительных тварей!

— Фильм не подделанный, — вмешался Кириос. — Эти «чудовища», как вы их называете, были для нас в десять раз страшнее, чем ваши люди. Вы что, притворяетесь, будто ничего о них не знаете, или вам память отшибло?

— Ну, пошутили — и хватит! — взорвался я. — В последний раз спрашиваю: будете отвечать на вопросы? Нет? Тем хуже для вас, придется прибегнуть к психоскопу. Предупреждаю, это крайне болезненно, и после психоскопа вы превратитесь во взрослого младенца без воли и без разума.

Он побелел.

— Ну что вы теряете, если заговорите? Так или иначе мы все равно все узнаем!

— Я не стану добровольно предателем. Делайте со мной, что хотите.

— Будь по-вашему. Я восхищаюсь вами, но мне вас жаль!

Стража увела его, и я последовал за ними, чтобы самому провести допрос под психоскопом. Телиль, Властитель разума, и Пхооб, Властитель психики, приняли нас в своей лаборатории.

— Аппарат готов, Орк,—сказал Телиль.

Психоскоп представлял собой низкое ложе с металлическим шлемом, который надевался на голову допрашиваемого, и крепкими ремнями, чтобы удерживать его. Рикс позволил себя уложить и привязать без сопротивления и без единого слова протеста. Шлем укрепили на его голове. Телиль что-то поправил, приладил, затем подошел к пульту. Свет померк, послышалось тихое жужжание. Черты лица у Рикса немного расслабились.

При первом же вопросе он заговорил. Он рассказал нам все, что знал о Тельбуре: население насчитывало около восьмисот миллионов, промышленность была хорошо развита. На планетолетах они устанавливали довольно остроумную разновидность космомагнетических двигателей. Они еще не научились использовать гиперпространство, полагали только, что нащупали путь, но что это был за путь, он не знал. Они верили, что с их предками сыграли зловещую шутку, что земляне отправили их осваивать неведомые миры обманом, без их согласия. Он подробно рассказал все, что ему было известно о военной организации Тельбура. Но, как мы ни бились и какие только вопросы ни задавали, не сказал ни слова о краснокожих гуманоидах.

Мы оставили его лежать под надежной охраной, чтобы он отдохнул.

— Вы уверены, Телиль, что человек под психоскопом не может лгать?—спросил я.

— Абсолютно уверен. Он подавляет всякую волю, всякое сопротивление, даже подсознательное.

— В таком случае одно из двух: либо у всех нас галлюцинации, либо...

— Либо эти краснокожие чудовища обладают способностью неизмеримо более глубокого внушения, чем мы,

тренирующие текнов, и это позволяет их союзникам сопротивляться даже психоскопу. Вы бы, например, не выдержали, Орк. Вы бы просто не уснули. Вас нельзя загипнотизировать. Но если бы удалось вас усыпить, под психоскопом вы были бы не лучше других.

— Но, в конце концов, этот человек должен был жить в постоянном контакте с этими существами! Их было двое на его корабле. Почему же у него не сохранилось никаких воспоминаний?

— Очевидно, потому, что очень сильные умелые гипнотизеры внушали ему, чуть ли не с пеленок, чтобы в определенных обстоятельствах он об этом сразу и окончательно забыл!

— Но ведь забыть ничего нельзя! Это физиологически невозможно!

— Ну если слово «забыть» вас не устраивает, скажем, что эти воспоминания прячутся на таком глубоком уровне сознания, который недоступен психоскопу.

— Это сейчас не столь важно! — вмешался Кириос. — Главное — а это теперь очевидно, — что люди здесь — всего лишь марионетки, а хозяева — те, другие! А мы о них ничего не знаем, кроме их физического облика и того, что они дерутся как черти!

Как только пленник проснулся, я пришел к нему.

— Как вы себя чувствуете?

— Хорошо. Вы еще не допрашивали меня под этим вашим аппаратом?

— Уже допросили.

— Но почему же... Я ничего не почувствовал и полагаю, что несколько не поглупел!

— Все это я говорил, чтобы вас напугать, чтобы сделать вас восприимчивее к внушению. Психоскоп никому еще не причинил зла. Обычно мы им пользуемся для психотерапии. Прошу извинить, что подверг вас этому испытанию без вашего согласия. Ставка слишком велика, я не имел права даже колебаться, и тем не менее я стыжусь того, что сделал. В общем вы рассказали нам много полезного, но ничего, абсолютно ничего об этих краснокожих чудовищах.

— Может быть, их вообще не существует? — спросил он насмешливо.

— К сожалению, мы знаем, что они существуют! Есть другое, гораздо более страшное объяснение, что вы, люди,

являетесь безвольными слугами этих чудовищ и что они вам внушили начисто забыть об их существовании, едва вы выйдете из-под их умственного контроля. На вашем корабле с экипажем из двадцати трех человек было два таких существа. И еще одна любопытная деталь. Психоскоп обнаруживает самые далекие воспоминания, даже впечатления первых дней вашей жизни. Так вот, вы не помните, кто вам сказал, будто ваших предков изгнали с Земли, и вы не помните, когда вам это сказали в первый раз. Я спрашиваю себя, не внушили ли вам и это те же чудовища?

— Это смешно! Я прекрасно все помню! Это входит в школьный курс истории для первого класса!

— Да, это ваше первое отчетливое воспоминание. Но подумайте. Вы уверены, что не знали об этом раньше?

— Хм... нет. Я, конечно, должен был знать. Но это ничего не доказывает!

— Вы бы согласились еще раз подвергнуться действию психоскопа, но на сей раз добровольно, без гипноза?

— Это еще зачем? Чтобы я выболтал то, чего не хочу говорить?

— Вы уже и так все сказали!

И я коротко изложил все, что мы узнали от него о Тельбуре.

Он поколебался немного, потом махнул рукой.

— В конечном счете мне терять нечего!

На этот раз по доброй воле он вытянулся на ложе. На него надели шлем.

— Я чувствую какое-то покалывание... Голова немного кружится...

— Это пустяки, все нормально. Попробуйте теперь вспомнить.

Из-под шлема на меня вытаращились изумленные глаза.

— Потрясающе! Я подумал о книге, которую один раз прочел двадцать лет назад. И сейчас вспомнил ее слово в слово!

— Постарайтесь вспомнить, кто рассказал вам эту легенду о ваших предках...

Он сосредоточился и вдруг с воплем животного ужаса сорвал шлем с головы.

— Нет! Нет! Это неправда!

— Кто это был?

— Р'хнехр! Один из них! Вы правы, они существуют!

Я не хочу о них вспоминать, не хочу!

— Вы должны, как для вашего народа, так и для моего!

— Да, я знаю. Теперь аппарат не нужен, может быть, только для подробностей. Словно завеса спала... Рабы, вот кто мы для них такие. Рабы... и убойный скот!

Психотехническая война

Мы вернулись в мой кабинет и записали длинный рассказ Рикса.

Их звездолет опустился на Тельбир после восьми лет странствий. Планета оказалась похожей на Землю, и поскольку экипаж потерял всякую надежду вернуться на родину, они обосновались здесь окончательно. На материке, где они приземлились, были только животные. В течение нескольких веков люди трудились и множились. Затем однажды на большом острове посреди океана они обнаружили аборигенов. Это были гуманоиды, стоявшие на уровне неолита. Их было довольно много, несколько сотен тысяч. Надеясь найти в них полезных помощников, люди перевезли множество аборигенов на материк и приобщили их к цивилизации. В течение еще одного столетия все шло хорошо. Р'хнехры были послушны, сообразительны и преданны, по крайней мере с виду. Они мало что смыслили в физических науках, зато в области психологии обладали обширными познаниями, которые тщательно скрывали. С бесконечным терпением они ждали своего часа, сначала как батраки на фермах, затем как писари, мелкие служащие, учителя в своих собственных школах, поглощая все, что могло быть им полезным из знаний землян, и ничего не открывая из своих секретов. И всегда такие покладистые, такие услужливые! Затем, в один день, восстание, захват власти и превращение людей в рабов.

— Все это я знаю от них самих,—говорил Рикс.— Они ничего не скрывали, наоборот, были счастливы нас помучить. И ни о каком возмущении не могло быть и речи! С самого детства, еще до пробуждения сознания, они нас гипнотизировали, воспитывали, внушали нам, что хотели. Позднее время от времени какой-нибудь р'хнехр смеха ради открывал нам истину. Мы страдали день, другой, а потом он приказывал нам забыть. Все остальное время мы жили в твердой уверенности, что мы — господа, а они — наши слуги. Это их забавляло. Поскольку, несмотря на всю их смышленность, они плохие ученые, люди стали их физика-

ми, их инженерами, их натуралистами. Те, у кого есть способности. Остальные — рабы р'хнехров, к тому же фанатически преданные своим господам, хотя эта преданность и внушенная, не добровольная. И всегда приказ: если попал в руки чужаков, забудь, что мы существуем, — на Тельбуре живете только вы, земляне! А для самых слабых и наименее способных из нас еще более страшная участь — участь убойного скота: они нас едят!

— Итак, — сказал я, — задача номер один: захватить людей и уничтожить тех, других.

— Нет, Орк, — возразил Кириос. — Это задача номер два. А задача номер один свалится нам на головы через несколько часов — их флот!

— Не удивительно, что они показались нам такими грозными воинами! Разумеется, они не могли так сразу овладеть сознанием наших людей, но, очевидно, сумели достаточно исказить представление о себе, чтобы показаться нашим солдатам демонами войны, — предположил я.

— Возможно. Однако на Кельбика они не произвели такого впечатления.

— Кельбик — текн и прошел психологическую подготовку. Думаю, что нам придется подвергнуть такой же обработке большую часть наших солдат, во всяком случае кадровых военных. Так мы и сделаем после этого сражения. Если только мы его выиграем.

— Мы его выиграем! — бросил Кириос. — До скорой встречи, Орк. Мне необходимо отдать приказы.

Я остался с Риксом вдвоем. Он плакал, плечи его сотрясали тяжелые рыдания, рыдания сильного мужчины, чей внутренний мир рухнул. Я приблизился к нему, и он поднял голову.

— Я не себя оплакиваю... Я освободился, за сотни лет я первый свободный человек из всего моего народа! Но что будет с другими? Они все погибнут, все пойдут на смерть, лишь бы защитить этих проклятых р'хнехров!

— Боюсь, что в этом сражении действительно погибнет немало людей и с вашей и с нашей стороны. Но на будущее мы попытаемся что-нибудь придумать.

Я нажал кнопку связи с моей лабораторией, которая практически давно уже перешла в руки Кельбика.

— Кельбик!

— Что еще? А, это ты, Орк. Тебе что-нибудь нужно?

— Чем ты сейчас занимаешься?

— А чем еще я могу заниматься? Гиперпространственным звездолетом, разумеется! У нас есть кое-какие успехи...

— Оставь свой звездолет, есть дело более срочное. Ты мне нужен, ты и весь твой питомник юных гениев!

За спиной Кельбика я заметил молодого Хокту, который наградил меня разъяренным взглядом.

— Немедленно свяжись с Телилем и Рообом и займись психотехническими средствами. Не смотри на меня так! Я сейчас пришлю тебе запись разговора с пленным, и ты все поймешь. Это срочно! Это вопрос жизни или смерти для восьмисот миллионов людей с Тельбира, не считая бесчисленных жертв, которые нам самим придется принести, если ты потерпишь неудачу...

— Черт поberi!

— Я говорю серьезно, Кельбик. Брось все силы на разработку проекта... как же его назвать?... проекта «Дезинсекция». Речь идет о том, чтобы избавить Тельбир от паразитов. Я рассчитываю на тебя.

Красный огонек срочного вызова зажегся на моем пульте. Я прервал разговор с Кельбиком, и сразу же включился Кириос:

— Орк, сражение началось! Землю атакует тысяча двести аппаратов. Венеру — шестьсот. Мы можем выставить две тысячи четыреста кораблей, кроме того, у нас есть телеуправляемые торпеды. Я опасался худшего.

— Захватите как можно больше пленных!

— Пленных? В космическом сражении? Ладно, попытаемся.

Ожесточенная битва продолжалась семнадцать дней. Кириос старался беречь людей. Мы были еще далеко от солнца, и все наши подземные города прикрывал толстый слой замерзшего воздуха и льда. Поэтому Кириос, пренебрегая опасностью бомбардировок, которые не могли причинить особого ущерба, держал основные свои силы в плотном строю вблизи наших планет, чтобы воспрепятствовать высадке десанта. Одна водородная бомба, отклоненная мощными антигравитационными полями, взорвалась в ста километрах от Хури-Хольдэ и на несколько минут возродила в этом районе атмосферу, отравленную радиацией. Далеко в черном небе то и дело вспыхивали сверкающие эфемерные звездочки, отмечая гибель очередного корабля, чаще вражеского, чем нашего. Со всех

боевых эстакад, установленных Кириосом, телеуправляемые снаряды устремлялись ввысь почти непрерывным потоком. На семнадцатый день, потеряв четыре пятых своих кораблей, враг отступил. Наши потери не превышали одной десятой от первоначального числа космолетов. Нам удалось захватить всего двадцать пленников, но среди них — одного р'хнехра.

В эти дни я тоже не терял времени даром.

Продолжая координировать военные действия, я по несколько часов ежедневно проводил в лаборатории, где работал со своей группой Кельбик. Он собрал вокруг себя цвет научной мысли Земли — лучших математиков, физиков, биологов и психологов. Они штурмовали проблему со всех сторон, упорно и ожесточенно. Рикс был включен в группу как единственный первоисточник сведений о враге. Вскоре он начал оказывать и практическую помощь: обнаружилось, что он талантливый инженер. Никто не мог быстрее него собрать любой экспериментальный прибор. Он работал истощенно, напрягая все силы и волю, чтобы отомстить за вековое рабство и страдания своего народа.

Но я не мог постоянно следить за ходом работ из-за недостатка времени. К тому же с тех пор, как я взял в свои руки судьбы Солодина и обеих планет, у меня не было возможности заниматься серьезными исследованиями, и я чувствовал, что отстал не только от Кельбика или Хокту, но даже и от некоторых других юных физиков. Поэтому я был поражен, когда на двадцать пятый день Кельбик спокойно объявил мне по видеофону:

— Дело сделано, Орк. Проблема решена, во всяком случае в лабораторном масштабе. К тому же она была проста, нужно было только подумать. Разобщенность наук — это какой-то идиотизм! У Телиля давно уже были все данные, а у нас — математический аппарат, правда, созданный совсем для других целей. Достаточно было подобрать к психическим волнам орковское уравнение — да-да, твое собственное! — разумеется, соответственно перестроив его, а затем применить к результатам мой анализ, и мы получили новое уравнение, которое допускает два решения, позитивное и негативное. Негативное решение дало нам ключ. Я тебе все объясню потом...

Аппарат, установленный на большом столе в центре лаборатории, представлял собой невообразимое переплетение проводов с гроздьями ламп и блоков, над которым

возвышалось нечто вроде прожектора. Вокруг гомонила целая толпа до крайности возбужденных молодых технов.

— Ты особенно не присматривайся к этому чудищу, — предупредил Кельбик. — Все это состряпано на скорую руку, половина деталей здесь вообще ни к чему, но он работает.

— И каковы результаты?

— Мгновенное пробуждение памяти, как под психоскопом, но без каски, на расстоянии. Хочешь попробовать? Помнишь, какими словами ты меня встретил в первый раз? Ты можешь вспомнить?

— Конечно, нет. Я даже не помню точно, когда мы встретились!

— Встань вон там. Сейчас я включу прожектор. Ну вот... А, черт побери!

С сухим треском вылетел один из прерывателей.

— И так всегда! Все работает превосходно, а едва захочешь продемонстрировать... Но что с тобой?

В одно мгновение передо мной пронеслась вся моя жизнь, и в том числе эпизоды, о которых я предпочел бы не вспоминать. Я сказал об этом Кельбику. Он замер от изумления, а потом пустился в пляс.

— Прекрасно! Превосходно! В жизни я бы не догадался! Это устраняет последние трудности. Я думал, нам придется длительное время подвергать Тельбир мнемоническому излучению и потом сбрасывать на парашютах подготовленных нами пленных, чтобы они уговаривали остальных напрячь память и вспомнить... Теперь в этом нет нужды! Ты воспринял короткий импульс большой мощности в момент разрыва цепи. Это можно усовершенствовать, сделать излучение прерывистым, импульсным. И тогда, я думаю, р'хнехрам придется перед смертью провести веселенькие четверть часа, если только это вообще продлится четверть часа! Разумеется, такое озарение памяти не может длиться долго, но если многие воспоминапия и сотрутся, самые важные останутся.

— Главное — узнать, достаточно ли этого излучения, чтобы преодолеть силу внушения р'хнехров?

— Мне кажется, у нас есть несколько пленных. Пусть их приведут! И пусть притащат этого краснорожего крокодила!

Я отдал приказ, и вскоре в лабораторию ввели под уси-

ленной охраной два десятка пленников. За ними в клетке на колесах вкатили р'хнехра.

— Начнем по порядку,—сказал Кельбик.—Сначала испробуем на одном человеке. Давайте сюда кого-нибудь!

Перед прожектором поставили светловолосого юношу с горящими от ненависти глазами. Кельбик включил аппарат. Он подействовал молниеносно. Юноша схватился за голову, зашатался, безумным взглядом обвел лабораторию. Рикс бросился к нему.

— Что со мной?—пробормотал юноша.—Этого не может быть, это неправда...

— К сожалению, правда,—сказал Рикс.—Ты откуда, друг?

— Из Рандона, маленькой деревни, что в шестидесяти километрах к востоку от столицы. Я был механиком на «Тиалпе».

— Значит, ты знаешь капитана Илкана?

— Знал. Он погиб. Но ты сам тельбириец?

— Я был на «Филиане». Меня взяли в плен после сражения под Тхэром. Я здесь уже давно...

— Хватит, успеете потом наговориться,—прервал их Кельбик.—Давайте другого, вот этого толстяка.

На этот раз эффект был не столь мгновенным, но таким же верным. Со сдержанной ненавистью толстяк выложил, глядя в лицо р'хнехра, весь свой запас самых страшных ругательств. Остальные пленники смотрели, ничего не понимая.

— А теперь всех остальных,—сказал Кельбик.—Всех сразу! С изолированными индивидуумами и так все ясно.

Он направил прожектор на группу тельбирийцев. Тщетно пытались они увернуться: Кельбик хлестал их незримым лучом, вырывая крики ужаса и отчаяния. Затем все смешалось. Все пытались говорить одновременно, проклинали р'хнехров, выкрикивали проклятья, оплакивали участь близких и родных, оставшихся на Тельбире. Внезапно один из тельбирийцев выхватил из-за пояса у Кельбика фульгуратор и, прежде чем его успели удержать, испепелил р'хнехра в его клетке.

— Теперь убейте меня, если хотите!—прорыдал он.—Эти звери съели мою сестру...

— Сомнений больше нет,—сказал я.—Остается только

смонтировать такие прожекторы на космолетах и отправить их на поиски вражеских кораблей. После этого мы можем высадиться и...

— У меня другой план, Орк. А если подвергнуть облучению весь Тельбир?

— На это потребуется слишком много прожекторов. Правда, если проводить операцию с большого расстояния...

— Это невозможно. Мнемоническое излучение ослабевает в геометрической прогрессии по отношению к дальности. Для того чтобы оно оставалось эффективным, первоначальный импульс должен иметь чудовищную мощность. Этого нельзя сделать с космолетов. Но если мы установим огромные прожекторы на Земле...

— А на какое расстояние нужно будет подойти к Тельбиру?

— Исходя из мощности ста тысяч киловатт — больше наши аппараты теоретически не выдержат, — примерно на три миллиона километров.

— Практически невозможно, Кельбик.

— Почему?

— На таком расстоянии между Землей и Тельбиром возникнет такое сильное взаимное притяжение, что понадобится очень сложный маневр, чтобы избежать столкновения. Не говоря уже о гигантских приливах, опустошительных землетрясениях и прочем. Я понимаю твоё желание: облучить в короткий срок весь Тельбир и вызвать повсюду одновременное восстание людей. Но из этого ничего не выйдет, и нам придется удовлетвориться менее грандиозными планами. Например, мы можем освободить Тельбир сектор за сектором. Это долго и будет стоить многих жертв.

— Я не вижу другого способа. А мы тем временем сможем дезорганизовать космический флот противника, захватить его корабли, привлечь на свою сторону их команды. А когда это будет сделано, мы нанесем удар, и удар беспощадный!

— Видимо, ты прав! Да, кстати, теперь ты вспомнил, с какими словами ты ко мне тогда обратился?

Я почувствовал, что краснею. Свинья же этот Кельбик! Когда мы впервые встретились, я только что прочел его доклад и сказал ему: «Послушайте, милейший, что это еще за бессмыслица?»

Первый психотехнический бой был дан только месяц спустя. Мы несли большие потери в многочисленных схватках с противником, но не решались использовать наше новое, тайное оружие, пока им не был оснащен весь наш флот.

Сражение завязалось на уровне орбиты самой внешней планеты Белюля, орбиты, которую Земля и Венера пересекали уже со скоростью каких-нибудь ста сорока километров в секунду: мы тормозили вовсю! Кириос, несмотря на все свои уловки, не смог помешать мне и Кельбику принять участие в этом «эксперименте».

У нас было сорок пять кораблей против ста двадцати вражеских. Мы выстроились растянутой цепью. Противник издали начал обстрел торпедами, которые без труда перехватывали наши телеуправляемые снаряды. Наконец, когда мы достаточно сблизились, я приказал включить прожекторы. Сначала ничего не произошло, словно панцирь вражеских кораблей был непроницаем для мнемонического излучения. Но мы знали, что это не так. Еще несколько торпед ринулось нам навстречу; мы перехватили их на полпути, однако не стали отвечать. Внезапно боевой строй противника начал распадаться. Один из их кораблей открыл огонь по соседнему, тот ответил, и оба исчезли в ослепительной вспышке атомного пламени. И тогда ожило радио:

— Стойте! Прекратите огонь! Это страшная ошибка! Мы согласны на переговоры на любых условиях!

Под усиленной охраной — мало ли какие могут быть неожиданности! — мы посадили весь флот вблизи Хури-Хольдэ. Делегацию представителей из команд принял Совет. Рассказы их мало чем отличались один от другого: люди вдруг очнулись и поняли, в каком кошмаре они жили! На каждом корабле находилось два-три р'хнехра; они были тут же растерзаны. Только в одном случае им удалось ненадолго одержать верх. Затем люди обратились к нам.

Война продолжалась так месяца четыре. Человеческих жертв было немного, зато противник терял все свои корабли. Наш космический флот увеличился почти вдвое за счет тельбирийских боевых кораблей с их командами; мы сразу же придавали им наше вооружение и мнемонические прожекторы. Потом противник понял, что здесь что-то нечисто, и прекратил вылазки в космос.

Наконец настал решающий момент. Мы пачали описы-

вать вокруг звезды Белюль сужающуюся спираль, чтобы выйти на орбиту Тельбира, но в четверти орбитального расстояния от этой планеты. При этом климат Земли должен был стать чуть-чуть жарче, чем был раньше, возле нашего старого Солнца. Венеру мы хотели вывести на более близкую к звезде орбиту, но все равно среднегодовая температура на ней предполагалась более умеренной. Вычисление этих орбит стало кошмаром для наших астрономов. Нужно было точно рассчитать момент перехода через орбиту Тельбира, чтобы не вызвать там катастрофических возмущений и не нарушить равновесия всей системы, в которую ворвались две новые планеты. Если разумная жизнь здесь когда-нибудь исчезнет, астрономы с далеких звезд будут долго ломать головы, спрашивая себя, почему две планеты, вращающиеся вокруг Белюля, не подчиняются классическому закону расстояний!

Первый удар мы нанесли в маленькой, затерянной в горах деревне. Три космолета ночью проскользнули туда, пока наши основные силы производили отвлекающий маневр над столицей Тельбира, перехватывая последние оставшиеся у противника корабли. Деревня была подвергнута мнемоническому облучению, затем наши три космолета с экипажами из тельбирийцев опустились рядом. Через несколько минут деревня была в наших руках. Ни одного р'хнехра не осталось в живых, и погибли они неведомо, потому что в этой деревне была одна из боен, где раздвигали людей. До сих пор не хочется верить, что это было на самом деле!

Опыт полностью удался, и мы постарались этим воспользоваться. Той же ночью целый ряд нападений — если можно их так называть — был произведен на многие деревни и маленькие города в различных местах. Одновременно другие космолеты, оснащенные мнемоническими прожекторами, проносились над крупными городами, которые тотчас превращались в очаги восстаний.

Соппротивление р'хнехров было сломлено довольно скоро. Их оказалось немного, они привыкли к праздной, беснечной жизни, привыкли полагаться во всех технических вопросах на людей и, самое главное, уже не могли вновь подчинить своей воле тех, кого коснулся мнемонический луч. Месяц спустя все было кончено. И все обошлось малой кровью, если не считать нескольких трагических эпизодов.

Еще через два месяца мы встречали у себя на Земле посланников правительства Тельбира, которые просили принять их планету в наше содружество.

Что касается р'хнехров, то их уцелело немного. Мнемоническое излучение, пробуждавшее у людей память, на них не действовало, и они до самого конца так и не поняли, каким оружием их побии. Всего их осталось тысяч двадцать, и нам с трудом удалось спасти этих «нолуящеров» от праведного гнева людей Тельбира. Их всех выслали на одну из внешних планет, предоставив им возможность жить по-своему под строгим надзором людей. Пусть создают свою цивилизацию, если только они на это способны!

Земля и Венера приблизились к Белюлю, но все уже пазывали эту звезду Солнцем! Однажды, взглянув из любопытства в телескоп на Венеру, я увидел, что диск ее сделался расплывчатым. Это возрождалась атмосфера.

Вместе с Ренией мы поднялись в мой застекленный кабинет в верхнем городе Хури-Хольдэ, где я не был, казалось, вечность. Грубо обтесанный кремь по-прежнему лежал на моем столе. Из окна мы видели все тот же пустынный пейзаж: снег и замерзший воздух покрывали Землю. Венера, которая должна была выйти на более близкую к Солнцу орбиту, обогнала нас, и там уже было теплее.

Мы возвращались в мой «фонарь» сначала раз в педелю, а потом — каждый день. Как-то раз мы очутились там на заре, когда Солнце, еще такое далекое, только вставало над горизонтом. Его лучи коснулись массы замерзшего воздуха, и мне показалось, что поднялась легкая дымка. Однако ничто больше не шевельнулось, и я спустился в свою подземную лабораторию, оставив наверху Рению и Ареля.

Около девяти часов Рения вызвала меня:

— Орк, скорее поднимись к пам! Началось!

Я мог бы все увидеть, не вставая с места па своем экране, но что-то в глубине души говорило, что этого мне будет мало. Я хотел видеть собственными глазами, как возрождается моя планета!

На крышах напротив пас толстые слои замерзшего воздуха начинали закипать, шевелиться, сползать и неслышно обрушиваться в ущелья улиц. Уже существовало какое-то подобие атмосферы, бесконечно разреженной и почти неуловимой. По мере того как Солнце поднималось к зениту, кипение воздуха усиливалось, и вскоре густой туман под-

нялся над городом. Временами конвективные потоки, очень сильные в этой разреженной атмосфере с огромными температурными перепадами, рассеивали туман, и я видел вдалеке башни города, словно окутанные рваной серой вуалью. Водопады жидкого воздуха то и дело низвергались с крыш, но не достигали уровня улиц, превращаясь на лету в животворный газ.

На следующий день барометры показали давление, равное одной десятой нормального. Оно быстро росло. И задолго до того, как Земля вышла на свою окончательную орбиту, атмосфера полностью восстановилась.

Но замерзшие моря и океаны таяли гораздо медленнее, и еще долгие годы Земля оставалась ледяной планетой. Великая весна сопровождалась множеством малых катастроф. Почва, как и полагается, оттаивала сверху, и это привело на склонах к многочисленным оползням, порою увлекавшим массы земли и камней. Поверхность планеты превратилась в сплошное болото. Океаны тоже оттаивали сверху, и колоссальные поля более легкого льда то и дело внезапно всплывали, поднимая неожиданные грозные приливы.

Но все это нам казалось пустяками. После стольких лет странствий и бурь мы наконец обрели надежную гавань. Тельбир вошел в наше содружество, и я часто бывал на этой прекрасной планете. Освобожденные от паразитов — р'хнехров — тельбирийцы делали большие успехи, и мы им помогали чем могли.

Кризис кончился, я сложил свои обязанности Верховного Координатора и вместе с Кельбиком вошел в Совет Властителей наук. И в первый день 4629 года перед Советом, где председательствовал Хани, я объявил во всеуслышание народам Земли и Венеры, что Великие Сумерки кончились.

Но было еще немало нерешенных проблем. Например, мы хотели сохранить контакт с народом Кириоса Милонаса. Нашествие друмов, столкновение с триисами, а затем с р'хнехрами говорило о том, что в космосе мы не одни. И еще мы хотели бы знать: где потомки экипажей наших других затерянных во Вселенной звездолетов? Может быть, они ждут нас в сиянии славы юной цивилизации... или во тьме позорного рабства.

Именно поэтому я вместе с Кельбиком и его научной группой занялся исследованием проблем гиперпростран-

ственных передвижений и временных скачков. У нас с Кельбиком не было и не могло быть тщеславного соперничества. Он возглавил лабораторию в тот момент, когда я вынужден был ее оставить, и дальше вел работу самостоятельно. Когда же я вернулся, я получил возможность ознакомиться с тем, что они сделали за время моего отсутствия, и отнюдь не претендовал на руководящую роль. Дел хватало более чем на двоих!

Мне понадобился почти год, чтобы наверстать упущенное. Это было самой трудной работой в моей жизни, но я с ней справился, потому что не хотел провести остаток своих дней в положении почетного пенсионера. В конце концов, мне было всего пятьдесят четыре года — расцвет молодости для нас, живущих два века!

Эпилог

Теперь я подхожу к самому невероятному эпизоду моей истории, к моему перемещению во времени, в вашу эпоху.

Мы работали над овладением темпоральными полями, и нам уже удалось добиться кое-каких успехов. И вот как-то вечером я остался в лаборатории один. Кельбик недавно женился на моей племяннице Алиоре и, естественно, убежал домой. Хокту отмечал с друзьями-ассистентами свое назначение профессором кафедры математики в университете — это в двадцать-то шесть лет! Я связался по видеофону с Ренией и сказал, что вернусь поздно: у меня возникла одна мысль, и я хотел изменить схему нашего прибора. Я вовсе не собирался в тот вечер экспериментировать и до сих пор не знаю, что, в сущности, произошло. Может быть, я ошибся, заканчивая монтаж? А может быть, как я предполагаю, темпоральные поля действуют на создающую их аппаратуру до того, как она включается? Не знаю... Помню только, что вдруг меня окутало холодное синее пламя, которое пульсировало, становясь все ярче и ярче, и я потерял сознание.

Очнулся я в совершенно незнакомой обстановке, в чужом теле, которое, правда, напоминало мое собственное, в бесконечно далекой эпохе.

Что же со мной произошло? Сейчас, когда я это пишу, я могу делать только предположения. Подготовленный мной эксперимент завтра все прояснит. Но хотя я и принял на сей раз все меры предосторожности — насколько это вообще возможно, когда имеешь дело с темпоральными по-

лями,— не исключена вероятность, что я снова буду захвачен врасплох. Поэтому скажу сейчас все, что думаю.

Каким-то образом мое сознание, точнее — электропсихическая матрица моего сознания, было захвачено темпоральным полем и перенесено в необозримо далекое прошлое. Разумеется, эта матрица моего сознания осталась на Земле, что совершенно естественно для одного континуума пространства. Невероятное заключается в другом, в том, что я сразу нашел «хозяина», способного принять и закрепить мое сознание в нейронах своего мозга.

Теперь я задумал провести эксперимент в обратном порядке и вернуться в свою эпоху. Если опыт удастся, то, что принадлежало Орку, вернется на Эллору, а то, что принадлежало Дюпону, останется на Земле.

Я не особенно опасаясь за результаты. Мне удалось довольно точно вычислить протяженность темпорального поля, а что касается его направленности, то об этом я могу не беспокоиться. Думаю, все пройдет хорошо.

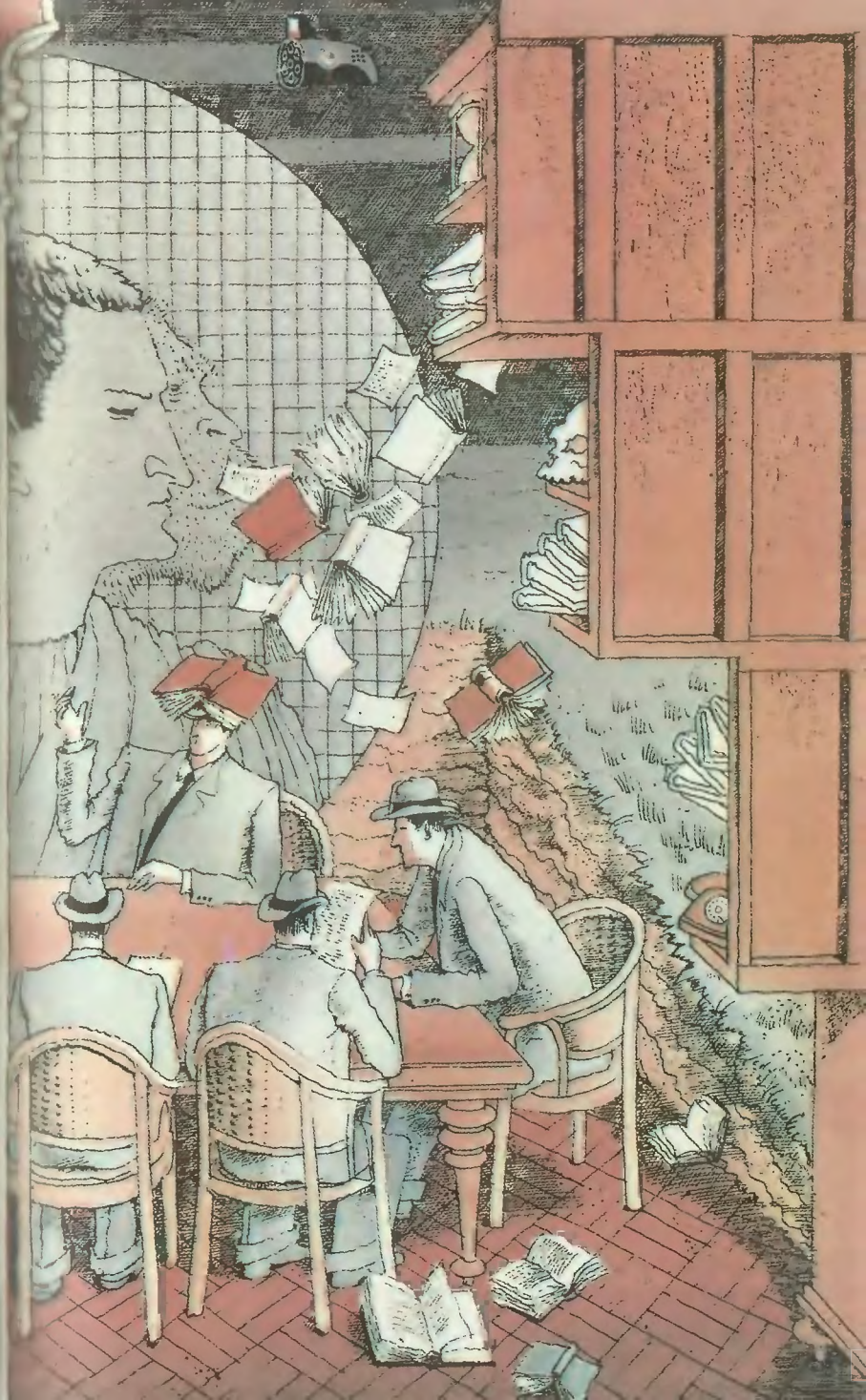
Прежде чем покинуть вашу эпоху, я хочу обратиться к вам, люди далекого прошлого. Никогда не отчаивайтесь! Даже если будущее покажется вам беспросветным, даже если вы узнаете, что ваша цивилизация исчезнет подо льдами нового палеолита, не прекращайте борьбу! Я здесь, среди вас, я, Орк Акеран, который был Верховным Координатором, а затем правителем двух планет в годы Великих Сумерек. Я живое свидетельство того, что ваши усилия не напрасны и что ваши потомки достигнут звезд!

Веркор

Люди или животные?









Все несчастья на земле происходят оттого, что люди до сих пор не уяснили себе, что такое человек, и не договорились между собой, каким они хотят его видеть.

Д. М. Темплмор
(«Животные или почти животные»)

Глава первая,

которая, как положено, начинается с обнаружения трупа, правда трупа совсем крошечного, но озадачившего всех. Гнев и изумление доктора Фиггинса. Полная растерянность полицейского инспектора Брауна. К их неудовольствию, убийца настаивает на том, чтобы его привлекли к судебной ответственности. Первое появление Paranthropus'a.

Согласитесь, если вас разбудят в пять часов утра (пусть даже как врач вы привыкли к таким ранним звонкам), вряд ли это настроит вас на юмористический лад. А потому нет ничего удивительного, что доктор Фиггинс, поднятый на ноги ни свет ни заря, совсем по-иному отнесся к событиям, которые наверняка развеселили бы и меня и вас после хорошего завтрака в постели. Даже вид Дугласа Темплмора усугублял комизм этого совершенно невероятного происшествия, хотя Дуглас являл собой зрелище скорее трагическое, и не без основания; что же касается доктора Фиггинса, то все это настроило его на еще более мрачный лад, так же как и, мягко выражаясь, необычный покойник, которого ему пришлось осмотреть. Ибо в этой истории речь сразу же пойдет о покойнике. Простите за слишком банальное начало, но в этом, право, не моя вина.

Печатается по изд.: Веркор. Люди или животные?: Пер. с франц.—М.: ИЛ, 1957.—Пер. изд.: Vergors. Les animaux dénaturés: Albin Michel, Paris, 1952.

© перевод на русский язык с исправлениями, «Мир», 1986

Впрочем, надо оговориться, труп был совсем крошечный. И понятно поэтому, что доктор Фиггинс, который за свою многолетнюю практику видел столько разных трупов — и больших и маленьких, — взглянув на этот, сначала даже ничуть не удивился. Он только на мгновение наклонился над колыбелькой, а затем, выпрямившись, посмотрел на Дугласа, и лицо его приняло, если можно так сказать, профессиональное выражение. То есть каждой своей морщинкой он сумел мастерски показать, что понимает всю тяжесть этой минуты, сочувствует Дугласу, но не может не осуждать его. Несколько минут длилось красноречивое молчание, потом густые усы доктора зашевелились, и он произнес:

— Боюсь, что вы вызвали меня слишком поздно...

При этих словах он не без некоторого раздражения вспомнил, как рано его разбудили сегодня. Но Дуг в ответ лишь наклонил голову и сказал бесстрастным голосом:

— Я хотел, чтобы вы именно это констатировали.

— Простите?

— Ребенок умер, я полагаю, минут тридцать пять — сорок назад?

Тут уж доктор Фиггинс позабыл не только о том, что ему не дали сегодня выспаться, но и вообще обо всем на свете; каждый волосок его густых усов заходил от слишком бурного негодования.

— Черт побери, но почему же в таком случае вы не вызвали меня раньше?

— Вы не совсем меня поняли, — ответил Дуг. — Я ввел ему большую дозу стрихнина.

Доктор попятился, опрокинул стул, пытался его подхватить и не сумел удержать довольно-таки глупого восклицания:

— Но ведь это же убийство!

— Вот именно, — согласился Дуг.

— Что за черт! Но почему же... Как вы могли...

— С вашего разрешения, я объясню вам все несколько позже.

— Надо немедленно сообщить в полицию, — проговорил доктор в сильном волнении.

— Я как раз собирался просить вас об этом.

Фиггинс дрожащей рукой поднял трубку, назвал номер полицейского участка Гилдфорд, вызвал к телефону инспектора и, овладев собой, спокойно попросил прислать ко-

го-нибудь в Сансет-коттедж установить факт преступления, совершенного над новорожденным.

— Детоубийство?

— Да. Отец мне уже во всем сознался.

— Черт возьми! Смотрите же, чтобы он не удрал!

— Мне кажется, он и не думает удирать.

Доктор повесил трубку и снова подошел к ребенку, приподнял его веки, открыл рот.

Его удивили уши ребенка, слишком высоко посаженные, очень маленькие, почти без мочек, но он ничего не сказал, видимо не придав этому особого значения.

Открыв чемодан с инструментами, он собрал на кусочек ваты всю имеющуюся во рту ребенка слюну. Ватку положил в маленькую коробочку и снова закрыл чемодан. Затем он тяжело опустился в кресло напротив Дуга. Все это время Дуг сидел неподвижно. Так, молча, просидели они до самого прихода полиции.

Инспектор оказался очень любезным, благовоспитанным и застенчивым светловолосым молодым человеком. Допрашивал он Дугласа мягко и даже почтительно. Задав ему несколько вопросов, чтобы установить личность преступника, он спросил:

— Вы являетесь отцом ребенка, не так ли?

— Да.

— Ваша супруга у себя?

— Да, если вы хотите, я могу позвать ее.

— О нет,— ответил инспектор.— Мне не хотелось бы беспокоить роженицу. Я сам пройду к ней немного погодя.

— Боюсь, что я ввел вас в заблуждение,— заметил Дуглас.— Это не ее ребенок.

Инспектор заморгал своими белесыми ресницами. Прошло немало времени, прежде чем он понял.

— О!.. Хорошо... Но мать ребенка тоже здесь?

— Нет,— ответил Дуглас.

— А... а где же она?

— Ее вчера отвезли обратно в зоопарк.

— Она там служит?

— Нет, ее там содержат.

Инспектор вытаращил глаза.

— То есть как?

— Видите ли, его мать, собственно говоря, не женщина. Это самка вида *Paranthropus Erectus*.

Врач и инспектор с минуту стояли молча, тупо уставив-

шись на Дуга, потом украдкой и с беспокойством переглянулись.

Дуг не смог сдержать улыбки.

— Если вы, доктор, более внимательно осмотрите ребенка, то, конечно, обнаружите явные отклонения от нормы.

Поколебавшись секунду, доктор решительным шагом подошел к колыбельке, откинул с маленького тельца одеяло и развернул пеленки.

— Проклятье! — только и смог произнести он, с яростью хватая чемодан и шляпу.

Волнение врача передалось инспектору.

— В чем дело? — спросил он, быстро подходя к колыбельке.

— Это же не мальчик, — ответил врач. — Это обезьяна.

— Вы в этом совершенно уверены? — как-то странно спросил Дуглас.

Фиггинс покраснел до корней волос.

— То есть как, уверен ли я? Господин инспектор, нас с вами самым глупейшим образом мистифицируют. Не знаю, как вы, но я...

И, не закончив фразы, он решительно направился к выходу.

— Простите, доктор. Одну минутку! — проговорил Дуглас тоном, не допускающим возражений. И, вынув из письменного стола какую-то бумагу, он протянул ее инспектору. Это был бланк Королевского колледжа хирургии. — Прочтите, пожалуйста.

Не без колебаний доктор взял бумагу и надел очки.

«Я, нижеподписавшийся, Э. К. Вильямс, член Королевского колледжа хирургии, кавалер ордена Британской империи, доктор медицины, удостоверяю, что сегодня в 4 часа 30 минут утра принял физически нормального ребенка мужского пола у самки человекообразной обезьяны, прозванной Дерри и принадлежащей к виду *Paranthropus Erectus*. 19 декабря 19.. года в Сиднее в научных целях мною было произведено искусственное оплодотворение этой самки; своим появлением на свет новорожденный обязан Дугласу М. Темплмору».

Глаза доктора Фиггинса, и без того готовые выпрыгнуть из орбит, приняли такие невероятные размеры, что Дуг подумал: «Сейчас лопнут». Не говоря ни слова, доктор протянул бумагу полицейскому инспектору, посмотрел на

Дугласа так, словно перед ним был призрак Кромвеля, и снова подошел к колыбельке.

Еще раз внимательно осмотрев ребенка, он перевел полный изумления взгляд на отца, потом снова посмотрел на ребенка и опять на Дуга.

— Никогда не слышал ничего подобного,—глухо пробормотал он.—Что это за *Paranthropus Erectus*?

— Пока о нем еще ничего не известно.

— То есть как?

— Это нечто вроде человекообразной обезьяны. Около тридцати таких экземпляров недавно доставлено в Антропологический музей. Там их как раз сейчас изучают.

— Но вы-то, вы-то...—начал доктор и, не договорив, снова подошел к колыбельке.

— Нет, это все-таки обезьяна. У нее четыре руки,—произнес он с явным облегчением.

— Не слишком ли поспешный вывод?—мягко заметил Дуглас.

— Четвероруких людей не бывает.

— А вы представьте себе, доктор, ну хотя бы железнодорожную катастрофу... Вот давайте закроем ему ножки... перед нами просто маленький мертвый ребенок с отрезанными ножками... Вы и теперь настаиваете?

— У него слишком длинные руки,—ответил доктор после минутного раздумья.

— Ну, а лицо?

Врач поднял на Дуга растерянный взгляд: он был в полном замешательстве.

— А уши?—наконец нашелся он.

— Подумайте только, доктор,—произнес Дуглас,—что через несколько лет он мог бы научиться писать, читать, решать арифметические задачи.

— Теперь, когда мы ничего уже не узнаем, предполагать можно все что угодно,—парировал Фиггинс, пожимая плечами.

— Нет, почему же, вполне вероятно, мы все это еще узнаем. У него есть братья. Двое уже родились в зоопарке от других самок. Еще трое должны вот-вот появиться на свет...

— Ну вот тогда и будем...—пробормотал доктор, вытирая пот со лба.

— Что будем?

— Ну, изучать... решать...

Подошел инспектор. Он быстро-быстро моргал своими белесыми ресницами.

— Мистер Темплмор, чего же в таком случае вы хотите от нас?

— Я хочу, чтобы вы выполнили свои обязанности.

— Но о каких обязанностях может идти речь? Это маленькое существо — обезьяна. Это совершенно ясно. Какого же черта вы хотите...

— Это мое дело, инспектор.

— Да уж не наше...

— Я убил своего ребенка, инспектор.

— Я понимаю, но этот... это маленькое существо, оно не... оно не является...

— Его крестили, инспектор, и он зарегистрирован в мэрии под именем Джералда-Ральфа Темплмора.

Лицо инспектора покрылось мелкими каплями пота. Вдруг он спросил:

— А под каким именем записана мать?

— Под ее собственным: «Туземка из Новой Гвинеи, прозванная Дерри».

— Ложное показание! — торжествующе воскликнул инспектор. — Этот акт гражданского состояния не имеет силы.

— Ложное показание?

— Мать не является женщиной.

— Ну, это еще надо будет доказать.

— Как доказать? Вы же сами говорили...

— На этот счет существуют различные точки зрения.

— Различные! Но на какой счет? Какие точки зрения?

— Точки зрения крупнейших антропологов по вопросу о том, к какому виду следует отнести *Paranthropus* ов. Это промежуточный вид. Кто они, люди или обезьяны? У них много общего и с теми и с другими. В конце концов, вполне возможно, что Дерри — женщина. Пожалуйста, докажите обратное. А пока что ее ребенок — мой сын перед богом и перед законом.

У инспектора был такой растерянный вид, что Дугласу даже стало жаль его.

— Может быть, вы хотели бы посоветоваться со своим начальством? — любезно предложил он.

Бесцветное лицо инспектора просветлело.

— О да, мистер, если вы разрешите.

Инспектор поднял трубку и вызвал полицейский участок Гилдфорд. Он невольно с благодарностью улыбнулся

хозяину. А доктор подошел к Дугу и спросил:

— В таком случае... если я вас правильно понял... вы скоро станете отцом еще пяти таких обезьянок?

— Вы, видимо, начинаете разбираться в существе вопроса, доктор,— ответил Дуг.

Глава
вторая,

которая, как и следовало ожидать, дополняет краткую историю одного преступления краткой историей одной любви. Читатель впервые знакомится с Френсис Доран в ее маленькой деревушке, расположенной в самом центре Лондона. Он снова встречается с Дугласом Темплмором, на сей раз в кабачке «Проспект-оф-Уитби». Впрочем, знакомство наших героев происходит не здесь и не там, а среди цветущих нарциссов.

Вся эта история началась в одно прекрасное апрельское утро (право, зря клеветают на лондонский климат), в то время как Френсис Доран бродила по усеянными цветущими нарциссами лужайкам Риджентс-парка. Она шла, окутанная легким прозрачным туманом, который поднимается в солнечные дни над мокрыми от росы лугами. Она любила этот парк нежно и как-то по-особенному. Странная это была любовь, тем более для жительницы Хемпстед-хиса — самого большого и дикого парка Лондона, расположенного на его северной окраине.

Дорога, по которой можно попасть в Хемпстед-хис с юга, тянется сперва вдоль широкого, почти голого пустыря, где время от времени бывают многолюдные ярмарки, затем пересекает несколько маленьких улочек, на одной из которых некогда жил поэт Китс, и наконец поднимается в гору; и вот здесь, справа от нее, и лежит этот парк. Впрочем, он скорее похож на холмистую, поросшую лесом равнину, пригодную для выпаса овец, чем на обычный городской парк. Теперь, когда вы поднялись до половины горы, сверните направо и начните спускаться по маленькой, еле приметной тропинке; извиваясь между деревьями, она неожиданно приведет вас к крошечной, утопающей в зелени деревушке, которая покажется вам необычайно трогательной посреди океана каменных громад. Носит она многообещающее название — Вэйл-оф-Хелс, что означает «Долина здоровья». Прозвали ее так не иначе как в шутку, потому что, по слухам, туманы обволакивают ее постоянно; впрочем, когда я впервые попал сюда, стояла

чудесная погода... Мы открыли этот благословенный уголок с одной моей лондонской приятельницей. И пришли в дикий восторг. Ведь перед нами была настоящая деревня, с небольшими домами, улочками, центральной площадью и даже «пабом» (кабачком) на берегу подернутого туманом пруда. Проходя по одной из этих улочек, такой узкой, что по ней с трудом проезжал велосипедист, мы вдруг заметили стоящий в глубине игрушечного садика небольшой двухэтажный дом, увитый цветущими глициниями и диким виноградом. Широко открытое окно первого этажа выходило в садик; прохожий, случайно попавший в этот почти неправдоподобный уголок, мог разглядеть очень уютную комнату, обставленную своеобразно, но скромно. В доме никого не было видно, и мы, залюбовавшись, простояли перед ним несколько минут, не подозревая, что этот домик в центре деревушки, которая укрылась посреди парка, расположенного в самом сердце Лондона, в один прекрасный день прославится на весь мир.

Ведь именно здесь жила Френсис. Не знаю, достался ли он ей по наследству или Френсис просто посчастливилось снять его. Жила она в нем одна и почти безвыездно; здесь она особенно легко писала свои сказки и новеллы, которые, впрочем, журналы печатали без особого энтузиазма, а издатели с еще меньшим восторгом выпускали отдельными сборниками. Правда, у нее было несколько верных поклонников, искренняя преданность которых не могла компенсировать их малочисленности.

А потому она часто страдала от неверия в собственные силы или просто из-за отсутствия денег. Что ни говори, а совмещение этих двух обстоятельств не облегчает жизни. Случалось, от этого страдали и литературные занятия Френсис, что, конечно, также не облегчало дела. Но порой трудности только придавали ей силы и обостряли восприятие мира; ее далекие, незнакомые и не слишком многочисленные поклонники с особым восторгом читали все, что ей удавалось написать в такие периоды, и мечтали с ней познакомиться.

Дугласа тоже кормило его перо. Но в отличие от Френсис он отдавал предпочтение очеркам. Он умел откопать каких-то странных типов и затем в увлекательной форме описать их своеобразную жизнь. Так, в графстве Девоншир, например, он отыскивал человек тридцать отставных майоров, убежденных холостяков, живущих дружной ком-

муной в старом, полуразрушенном замке, полном привидений. Даже не лишенные снобизма читатели журнала «Хорайзн» с добродушной улыбкой приняли этот очерк.

Я не стану описывать дом Дугласа так же подробно, как уголок, в котором жила Френсис. Конечно, не потому, что ни разу не видел его собственными глазами. Таких домов в Лондоне не одна сотня, но именно это-то и отбивает у меня всякую охоту говорить о нем подробнее. Грустные зрелище представляют эти бесконечные лондонские кварталы однообразных унылых домов, одетых в копоть и траур. Правда, сам Дуглас утверждал, что он выбрал мрачную Кэрибиен-стрит в Ист-Энде, у самых доков, привлеченный своеобразием этих мест. На самом же деле ему на первых порах пришлось испытать и холод и голод. Но возможно, что со временем он действительно привязался к этим краям, где бок о бок со страданиями и нищетой уживаются и радость, и нежность, и преступление, и упорство, и отчаяние, и ему понравилось жить на берегу огромной судоходной реки, откуда корабли расходятся по всему свету. Во всяком случае здесь-то у него появилось немало привычек, от которых ему нелегко было отделаться. Каждый вечер, часов в семь, он заходил выпить стаканчик пунша в соседний диковинный кабачок под вывеской «Проспект-оф-Уитби». В этот час там буквально яблоку негде было упасть. В зале не было никакой другой мебели, кроме стоящей в глубине скамейки и придвинутого к самой двери стола. В клубах табачного дыма посетители со стаканами в руках стояли, тесно прижавшись друг к другу, словно в метро в часы пик; они пили, разговаривали, курили и пели, а два старых гавайца тренькали на своих мяукающих гитарах, подсев вплотную к репродуктору, отчего в этой тесной комнате можно было буквально оглохнуть. Позади стойки среди бесчисленных бутылок и чучел всевозможных рыб находилась не поддающаяся никакому описанию коллекция самых невероятных предметов. В ней можно было найти не только модели кораблей, искусно вставленных в бутылки, различные компасы, секстанты, колокола, корабельные фонари и другие морские приборы, но и вообще все, что только может придумать для забавы народная смекалка: цветы из бумаги, ракушек, перьев, кости, стекла, бархата, шелка, конского волоса, целлофана; вазы в форме круглой красной головы или продолговатой зеле-

ной; пульверизатор для духов в виде знаменитого мальчика, занятого своим естественным делом; фонари и копилки, сделанные из тыквы, копилки в виде головы тельца с фарфоровой петрушкой, воткнутой в ноздри; ботиночки из солодкового корня; голые женщины из марципана в стыдливых юбочках из гофрированной бумаги... Дуглас так и не мог уяснить себе, какая таинственная сила влекла его каждый вечер сюда, в этот кабачок, где среди песен и табачного дыма жила полная радости любовь человека к вещам, созданным его собственными руками. Дугласу больше всего нравилась ссохшаяся и ставшая не крупнее кулачка новорожденного голова индейца, у которой полностью сохранились связанные в пучок волосы. Ему не раз хотелось попросить хозяина продать ему эту мумию, но мешала врожденная скромность, так не вязавшаяся с его профессией. Впрочем, это было к лучшему: он наверняка получил бы отказ. Дуглас пил, не отрывая взгляда от головы индейца, в то время как за ярко освещенной стойкой, среди всех этих чудес, сбросив пиджак, сутился хозяин и его помощники — два буфетчика; а две официантки обслуживали посетителей, теснившихся в конце коридора на узком балконе, который казался совсем ветхим, так потемнели от времени, так лоснились деревянные балки, такое наслоение надписей покрывало его стояки, так тяжело нависал он над самой Темзой в том месте, где в речной тине догнивали остовы двух старых кораблей. Рассказывают, что именно отсюда Генрих VIII не раз смотрел, как на другой стороне реки вешают осужденных. По ночам зловещий свет газового рожка в конце мрачной и темной улицы еле освещал нижние ступеньки деревянной, источенной червями лестницы, о которые бились темные, как чернила, с недобрыми отсветами волны; глядя на эти ступеньки, так и представляешь себе, как стаскивали по ним в реку тела убитых.

Но Дуглас встретил Френсис не в ее живописной деревушке и не на мрачной Кэрибиен-стрит, а среди цветущих нарциссов, в подернутом легкой дымкой и освещенном лучами апрельского солнца Риджентс-парке. В их встрече, впрочем, не было ничего удивительного: Дуглас, как и Френсис, очень любил этот цветущий уголок. Вероятно, они не раз встречались там, но проходили мимо, не обращая друг на друга внимания. Что же изменилось в это утро?

Конечно, виной всему были туман и солнце. В фигуре Френсис, склонившейся к цветам, было что-то призрачное, что делало ее еще более очаровательной. Она была без шляпы, и ее крашенные золотистые волосы отливали в легком тумане тускловатым блеском.

Дуглас неясно видел черты ее лица, а ему вдруг так захотелось их рассмотреть. Он остановился. Девушка подняла голову, и взору ее предстало настоящее солнечное затмение: лицо Дугласа, стоявшего против солнца, было совершенно темным, а вокруг него пламенели, развеваясь по ветру, волосы цвета темной меди.

Она невольно улыбнулась. Дуглас принял эту улыбку на свой счет; а так как девушка была хороша, хотя рот у нее был немного великоват, он почувствовал, что благодарен ей за эту улыбку и за эту красоту, наполнившую теплом его сердце. Улыбка к тому же придала ему смелости. Он сказал:

— Какие чудесные цветы!

Но Френсис прекрасно поняла, что он хотел сказать: «Какое очаровательное лицо», и хотя она и без него знала, что хороша собой, ей все-таки было приятно услышать эти слова. Она снова улыбнулась, на этот раз мило, дружелюбно. И спросила:

— А вы любите нарциссы?

Он подошел поближе, опустился прямо на траву, скрестил ноги и, посмотрев на нее, ответил: «Страшно люблю».

Но она воскликнула:

— Что вы делаете? Вы же простудитесь!

Легко вскочив на ноги со словами «Какая вы милая», он снял свой плащ и расстелил его на траве. И присел на краешке, так выжидательно глядя на нее, что она, с минуту поколебавшись, опустилась рядом. Он широко улыбнулся.

— Не правда ли, нам здорово повезло?—вдруг вырвалось у него. Она удивленно подняла брови.

— Повезло, что мы с вами встретились. Бывают же такие чудесные дни: солнце, цветы и улыбки юных девушек.

— К вашему сведению, мне уже двадцать девять. (На самом деле ей было тридцать.)

— А я вам не дал бы и половины.

Она непринужденно рассмеялась. Ей было очень весело... Мимо них проплыла лодка, в ней сидели полнотелая

дама и молодой человек, вцепившийся в слишком тяжелые для него весла.

— Я сегодня свободен до полудня,— решил наконец Дуг.— А вы?

— А я хоть до будущего года.

— Вот как! Свободны до будущего года?

— Я вольная птица и работаю, когда мне хочется.

— И вам не захочется до будущего года?

— Право, не знаю. Может быть, это желание появится у меня сейчас, а может быть — никогда.

— Чем же вы занимаетесь? Живописью?

— Нет, я пишу.

— Не может быть!— воскликнул Дуглас по-французски.

— Почему «не может быть»?

— Потому что я тоже пишу.

Теперь остановить их было уже невозможно. Разговор их не стоит пересказывать. То, что двое писателей могут наговорить о своей профессии, интересно лишь им самим.

Так просидели они около часа, пока им не стало холодно; тогда, не переставая болтать, они поднялись. Френсис прекрасно помнила его очерк об отставных майорах, напечатанный в «Хорайзн». Дуглас чувствовал себя страшно неловко: он не знал ни одной ее новеллы.

Но когда по его просьбе она перечислила их и даже рассказала одну, где речь шла о том, как муж и жена, в сущности совершенно чужие друг другу люди, вынуждены жить в полном одиночестве в занесенном снегом загородном домике и проводить долгие зимние вечера, запершись каждый на своей половине, он с нескрываемым восторгом воскликнул: «Так это ваша?» И от этих слов ей сразу стало тепло. Вдруг они спохватились, что двенадцать уже давно пробило. Дуглас, махнув рукой, послал к черту свое деловое свидание, и они зашли в китайский ресторан, где заказали себе первое, что попало им на глаза,— яйца под соусом и сандвичи с морской капустой.

Спустя некоторое время они сели в автобус, идущий в Хемпстед-хис. Дуглас был поражен и даже чуточку раздосадован: он знал о существовании этой любопытной деревушки, но никогда не видел ее своими глазами. Как он мог до сих пор не побывать здесь? Френсис рассмеялась с наивной гордостью. Прежде чем зайти к ней, они побро-

дили по улочкам. Потом разожгли огонь в маленьком, с деревянными инкрустациями камине, и пока она, не переставая болтать, готовила чай, он, не выпуская трубки из рта, устроился в своих светлых фланелевых брюках прямо на полу у огня, охватив руками колени.

Когда стало смеркаться, он сделал вид, что собирается уходить. Она не отпустила его и открыла к обеду банку тушенки и консервированные ананасы. Наконец часам к десяти они расстались. Сидя на империале автобуса и глядя, как в темноте мелькают редкие огни Флит-стрит, он думал: «Честное слово, я влюблен». С ним это случилось не в первый раз. Но теперь он испытывал что-то совсем новое, что-то очень нежное и спокойное. Отрывок из верленовского стиха (он был без ума от Верлена) не выходил у него из головы: «...и плена не боясь...» Он даже не думал о том, будет ли эта любовь взаимной.

Глава третья,

в которой Френсис и Дуглас решают, что дружба выше любви. Удобство литературных бесед с этой точки зрения. Неудобство молчания. Улыбка опасна. Страх и опрометчивость Дугласа. Опрометчивость и слез Френсис Доран. Как принимаются важные решения. Три зуба на челюсти решают судьбу двух людей. Что может произойти, если отказаться от разговора на литературные темы.

Теперь они встречались почти ежедневно, и всегда у нее. Он приходил часам к пяти, снимал куртку и, оставшись в толстом красном свитере, усаживался на полу, у самого огня, который она разжигала к его приходу.

Затем он набивал трубку, а она готовила чай и поджаривала ломтики пресного хлеба, купленного у еврея бакалейщика в Свис-коттедже.

Когда он не мог прийти, они переписывались. В письмах своих они всегда говорили о литературе, обсуждали тот или иной вопрос, который не успели решить во время последней встречи. К уходу Дугласа всегда оставался какой-нибудь нерешенный вопрос. То же получалось и в письмах. И потому у них всегда имелся предлог снова встретиться или написать друг другу.

А главное, так легче было избежать молчания. Ибо их отношения приняли вполне определенную форму. По молчаливому уговору было решено, что они не влюблены друг в друга; слишком уж это было бы пошло и прозаично! Ей

было тридцать лет, ему тридцать пять, страсть не раз уже опустошала их сердца; «У нас выработался иммунитет»,— говорили они. То ли дело дружба! Конечно, и у нее и у него были свои друзья, и немало. Но не было таких, кому они могли бы открыть свою душу с той чудесной непринужденностью, которая придавала необъяснимую прелесть их отношениям. В Дугласе Френсис нашла то, о чем мечтала всю жизнь: образованный, очень тонкий, с острым, критического склада умом, он высказывал ей свое мнение о ее новеллах без обиняков, без задней мысли, без снисхождения. Как это было хорошо! Чудесно было слушать, как он говорит: «Вещь никуда не годится»—и затем объясняет, почему не годится. Оставалось только разорвать написанное и начать все сначала (или просто отложить на время в сторону). Но зато, если он говорил ей: «Браво»,—она могла быть совершенно спокойной, тогда как прежде, что бы она ни написала, друзья ее хором восклицали: «Чудесно, дорогая, замечательно!» А потом мучайся, решай сама, хорошо это или плохо. Настоящая пытка!

«Какое счастье, что он не влюблен в меня!»—думала она. И ей казалось, что она искренне просит у неба, чтобы этого никогда не случилось. Она боялась, что, полюбив, он утратит искренность, которой она так дорожила, во всяком случае—способность судить о ней здраво. И чего ради, спрашивается? Ради обыденных восторгов? В ее чувстве к нему было, пожалуй, что-то большее, чем простая дружба: он вызывал в ней нежность, а иногда даже чувственные порывы, с которыми она мирилась не без тайной услады, но в сущности все это было не очень опасно. «Лишь бы он,—молила она,—лишь бы он не думал обо мне так!»

Он же забыл—или делал вид, что забыл,—о том, что испытал в первый вечер их знакомства, возвращаясь к себе в Ист-Энд на империале автобуса. Слишком свежи еще были раны от гнусной измены, которая переполнила его сердце если не отчаянием, то отвращением. «Женская любовь,—думал он,—благодарю покорно! Зыбучие пески, тошнит даже... Они уверяют, что лгут для нашего же блага, чтобы уберечь нас от страданий! Но в конце концов все открывается, и мы, конечно, страдаем; только теперь к нашим страданиям примешивается еще чувство гадливости. А они презирают нас за эти страдания, и эту гадливость, и за то, что мы не сумели оценить ангельскую доброту их слишком чувствительных сердец!.. Упаси боже снова по-

грязнуть в болоте женской любви!»

И он тут же сел в автобус, идущий в Вейл-оф-Хелс, со счастливой улыбкой сжимал руки Френсис, сбрасывал куртку, набивал трубку и, в то время как она поуютнее устраивалась в углу спасительного дивана, среди подушек, сразу же начинал разговор, который остался неоконченным во время их последней встречи или в последнем письме. А она слушала, глядя на него доверчивыми, восторженно блестящими глазами, в которых и шестилетний ребенок сумел бы прочесть то, что Дуглас старался не видеть.

Но бывали минуты, когда они чувствовали себя неловко вдвоем. Случалось, что тема, которую они обсуждали, была до конца исчерпана, а они не сразу могли найти новую тему. Тогда наступали минуты густого молчания, которых они с каждым разом боялись все больше. Они не знали, чем их заполнить. Они не хотели поверить, что им может быть хорошо просто оттого, что они вместе; им не приходило в голову посидеть молча, думая каждый о своем, до тех пор, пока слова не польются сами собой, или даже помечтать в полумраке, глядя на огонь в камине. Им казалось, что, если молчание продлится еще хоть немного, в комнату проникнет злой дух, который разоблачит их, и тогда произойдет что-то такое, от чего они растеряются и против чего оба будут бессильны. В такие минуты они храбро улыбались друг другу, как бы желая сказать: «Нам-то нечего бояться, не правда ли?» Они улыбались до тех пор, пока один из них не находил наконец новой темы, за которую они оба судорожно хватались. Но иногда им долго ничего не приходило в голову, и в панических поисках темы они чувствовали, как улыбка их становится нелепой гримасой; и все-таки они улыбались. И это было просто ужасно.

И вот однажды, только для того, чтобы прервать ненавистное молчание, Дуглас вдруг сказал:

— Вы знаете, Гримы предлагают мне ехать вместе с ними?

Он сказал это, не подумав, и сразу же все было кончено. А ведь на самом деле никто ему ничего не предлагал.

Дуглас действительно встретил накануне Кутберта Грима, ожидавшего автобус на Риджент-стрит. Грим был школьным товарищем его отца, Хэрмона Темплмора, ки-

таиста, члена Королевского общества. Дуглас сохранил к старику Гриму искреннюю нежность в память отца, которого очень любил, хотя, когда в юности сын захотел проявить самостоятельность, они чуть не разошлись. Грим был шестидесятипятилетний старик с круглым одутловатым лицом старого кучера-пьяницы и с ясными голубыми глазами невинного ангела. Он трогательно смущался, выступая перед аудиторией (даже если аудитория состояла всего лишь из одного человека), хотя и был крупнейшим палеонтологом, признанным учеными всего мира.

При виде Дугласа он покраснел (впрочем, он всегда краснел при встречах со своими знакомыми), словно попался с поличным. В ответ на сердечное приветствие молодого человека он пробормотал:

— Как поживаете? Я очень хорошо, очень хорошо... Да...

Он посмотрел направо, налево, как будто собирался удрать. Дуглас спросил его, как поживает Сибилла.

— Прекрасно... прекрасно... То есть нет, у нее, представьте себе, корь.

Дуглас невольно подумал: «Так ей и надо!» Он вспомнил себя тринадцатилетним мальчишкой: он лежит в кровати, а Сибилла стоит в дверях его комнаты и, встряхивая белокурыми кудрями, с брезгливой гримаской смотрит на его красное, покрытое сыпью лицо. Им обоим было тогда по тринадцать лет. Но Дуглас до сих пор не мог простить ей этого выражения бессердечной гадливости.

В двадцать лет Сибилла вышла замуж за Грима, которому было уже пятьдесят. Конечно, все сразу же обвинили ее в продажности, а его в развращенности и сластолюбии. Но когда стало известно, что она отправилась в Трансвааль с экспедицией, искавшей следы африкантропа, и весьма успешно участвовала в раскопках, злые языки умолкли. Теперь, по общему мнению, неоспоримым оставалось лишь то, что своим замужеством она разбила сердца многих прекрасных молодых людей и в первую очередь этого милого юноши, Дугласа Темплмора.

Пожалуй, единственным человеком, который не знал, что сердце его разбито, был сам Дуглас. А потому ему, конечно, и в голову не приходило рассказывать об этом Френсис. Но стоило Френсис заговорить о Дугласе со своими друзьями, как ей сразу же выложили все, и она тоже решила никогда не поднимать разговор о Сибилле: недо-

ставало только поддаться смехотворной ревности.

— Как, корь?—воскликнул Дуглас.—Это же детская болезнь!

Во взгляде старого Грима промелькнуло что-то удивительно нежное. Он улыбнулся, тут же покраснел до корней волос, на его голубых глазах выступили слезы смущения, и он поспешно ответил:

— Не всегда, не всегда: случается, что... Впрочем, теперь почти все прошло.

И, увидев свой автобус, он с явным облегчением вздохнул.

— Теперь, к счастью, она почти здорова,—добавил он.— Ведь мы ускорили свой отъезд. Вы слышали? Мы едем в Новую Гвинею. Там нашли... а вот и мой автобус!.. челюсть... полуобезьяны-получеловеска, понимаете, с тремя уцелевшими коренными зубами... Это слишком долго рассказывать...

— Это действительно очень интересно,—вежливо заметил Дуг.

— Интересно? Вас это в самом деле интересует? Мы хотим взять с собой двух кинооператоров, подумываем также и о журналисте. Разумеется, не для раскопок, а...

Волна пассажиров увлекла за собой старого ученого. И уже с площадки, прежде чем окончательно исчезнуть, он помахал Дугласу рукой.

— До свидания!—крикнул он и, улыбаясь, добавил что-то, что потонуло в шуме уходящего автобуса и могло означать «До скорой встречи!» или «Заходите!»—и исчез.

Дуглас сам растерялся от своих слов, в которых было так мало правды. «Что это я болтаю?»—подумал он и готов был уже рассказать, как все произошло на самом деле; но в это мгновение Френсис, как игрушечный чертик из бутылки, вскочила с дивана и с неестественным оживлением воскликнула:

— Но ведь это чудесно! Просто чудесно! Вы, конечно, согласились?

Она не отдавала себе отчета, почему так говорит. Слишком затянулось это невыносимое молчание, слишком долго пришлось ей напряженно улыбаться, испытывая, как и всегда в такие минуты, ужас и головокружение, граничащее с дурнотой. Она почувствовала настоящее облегчение, когда Дуглас наконец сказал что-то. И вместе

с тем это «что-то» больно укололо ее.

— Значит, надо было согласиться?—спросил он.

У него был такой удивленный и растерянный вид. Но от его слов продолжало саднить. Она повторила, на этот раз слишком уж радостно:

— Конечно, это чудесно! Вы не должны упускать такой возможности! Когда же они уезжают?

— Я еще точно не знаю,— пробормотал Дуглас. Вид у него и впрямь был самый несчастный.— Недели через две, я полагаю.— Такой несчастный, что у Френсис на секунду сжалось сердце. Но он ведь ей тоже сделал больно, и еще как больно...

— Звоните им!—вскричала она и весело побежала за телефонной книжкой.—Примроз 6099,—сказала она, передавая ему трубку.

Дуглас готов был возмутиться. Он открыл было рот, чтобы сказать: «Что с вами такое?», как вдруг услышал:

— Вам пора переменить климат. Вы слишком засиделись в Лондоне.

Потом она не раз спрашивала себя с гневом и болью, что заставило ее произнести эти слова. Не ревность же, в конце концов! Ей не было никакого дела до этой Сибила. Пусть отправляется с ней, если ему так хочется. Мы же не влюблены друг в друга. И вполне можем расстаться на некоторое время. Мы совершенно свободны.

Дугласа словно обухом по голове ударили. «Слишком засиделись в Лондоне...» Так, значит, вот как она думает... Но почему же она не сказала ему об этом раньше? Он взял трубку и набрал номер.

К телефону подошла Сибила. Она не сразу поняла, что он от нее хочет. Какой журналист? Она же прекрасно знает, что Дуглас журналист, и ему незачем сообщать ей по телефону столь важную новость... Ехать с ними в Новую Гвинею? Но, милый мой Дуг... Что? Что? Вечно по телефону ничего не разберешь. Заходите к нам, старина, если, конечно, не боитесь кори. Приходите, когда только сможете.

Он повесил трубку. Перед ним как в тумане мелькнуло лицо Френсис. Но она уже подавала ему куртку и плащ.

— Сейчас же отправляйтесь к ней,—проговорила она все с тем же непонятным оживлением.—Надо ковать железо, пока горячо.

Несколько секунд они простояли друг против друга не

двигаясь, и в голове у нее пронеслось: «До чего все глупо! Вот возьму и поцелую его сейчас. Слишком, слишком все глупо. А что если не отпускать его? Нет, он сделал мне больно, теперь все, все пропало, пусть уезжает!.. Ох, если бы он только швырнул свою куртку в угол и обнял меня!»

Но он уже надел куртку и набросил на плечи плащ. И она сама подталкивала его к двери.

— Удачу надо хватать за волосы,— сказала она, звонко смеясь,— даже если они белокурые.

Он взглянул на светлые волосы Френсис. О какой удаче говорила она? Ему даже в голову не пришло, что слова ее могут иметь хоть какое-то отношение к белокурой Сибиле. Какую удачу должен был он схватить за волосы? И вдруг в голове у него молнией пронеслось: «Я женюсь на ней!» Но, увы, он ей совсем, совсем не нужен. Он чувствовал, как она легким нажимом руки подталкивает его к двери. Он уже стоял на так хорошо знакомом ему коврике у двери и почти физически ощущал его коричневые и зеленые клетки, и от этого сердце переполняла такая отчаянная тоска, что он готов был разрыдаться.

На пороге она проговорила:

— Вам надо торопиться. Возьмите такси.

В маленьком садике в лучах заходящего солнца всем : красками переливались майские цветы: незабудки, барвинки, анемоны и множество ирисов, не уступающих по своей красоте орхидеям... Песок скрипел под ногами.

Когда он вышел за калитку, она помахала ему рукой и крикнула: «Все-таки зайдите перед отъездом!» В мягком вечернем свете она показалась ему ослепительно прекрасной. Ее яркие, немного крупные губы улыбались. И, глядя на нее, можно было подумать, что она невероятно счастлива.

— Что это вам наговорил Кутберт?—с удивлением спросила Сибилла.

Она полулежала на кушетке-рекамье. Ноги ее были укутаны мехом. На лице оставались еще красноватые следы сыпи. Но тому, на кого был устремлен взгляд Сибиллы, вряд ли пришлось бы в голову рассматривать ее кожу. Ду-гласу вообще было не до Сибиллы.

— Он сказал мне, что вы хотели бы взять с собой журналиста,—ответил он, слегка искажая истину.—А потом он мне еще крикнул: «Поедьте с нами!»

— Но чего ради вы с нами потащитесь? Вас что, интере-

сует палеонтология? Ведь наши ископаемые совсем не похожи на ваших доисторических майоров.

Дуглас ответил не сразу. У него не было никакого желания убеждать ее в чем-либо.

— Меня вообще интересует все на свете,— наконец произнес он упрямо.

Она насмешливо взглянула на него. Он покраснел.

— Признавайтесь-ка,— сказала она,— уж не бегство ли это? Не разбил ли вам кто-нибудь сердце?

— Да нет, что за ерунда!— слишком поспешно ответил Дуглас: он не мог скрыть своего раздражения.— Уверю вас, экспедиция меня очень интересует. И конечно, для меня как журналиста...

— А вы знаете, по крайней мере, зачем мы туда едем?

На минуту он растерялся, но тут же нашелся и с победоносным видом выпалил:

— За челюстью...— и, улыбаясь, добавил:— С тремя зубами.

Она весело рассмеялась. До чего же он мил! Все-таки она очень любит его.

— Нет,— сказала она.— Челюсть с тремя зубами уже привез Крепс, немецкий геолог. Мы же попытаемся разыскать череп и скелет.

— Это самое я и хотел сказать,— пробормотал Дуг.

— И если мы только действительно их найдем, то, возможно, обнаружим так называемое *missing link* — «недостающее звено». А вы знаете, что это такое?

— Да... ну... приблизительно,— не слишком уверенно ответил Дуг.— Звено, которого недостает в эволюционной цепи... последнее звено между обезьяной и человеком...

— И это вас интересует... страшно интересует?— с напускной важностью спросила Сибила.

— Но черт возьми, почему же, собственно говоря, вы решили, что меня это не может интересовать?

— Потому что, старина, зоология не ярмарочный балаган: взял да и вошел. Вот если я сейчас вам скажу, что мы едем в Новую Гвинею только потому, что на третьем зубе привезенной Крепсом челюсти имеется пять бугорков, вы что, подпрыгнете от волнения или нет?

— Нет конечно, если вы будете мне говорить об этом таким тоном. Но я достаточно образован и понимаю, что Крепс, должно быть, нашел зуб обезьяны на челюсти человека или что-то в этом духе. Верно?

— Да, действительно, почти так.

— Вот видите, не такой уж я идиот.

— Этого я и не говорю. Я просто спрашиваю вас, подпрыгнете вы или нет?

— А почему, собственно говоря, я должен прыгать? Я не прыгал и тогда, когда узнал о существовании отставных майоров в Стегфордском замке. Я просто поехал туда и рассказал читателям обо всем, что увидел.

— Ну, если вы поедете с нами, то вряд ли сможете рассказать им что-нибудь интересное.

— Почему же?

— Потому что сразу видно, что вы никогда не присутствовали при такого рода раскопках. Уверяю вас, дружище, это вовсе не так интересно. Перерывают и просеивают тонны земли. И недель через шесть, а может быть и через шесть месяцев, находят наконец среди гальки и ракушек кусочек окаменевшей кости или один-единственный зуб. Сначала надо выяснить, не попали ли они туда случайно. Действительно ли они того же возраста, что и пласт земли, в котором их нашли, то есть что им один или два миллиона лет. Тогда раскопки расширяются, и если через несколько месяцев удастся обнаружить часть черепа или кусок бедренной кости, то все считают, что им повезло, так как обычно найти ничего не удается. Видите, для вас тут нет ничего интересного.

— Не понимаю, как вы можете решать за меня, что мне интересно, а что нет.

В эту минуту в комнату вошел Кутберт Грим. Приход Дугласа удивил и искренне обрадовал его.

— Хэлло,—сказал он, крепко пожимая ему руку. Затем поцеловал Сибилу.

— Итак,—обратилась к нему Сибилла,—все решено. Дуг едет с нами.

У Дугласа подкосились ноги.

— Как, но...

Однако Сибилла, очаровательно улыбаясь, остановила его.

— Я сделала все возможное, чтобы отговорить Дуга. Одному богу известно, почему он уперся. А вы уже договорились со Спидом?

— Да ... нет ... почти ...—пролепетал Грим, не понимая, что здесь происходит.—Я не знал, что ... но, конечно, можно было бы...

— Послушайте! — воскликнул Дуглас.

— Я беру все на себя, — успокоила его Сибилла. — Ведь Спид, по-моему, не так уж рвется. Вернее, ему просто не хотелось отказывать нам. Особенно мне, — добавила она с улыбкой. — В сущности, я уверена, что он только обрадуется. А вы с ним знакомы? — обратилась она к Дугу.

— Да... немного... Именно потому, — заторопился он, — я не хотел бы...

— Пусть это вас не смущает. Поверьте, Спид обрадуется. Вести дневник экспедиции, повторяю вам, работа не из приятных. Среди нас писак нет, да и не можем мы вести регулярно дневник. У нас слишком много других забот. Итак, вы довольны! — заключила она. — Значит, решено?

Дуглас хотел сказать: «Дайте мне по крайней мере время подумать!», но слова застряли в горле — старый ученый и его жена смотрели с такой дружеской улыбкой, они были так откровенно рады, что могут доставить ему удовольствие...

Глава четвертая

Отплытие в Сугараи. Френсис и Дуглас принимают любовь, по-увы! — слишком поздно. Когда молчать удобно, а улыбаться легко. На пароходе среди пассажиров — немецкий геолог, ирландский бенедиктинец и английский антрополог. Прекрасная Сибилла посвящает Дугласа в борьбу, которая идет между сторонниками ортогенеза и селекции. От ископаемых раковин до извилин человеческого мозга. Гофмансталь при свете луны.

Последние дни перед отъездом экспедиция провела в Ливерпуле, где шла погрузка багажа. Дуглас так больше и не виделся с Френсис. Он был слишком потрясен. Он уже не скрывал от самого себя, что любит ее. И теперь, когда он мог хладнокровнее посмотреть на вещи, он понимал, что и она, вероятно, любит его. Между ними произошло глупейшее недоразумение. И он не знал, как теперь исправить дело... Ему было бы очень неудобно подвести Гримов, которые ради него отказали Спиду. Оставалась последняя надежда, что, быть может, Спид по-прежнему согласен отправиться с экспедицией. Но Сибилла оказалась права: Спид был в восторге от того, что ему нашли замену. Дуглас даже не осмелился позвонить Френсис. А ему бы следовало бежать к ней, броситься к ее ногам и найти в себе достаточно смелости для решительного объяснения. Од-

нажды вечером он почти решился. Он долго бродил по улочкам Вэйл-оф-Хелс. Но, увидав издали похожую на Френсис женщину, бросился бежать со всех ног. Френсис тоже переживала тяжелые дни. Она без конца перечитывала письмо Дугласа, в котором он сообщал о своем отъезде. Это письмо ничем не отличалось от тех, которые она получала от него прежде. Оно было таким же милым, спокойным, полным юмора и той дружеской откровенности, которая вот уже больше года поддерживала в ней чувство уверенности. Но последние строчки письма потрясли Френсис.

«В общем,— писал он,— вот меня и увозят, помимо моей воли. Но если Вы считаете, что это хорошо, значит, это действительно хорошо. Одно Ваше слово заставило меня поехать, одно Ваше слово могло бы удержать меня. Как ни жестока подобная покорность, но мне приятно подчиняться Вашей воле. Бывают ведь такие горькие радости, не правда ли, Френсис? Все, что исходит от Вас, даже то, что причиняет боль, мне всегда будет радостью. Не злоупотребляйте этим, мой милый друг. Прощайте. Думайте обо мне хоть изредка.

Ваш Дуг».

В день отплытия корабля, когда уже в третий раз завывала сирена и Дуглас со сжавшимся сердцем вышел на палубу, чтобы еще раз взглянуть на английский берег, на набережной в толпе провожающих он вдруг заметил неподвижную фигурку, и у него перехватило дыхание.

— Френсис! — крикнул он и бросился к трапу. Но слишком поздно: трап уже поднимали. Тогда он снова кинулся на корму. Френсис подошла к самой воде. Дуглас видел обращенное к нему прекрасное, немного бледное лицо. Они оба молчали, потому что иначе им пришлось бы кричать. Френсис только улыбалась, и он отвечал ей такой же улыбкой. И впервые они готовы были молчать хоть вечно, не боясь, что их улыбка превратится в гримасу; напротив, с каждой минутой они улыбались все естественнее и нежнее. Когда судно медленно отвалило от берега, Френсис поднесла руку к губам, и Дуглас сделал то же. И так, не переставая улыбаться, они посылали друг дру-

гу воздушные поцелуи, пока пароход не скрылся за молом.

Дуглас надеялся использовать долгий путь, чтоб хотя бы немного приобщиться к палеонтологии. Но его ждало горькое разочарование: его спутники, казалось, готовы были на все, лишь бы не говорить о своей профессии.

Их было четверо: трое мужчин и Сибилла. Дуглас только к концу путешествия разобрался в специальности каждого из них. Он искренне удивился, когда ему стало известно, что любитель поесть и выпить, который не выпускал изо рта трубку и не слишком стеснялся в выражениях, был не кто иной, как ирландский монах-бенедиктинец. Дуглас не раз слышал, как его называли «отец», но он решил, что это прозвище, которому тот обязан своим возрастом.

— Ничего не поделаешь, это всегда будет чувствоватьсь,— сказала Сибилла однажды вечером, заметив, что в коридоре промелькнула и исчезла седая кудрявая голова. (Они как раз проплывали мимо острова Сокатори.) Дуглас и Сибилла лежали в шезлонгах.

— Что именно?— спросил он.

— Его скуфья,— отрезала Сибилла, которая несколько бравировала своим атеизмом.

— Что за скуфья?

— Эх, вы! Головной убор священнослужителей.

Судя по тому, как расхохоталась Сибилла, удивление Дугласа было достаточно комичным.

— Как? Неужели вы до сих пор не знали? Он не только папист, но еще и принадлежит к ордену бенедиктинцев. И, что хуже всего, является самым бешеным ортогенистом.

— Простите, как вы сказали?!

— Ортогенист. Сторонник ортогенеза. Он считает, что всякое развитие имеет определенную цель или по крайней мере направление.

Лицо Дугласа выражало самую трогательную мольбу, и Сибилла не без раздражения пояснила:

— Он полагает, что мутации происходят не случайно, не в результате естественного отбора, а их вызывает, подчиняет себе и управляет ими некая сила, воля к усовершенствованию. О черт!— воскликнула она, не выдержав тупости собеседника.— Словом, он полагает, что существует определенный план и его создатель и что господу богу на-

перед известно все, что он хочет.

— Но в этом еще нет никакого преступления,— улыбаясь, заметил Дуглас.

— Преступления, конечно, нет, но это просто нелепость...

— Ну, а кто же вы сами?

— То есть, как это кто?

— Если вы не ортогенистка, тогда кем же вы себя считаете?

— Я никто. Я свободомыслящая. Я считаю ортогenez мистикой, и, по-моему, прав был Дарвин, отводя главную роль естественному отбору. Но в то же время мне кажется, что естественный отбор — это еще не все. Развитие — результат взаимодействия самых разнообразных факторов, внутренних и внешних. Думаю, что никогда нельзя будет свести развитие к одному какому-то фактору. И тех, кто это делает, я просто считаю ослиами.

— Объясните мне, пожалуйста, под внешними факторами вы понимаете климат, питание, других животных? Да?

— Да.

— А естественным отбором вы называете ту борьбу за существование, при которой выживают и развиваются формы, наиболее приспособленные к этим факторам, в то время как менее приспособленные погибают?

— Да, приблизительно так.

— Ну, а что же тогда вы считаете внутренними факторами?

— Внутренние факторы — это преобразующие силы, источник которых — некая воля к постепенному самосовершенствованию, присущая тому или иному виду.

— В общем желание хотя бы немного приблизиться к идеальному образцу?

— Ну, скажем так.

— И вы придаете одинаковое значение обоим этим факторам?

— Да, но есть еще и другие. Есть множество причин, которые не так-то легко объяснить.

— Например?

— Я не могу вам их объяснить, потому что они необъяснимы.

— Божественного происхождения?

— Конечно, нет. Просто они непостижимы для человеческого разума.

— И вы верите в их существование, не понимая, что они собой представляют?

— Я не стараюсь их себе представить, потому что для меня они непознаваемы. Но я думаю, что они существуют. Вот и все.

— Но в таком случае это просто бессмысленно.

— Как так?

— Это то же самое, что верить в Деда Мороза. Она засмеялась и посмотрела на него с уважением.

— Неглупо сказано!

— Я бы предпочел держаться того, что было бы мне доступно. Например, естественного отбора или этого ... как его ... ормогенеза ...

— Ортогенеза. Что ж, это вполне разумно. Но существуют вещи, которые не могут объяснить оба этих метода, даже вместе взятые.

— Например?

— Например, внезапное вымирание некоторых видов в период их наибольшего расцвета. Или еще проще: работа человеческого мозга.

— Но при чем тут человеческий мозг?

— Это слишком долго объяснять. Но *grosso modo** здесь мы сталкиваемся с десятками противоречий. Если наш мозг должен содействовать лишь биологическому процветанию человеческого рода, почему же он ни с того ни с сего начинает заниматься совсем другими вещами? И когда речь заходит об этих «других вещах», нам приходится только руками разводить.

— Значит, сделан еще только первый шаг ...

— Вот именно. Когда мы сделаем последний, все причины нам станут ясны.

— Знаете, что я вам скажу?

— Да, что такое?

— В сущности, вы в большей степени привержены ортогенезу, чем отец Диллиген.

— Это заключение идет не от логики, а от чувств, мой милый Дуг!

— От чувств?

— Видите ли, даже Диллигена сделали ортогенистом его научные взгляды, — по крайней мере он сам так считает. Он является ортогенистом не потому, что верит в боже-

* В общих чертах (лат.).

ственное предопределение, а скорее даже наоборот: он ортогенист и потому вынужден верить в божественное предопределение. Очень большую роль здесь сыграл тот факт, что он занялся изучением форм свертывания у некоторых типов ископаемых раковин. Конечно, это было не единственной причиной ... Он нашел разновидности, у которых свертывание зашло так далеко, что животное, полностью свернувшись, погибало замурованным еще совсем в раннем возрасте. Но несмотря на такой гандикап, эти виды не вымерли. Исходя из этого, Диллиген пришел к выводу, что существует внутренний фактор, внутренняя «воля» к свертыванию, полярная всякому процессу приспособления. Кутберт как верный последователь Дарвина ответил ему, что этот внутренний фактор по своему происхождению есть не что иное, как процесс приспособления, просто плохо поддающийся контролю законов генетики. Уже года три они ссорятся по этому поводу, как базарные торговки.

— Разве ваш муж занимается также и раковинами?

— Если вы хотите, дорогой мой, хоть что-нибудь понять в происхождении человека, вам надо познакомиться сначала с тем, как произошло на земле все остальное ...

— Вы в этом уверены? — с минуту подумав, спросил Дуглас.

— Что за вопрос? Это же вполне очевидно.

— Ну, не совсем.

— Как не совсем?

— Мне кажется, — продолжал Дуглас, — тут есть какая-то путаница. Между вашими раковинами и, например, слоном или даже большими обезьянами ... Хорошо ... я понимаю, качественная сторона вопроса не меняется от объекта, поскольку можно проследить каждый шаг в развитии от одного к другому. Но между обезьяной и человеком или, скорее, видите ли ... между обезьяной и человеческой личностью и даже, если хотите, между животным, от которого произошел человек, и человеческой личностью лежит целая пропасть, и ее не заполнишь всеми вашими историями насчет свертывания ...

— Вы, конечно, имеете в виду душу? Так-так, милый мой Дуг, уж не стали ли вы верующим?

— Вы хорошо знаете, дорогая Сибила, что во мне нет и крупицы веры. Я такой же безбожник, как и вы.

— Но о чем же в таком случае вы говорите?

— О том, если угодно, что пришлось все же придумать такое слово: душа. Даже если не веришь в ее существование, надо все-таки признать, что, поскольку ее пришлось придумать, и придумать специально для человека, чтобы отличить его от животного, значит, в самом человеке, во всем его поведении есть нечто такое ... Но вы, конечно, поняли, что я хочу сказать?

— Нет, объясните.

— Я хочу сказать, что в причинах, определяющих человеческие поступки, есть нечто такое, нечто совсем особенное, единственное в своем роде, чего не найдешь у представителей всех других видов. Вот хотя бы даже то, что каждое поколение людей ведет себя по-разному. Образ жизни людей постепенно меняется. Животные же на протяжении тысячелетий ничего не меняют в своем существовании. Тогда как между взглядами на жизнь моего деда и моими собственными не более сходства, чем между черепахой и казуаром.

— Ну и что?

— Ничего. По-вашему, это можно объяснить эволюционными изменениями челюсти?

— Да, во всяком случае теми изменениями, которые произошли с извилинами мозга.

— Совсем нет.— Дуглас с ожесточением тряхнул головой.— Не в этом дело. Это ничего не объясняет. Извилины головного мозга не изменились с того времени, когда жил мой дед. Черт возьми, как трудно выразить мысль, чтобы она стала понятной!

Огромная черная тень, выросшая над ними, заставила их обернуться. Это был профессор Крепс, человек такого огромного роста, что когда он проходил мимо окна, в салоне на мгновение становилось темно. Он всегда носил выдавшие виды, без намека на складку слишком узкие брюки, что еще больше увеличивало его сходство с толстокожим животным. Даже в гневе глаза Крепса под припухшими тяжелыми веками не теряли сходства с вечно смеющимися глазками слона. У него были тюленьи усы, в которых постоянно застревали крошки. Но самым удивительным был его голос—высокий и тонкий, как у подростка.

— Как, дети мои, вы еще не спите?

Спасаясь от преследований нацистов, он много лет назад бежал из Германии, и, хотя уже давно жил в Лондоне и хорошо говорил по-английски, в его речи попадались чи-

сто немецкие обороты.

— Неужели у вас хватит духу отправить нас спать? — сказала Сибилла. — Такая чудная ночь!... Впрочем, а сами-то вы почему гуляете?

— Вы же знаете, я никогда не сплю.

Это было действительно так. Крепс редко ложился раньше двух или трех часов ночи и к тому же еще читал в постели. Сон одолевал его, он начинал дремать, потом снова просыпался, и так, не выключая света, дожидался первых лучей солнца. Тогда он глубоко засыпал на час, а затем вставал свежий, отдохнувший и бодрый.

Этой ночью по фосфорически блестящей воде под чудесным небом, усеянным звездами, пароход выходил из Аденского залива в Индийский океан. Ночь была такая нежная и сияющая, такая теплая, такая свежая от ветерка, что они втроем просидели на палубе до самой зари.

Крепс читал по-немецки стихи Гофмансталя и тут же переводил их на английский язык, немного тяжеломерно, но довольно поэтично. И когда он процитировал строфу из «Пения под открытым небом»:

Она сказала: «Уходи!
Я не держу тебя,
Коль чувство спит в твоей груди,
Своим путем иди, мой друг ...
... Но если я других милей,
То возвратись ко мне опять...»

Дуглас почувствовал, как сердце его, словно в юности, заливают волна горького счастья.

Глава

пятая 600 миль по девственным лесам. Как иногда бывает полезно сбиться с дороги. Отклонение в сторону на 80 миль приводит экспедицию как раз в то место, куда хочется автору. Приматы забрасывают лагерь камнями. Спор о том, где живут обезьяны. Преимущество полной неискушенности в науке перед шорами, закрывающими глаза ученых. Дуглас откровенно торжествует. Находка Крепса производит сенсацию.

«Жизнь медленно течет, дорогая Френсис, но как сильна надежда» (Аполлинер, как и Верлен, был любимым французским поэтом Дугласа). Вот мы и в Сугарай. Подумать страшно, как далеко мы забрались... Лондон остался по ту сторону

света, которую мы теперь попираем ногами, так что по отношению к Вам я хожу вниз головой. Но прошедшие недели ничто по сравнению с теми, которые нам еще предстоят, когда мы пустимся сквозь девственный лес к месту раскопок — шутка ли, восемьсот миль! Десять месяцев назад наш могучий Крепс проложил дорогу среди тропических лесов, лиан и папоротников (должно быть, он разрывал их, как носорог), но от нее уже давно ничего не осталось. Фактически весь этот район еще совершенно не изучен. Это одно из последних «белых пятен» на карте мира.

Мы немедленно отправимся в путь. Весь наш отряд благополучно высадился на берег, ничего не растеряв из многочисленного багажа. Все остальное было приготовлено здесь заранее и ожидало нас. Признаться Вам откровенно? Я уже успел увлечься ...»

Френсис улыбнулась. Как ей хотелось расцеловать сейчас своего милого мальчика! Она не удержалась и со словами: «Фу, как глупо» — прижала письмо к губам.

А в это время «милый мальчик» сражался в своей палатке с москитами. Хотя сам он задыхался от сильного запаха мелиссы, насекомые, казалось, не обращали на него никакого внимания. Дуглас уже не верил, что когда-нибудь наступит утро.

И так повторялось из ночи в ночь до тех пор, пока экспедиция не достигла наконец опушки леса. Они шли уже семьдесят шесть дней по компасу, а то и просто наугад под непроницаемым шатром зелени, что не позволяло пользоваться астрономическими приборами. И вот, когда по расчету Крепса следовало выйти к цепи невысоких лесистых холмов, они вдруг натолкнулись на огромную скалистую стену высотой 120–150 футов. Секстант, который наконец удалось применить (впервые за эти дни они снова увидели небо), обнаружил отклонение на восток всего на несколько градусов, но после долгих дней пути это составило уже около сотни миль. Гриму и отцу Диллигену не терпелось обнаружить проход, который вывел бы их в район холмов. У них возникла бурная ссора с Крепсом. Крепс настаивал

на том, чтобы экспедиция, раз уж она отклонилась от маршрута, сделала привал около этого любопытного утеса, что позволило бы ему, Крепсу, познакомившись со строением утеса, подтвердить свою теорию о вулканическом происхождении гор. Сибила не принимала участия в споре. Она только улыбалась. Дуглас последовал ее примеру, ибо готов был немедленно согласиться с любым решением.

Крепс одержал верх благодаря своей внушительной наружности и своей настойчивости. Ему дали неделю на поиски. После беглого осмотра он заявил, что впадина, без сомнения, находится в нескольких милях на юго-запад. Отряд снова тронулся в путь. Впадину, или скорее трещину в каменной породе, действительно обнаружили в указанном Крепсом месте. Лагерь расположился у подножья утеса, рядом с источником. И Крепс вместе со своими помощниками, двумя малайцами и шестью папуасами, пробрался в узкое ущелье.

На пятый день к вечеру произошло необычайное происшествие: лагерь забросали камнями; должно быть, это постарались орангутаны. Из-за темноты их не удалось как следует рассмотреть, и никто не мог понять, откуда они взялись. Лес начинался по меньшей мере в полумиле от лагеря. А как известно, большие обезьяны не рискуют отдаляться от леса. Дуглас высказал предположение, что они могли спуститься с утесов. Ему снисходительно объяснили, что человекообразные обезьяны живут на деревьях и предположение его абсурдно.

— А разве не абсурдно, — спросил Дуглас, — что орангутаны вообще напали на лагерь? — Как ему было известно, обезьяны избегают человека и никогда не решаются напасть на него первыми. Ему снова объяснили, что бывают исключения из общего правила. Например, если человеку случается убить самку или детеныша, это может очень надолго озлобить обезьян. Кроме того, иногда обезьяны, например павианы, нападают на одиноких путников и забрасывают их камнями.

Но через два дня наступила очередь Дугласа торжествовать. Крепс вернулся из своей экспедиции. Он был в восторге. Захлебываясь, он рассказывал о резко перемещенных пластах туфа и лёсса миоцена, плиоцена и плейстоцена. Все слушали его, будто речь шла о китайском или цейлонском чае. Только бедный Дуглас не понимал ни сло-

ва. Из всего этого нагромождения терминов он уловил только то, что Крепс между прочим обнаружил что-то вроде цирка, где грунт был выстлан плитками лавы, словно пол в ванной комнате. И уж, конечно, он услышал, как Крепс добавил:

— Там кишат обезьяны.

У Дугласа не хватило деликатности сдержать свои чувства, и он с торжествующей улыбкой взглянул на ученых. Отец Диллиген и старый Грим приняли обиженный вид, явно говоривший, что журналист ведет себя не поджентльменски. Но Сибила реагировала самым удивительным образом. Она обняла Дугласа и расцеловала его в обе щеки.

— Устами младенцев глаголет истина,— сказала она.— Как часто ученым мешают шоры!

Грим и отец Диллиген высказали мысль, что, может быть, в какой-нибудь малозаметной впадине растут низкорослые деревья вроде знаменитых бутылочных. Но Крепс только покачал головой.

— Деревьев там не больше, чем на тыльной стороне моей руки,— сказал он.— Это пещерные обезьяны, они живут в расщелинах скал.

Тут Диллиген, явно стремясь перевести разговор на другую тему, спросил, когда же они отправятся в путь.

— Не так скоро,— ответил Крепс, пряча невинную улыбку в свои тюленьи усы.

— Как? Что такое? Еще что?— закричал Грим, и лицо его из красного сделалось кирпичным.

— О!— продолжал Крепс,— я готов ехать хоть сейчас. То, что я хотел посмотреть, я уже посмотрел. Но я сомневаюсь, что вы со святым отцом захотели бы покинуть эти места.

Он с наслаждением опустил в походное кресло, ножки которого подозрительно закрипели под тяжестью огромного тела. С шаловливым видом он покачивал своей гигантской ножищей и внимательно разглядывал старого Кутберта из-под очков в железной оправе. Это была великолепная немая сцена, как сказали бы кинооператоры.

— Да вы что-то откопали!— нетерпеливо воскликнула Сибила.

Крепс улыбнулся и наклонил голову.

— Не томите же нас!— вскричала она.

— Что это такое?

— Теменная кость,—спокойно ответил Крепс.

Он сделал знак своему помощнику — малайцу, и тот сейчас же скрылся в палатке геолога.

— Где вы ее нашли? — не унималась Сибила.

— В пластах плейстоцена. Если я не ошибаюсь, эта кость похожа на человеческую даже больше, чем кость синантропа.

— Переведите, объясните мне! — наклонившись к Сибиле, вполголоса взмолился Дуглас.

— Сейчас,—ответила она почти сухо.— Почему вы так решили? — обратилась она снова к Крепсу.

— Взгляните сами на эту теменную кость. Вернее, на то, что от нее осталось,—сказал Крепс.

Малаец подошел, неся в руках коробочку. Крепс бережно открыл ее. Коробка была наполнена мельчайшим песком, его, должно быть, просеяли через частое сито. Своими толстыми пальцами Крепс с неожиданной ловкостью, почти с нежностью расчистил песок и вынул оттуда белый, продолговатый и округлый предмет, который положил на протянутую ладонь Сибилы. Грим и отец Диллиген молча приблизились. Оба они побледнели, насколько были на это способны, другими словами, просто стали не такими красными. Они смотрели через плечо Сибилы. То, что произошло потом, не поддается никакому описанию.

Глава шестая

Краткий курс генетики человека, рассчитанный на писателей (а также на читателей). Десять тысяч веков отступают перед черепом человека, умершего тридцать лет назад. Неожиданное появление, казалось бы, давно вымерших человеко-обезьян. Люди они или обезьяны? Дуглас хотел бы добиться ответа, но Сибила и научная объективность отсылают его прочь. На свете появляются «тропи».

«Я никогда не думал, дорогая-дорогая Френсис, что мне так скоро удастся послать Вам весточку. Ведь мы живем в семистах милях от ближайшего населенного пункта, более или менее цивилизованного. Перед нами возвышается неприступная горная цепь Такуры, а позади лежат массивы девственных лесов. Ни о какой почтовой связи не могло быть и речи.

По крайней мере до сегодняшнего дня.

Но все перевернуло одно открытие Крепса, о котором я хочу (если только мне удастся) рассказать Вам.

Дорогая Френсис, мы с Вами чудовищно невежественны. Известно ли Вам, например (в лучшем случае Вы, вероятно, имеете смутное представление), что такое питекантроп, австралопитек, синантроп, неандертальский человек? Мне становится стыдно за то пренебрежение, с каким мы относимся к вопросу о происхождении человека! А сейчас, представьте себе, я так этим увлечен! И к счастью, Сибила терпелива со мной, как ангел. Правда, не всегда. Иной раз она кричит на меня, как на двенадцатилетнего мальчишку; это бывает в тех случаях, когда своими вопросами я отвлекаю ее от размышлений. Итак, Вам необходимо знать: в настоящее время почти точно доказано, что человек и обезьяна происходят от одного и того же корня. Этот корень «кустился» (специальный термин), то есть в зависимости от разных условий окружающей среды давал различные ветви. В настоящее время на конце одной из этих ветвей находятся все человеческие расы, а на конце другой — все семейства обезьян. Таким образом, человек не происходит от обезьяны, но и обезьяна и человек происходят от одного и того же корня.

Среди ветвей, образовавшихся при этом «кущении», было немало таких, которые после более или менее продолжительного расцвета исчезали. В пластах плиоцена и плейстоцена — о, простите! — в древнейших геологических пластах порядка двух миллионов лет находят множество окаменелостей различных видов обезьян, исчезнувших тысячелетия назад. На Яве, в Китае, Трансваале были найдены черепа или остатки черепов животных, исчезнувших с лица Земли и очень близких к чело-

веку. Их называли: питекантропом (что значит человеко-обезьяна), австралопитеком (южная обезьяна), синантропом (пекинский человек). Их черепа (впрочем, отличающиеся друг от друга) развиты более, чем у современных человекообразных обезьян, но менее, чем у самого примитивного человека. Они находятся как бы на полпути.

Среди антропологов одни, как Грим и Сибила, считают, что эти животные были нашими непосредственными предками; другие, как отец Диллиген, может быть из чисто теологических соображений (по крайней мере, таково мнение Сибила), думают, что они являются последними представителями самостоятельной ветви, которая угасла, вероятно, 700-800 тысяч лет назад, возможно истребленная очень похожими на них, но гораздо более высокоразвитыми и жестокими животными, представителями соседней ветви, от которой произошли современные люди.

Я написал глагол «считают» в настоящем времени, а должен был бы употребить его в прошедшем, потому что вот уже несколько дней как они вообще уже ничего не считают.

Френсис, дорогая моя! Я вдруг так остро почувствовал, что Вы далеко от меня. Я даже не могу спросить, как бывало раньше: «Я не надоел Вам? Можно продолжать?» И вот приходится продолжать, не получив Вашего ответа. О, умоляю Вас, дорогая, проявите хоть чуточку терпения. Если б вы знали, как все это теперь меня интересует! Мне больно подумать, что, читая эти строки, Вы можете зевнуть.

Итак, дней десять назад в вулканическом обвале, происшедшем тысячи веков назад, Крепс обнаружил обломок черепа. По его мнению, это был череп животного, занимавшего промежуточное место между

синантропом (одной из ископаемых обезьян, наиболее близкой к человеку) и неандертальцем (ископаемым человеком, наиболее близким к обезьяне). Он уверен, что своей находкой льет воду на мельницу обоих Гримов, так как наличие в древнейшие эпохи этого двойственного существа — еще обезьяны и уже человека — лишний раз подтвердило бы их концепцию о единой линии развития.

Не знаю, дорогая Френсис, какое впечатление произведет это на Вас, но мне в ту минуту, когда я понял, о чем идет речь, стало как-то не по себе, стало тревожно, даже страшно. Сибила нашла мой вопрос глупым. Мне же он кажется очень существенным. Я спросил: «Еще обезьяна и уже человек — что это значит? Кем же считать такое существо: обезьяной или человеком?» — «Старина, — ответила мне Сибила, — греки долго считали важным решить вопрос, сколько камней составляют кучу: два, три, четыре, пять или больше. В вашем вопросе не больше смысла... Любая классификация произвольна. Природа не классифицирует. Классифицируем мы, потому что для нас это удобно. И классифицируем по данным, которые мы берем также произвольно. В конце концов не все ли равно, как назовем мы существо, череп которого Вы держите в руках: обезьяной или человеком? Кем оно было, тем и было... Имя, которое мы ему дадим, ничего не изменит». «Вы так думаете?» — спросил я. Она только пожала плечами. Но этот разговор происходил еще «до»...

До того как мы окончательно убедились в том, что находка Крепса совершит настоящий переворот в современной зоологии. И хотя я сгораю от нетерпения поскорее Вам все объяснить, я все-таки хочу изложить события по порядку.

Итак, Крепс вернулся из своей экспеди-

ции и принес найденную им черепную кость. Надо Вам сказать, что Крепс геолог. И хотя в палеонтологии он разбирается, конечно, несравненно лучше, чем мы с Вами, все-таки это не его специальность. Так как он нашел этот череп в очень древних пластах, к тому же весь покрытый осадочными породами, естественно, он принял его за ископаемое, причем ископаемое такое же древнее, как и сам пласт.

Поэтому он, так же как и я, не сразу понял, почему старый Грим, внимательно рассмотрев череп, пришел в неопишемую ярость. Он буквально налетел на Крепса, осыпая его ругательствами. В ту минуту его гнев действительно казался необъяснимым. Ну в чем, в сущности, он мог упрекнуть Крепса? Самое большее в плохой шутке. Но теперь, поразмыслив, я понял, что заставило так страшно рассвирепеть старика Грима: инстинктом ученого он раньше, чем разумом, понял, какие надежды таит в себе эта находка и какое его ждет страшное разочарование, если все это окажется только шуткой; и охватившее его волнение прорвалось в гнев.

У Сибилы темперамент более спокойный. К тому же, возможно, ей просто понадобилось больше времени, чтобы понять то, что ее престарелый супруг схватил на лету. Вторым понял все отец Диллиген. Сначала он подпрыгнул на месте сразу двумя ногами, как девочка, играющая в веревочку. А потом начал таким же образом прыгать вокруг Сибилы, которая держала в руках череп. Грим кричал, отец Диллиген прыгал, а Сибилы с каждой минутой все больше становилась похожей на мраморную статую. Был такой момент, клянусь Вам, когда я подумал, что они сошли с ума.

Наконец великан Крепс тяжело приподнялся с места. Движением руки, каким

отгоняют муху, он отодвинул в сторону Грима. Подошел к Сибиле, взял у нее череп и начал его скоблить перочинным ножом. Здесь-то я и услышал поток такой отборной немецкой брани, какая и во сне не приснится.

Дело в том, Френсис, что этот череп оказался вовсе не ископаемым. Он действительно принадлежал одному из видов человеко-обезьяны, исчезнувшей уже пятьсот тысяч лет назад, и все-таки он не был окаменелостью; напротив, это был череп существа, умершего всего двадцать или самое большее тридцать лет назад.

Вы, наверно, начинаете понимать. Едва отец Диллиген пришел в себя, он закричал: «Камни!» — и бросился через весь лагерь собирать камни, которыми за два дня до этого нас забросали обезьяны. Удивительно, Френсис, до чего хорошо работает мозг, когда он возбужден. Я сразу же понял, зачем отцу Диллигену понадобились эти камни. Чтобы посмотреть, не обтесаны ли они. Ну, знаете, как наконечники стрел или кремневые топоры, которые находят в доисторических пластах каменного века. И мне показалось совершенно бесспорным, во всяком случае в ту минуту, что если обезьяны, напавшие на нас, умеют обтесывать камень, это уже не обезьяны, а люди.

Камни были обтесаны, Френсис. Не просто обтесаны, но обтесаны старательно и удивительно искусно. Это было то, что называют орудиями доисторического человека, другими словами, совсем примитивное приспособление, которым он пользовался, оглушая свою добычу.

Заметьте, это открытие в какой-то мере только подтверждало то, что уже предполагалось ранее. В самом деле, рядом с остатками синантропа (ископаемая обезьяна, жившая миллион лет назад, ко-

торуую откопали в окрестностях Пекина) обнаружили обтесанные камни и следы огня. Вокруг этих находок разгорелся страстный спор. Вот вам доказательство, говорили одни, что обезьяны на данной ступени развития умели высекать огонь и обтачивать камни.

Напротив, возражали другие, вопреки господствующему мнению, это доказывает лишь то, что человек жил уже в ту далекую эпоху, что он своим каменным оружием уничтожил синантропа и поджарил его на огне, который умел добывать.

С этой минуты в наших руках имеется доказательство, что правы были первые, ибо более чем ясно, что существа, которые забросали нас обточенными камнями, по своему строению не люди, а обезьяны. Потом я расскажу Вам обо всем подробнее. Грим, Диллиген и Сибила уже приступили к научным наблюдениям. Вы легко можете себе представить степень их волнения. И я его вполне разделяю! Найти антропитека, *missing link*, недостающее звено в цепи — и найти его живым! Мы уже вырыли из земли сотни точно таких же черепов, какой нашел Крепс. Откопали даже целые скелеты, — видимо, эти странные обезьяны хоронят своих покойников. Обнаружили целый некрополь, конечно, примитивный и грубо сделанный, но в том, что это именно кладбище, нет никаких сомнений. И все-таки они обезьяны. Я, конечно, плохо разбираюсь в таких делах, но достаточно на них взглянуть, и все становится ясным. У них слишком длинные руки, и, хотя обычно они держатся прямо, бывает, что при быстром беге они опираются на согнутые пальцы, точно так, как это делают шимпанзе. Несмотря на то что тело их покрыто шерстью, признаюсь, они производят несколько странное впечатление, особенно самки. Они меньше и изящнее самцов,

у них хорошо развиты бедра, грудь совсем как у женщины и не такие длинные руки. Они покрыты короткой бархатистой шерсткой, немного напоминающей мех крота. Все это придает им очень грациозный, трогательно-изящный, почти чувственный вид. Но лица их ужасны! Хотя они лишены, как и наши, растительности, однако почти такие же плоские, как у обезьян. И на этом лице — низкий и покатый лоб с огромными надбровными дугами, жалкое подобие носа, выдающийся вперед рот, только без губ, как у гориллы, с крупными зубами и клыками, не менее острыми, чем у собак. У самцов имеется что-то вроде окладистой бородки, что придает им сходство со старыми матросами былых времен. У самок шелковистые, падающие на глаза гривки. Они очень корны, и их легко приручить. Самцы далеко не так уравновешены; чаще всего они спокойны и настроены миролюбиво, но у них бывают приступы неожиданного гнева, и тогда они становятся опасными. Поэтому с ними надо быть наизусть.

Вы видите, я говорю о них, как об обезьянах: называю их самцами и самками. Но иногда так и приходится называть их людьми — ведь они обтачивают камни, добывают огонь, хоронят своих мертвецов; у них даже существует какое-то подобие речи, при помощи которой они объясняются друг с другом (небольшое количество артикулируемых звуков, которых отец Диллиген насчитал около сотни).

Вот что мы успели установить. Сейчас мы еще не решили, как их называть. Откровенно говоря, боюсь, что по-настоящему это волнует только меня. Я говорил уже Вам, что мне ответила Сибила: «Какое это имеет значение?» На первый взгляд кажется, что она действительно права. Грим, Крепс и Сибила называют их между собой

попросту *тропи* (выкroив это прозвище из слов *anthrōpos* и *pithēkos*). Но это, конечно, только временное решение вопроса. Еще любопытнее то, что Диллиген старается вообще не произносить этого, в сущности, очень милого имени. Он говорит о них обиняком, явно не осмеливаясь их назвать ни «людьми», ни «обезьянами», ни «тропи». По-моему, он даже больше меня страдает от подобной неопределенности. Да, наверно, больше. В конце концов я ведь, так же, как и другие, принял это название «тропи». Оно проще. Но для меня совершенно очевидно, что это только «пока». Потому что рано или поздно придется решить вопрос, кто же они — люди или обезьяны...»

Глава седьмая

Печаль и смятение отца Диллигена. Есть ли у тропи душа? Нравы и язык человеко-обезьян. Живут ли они в первородном грехе или пребывают еще в невинности зверя? Крестить — не крестить... Как всегда, исследование, наблюдение и опыт только увеличивают сомнения.

«Мой милый Дуг, как я счастлива, что тоже могу написать Вам! Вы так и не объяснили — еще бы, Вам слишком много хотелось рассказать мне, — каким чудом Ваши письма дошли до меня из глубины пустыни и как мои смогут перелететь к Вам через горы и девственные леса. Но Вы так мило торопите меня с ответом, очевидно, в расчете, что мое послание не залежится на почте в Сугарай.

Ну и приключение, Дуг! И какое открытие! Вы вдохнули в меня огонь Вашей страсти. Я сразу же скупила все, что было напечатано в Англии о человекоподобных обезьянах и доисторическом человеке. И погрузилась в чтение. Правда, мне трудновато освоиться с мудреной терминологией, но постепенно я привыкаю.

Может быть, оттого, что я Вас люблю, Дуг, я испытываю совершенно то же, что и Вы. Я просто заболела из-за Ваших тропи. И даже не знаю почему. Возможно, во мне еще сильны пережитки той веры, в которой я была воспитана, но иногда мне кажется, что нужно совершенно точно знать: *есть душа у тропи или нет?* Ведь самый неверующий среди нас не может отрицать того, что как-никак, а именно в человека, только в него одного, вложена искра божия. И не отсюда ли наша извечная тревога? Если человек в своем развитии идет от животного, то когда, в какой момент в нем зажглась эта искра? До того, как он стал тропи, или после? Или именно на этой стадии?

В конце концов весь вопрос, Дуг, сводится к тому: имеют ли Ваши тропи душу? Каково мнение об этом отца Диллигенса?»

А бедный отец Диллиген потому и терзался, что не мог составить себе на сей счет определенного мнения. Сначала вместе с другими он работал радостно и возбужденно. Но потом все заметили, что он помрачнел, стал раздражительным, рассеянным и молчаливым. Когда он слышал, как Сибила и Дуглас спорят о природе тропи — *есть ли они или нет*, — его лошадиное багровое лицо бледнело, а толстые губы начинали дрожать, он все что-то шептал про себя; в такие моменты у него даже гасла трубка. Однажды, когда Сибила с раздражением бросила Дугласу: «Оставьте меня в покое!», — отец Диллиген взял его за руку и прошептал:

— Вы чертовски правы. В такие минуты наука вызывает у меня отвращение.

Он схватил руку Дугласа, буквально вцепился в нее.

— Знаете, что я думаю? — сказал он вдруг дрогнувшим голосом. — Мы все будем гореть в аду. — И он резко повернулся к Дугласу, точно желая проверить, какое впечатление произвели его слова. Дуглас не скрыл удивления.

— Кто все? Все ученые?

— Нет, нет! — живо возразил Диллиген, потряхнув своей серебряной гривой. — Я говорю о людях верующих и благочестивых. — Он отпустил руку своего собеседника и снова

заговорил, понурив голову:— Мы будем гореть в аду за то, что нам не хватает воображения. Мы и представить себе не можем, к каким ужасным последствиям приводят подобные открытия.

Он поднял глаза и с невыразимой тоской посмотрел на Дугласа.

— Иисус пришел на землю двадцать веков тому назад, а человек существует уже пять тысяч веков. И все эти тысячелетия люди прожили в неведении и грехе. Понимаете ли вы, что это значит?! Но в нашей душе так мало милосердия, что мы над этим никогда не задумываемся. А нам бы следовало думать о людях, трепеща от любви и страха. Мы же считаем, что выполнили долг свой, если нам удалось спасти несколько грешных душ.

— Вы полагаете, что бог проклял тех, кто жил до рождения Христова? Я думал, что, согласно учению церкви, поскольку они грешили в неведении...

— Знаю... прекрасно знаю... Возможно, они и находятся в чистилище... Мы стараемся утешить себя этим... Но неужели вы думаете, что вечно блуждать в страшной пустыне чистилища менее ужасно, чем гореть в адском пламени? Наши представления о справедливости встают при мысли... Но у бога своя справедливость. Нам неизвестны его предначертания.— И он шепотом добавил:— Неужели вы думаете, что это все меня не волнует? Смогу ли я чувствовать себя счастливым, воссев после отпущения грехов о десную господя, если буду знать, что миллионы несчастных душ осуждены гореть в геенне огненной? Я был бы в таком случае не лучше нациста, который преспокойно празднует рождество в кругу своей семьи, радуясь, что существуют концлагери.

Он протянул руку в сторону загона, где помещались тропи.

— Как мы должны поступить с ними?— спросил он, и голос его прозвучал как крик, хотя он говорил почти шепотом.— Нужно ли оставить тропи в их первобытном неведении? Но как знать, действительно ли они пребывают в неведении? Если они люди, то они грешны. И они ведь даже не приобщились таинства крещения. Можем ли мы допустить, зная, какой удел ждет их в жизни будущей, чтобы они жили и умерли некрещеными?

— Что это вам пришло в голову?— вскричал пораженный Дуглас.— Уж не собираетесь ли вы окрестить их?

— Не знаю,— пробормотал отец Диллиген.— Я действительно не знаю, что делать, и это раздражает мне сердце.

Когда улеглось первое волнение, сразу же стали думать, как использовать сказочную удачу, каким образом извлечь из нее максимум выгоды для науки.

Для начала, чтобы быть поближе к тропи, лагерь переместился в вышеупомянутый амфитеатр, «который был облицован плитками лавы, как ванная комната». Амфитеатр действительно был облицован чьими-то искусными руками. Каждая плитка в точности соответствовала размерам естественных выбоин (лава здесь напоминала ноздреватый швейцарский сыр). Большинство этих выбоин было заполнено костями животных.

Отец Диллиген и супруги Грим без труда рассортировали эту груду костей. Собранные скелеты по своему строению ничем не отличались от скелетов четвероруких животных, но были гораздо ближе к человеку, нежели любая из найденных до сих пор обезьян и даже синантроп.

И все же этих животных нельзя еще было отождествлять с неандертальцем, которого, несмотря на диспропорцию верхних и нижних конечностей, выдающуюся вперед маленькую голову и согнутый позвоночник, считают уже не обезьяной, а человеком, поскольку при раскопках вместе с ним были обнаружены различные предметы, сделанные его собственными руками.

Больше недели не удавалось увидеть живых тропи. Вторжение экспедиции, конечно, испугало их. Отсутствием тропи воспользовались, чтобы обследовать их пустые пещеры. Повсюду были следы огня, подстилки из листьев и несметное количество обтесанных камней. Однако стены были совершенно чистыми: ни рисунков, ни знаков.

В противоположность человекообразным обезьянам, которые питаются корнями растений, фруктами и лишь иногда насекомыми, многочисленные остатки пищи, найденные в пещерах, показали, что тропи — животные плотоядные. Между прочим, установили также, что мясо на кострах они не жарят, а коптят самым примитивным способом. Под выступами скалы было найдено несколько припрятанных кусков копченого мяса тапира и дикобраза, которые тропи, спасаясь бегством, не успели захватить.

— Существа, способные действовать подобным образом, конечно, люди! — воскликнул Дуглас.

— Не увлекайтесь,—отрезала Сибила.— Вы не видели, вероятно, как бобры строят плотины, меняют течение рек, превращают зловонные болота в города, более пригодные для жизни, чем Брюгге и Венеция. А знаете ли вы, что муравьи заготавливают себе впрок грибы, разводят скот, что у них есть свои кладбища? Когда речь идет о существах, находящихся ниже определенного уровня развития, трудно сказать, действует ли тут инстинкт или разум. Истинно научную, зоологическую классификацию нельзя основывать на таких вещах. Если бы лошадь научили играть на рояле, она от этого не стала бы человеком. Она так и осталась бы лошастью.

— Однако вы бы не отправили ее на живодерню,— заметил Дуглас.

— Как вы умеете все запутать!—ответила ему Сибила.— Не об этом же идет речь!

— Может быть, это и не имеет отношения к вашим ископаемым обезьянам, которые жили миллион лет назад,— хотя у отца Диллигена есть свое особое мнение на сей счет. Но тропи-то живые существа!

— Ну и что?

— А ну вас,—сердито огрызнулся Дуглас.— Сами-то вы кто? Человеческое существо или логарифмическая линейка?

Но сочувственная улыбка Диллигена вернула Дугласу спокойствие.

Тем временем Грим пустил в ход маленький радиопередатчик, взятый экспедицией на случай, если бы вдруг пришлось просить помощи. Сообщение, которое он послал в Сугарай, было тотчас же передано в Сидней и на Борнео. Как стало известно позднее, Антропологический музей Борнео только пожал плечами (если, конечно, можно так выразиться). Но Сидней заволновался. Богатый антрополог-дилетант отправил к ним один вертолет, а следом за ним и другой. Спустя две недели в лагере раскинулось семь новых палаток, появился врач-терапевт, патологоанатом, два кинооператора, биохимик со своей походной лабораторией, два механика с тоннами проволоки и стальных стоек и, наконец, фантастическое количество банок с консервированной ветчиной, ибо уже стало известно, что тропи страшные лакомки. Действительно, через несколько дней тропи начали возвращаться в свои пещеры,

сначала очень несмело, а затем, обнаружив там разложенные Гримом куски ветчины, поспешно и радостно. Повсюду зажглись костры — тропи коптили ветчину, что было очень забавно, потому что они съедали ее тотчас же. И скалы снова огласились звуками, которые Крепс называл лопотаньем, а отец Диллиген — речью.

— Речь! — иронизировал Крепс. — Не потому ли, что они произносят «ой», когда им больно, и «о-ля-ля!», когда чему-нибудь радуются?

— Они не говорят ни «ой», ни «о-ля-ля», — торжественно отвечал отец Диллиген. — Можно явно разобрать отдельные звуки, уверяю вас. Мы их не различаем только потому, что они не похожи на наши. Но если их дифференцировать хоть раз, дело пойдет легче. Я уже начинаю понимать язык тропи.

Крепс утратил свой сарказм, когда спустя несколько дней отец Диллиген проделал опыт, закончившийся вполне успешно.

Диллиген негромко крикнул два раза — и скалы тотчас же погрузились в странное молчание. Он опять крикнул — и сотни тропи одновременно выглянули из своих жилищ. Снова и снова прозвучал его крик — и тропи насторожились, словно в ожидании чего-то, а потом с лопотаньем скрылись в пещарах.

— Что вы им сказали?! — воскликнул Крепс.

— Ничего особенного, — ответил Диллиген. — Сначала я крикнул так, как обычно они кричат, предупреждая об опасности, потом попытался повторить их крики удивления и наконец решил окончательно поразить их воображение: известил их криком о приближении стаи перелетных птиц. Во всяком случае, я был в этом убежден, и я надеялся, что они хотя бы поднимут головы. Но или я плохо их понял, или неправильно воспроизвел звук.

— Как бы то ни было, — отозвался Дуглас, — профессор Крепс прав: эти крики нельзя назвать речью.

— А собственно говоря, что вы называете речью? — спросил, повысив голос, отец Диллиген. — Если вы имеете в виду грамматику, то многие первобытные племена, с вашей точки зрения, вообще не умеют говорить. Ведды располагают всего лишь одной-двумя сотнями слов, которые они выкладывают при разговоре одно за другим. Когда различные сочетания членораздельных зву-

ков обозначают предметы или выражают ощущения и чувства, по-моему, их уже можно считать речью.

— Но тогда, по-вашему, птицы тоже говорят?

— Да, если угодно, но их песни слишком бедны модуляциями, чтобы считать речью.

— А разве крики тропи достаточно разнообразны? В общем мы попали в обстоятельства, подобные истории с грудой камней,— вздохнул Дуглас.— Сколько требуется слов или членораздельных звуков, чтобы речь можно было назвать речью?

— В этом-то вся загвоздка!— ответил отец Диллиген.

Таким образом, каждый раз, когда бедный Дуглас считал, что наконец-то путеводная нить в его руках, она ускользала или же не приводила ни к чему определенному. Его поддерживало лишь то (весьма сомнительное) утешение, что отец Диллиген был еще несчастнее.

— Полноте, святой отец,— говорил ему Дуглас,— вы же страдаете понапрасну. Если даже тропи и люди, как вы сможете совершить над ними обряд крещения без их согласия?

— Если бы надо было ждать согласия людей для того, чтобы их окрестить,— вздохнул Диллиген,— как бы тогда крестили новорожденных?

— И в самом деле, почему же их тогда крестят?

— В своем ответе Пелагию святой Августин дал этому точное объяснение: душа каждого родившегося ребенка отягощена первородным грехом. Католическая вера учит нас, что все люди уже рождаются грешными и даже дети будут осуждены на вечные муки, если они умрут, не приняв крещение. Будучи бенедиктинцем, я не могу подвергнуть сомнению слова того, кто, в сущности, заложил основы нашего учения. Итак, если тропи — люди (пусть даже они грешат в неведении), они греховны, и только крещение может смыть с них первородный грех, а тем временем они прозреют, поймут, что творят, и уже сами станут отвечать за спасение своих душ. Ведь тех, кто умрет без крещения, ждет если не адское пламя, то в лучшем случае вечное безмолвие чистилища. Могу ли я примириться с мыслью, что по моей вине они будут обречены на такие страшные муки?

— Тогда окрестите их!— сказал Дуглас.— Чем вы рискуете?

— Ну, а вдруг они животные, не могу же я дать им святое причастие. Это было бы просто святотатством! Вспомните,— добавил он, улыбаясь,— ошибку святого старца Маэля, который по своей близорукости принял пингвинов за мирных дикарей и, не теряя времени, окрестил их. По свидетельству летописца, эта акция привела в страшное замешательство все царствие небесное. Как принять в лоно божие души пингвинов? Наконец совет архангелов решил, что единственный выход—превратить их в людей. Так и сделали. После чего пингвины перестали уже грешить в неведении, и им самым законным образом были уготованы адские муки.

— Ну, тогда не крестите их!

— А вдруг они люди, Дуглас!

Сибилла хохотала до слез над терзаниями отца Диллигена. Она заставляла его объяснять себе энциклику «*Humani generis*»*, в которой церковь устанавливает точную зоологическую границу между человеком и животными.

— Но вот в том-то и дело, что эти злосчастные тропи находятся на самой границе, как Чарли на рубеже Мексики и Техаса в конце фильма «Пилигрим»; одна нога там, другая здесь,— стонал отец Диллиген.

— Подождите, отец,— успокаивала его Сибилла,— потерпите немного. Над нами не каплет. Наши славные тропи могут подождать с крещением еще несколько месяцев.

— Но как быть с теми, которые успеют умереть за это время?

А умирало их действительно очень много, причем независимо от возраста, что в какой-то степени компенсировало их редкостную плодовитость. Не проходило и дня, чтобы тропи не выносили покойника из своих пещер. Но до сих пор никому из экспедиции не удалось увидеть обряда похорон. В некрополе они больше не хоронили,— возможно, оттого, что там расположился лагерь, а возможно, они покинули его еще раньше. Видно было только, как тропи с ловкостью макак взбираются на скалы и исчезают затем в долинах, унося свой погребальный груз.

«Потом нам без особого труда удавалось находить похороненные ими тела,— писал Дуглас Френсис.— И кажется, тропи

* «О человеческом роде» (лат.).

даже не заметили нашей коварной проделки: четыре ночи подряд мы выкрадывали из одной и той же выбоины в лаве трупы, которые они там оставляли. И только на пятую ночь, когда мы вставили плиту на место, они перешли к соседнему отверстию.

Я присутствовал на вскрытии, которое производили Тео и Вилли (терапевт и патологоанатом). Во всех случаях результат был один и тот же: некоторые органы почти не отличаются от человеческих, другие типичны для человекообразных обезьян. По данным вскрытия решить что-либо невозможно. Особенно смущает вид мозга. Почти такие же извилины, как и у человека. Однако борозды менее отчетливые и глубокие. По мнению Вилли, умственное развитие тропи вполне возможно. Есть все основания полагать, что в этом отношении можно добиться немалых успехов.

С тех пор как я послал Вам свое последнее письмо, нам удалось поймать несколько самцов, самок и детенышей тропи, всего около тридцати. Хотя, пожалуй, здесь не подходит слово «поймать». Мы завлекли их и обольстили. Завлекли ветчиной и обольстили с помощью радио. Ясно, что это самые смелые экземпляры и в то же время самые отъявленные попрошайки. В конце концов они начали ходить за нами по пятам и прижились в лагере. Мы поместили их в специальном «загоне», рядом с нашими палатками, но так, чтобы их не могли видеть сородичи. Они вполне счастливы и не собираются никуда уходить. Ежедневно несколько новых попрошайек-тропи приходят в лагерь и присоединяются к живущим у нас. Несмотря на решетку вокруг загона, я уверен, они не понимают, что находятся в плену.

Мы прибегаем к различным тестам, чтобы выявить их умственные способно-

сти. Вы читали в «Человекообразных обезьянах», как это делается, и знаете, что полученные результаты иногда просто ставят в тупик; например, если шимпанзе умственно развит более, чем орангутан, и гораздо быстрее решает задачи на хитрость (как схватить далеко лежащие фрукты, открыть замок и т. д.), то орангутан, превращая железный брус в нечто вроде рычага и пользуясь им для того, чтобы раздвинуть прутья своей клетки, обнаруживает способность соображать, совершенно неожиданную для животного.

Наши тропи недалеко ушли от этих обезьян. У тропи более подвижные руки, напоминающие руки пигмеев, — с длинными, хорошо развитыми пальцами. Указательным пальцем они часто показывают на отдаленные предметы (человеческий жест). Однако их возможности весьма ограничены. Они выскают огонь, ударяя двумя обточенными кремнями над лишайником. В их присутствии мы поджигали спичками бумагу. Сначала они просто испугались, потом любопытство взяло верх. Они долго следили за нами, старались воспроизвести наши движения, но им понадобилось очень много времени, чтобы установить здесь причинную связь. Наконец самый сообразительный из них понял роль спичек. Но он никак не мог усвоить, каким концом надо чиркать. И только случайно чиркал тем концом, каким полагается.

Но зато отцу Диллигену удалось обучить их пяти-шести английским словам — обычным словам трехлетнего ребенка, Первое слово, которое они смогли сказать, было «ham» (ветчина), затем «zik» (музыка), что означало требование включить радио (радио они обожают). Но это, по-видимому, тоже еще ничего не доказывает. Уже много лет назад, сказал мне Диллиген, не-

кий Фэрнес добился таких же результатов от орангутана. Только время покажет, сумеют ли наши тропи превратить эти слова в связную речь.

Одного из тропи Диллиген научил даже узнавать букву «h», показывая ему банки с ветчиной. Теперь тропи умеет отыскать ее среди прочих, говорит «ham», когда ее видит, и даже может написать карандашом. Но все это он выполняет только за вознаграждение, когда же он сыт, то не знает, что делать с карандашом. Он не проявил ни малейшего интереса к тем картинкам, которые рисовал ему отец Диллиген, впрочем так же, как и ко всем другим рисункам и фотографиям, которые ему показывали. Было ясно, что он их просто «не видит».

В этом отношении тропи, следовательно, ближе к обезьяне, чем к человеку. Но в то же время многие факты могли бы доказать обратное. Их лица гораздо более выразительны, чем у орангутанов, на которых они очень похожи. Они умеют смеяться, и, если считать, что смех свойствен только человеку, они такие же люди, как и мы с Вами. Не берусь утверждать, что им не знакомо чувство юмора! Другое дело, что они смеются над теми же пустяками, что и двухлетние дети.

Но интереснее всего смотреть, как они обтесывают камни. Если бы не их покрытое рыжеватой короткой шерстью тело, сгорбленное, как у гориλλы, если бы не слишком короткие ноги и не слишком длинные руки — фактически четыре руки, если бы, наконец, не срезанная линия лба и не клыки, то, глядя как они работают, Вы вполне могли бы принять их за каких-нибудь ремесленников или первобытных ваятелей. Они ударяют по камню с необычайной точностью, отбивая от него сначала крупные, а потом все более и более мелкие

куски. Удары становятся все легче и осторожнее. Они обтесывают камень до тех пор, пока он не примет формы яйца с острыми концами.

Конечно, странно, что они целыми днями изготавливают эти камни, — ведь у них нет никакой возможности их применить. Я говорю о тех тропи, которые находятся в «загоне». Совсем маленькие детеныши уже берутся за работу; сначала у них получается не очень ловко, они попадают себе по пальцам, а все вокруг смеются.

Однажды Диллигену пришла в голову мысль показать им, как обтесывать камень при помощи настоящего молотка и долота. Тропи так и не научились пользоваться долотом, но из-за молотка началась настоящая ссора, так как они поняли, что молотком камни обтесывать гораздо быстрее. Другими словами, усовершенствовать методы работы они способны, но не в состоянии понять, что сама-то работа беспцельна. Вроде крольчих перед окотом: устройте им гнездо — они все равно с прежним рвением будут выщипывать у себя шерсть, хотя уголок для будущих детенышей уже готов.

Как видите, Френсис, мы совсем не продвигаемся вперед. Или, вернее, я сам не продвигаюсь вперед, так как ведь, кроме меня (если не считать отца Диллигена), по-прежнему никого не волнует вопрос, принадлежат ли тропи к роду человеческому.

На днях я по-настоящему поссорился с Сибиллой.

— Мало того, что этот вопрос не имеет никакого смысла, — сказала она, — он еще затормозил бы нашу работу. Наша обязанность — вести объективные наблюдения. Если же мы начнем доказывать что-то, вся наша работа полетит к черту. Вы рассуждаете как журналист, которому важнее всего броский заголовок: «Можно ли счи-

тать тропи человеком?». Но науке чужды подобные приемы. Поэтому, прошу вас, отстаньте от меня раз и навсегда с этим вопросом.

Я ответил:

— Хорошо. Но представьте, что завтра у меня появится желание поохотиться на тропи. Вы разрешите мне это или нет?

— Вы просто глупы, Дуг. Вы так же не вправе убивать их, как шимпанзе или уток-носос. Закон охраняет вымирающие виды.

— На вашем месте я не очень бы гордился подобным ответом. Хорошо, я поставлю вопрос по-другому: если бы нам пришлось голодать, а вокруг не было бы никакой дичи, кроме тропи, могли бы вы со спокойной совестью есть их мясо?

— Нротивный человек! — сказала Сибилла, поднялась и тотчас же вышла из палатки.

Но она мне так и не ответила...»

Глава восьмая

Дозволено ли христианам готовить себе обед из мяса тропи? Носильщики-папуасы решают этот вопрос. Отчаяние отца Диллигена растет. Лагерь в унынии. Визиты тропи. Их дружба с Дугласом и его спутниками. Первое отступление от научной объективности. Акционерная компания фермеров Такуры. Австралийская шерсть и английская конкуренция. Бесплатная рабочая сила и проекты технического переоборудования текстильной промышленности. Будут ли продавать тропи как рабочий скот? Второе отступление от научной объективности. Колумбово яйцо. Шекотивное предложение. Отец Диллиген в негодовании.

Как ни странно, именно так встал вопрос в один прекрасный день. Или, вернее, в одну прекрасную ночь, в ту самую ночь, когда в лагере носильщиков-папуасов необычно ярко запылали костры. «Что это они там затеяли?» — с удивлением спросил Крепс. Дуглас увидел, что отец Диллиген поднялся и, не говоря ни слова, исчез в темноте; он направился к лагерю, где при свете горящих костров можно было различить десятки темных силуэтов, как бы кружившихся в пляске.

— Святой отец беспокоится о своей пастве,— иронически улыбнувшись, заметила Сибила.— Они еще не слишком тверды в своей вере.

В лагере часто подшучивали над отцом Диллигеном, пытавшимся обратить папуасов в христианство. И в самом деле, несмотря на все его увещания, новообращенные продолжали покрывать свои тела татуировкой. С той только разницей, что теперь среди прочих замысловатых рисунков можно было увидеть крест и терновый венец. Подобное кощунство приводило святого отца в такую ярость, его громовой голос звучал так грозно, что несчастные заблудшие в смертельном ужасе застывали на месте.

Дуглас и его друзья замолчали и стали прислушиваться, ожидая очередной бури. Но все было тихо.

Бенедиктинец возвратился бледный и растерянный. Молча, ни на кого не глядя, опустил он на свое место.

— Ну, как,— спросил Крепс,— что они там делают? Кому это они поклоняются: Вишну, Луне или еще кому?

Но отец Диллиген лишь оглядел всех блуждающим взглядом и, покачав седой головой, сделал не совсем понятное движение рукой, как будто медленно поворачивал вертел.

— Они их поджаривают,— произнес он наконец.

— Кого? Вишну и Луну?

— Нет, тропи.

Произожди подобное «тропоедство» месяца на два раньше, ни один из членов экспедиции, кроме Дугласа и бенедиктинца, конечно, не придавал бы этому большого значения. Отругали бы папуасов, пригрозили бы, что накажут, а между собой, наверно, даже посмеялись бы, как смеются родители над детскими шалостями.

Но за последнее время отношение к тропи у всех обитателей лагеря, даже у Крепса и Сибилы, значительно изменилось. Постепенно равнодушие и чисто научный интерес вытеснила самая искренняя симпатия. Симпатия, а порой даже неподдельное уважение и сострадание. Конечно, чувства эти они испытывали не к тем ласковым, ставшим совсем домашними тропи, которые жили в загоне (к ним они привязались так, как привязываются к прирученным животным, таким милым и верным), а к тем, которые продолжали жить на воле среди скал. Ибо вскоре стало совершенно ясно, что их отчужденность объясняется не столько

трусостью или недоверием, сколько независимым нравом.

Если первые небольшими группками с визгом и шумом сразу же стали толпиться у лагеря, выпрашивая куски ветчины — той самой ветчины, из-за любви к которой они в конце концов отказались от свободы, вторые, наоборот, в течение нескольких недель не устаивали лагерь своим посещением.

Но вот в одно прекрасное утро к лагерю приблизился старый тропи. Неторопливо, без малейшего страха подошел он к лагерю и, будто для него в этом не было ничего необычного, начал медленно прохаживаться среди палаток с невозмутимым, чуть скучающим видом завсегдатая выставок. Его решили не трогать, сделали вид, что на него вообще не обращают внимания. И он с непринужденностью парижского зеваки останавливался то здесь, то там, разглядывая вещи и людей. Его определенно заинтересовало белье, сохнувшее на ветру, казалось, удивило присутствие стоящего в специальном укрытии вертолета, привел в восхищение работающий двигатель генератора и совершенно покорила вид бредущихся механиков.

Наконец, отец Диллиген осторожно приблизился к тропи и, остановившись шагах в десяти, издал короткий гортанный звук. Старый тропи даже не вздрогнул, он внимательно посмотрел на святого отца, но не подал голоса. Отец Диллиген, не сходя с места и продолжая улыбаться, снова повторил тот же мягкий звук, но так и не добился ответа. Зато тропи, переложив в левую руку отточенный камень, который он, по-видимому, прятал в правой, медленно погладил себя по волосатой груди, как бы желая этим жестом выразить свое миролюбие и кротость.

Ничего интересного больше в этот день не произошло. Правда, когда тропи уходил, Дуглас попытался предложить ему большой кусок ветчины, но в ответ получил высокомерный, подчеркнуто пренебрежительный отказ. Дуглас не стал настаивать, и старый тропи с величавым спокойствием удалился.

На следующее утро явилось уже десять или двенадцать тропи. Был ли среди них вчерашний знакомец? Этого никто не мог бы сказать. Тропи слишком походили друг на друга, или, вернее, жители лагеря еще не научились различать их. Но в одном можно было не сомневаться: пришли одни старики.

Они так же невозмутимо и неторопливо осмотрели ла-

гер, напоминая отставных чиновников, впервые рискнувших выехать за пределы родной провинции. Замешкавшийся догонял своих товарищей, опираясь при беге на слишком длинные руки, как это обычно делают обезьяны. Было заметно, что они проявляют далеко не одинаковый интерес к одним и тем же предметам. Так, мыльная пена на лицах бредущих на сей раз не привлекла их внимания. И даже генератор, мимо которого никто из них не мог пройти равнодушно, воспринимался также по-разному: здесь, видимо, сказывались вкусы каждого. А один из тропи относился с подчеркнутым равнодушием ко всему тому, что привлекало внимание его друзей. Он оглядывался на своих спутников с видом терпеливого отца, который устал ждать, пока его сынишка палнобуется витриной игрушечной лавки.

Тем временем старейшины лагеря, Грим и отец Диллиген, уже ждали гостей, усевшись по-гурецки прямо на землю, между двумя палатками. Они разложили вокруг себя с десяток консервных банок. Тропи остановились в изумлении. Святой отец повторил тот же короткий гортанный звук, что и накануне. Тропи сразу зашумели, залопотали, но не тронулись с места. Тогда Грим и отец Диллиген поднялись, отец Диллиген, обращаясь к тропи, снова издал несколько мягких звуков, и они с Гримом скрылись в ближайшей палатке. Увидев, что посторонних нет, тропи снова залопотали, а затем, благосклонно приняв дары, толпой направились к своим скалам; правда, двигались они куда живее, чем их флегматичный предшественник.

С тех пор тропи все чаще и чаще стали появляться в лагере. Однако во время своих посещений они никогда не запрашивали подачек. Напротив, посещения эти можно было бы назвать «визитами дружбы». Да, именно дружелюбие и любознательность приводили все новые и новые группы тропи в лагерь. Особой любознательностью отличались молодые: они обследовали лагерное оборудование с жадным любопытством мальчишек, впервые попавших на паровозостроительный завод. Мало-помалу они начали не без удовольствия помогать жителям лагеря выполнять ту часть работы, которая требовала простого подражания. Примечательно, что самок они никогда с собой не приводили.

Однако никто из них не задерживался в лагере надолго. Никто ни разу там не заночевал. Однажды решили прове-

сти довольно коварный эксперимент: открыли двери загона. Но большая часть пленников даже не переступила порога. Те же, которые вышли, вернулись на ночь обратно.

— Мы подобрали самых бездельников,— заметил Крепс.

И вот как-то утром Крепс, Дуглас и доктор Вильямс (друзья звали его просто Вилли) решили в свою очередь отправиться в скалы. Им отплатили столь же учтивым приемом, какой был оказан самцам тропи во время их первого посещения лагеря,— хозяева, сделав вид, что не обращают на гостей ни малейшего внимания, позволили им спокойно осмотреть все самое интересное. И через несколько недель между лагерем и скалами наладилось постоянное движение.

Крепс и его друзья почувствовали к тропи еще больше симпатии и уважения, когда увидели, что те живут мирной, на редкость демократичной общиной. Никаких вожаков, ничего даже отдаленно напоминающего «совет старейшин». Просто молодые подражали старикам — учились так же искусно охотиться, так же осторожно и храбро защищаться от общего врага.

Со временем каждый обитатель лагеря обзавелся друзьями, но отношения между ними ничем не напоминали покорной привязанности собаки к своему хозяину; это была дружба равного с равным. Молчаливая дружба ради простого удовольствия побывать вместе: так у Дугласа появилось трое друзей, которые почти не покидали его. Одному из них особенно нравилось открывать консервные банки (причем сам он, пока его не угощали, никогда не притрагивался к содержимому), а двое других предпочитали мыть бутылки, которые они умудрялись доводить до хрустального блеска.

Дуглас попытался дать каждому из них кличку (сами они себя никак не называли), приучить их откликаться на зов, но безуспешно. Он хотел также научить их произносить свое имя, но и эта попытка не увенчалась успехом. Казалось, вообще сама мысль о каком-то разграничении, об индивидуальности была им абсолютно чужда.

Однако — и это сначала показалось странным — прирученные тропи в конце концов стали отзываться на данные им имена, на что отец Диллиген совершенно справедливо заметил, что имена эти связывались у них с представлением о еде и что дело здесь, видимо, как и у собак, в условном рефлексе. Он обратил также внимание и на другое об-

стоятельство: когда кто-либо из тропи хотел указать на себя, то начинал потихоньку бормотать, как будто вместе с воздухом втягивал в глубину легких звук «м-м-м». Когда же он хотел указать на другого, то как будто бы выплевывал сквозь сжатые зубы очень твердое «т-т-т». И святой отец не раз задумывался над тем, нет ли какой-нибудь связи между этими двумя звуками, вдыхаемым и выдыхаемым, и словами «мой» и «твой», которые почти на всех языках мира начинаются первое со звука «м», а второе — с «т» или «д». Он утверждал также, что не раз вел настоящую беседу с одним из своих друзей на языке тропи — если, конечно, можно назвать беседой отдельные звуки, с помощью которых они сообщали друг другу, тепло сейчас или холодно, стоит день или уже наступила ночь... Пределом сложности был разговор, в результате которого оба они пришли к заключению, что огонь причиняет боль. Большого святой отец не смог добиться от своего друга тропи. Впрочем, надо быть справедливым: так же, как и тропи от своего друга Диллигена, ибо при всех своих лингвистических способностях святой отец не в силах был различать многие едва уловимые звуки.

Одна только Сибилла не завела себе друзей среди обитателей скал. Не потому, конечно, что она испытывала к ним отвращение или не могла бы добиться их благосклонности; просто по некоторым признакам стало ясно, что ей не следовало без особой надобности встречаться с самцами тропи.

Что касается папуасов, то они и тропи с первых же дней почувствовали друг в друге врагов. Ежеминутно между ними готова была вспыхнуть драка. Тихие, спокойные тропи сразу же становились похожими на большого сторожевого пса, встретившего на улице чужую собаку: зубы ощерены, шерсть дыбом, рычание. Папуасы отмалчивались. Но их взгляды не сулили ничего хорошего.

И все же никто не ожидал, что в один прекрасный день они смогут тайно предаться тропоедству. Все в лагере были глубоко потрясены, возмущены и по-настоящему опечалены. Понадобился весь авторитет отца Диллигена, все его красноречие, дабы спасти виновных от слишком суровой кары.

И в то же время больше всех потрясло это злополучное приключение самого отца Диллигена, ибо он лишь недавно обратил своих папуасов в христианство. «Но, с другой

стороны, в чем я, собственно говоря, могу их упрекнуть? — спрашивал он. — Кого они съели — животных или людей? Мы сами еще не в силах решить этот вопрос».

Правда, Дуглас был в какой-то степени удовлетворен. Он вскоре убедился, что Сибила не смеет смотреть ему в глаза. Но хотя он и одержал победу в недавнем споре, сейчас ему было не до торжества, ибо дальнейшие события со всей ясностью показали правоту Дугласа и отца Диллигена, и теперь все члены экспедиции, и даже Сибила с Крепсом, желали как можно скорее решить проклятый вопрос: являются ли тропи людьми или нет?

Операторы ежедневно снимали тропи, но им не всегда удавалось поймать в объектив киноаппарата обитателей скал, а потому большинство кадров было посвящено пленникам, выполнявшим свои очередные тесты. Съемки, таким образом, шли в двух направлениях: с одной стороны, готовился игровой фильм для широкой публики, с другой — снимались кадры, имеющие чисто научный интерес. Это были, так сказать, своеобразные дневник и архив экспедиции.

Вертолеты, отправлявшиеся за продуктами, отвозили в лабораторию австралийской фирмы, приславшей своих операторов, уже заснятые пленки, которые там и проявлялись. Что же, собственно говоря, произошло? По всей вероятности, среди владельцев фирмы и их гостей, для которых в узком кругу демонстрировали эти кадры, находился некий Ванкрайзен, крупный делец, известный своей акульей хваткой.

Надо признать, что тесты, которые в последнее время выполняли прирученные тропи, не могли не навести на некоторые размышления. Это была уже не столько проверка умственных способностей тропи (тут, как мы видели, тропи мало чем отличались от человекообразных обезьян), сколько проверка того, могут ли они усваивать и повторять определенные жесты, движения, выполнять ту или иную работу. Известно, что любого шимпанзе можно быстро научить одеваться, шнуровать ботинки, накрывать на стол, есть ножом и вилкой, курить, ездить на велосипеде или верхом на лошади. Порой шимпанзе не хуже слуг выполняли домашнюю работу. Под руководством двух механиков тропи с поразительной быстротой научились обращаться с механизмами, находить и даже подбирать

нужные детали; правда, их так и не смогли научить пользоваться буравом, но зато они с явным удовольствием надевали болты и закручивали гайки. Они были необычайно терпеливы в работе подобно слонам; правда, их нужно было время от времени ободрять ласковым словом, хвалить, а главное — в качестве поощрения давать кусок другой ветчины. К тому же они были необычайно выносливы и не знали усталости.

И не удивительно, что Ванкрайзен увидел в этих беззащитных существах весьма дешевую рабочую силу. Отдельные подробности, в сущности, особой роли не играют. В общем Ванкрайзен тут же вспомнил об Акционерной компании фермеров Такуры, основанной лет десять-двенадцать назад для разведок недр этого еще не изученного массива и ныне почти прекратившей свою деятельность. В то время предполагали, что на севере имеются большие запасы нефти. Они действительно существовали, но в течение двух лет были полностью исчерпаны. Правда, на западе обнаружили несколько сот гектаров каучуконосов, и благодаря этим плантациям компания с грехом пополам смогла продолжать свою деятельность. Она сдавала также в аренду отдельным обществам охотничьи угодья. Бесспорно, все это навело Ванкрайзена на мысль, что по концессии, данной компании, за ней остается исключительное право на эксплуатацию флоры и фауны во всей Такуре. Проверить это оказалось делом несложным, и, как выяснилось, все тропы — и те, которые жили среди скал, и те, которые, возможно, населяли соседние долины, — действительно по закону принадлежали компании фермеров.

Сам Ванкрайзен контролировал в Сиднее одно из крупнейших предприятий по переработке шерсти. Почти за бесценок он скупил через его посредство большинство акций компании. Как только они очутились у него в кармане, он вызвал к себе некоего Гренета, который был тесно связан как с правительственными кругами, так и с шерстепрядильной промышленностью.

Как известно, иммиграция в Австралию строго ограничена и находится под контролем соответствующих органов. Уровень жизни там довольно высок, рабочей силы мало, и рабочие руки дороги. В силу этого огромное количество шерсти, которое ежегодно дают бесчисленные отары овец, пасущиеся на плоскогорье, не может обрабатываться на месте; естественно, что австралийские ткани по

цене не выдерживают конкуренции с английскими. Шерсть поэтому отсылается в Англию, где она обрабатывается и поступает на фабрики.

— Вы уже видели фильмы о тропи?—спросил Ванкрайзен Гренета.

— Нет, ответил тот.—А что это такое?

— Пойдемте, увидите сами,—сказал Ванкрайзен и повел Гренета с собой.

— Ну, а что вы теперь скажете?—спросил он после просмотра.

— По правде говоря...—начал Гренет.

— Представьте себе их,—начал Ванкрайзен,—на ткацкой фабрике... Три тропи вместо одного рабочего.

Гренет даже рот открыл от удивления.

— Я уже все прикинул,—продолжал Ванкрайзен.—Тридцать или сорок тысяч тропи, пройдя соответствующую подготовку, смогли бы под руководством специалистов обработать две трети всей шерсти, получаемой в Австралии. А расходы самые пустяковые: питание, ну и кое-какой уход. Мы в два счета обставили бы англичан.

— Черт возьми,—пробормотал Гренет.—Мы могли бы отбить у них американский рынок.

— Не вступая в драку,—рассмеялся Ванкрайзен.—Если не ошибаюсь, в Такуре насчитывается около двух или трех тысяч тропи. Животное становится взрослым уже в десятилетнем возрасте. Лет через пять около тысячи самок смогут дать нам необходимое поголовье. И самое позднее лет через десять—пятнадцать работа пойдет полным ходом.

— Что же вам для этого нужно?—спросил Гренет.

— В первую очередь, конечно, деньги,—ответил Ванкрайзен,—а также поддержка правительства.

— Деньги дадут вам скотоводы.

— Не нужно мне их денег,—возразил Ванкрайзен,—предпочитаю, чтобы их дали мне банки.

— Почему?

Ванкрайзен расхохотался и ответил вопросом на вопрос:

— Вы плохо их рассмотрели, что ли?

— Кого, скотоводов?

— Нет, дорогой, тропи. Не слишком ли они похожи на настоящих людей?

Гренет с улыбкой пожал плечами.

— Да, да,—повторил Ванкрайзен.—Неужели, по-вашему,

англичане не попытаются нам помешать?

— И вы полагаете, что...

— Конечно. Они-таки постараются вставить нам палки в колеса. Начнут кричать о том, что мы не имеем морального права эксплуатировать этих слишком уж похожих на человека животных и прочее и прочее. Можете быть спокойны.

— И все-таки я не понимаю, при чем тут банки...

— Банки,— прервал его Ванкрайзен,— должны по горло увязнуть в этом деле. Если во время судебного процесса суду придется выбирать между моральным правом тропи и падением кредита австралийских банков, не сомневайтесь, выбор будет предопределен заранее. Понятно?

— Понятно. Что же вы собираетесь предпринять?

— Это зависит от вас, от того, чего вы сможете добиться в правительстве. Необходимо немедленно субсидировать постройку ткацких фабрик, оборудованных по последнему слову техники. Неважно, каковы будут размеры самой субсидии: важно заставить банки вложить в предприятие необходимые миллионы... Вам ясна суть дела? Лишь сумасшедший согласится затем потерять такие деньги. Дайте только заполучить тропи, обратно мы их не выпустим. К тому же незачем дожидаться, пока их привезут. Надо уже сейчас построить образцовый лагерь с дортуарами, лазаретом, столовой, пригласить врачей, зоологов и т. д. И конечно, открыть большую экспериментальную клинику. Ибо требуется развить их работоспособность, а главное сократить у самок период вынашивания детенышей. Тут, по-моему, нам на помощь должна прийти селекция. Вы ведь отчасти скотовод и должны разбираться в подобных вопросах.

— Все это так,— пробормотал Гренет.— Я даже думаю,— добавил он,— что не мешало бы также кастрировать самцов. Судя по фильмам, они очень неуравновешенны, это, пожалуй, их основной порок. Полагаю, что с ними произойдет то же, что и со всеми домашними животными: после кастрации они станут более покладистыми, но не потеряют работоспособности.

— Счастливая мысль!— воскликнул Ванкрайзен.

Гренет сразу же энергично, ловко и без лишних слов взялся за дело. Все уже было основательно подготовлено, когда экспедиция после восьмимесячного пребывания

в Такуре возвратилась в Сидней. Она привезла с собой и поместила в Антропологическом музее около тридцати взрослых тропи обоего пола и несколько тропи-малышей.

Через несколько дней после возвращения Дугласу позвонили из «Сидней геральд» и попросили разрешения зайти к нему в отель завтра утром. Дуглас не придавал значения этому разговору и только уныло подумал, что ему, видимо, придется вежливо выпроводить за дверь своего собрата: он действительно чувствовал себя не вправе делать какие бы то ни было сообщения для прессы, а тем более (если таково было желание редактора) давать в газету серию статей о тропи.

Посетитель с первых же слов успокоил Дугласа: пришел он вовсе не ради статей. По его словам, у него просто были друзья среди сотрудников газеты. Сначала разговор шел о самых безразличных предметах. Элегантно одетый гость самоуверенно улыбался. Он несколько раз повторил, что решил встретиться именно с Дугласом, а не с кем-либо другим из членов экспедиции, ибо не сомневается в его сообразительности, которая, несомненно, откроет перед мистером Темплмором весьма заманчивые перспективы. Так что в конце концов Дуглас почувал, что за этими туманными фразами кроется какое-то сомнительное предложение. Он пошел на эту игру и выказал себя настолько сообразительным, что, возможно, даже превзошел ожидания гостя. Не прошло и часа, как он уже знал все о компании фермеров Такуры, о ее средствах и целях, знал и то, что они от него ждут; ему известна местность, дороги, нравы тропи, и он мог бы оказать им помощь в поимке первой партии животных.

Дуглас даже поспорил о размере вознаграждения и в заключение просил дать ему время подумать. Не успел посетитель удалиться, как Дуглас ворвался в комнату Гримов. Через час вся экспедиция в полном составе с ужасом слушала его сообщение. Были также приглашены директор Антропологического музея и его адвокат. Как только Дуглас закончил свою речь, все взоры обратились к юристу.

С минуту адвокат сидел молча. Потом наморщил нос, энергично потер его указательным пальцем и спросил: — Но в конце концов, кто же эти тропи? Люди они или обезьяны?

Отец Диллиген, вскочив с места, воздел руки к небесам.

И подобно мужу, выведенному из себя глупостью жены, он возмущенно отошел к окну.

Сибилла взглянула на Дугласа. У нее было такое расстроенное лицо, что при желании свести с ней старые счеты Дугласу ничего не стоило бы одержать победу. Но не этого он сейчас хотел. Его самолюбие было удовлетворено уже тем, что к нему первому обратила она с трогательной мольбой свои прекрасные, глубокие, как море, глаза. Гнев, горечь и даже угрызения совести боролись в ней; она нетерпеливо покусывала губы, ей необходимо было действовать, бороться.

Наконец Грим собрался с духом. Все это время он сидел, опустив глаза и смешно выпятив нижнюю губу, так что почти не видно было его маленького, красного, морщинистого подбородка.

Прищелкнув языком, он начал:

— Люди это или обезьяны? С нашей стороны было бы... гм... было бы... большой оплошностью,—пробормотал он, краснея,—а может быть, даже... гм... преступлением, если бы... если бы... в конце концов... было гм... вероятно... было невозможно... определить это.

И Грим поднял на адвоката влажный и тоскливый взор.

— То есть как невозможно!—воскликнул тот, вытаращив глаза.— Да самый темный пастух из саванн сразу же узнает человека. Даже зобастый кретин не станет колебаться в этом вопросе. Если в тропи нельзя с первого взгляда признать человека—значит, они обезьяны!

Грим тяжело вздохнул.

— Видите ли,—ответил он уже более увсеренным тоном,— до сегодняшнего дня нам самим казалось, что все это именно так. И действительно... биологически... гм... самый последний дикарь настолько ближе... к любому британскому подданному, чем к шимпанзе, что даже ваш зобастый пастух... мог не хуже любого антрополога отличить *grosso modo** человека от обезьяны. Но разве это не показывает нам (продолжал Грим ко всеобщему удивлению уже без всяких запинок), что сами антропологи до сегодняшнего дня не нуждались в особой проницательности, чтобы отличить их друг от друга. Почему же довольствовались они столь поверхностным изучением вопроса? Да потому, что им просто везло. Им везло потому, что вот

* В общих чертах (лат.).

уже пять тысяч лет как исчезли все промежуточные виды. И посему мы пребывали, как оказалось, в состоянии обманчивого покоя. С этой точки зрения,—добавил он вдруг жалобным тоном,—существование наших тропи — настоящая катастрофа. Благодаря им мы вынуждены срочно решить вопрос, который по лености до сих пор обходили. Нам придется дать точный и исчерпывающий ответ: *каковы* характерные черты того существа, которое мы называем человеком? Не правда ли, прежде можно было и не торопиться,—продолжал он таким саркастическим тоном, что друзья его удивленно переглянулись,—ошибки исключались. Мы даже гордились, что остаемся таким образом в разумных границах науки. Главное,—провозглашали мы,—не выходить за пределы нашей области! Не доверять своим чувствам, остерегаться ловушек психологии, неточностей этики! Только не путать разные вещи!

Он снова вздохнул.

— Мы наслаждались своим собственным невежеством, ибо человек занимал совершенно особое место в животном мире, он настолько отличался от всех прочих живых существ, что даже ваш зобастый пастух не мог ошибиться. Если вам дадут очень горячую и очень холодную воду, вы ведь ведь тоже не станете колебаться. Ну, а как быть с теплой водой? Как вы ее определите, если только, конечно, предварительно не договоритесь точно, при скольких градусах воду следует считать «горячей»? Именно это с нами и произошло ныне. Человека с шимпанзе не спутаешь: слишком велика разница. Ну, а вот между шимпанзе и плезиантропом, между плезиантропом и синантропом, синантропом и тропи, тропи и неандертальцем, неандертальцем и вами, простите за сопоставление, дорогой мэтр, расстояние всякий раз приблизительно одинаковое. Если вы сможете сказать нам, где кончается обезьяна и начинается человек, вы окажете нам огромнейшую услугу!

— Если только, как вы сказали, предварительно не договоритесь?..

— Да...

— Так разве нельзя этого сделать? Разве нельзя, пусть даже с опозданием, потребовать, чтобы конгресс антропологов дал подобное определение?

Крепс расхохотался и звучно ударил себя по ляжке.

— От всего сердца желаю вам успеха в этом предприятии! — воскликнул он. — Но, уверяю вас, вы успеете поседеть,

прежде чем ученые договорятся между собой.

— Разве это так трудно?

— Не то что трудно, дружище. Но существует слишком много различных мнений. Право, лучше просто бросить жребий: дело пошло бы куда быстрее, а результат был бы тот же. Еще триста лет назад Локк пытался разрешить вопрос, при какой степени уродства ребенок перестает быть человеческим существом, а следовательно, не может приобщиться к таинству крещения, ибо в противном случае за ним признали бы существование души. Видите, все это не так уж ново. И вы сами понимаете, что за три дня и даже за три месяца нельзя решить спор, который ведется уже столетия.

Адвокат посмотрел на Крепса отсутствующим взглядом. Потом снял очки и, протерев стекла, снова надел их.

— Что же,— сказал он,—если дело действительно обстоит так, боюсь, что компания фермеров добьется своего.

— Простите!...— воскликнула Сибилла.

Адвокат вопросительно взглянул на нее.

— Ведь существуют же,—продолжала она,—законы, охраняющие от истребления вымирающие биологические виды. По-моему, можно сыграть на этих законах.

— Можно-то можно,—возразил адвокат,—но лишь в том случае, если компания собиралась бы послать тропи на бойню. Но она, напротив, хочет оградить их от превратностей жизни в пустыне, намерена позаботиться об их существовании, гигиене, питании и даже о размножении. Она без труда докажет, что этот закон в данном случае не имеет к ней никакого отношения. Конечно, музей мог бы потребовать принятия специального закона об охране тропи... Но вы сами понимаете, сколько это займет времени. Да и добьется ли еще—не известно. Вы же знаете, у компании—железная хватка. Кроме того, здесь замешаны слишком крупные дельцы. Так что, видите ли,—заклучил он,—если нельзя доказать, что тропи не являются животными, никто не сможет помешать их законным владельцам обращаться с ними, как с лошадьми или слонами. Одним словом: либо тропи—часть фауны Такуры, либо—часть ее населения. Или то, или другое, третьего решения нет.

— А вы что можете предложить?—спросил Дуглас, помолчав.

— Надо подумать,—ответил юрист.—В настоящий момент я вижу лишь два способа действий. Первый—добить-

ся, чтобы какое-нибудь авторитетное официальное учреждение, скажем вроде Королевской академии наук, дало бы не вызывающее споров научное определение, но, судя по словам мистера Крепса, в ближайшее время это невозможно. Второй же — получить судебное решение, которое *ipso facto* * исходило бы из того, что тропи — люди. Таким образом у нас был бы прецедент. И это, пожалуй, более реально...

— То есть?

— То есть... Предположим, мистер Темплмор берет себе в услужение тропи... Но жалование ему не платит... Тропи обращается в суд, его защищает известный адвокат. Суд решает дело в пользу тропи. Таким образом, за ним, за этим тропи, признали бы такие же права, что и за мистером Темплмором, другими словами — права человека.

— К несчастью, это невозможно! — отрезал отец Диллиген, по-прежнему стоя спиной к присутствующим.

— Но... почему же?

— Тропи может принести присягу, только будучи человеком. Иначе это святотатство, да и не будет иметь никакой законной силы. И потом, как вы хотите, чтобы в качестве истца перед судом выступило существо, не имеющее гражданского состояния? Получается заколдованный круг. И вы сами понимаете, что компания фермеров не станет молчать.

— Мне кажется, мы упускаем из виду самое существо вопроса, — негромко произнес Вилли.

Все, кроме отца Диллигена, который в позе яростного спокойствия застыл у окна, обернулись к говорившему.

— Мы ведь не Общество покровительства животным, — добавил тот.

— Ну и что? — с тревогой спросил Дуглас.

— Чего ради мы станем вмешиваться, если будет доказано, что тропи обезьяны? Разве только для того, чтобы вообще поставить под сомнение право человека пользоваться трудом домашних животных. Опираясь на какие моральные принципы, могли бы мы протестовать против планов компании фермеров? Ведь в таком случае ее намерения были бы не только разумны, но и похвальны; они должны облегчить жизнь человеку, избавить его от известной доли тяжелого труда. Не так ли? — обратился он к Дугласу.

* В силу самого факта (лат.).

— Да, действительно...— ответил тот сдержанно.

— Итак,— снова заговорил Вилли,— планы компании можно назвать преступными только в том случае, *если* тропи не являются обезьянами, если они, так же как и мы, принадлежат к человеческому роду. К тому же, если это будет доказано, планы компании сразу же рассеются как дым, ибо торговля рабами запрещена. Но если, напротив, будет доказано, что тропи животные, мы обязаны, дорогие друзья, не только не препятствовать компании фермеров, но и сделать все возможное, дабы с помощью прирученных тропи облегчить труд человека. Мне кажется, что вот тут в какой-то степени мы попались на удочку собственных чувств. За эти полгода мы слишком привязались к нашим тропи. А нам следует быть объективными. И мы с вами должны не столько думать о судьбе тропи, сколько о том, как бы в один прекрасный день не оказаться соучастниками преступления, если только в конце концов будет признано, что тропи люди. В сущности, проблема не так уж нова. Когда была открыта Америка, встал вопрос об индейцах: кто эти двуногие существа, которые, обитая по ту сторону океана, никак не могут претендовать на право именоваться потомками Адама и Евы? Их прозвали тогда «бесхвостыми шимпанзе» и начали всюю торговать ими. Не повторить той же ошибки — вот в чем наша задача. А все прочее не должно нас интересовать. Согласны вы со мной или нет?— обратился он к присутствующим. Но никто не ответил на его вопрос.

— Да,— сказала наконец Сибилла твердым голосом.

— Ну что же, милые мои друзья,— улыбнулся Вилли,— пока что нам гордиться нечем. Нет ничего легче, чем определить цель. Простите меня, Кутберт,— обратился он к старому Гриму,— но вот уже полгода мы с вами рассуждаем как антропологи или даже как палеонтологи. Как будто наши тропи — ископаемые. Но ведь они живые, черт возьми, живые, как утки или крокодилы. Живут себе и размножаются! Не пора ли нам подойти к вопросу с точки зрения зоологов, как вы думаете?

При этих словах великан Крепс оглушительно расхохотался.

— Черт возьми!— воскликнул он.— Вот оно, колумбово яйцо!

— Пусть будет так,— согласился Вилли.— Что мы называем видом?— продолжал он.— Группу животных, пусть да-

же внешне не похожих друг на друга, но дающих при скрещивании нормальное потомство, способное к дальнейшему размножению. Возьмем, к примеру, датского дога и померанского шпица, они похожи друг на друга не больше, чем кошка на жирафа, но при скрещивании дают потомство. Потому-то мы и относим их к одному и тому же виду — виду собак. И наоборот, лев похож на пантеру, но, скрестив их, потомства не получишь, и, следовательно, их мы относим к разным видам. Вы понимаете мою мысль? Давайте попробуем скрестить человека и самку тропи. В зависимости от того, удастся наш опыт или нет, все сразу станет ясным.

Отец Диллиген обернулся. Он был необычайно бледен, он не сразу нашел в себе силы заговорить, и голос его звучал хрипло. Он сказал, что, если только нечто подобное произойдет, он навсегда удалится в бенедиктинский монастырь, укроет в его стенах свой вечный позор.

— Но почему же, отец? — воскликнул Вилли. — Ежедневно и скотоводы и исследовательские институты производят самые разнообразные скрещивания! Тут нет ничего особенного... Впрочем, успокойтесь, — добавил он, по-видимому догадавшись, что именно возмущает монаха. — Вы сами понимаете, что я не имею в виду естественное оплодотворение!... В настоящее время и врачи и биологи располагают столь совершенными средствами, что подобного рода эксперименты потеряли двусмысленный и неприятный характер. Кроме того...

— Боже мой, это же содомский грех! — воскликнул отец Диллиген. — Животные не могут грешить, и нет никакого греха, если в интересах животноводства или науки используются их инстинкты. Это вполне дозволено, когда мы желаем вывести мула или путем скрещивания пытаемся создать новые породы. Но человек — это же божественное создание!... И те извращенные приемы, о которых вы говорите, лишь прикрывают, но ни в коем случае не снимают ужаснейшего святотатства.

— Пойдите, пойдите, отец мой, — сказал Вилли. — Если тропи — люди, значит самки их — женщины, и грех, которого вы так боитесь, вполне простителен, особенно если принять во внимание преследуемую нами цель. Конечно, я знаю, что церковь осуждает подобного рода эксперименты даже между супругами. Но осуждает их она, исходя из соображений семейного и нравственного порядка. И по-

сколько я сам не раз делал подобного рода операции, я знаю, что церковь не так уж нетерпима и порой закрывает на них глаза. Мне кажется, что если мы таким путем могли бы спасти от рабства...

— Ну, а если тропи обезьяны? — отрезал Диллиген.

— И в этом случае ничего тут плохого нет. Ничего не произойдет, а мы по крайней мере будем знать...

— Вы рассуждаете так, — возразил отец Диллиген, — как будто вообще не существует гибридизация: можно скрестить собаку и волка, ослицу и жеребца и даже корову и осла и получить ублюдков. Вы ни в чем не можете быть уверены. Я лично отказываюсь быть соучастником подобной профанации. Если же вы все-таки на это решитесь, пеняйте на себя.

И не добавив больше ни слова, не оглянувшись на присутствующих, которые молча и растерянно смотрели ему вслед, он вышел из комнаты.

Глава девятая

Короткая телеграмма и еще более краткий ответ. Неожиданности, талящиеся в пустыне. Чистосердечное признание — мужество слабых. Опыт, чреватый самыми неожиданными последствиями. На сцену выступает расизм. Джулиус Дрекслер ставит под сомнение «видовое единство современных людей». Восторг в Дурбане.

Несколько недель спустя Френсис, которой Дуглас после своего возвращения в Сидней писал каждый день, принесли телеграмму; в это время она как раз работала над своей новой большой новеллой. Телеграмма пришла из Австралии и гласила с предельной краткостью:

Телеграфируйте согласие наш брак

Дуглас

И все. Хотя предложение было для Френсис не совсем неожиданным, внезапность его породила тревогу и недоумение, оттеснившие радость. Вряд ли она тут же решила, что «он в опасности»; вернее всего, ей просто стало страшно. Она поняла также, что ответить должна немедленно, не раздумывая. Подойдя к телефону, она продиктовала еще более лаконичный ответ:

Согласна

Френсис

И немного успокоившись, она начала перебирать в уме все возможные причины, вызвавшие посылку телеграммы.

Все, кроме одной, которая шесть дней спустя поразила и еще более, чем она ожидала, встревожила ее. Шесть долгих дней, в течение которых она ничего не получила — ни письма, ни открытки. И наконец в понедельник (в тяжелый для нее день) пришло письмо, которое все объяснило.

«Френсис, дорогая (говорилось в письме), сегодня утром я получил Ваш ответ на свою телеграмму, и сердце мое переполнилось радостью.

И хотя я знаю, уверен, Вы поняли, что я не могу обещать Вам счастья, что со мною Вас ждут испытания, — не знаю, догадываетесь ли Вы, насколько они велики.

С чего бы начать, Френсис? Впрочем, это нетрудно: мои колебания — чистое притворство; я должен начать с признания, с признания тяжелого и унижительного.

В течение этих долгих месяцев, Френсис, проведенных в пустыне, я не смог сохранить Вам верность... Сибила? Да, это она... Уменьшит ли мою вину перед Вами то обстоятельство, — а это истинная правда, клянусь Вам, — что сердце здесь ни при чем? Вы не знаете Сибилы, вернее, почти не знаете. Я же знаю ее с детства. Странная девочка, странная женщина. Безнравственная? Аморальная? Как Вам сказать? Все это не то. Для нее не существует общепринятых мнений. Обо всем она судит сама. Про нее нельзя сказать, что она отбросила все условности: просто условности никогда для нее не существовали. Ее брак со старым Гримом вызвал настоящий скандал, но она даже бровью не повела, и скандал затих сам по себе. Вполне возможно, она так и не узнала об этом; во всяком случае, вела она себя, словно ничего не произошло.

И вот, Френсис, прекрасной звездной ночью, скорее прохладной, чем жаркой, каких здесь бывает немало, эта женщина спокойно вошла ко мне в палатку. «Мой милый Дуг, — сказала она не без иро-

нии, — излишние размышления вредны». Затем сбросила халат и спокойно, с естественностью раковины, смыкающей свои створки, прильнула ко мне всем своим ослепительным телом. И тут же, закрыв мне рот рукой, прошептала: «Вино, Дуг, надо пить тогда, когда чувствуешь жажду, — и опустилась на постель. Что оставалось мне делать? А потом... надо сказать правду, это оказалось сильнее меня. Вероятно, мне самому тоже хотелось пить. Не знаю, будет ли Вам от этого легче или же Вы окончательно вознегодуете, но я должен сказать, что в ту минуту обратился к Вам с немой мольбой, что я молил Вас простить мне мои грехи! Как бы то ни было, но это тоже истинная правда.

Правда и то, что за первым падением последовали другие. И хотя ни разу эти языческие забавы не начинались по моей инициативе, Френсис, я не мог отказаться от них, тем более что им сопутствовала такая простота, такая естественная грация. По крайней мере до нашего приезда в Сидней.

Не стану, не хочу красиво описывать свои чувства, оправдывать себя, вымаливать у Вас прощение: я сам бы себе стал противен. А самое главное: это было бы уж слишком некстати; ибо, любимая моя, хотя самое страшное в моем признании уже сделано, я не сказал Вам еще самого важного.

Я принял ужасное решение, Френсис. Не знаю, к чему это все приведет. По правде говоря, ничто, абсолютно ничто меня не принуждало. Но кто-нибудь должен был сделать то, что собираюсь сделать я. Не в моем характере — Вы это прекрасно знаете — приносить себя в жертву. Напротив, сама мысль о самопожертвовании претит мне. Но разве я могу уклониться от того, что *должно* быть сделано, если я один в со-

стоянии выполнить это?

Но я хочу, Френсис, дорогая моя, чтобы Вы были вместе со мной. Хочу принять решение вместе с Вами. Хочу, чтобы вы одобрили мой поступок. Хочу, чтобы мы после спокойных размышлений вместе пришли к этому неизбежному выводу. И мне было бы слишком тяжело, если бы в один прекрасный день мой поступок показался Вам мальчишеским, романтическим, театральным.

О, как мне нужна Ваша поддержка, Френсис, если, конечно, после моего признания Вы сохраните ко мне хоть чуточку уважения и любви. Вот почему я решил Вам во всем признаться. Согласитесь, меня ничто к этому не вынуждало. Я оказался не слишком-то честным и сильным, не слишком-то героическим субъектом, но много ли на свете мужчин могут бросить в меня камень? Вы бы ничего не узнали, а как говорил мой отец, «то, чего я не знаю, не существует». Я не защищаю себя, Френсис, нет. Более того, признаюсь Вам: при других обстоятельствах я без малейших угрызений совести хранил бы благоразумное молчание. Быть может, это не слишком похвально, но я всегда считал, что чистосердечные признания порой просто отвратительны: они приносят лишь вред. Да, я бы Вам ничего не сказал. В конце концов Вы никогда не спрашивали меня о моей личной жизни, так же как и я Вас — о Вашей.

Но Вы должны узнать мои недостатки, прежде чем я поведу рассказ о своих достоинствах. Я просил Вас стать моей женой, Френсис, и Вы согласились. Но знаете, *Вас это ни к чему не обязывает*. Очень скоро я стану героем скандальной истории, и мы все — а нас немало, и я в том числе — вместо того, чтобы замять грядущий скандал, делаем все возможное, чтобы раз-

дуть его еще больше. По всей вероятности, мне придется предстать перед судом. Возможно, меня даже повесят. Вот такая судьба ждет человека, который сейчас, пока он еще на свободе, просит Вашей руки.

Так вот что произошло, Френсис...»

Тут только Френсис заметила, что читает она машинально, почти не понимая написанного. Сердце ее учащенно билось, и перед глазами неотступно стояла эта развращенная Сибила, которая «с естественностью раковины, смыкающей свои створки», прильнула к Дугу. Наморщив лоб, она перечла письмо сначала, стараясь уловить смысл слов, но он ускользал, как ртуть между пальцами. Ей показалось, что она наконец поняла. «И с кем,—прошептала она,—с этой Сибиллой».

«... Уже с субботы все сомнения отпали...»,—прочла она и подумала: «И у него хватает бесстыдства...» Перевернув страницу, она прочла дальше: «Если бы мы только послушались отца Диллигена...»

«... но кто мог бы подумать, что все эти опыты с искусственным оплодотворением принесут положительные результаты? Вы правильно прочли, Френсис, все. Поскольку мы были почти уверены, что скрещивание с человеком ничего не даст, то как добросовестные биологи произвели одновременно скрещивание со всеми наиболее близкими к человеку видами обезьян: шимпанзе, гориллой, орангутаном. И все эти опыты удались.

Однако с той точки зрения, которая нас интересует, опыт потерпел полное фиаско: он ничего не объяснил, ничего не доказал. Проблема так и осталась нерешенной, более того, она еще осложнилась, ибо теперь возникает новый мучительно трудный вопрос, который предвидел и которого так боялся отец Диллиген: кем будут эти несчастные детеныши, родившиеся от скрещивания тропи с человеком? Промежуточными существами, в которых окончательно будут смешаны все признаки, маленькими полулюдьми-полуобезьяна-

ми, о которых по-прежнему будут вестись бесконечные споры...

Причем тут я, спросите Вы?

Дело в том, Френсис, что отцом всех этих несчастных маленьких тропи буду я. Я догадываюсь, о чем Вы сейчас подумали: «Опять он что-то скрыл от меня». Почему я сделал такую глупость, почему я добровольно согласился участвовать в подобном опыте? И почему я Вам ничего не сказал? Потому что я сам в глубине души чувствовал, что совершаю глупость. И вы, конечно, не преминули бы меня упрекнуть. Почему же все-таки я на это пошел? Попытаюсь Вам объяснить.

Но прежде всего, дорогая, Вы не должны ненавидеть Сибилу, хотя по ее вине я заставляю Вас страдать. Если она и совершает зло, то, надо полагать, по неведению самой природы зла. Да и творит ли она зло? Она действует — другие страдают. Разве можно обвинять огонь за то, что он жжется, а холод — за то, что от него коченеют? Она, как и стихия, не осознает того, что творит, а ведь само понятие зла предполагает сознание того, что есть зло.

Сибилла — прежде всего ученая женщина в самом чудовищном смысле этого слова. Для нее нет ни в жизни, ни в области духа ничего святого, кроме научных изысканий и методов исследования. Прежде чем приступить к опыту скрещивания человека с тропи, нужно было решить один довольно-таки сложный практический вопрос: найти мужчину, который сумел бы сохранить тайну. И вот Сибилле показалось, что самым простым, да и самым верным было бы... По правде говоря, ей стоило лишь намекнуть, и, конечно, в назначенный день я подчинился всем необходимым биологическим и юридическим операциям. Используя новейшие научные методы, доктор Вильямс произвел искусственное осе-

менение шести самок, прошедших пятидневный карантин и находившихся под наблюдением. И лишь значительно позднее вместе с чувством известной тревоги мне пришло в голову, что было бы лучше, если в этом случае воспользовались не только моими услугами и сделали бы таким образом вопрос отцовства менее ясным. По правде говоря, Френсис, в глубине души я не верил, я думал, что ничего не выйдет, что самки не понесут.

В конце концов, при любых других обстоятельствах вся эта история меня бы лишь позабавила. Но то, что произошло в дальнейшем, не дает мне права отделаться шуточками, а тем более отмахнуться от случившегося.

Обычно нелегко бывает установить, кто именно не сумел сохранить тайну. Так или иначе, но Акционерная компания фермеров почти сразу же узнала о наших опытах. А затем ей стали известны и их результаты. До поры до времени она хранила молчание, а теперь словно с цепи сорвалась.

Антропологический музей получил официальное требование возвратить компании ее законную собственность, тридцать тропи («а также,—гласит документ,— весь имеющийся или ожидающийся от них приплод»), незаконно вывезенную из области, фауна коей находится в полном и безоговорочном владении Акционерной компании фермеров Такуры. Цель этого послания ясна — спровоцировать судебный процесс, а это как раз то, чего мы и сами хотели. Но сейчас суд бы начался в очень невыгодных для нас, вернее для тропи, условиях. По существующим законам дело рассматривалось бы в гражданском суде как чисто коммерческое, и с этих позиций компания фермеров непременно выиграла бы процесс. Мы не имели никакого права

увозить из Такуры животных, а тем более дарить их музею. Поэтому-то необходимо придать делу другой оборот, перевести его на иную почву, доказать, что претензии компании необоснованны, ибо тропи являются не фауной, а населением Такуры. Но тем самым музей признает себя виновным в незаконном похищении и лишении свободы людей, и Вы понимаете, что при такой постановке вопроса нам еще труднее будет выпутаться; конечно, нельзя рассчитывать, что в атмосфере подобного скандального процесса, напоминающего скорее фарс, может быть найдена объективная истина. Слишком просто можно побить музей его же собственными доводами: если он действительно считает тропи людьми, то ему придется признать, что место их скорее уж за ткацким станком, нежели в железной клетке... Все неизбежно превратится в глупый смешной фарс, а судьба тропи, возможно, решится навсегда.

Юридический совет музея предлагает любой ценой избежать процесса, признать за Акционерной компанией фермеров право собственности на тропи, но попросить компанию в интересах науки на известное время «уступить» или даже продать некоторое количество экземпляров. Уже само признание *ipso facto* *, что тропи по своей природе животные, даст в руки компании достаточный козырь, и она, вне всякого сомнения, не откажется от подобного компромисса. А для нас это тоже единственная возможность выиграть время.

И это еще не самое страшное, Френсис. Вместе с письмом посылаю Вам статью, которая недавно появилась в Мельбурне, в одном из самых больших австралийских журналов. Вы ее потом прочтете. Написа-

* В силу самого факта (*лат.*).

на она Джулиусом Дрекслером, известным антропологом, но человеком весьма сомнительной репутации, который, как известно, находится на откупе у старика Ю. К. Пендлтона, одного из крупнейших мельбурнских биржевых гангстеров. У последнего нет более могущественного конкурента, чем Ванкрайзен, а Ванкрайзен держит в своих руках все нити управления компании фермеров...

Итак, Вы, наверно, решите, что Пендлтон не прочь провалить начинание своего соперника, умело поставив под сомнение в этой столь не ко времени появившейся статье вопрос о природе тропи? С первого взгляда кажется, что автор льет воду на нашу мельницу. Но, как Вы увидите из дальнейшего, статья чертовски может нам напортить. Ибо, судя по всему, Пендлтон собирается затеять еще более чудовищное и гнусное дело. Во всяком случае ясно, что статья Дрекслера широко открывает двери для самых мерзких преступлений.

Статья задумана очень хитро. Бедняга Грим в ярости твердит: «Этому подлецу даже возразить нечего. С точки зрения палеонтологии он прав. И он это прекрасно знает!» Что же, собственно, говорит Дрекслер? Он говорит, что открытие *Paranthropus greamiensis* (это тропи, дорогая...) не только подтверждает все то, что мы уже знаем о происхождении человека, но — и это самое главное — показывает, насколько несостоятельны все наши представления о самом человеке, или вернее, — говорит он (нет, Вы только подумайте!), — о тех различных биологических видах, которые мы до сих пор неправильно объединяли под этим общим именем. Относя *Paranthropus*-ов к виду *homo*, пишет он далее, мы тем самым признаем, что в этот вид можно включать и четвероруких индивидуумов (не говоря о многих других при-

сущих обезьянам чертах, которые мы обнаруживаем у вышеупомянутых *Paranthropus* (ов); если же, наоборот (что, по-видимому, вполне кое-кого устраивает, добавляет он), не признавать их принадлежности к виду *homo*, то по какому праву мы тогда называем человеком ископаемое с челюстью шимпанзе, кости которого были найдены близ Гейдельберга, или неандертальца, отличающегося от тропи всего лишь несколькими деталями скелета? А также почему мы называем человеком ископаемое, найденное в Гримальди, которое тоже мало чем отличается от перечисленных выше, или же кроманьонца, или, наконец, африканских пигмеев, цейлонских веддов, или тасманцев, чья черепная коробка еще менее развита, чем у кроманьонца, а крайние коренные зубы все еще имеют пять бугорков, как у человекообразных обезьян? Появление на сцене тропи, пишет он, доказывает всю несостоятельность наших упрощенных представлений о единстве человеческого вида. Единого человеческого вида не существует, существует лишь большое семейство гоминид, своеобразная лестница оттенков, на верхней ступени которой находятся белые, то есть настоящие люди, а на самой нижней — тропи и шимпанзе. Пора отбросить наши старые представления, основанные на чувствах, и раз и навсегда научно установить последовательность промежуточных групп, «ошибочно именуемых человеческими».

Ошибочно именуемых человеческими! Итак, на наших глазах готов возродиться уродливый призрак расизма со всеми своими адскими спутниками. И какого расизма, Френсис! Расизма, во имя коего уже завтра целые народности могут лишиться права числить себя в рядах человечества, а следовательно, лишиться всех че-

ловеческих прав, дабы какой-то Пендлтон смог продавать их как рабочий скот! Где же в таком случае, Френсис, пройдет граница? *Она пройдет там, где ее захотят провести сильные мира сего.* Представьте себе только, что произойдет с туземным населением колоний или с неграми в Соединенных Штатах, где также существует дискриминация! Да и вообще со всеми этническими меньшинствами!

По сути дела, это уже началось. Все газеты Южно-Африканского Союза под броскими заголовками перепечатали статью Дрекслера. «Дурбан экспресс» поспешила поставить вопрос: «Люди ли негры?».

Следовательно, Вы понимаете, моя дорогая, что отныне речь уже идет не только о судьбе тропи, даже не о судьбе моего потомства. Боюсь, что вопрос придется ставить гораздо шире. Сейчас уже недостаточно только установить, люди тропи или нет—это лишь частный случай, одна сторона главного вопроса: речь идет о том, чтобы человечество, хочет оно того или нет, определило раз и навсегда, что же оно собой представляет, дало полное и исчерпывающее определение, которое не допускало бы различных кривотолков. Такое определение, при котором права и обязанности человеческого общества по отношению к своим членам строились бы не на зыбкой основе спорных традиций и преходящих чувств, церковных заповедей или узко кастовых требований, что, в сущности, шатко и слишком уязвимо, а на гранитном фундаменте, на четком знании того, что же на самом деле отличает человека от прочего животного мира.

Если его отличает то, что у него есть душа, то надо будет установить, по какому признаку мы определяем ее наличие.

Если его отличает то, что он живет об-

ществом, надо будет точно сказать, чем же отличаются примитивные общества людей от обычного стада животных.

Если его отличает что-то другое, надо будет уточнить, что же именно.

И вот, Френсис, я в состоянии потребовать,—нет, правильнее сказать: я могу заставить весь огромный и величественный судебный аппарат Соединенного Королевства ответить на этот вопрос. И меня не удовлетворит, если он просто признает или не признает за тропи право называться людьми: пусть он также определит и во всеуслышание заявит, на каком основании принято такое решение.

Понимаете ли вы всю важность подобного юридического прецедента? И поскольку я — только я один — могу добиться этого, имею ли я право уклоняться? Даже если в этом споре я рискую потерять не только свое счастье, но, быть может, и жизнь?

Без риска ничего сколько-нибудь значительного не добьешься, Френсис. А Вы понимаете, что пустяками британское правосудие с его вековыми традициями не проймешь. Для этого придется совершить нечто поистине грандиозное.

Я не могу доверить свой план клочку бумаги и превратностям почты. Но Вы, конечно, уже поняли, какое это опасное и трудное предприятие.

Теперь Вы знаете все, Френсис. Согласны ли Вы выйти за меня замуж?

Я Вас люблю.

Дуглас».

Глава десятая

Иерархия чувств в сердце женщины. Прогулка под дождем. Рассудок побеждает. Странная пассажирка. Масонское братство женщин. Дерри и Френсис. Френсис и Сибила. Роды Дерри. Первое крещение человека-обезьяны. Первые затруднения с записью гражданского состояния. Страшная ночь.

Пробежав глазами последние строчки, Френсис аккуратно сложила письмо вчетверо, потом нарочито спокойно поднялась с дивана, на котором она лежала, вытянувшись во весь рост, не спеша причесалась, подкрасила губы, закурила сигарету и, набросив плащ, вышла из дому — за покупками, решила она. Но она миновала бакалейную, мясную лавку, миновала булочную, даже не повернув головы, даже не выглянув из-под капюшона, который надвинула на самый лоб. Моросил мелкий и частый дождь, похожий на брызги морского прилива; сквозь него проступали неясные, как будто полинявшие, очертания холмов Хемпстед-хиса. Гравий на дорожке скрипел под ногами.

«Вот так иммунитет!..» — подумала она и попыталась было улыбнуться. Да, еще недавно она верила, что у нее выработался иммунитет. В последний раз страсть ворвалась в ее жизнь года три назад, но в ту минуту, когда почва уже уходила у нее из-под ног, она огромным усилием воли сумела выйти победительницей. Бедный Джонни! Легкомысленный, непостоянный Джонни, Джонни — нарушитель спокойствия... Она, как обычно, бросила ему «до свидания» и даже помахала Джонни из окна вагона. Но она уже знала, что никогда больше его не увидит. Целый месяц, а то и больше, он ежедневно писал ей — сначала письма, полные недоумения, потом гнева, потом пошли уговоры, слова нежности, упреки, угрозы, горькая ирония, бешенство и мольбы. Она не рвала эти письма: она их читала. Читала, рыдая от раскаяния и переполнявших ее желаний, но так она испытывала свою волю и стойкость. Наконец перестала читать: на смену пришли усталость и пустота. «У меня выработался иммунитет», — думала она не без гордости.

Любить? Это еще возможно. Но страдать? Никогда в жизни. Разве нельзя любить не страдая? И разве не следует любить не страдая? Страдания любви унижительны. Она не позволяла себе такой роскоши, как страдания. И презирала тех женщин, которые потрясали, как славным знаменем, «своим возвышенным, но — увы — разбитым сердцем».

Она даже начала писать новеллу, где рассказывалась история женщины, для которой любовь без страдания — настоящая любовь: действительно ли ты любишь, если тебе не приходится страдать? Героиня новеллы чувствует себя униженной и падшей. И в конце концов уходит от этого

слишком положительного человека, который дарил ей слишком безмятежное счастье.

Иммунитет... Разве не подтвердили их спокойные отношения с Дугом, что она действительно приобрела иммунитет? Пусть она любит его, а он ее нет (по крайней мере, так ей казалось)—она от этого не страдает. Когда же, наконец, в один прекрасный день она поняла, что и Дуг ее тоже любит, его захватила и увезла на целый год вместе со своим багажом эта женщина. Нелепые обстоятельства его отъезда приводили Френсис в ярость. Но чувствовала ли она себя несчастной? Почти нет. То, что она испытывала, нельзя было назвать страданием. Тут была терпеливая суровая надежда, напряженное ожидание весточки от него, иной раз тревога и даже—нечего греха таить—легкие уколы ревности. Но страдания, слава богу, нет! «Хватит, я больше не способна страдать...»—думала она.

Гладкие листья каштанов роняли крупные капли дождя, которые разбивались о ее капюшон.

И вот теперь началось все сначала. И все из-за этого несчастного журналиста. Непокорное сердце заняло, хотелось кричать, и потом снова эта острая боль, такая нестерпимо знакомая, пронизывающая все тело... И все из-за этой размазни, из-за этого бесхарактерного непостоянного мальчишки...

Она закусила кончик носового платка. Этого еще недо-ставало—плакать! Нечего сказать, красивая сцена! Френсис яростно высморкалась. Правая нога соскользнула в лужу. Надо было надеть туфли на каучуке.

И с кем? С этой Сибиллой! С этой гробокопательницей! И у него еще хватает наглости писать мне: «В эту минуту я думал о Вас!» Идиот, идиот, трижды идиот! И я страдаю из-за такого идиота! «Не знаю, будет ли Вам от этого легче или же Вы окончательно вознегодуете».

Надо же быть таким дураком!

Она даже не подумает ему ответить. Нет, ответит! «Мне казалось, что Вы не похожи на других,—напишет она ему.—Я любила Вас за то бесконечное доверие, которое я испытывала к Вам. Вы растоптали мое чувство».

Целый час шагала она среди деревьев, сочиняя свое прощальное послание—великолепное и беспощадное. Но поставив последнюю точку, она почувствовала, что в душе у нее пустота, тоскливый холод, такой же унылый, как эта пелена дождя. Вдруг она спохватилась: я даже забыла

о его тропи. Она пожала плечами. Дождь становился все сильней и наконец перешел в настоящий ливень. Френсис туго стянула вокруг шеи шнурок капюшона. И вдруг вспомнила слова письма: «Возможно, меня даже повесят». Что еще за ерунда?! Типичный газетный стиль!.. Его повесят! И он воображает, что она поверит... С какой стати его будут вешать? Она не поняла и половины в этой путаной истории с тропи. Эту часть письма, несмотря на самые благие намерения, она прочла как в тумане. «Надо бы перечитать ее»,— подумала она, чувствуя, как в душу закрадывается тревога и раскаяние. Что же было написано в конце? «Жестокое и кровавое дело». Нет, слова «кровавое» там, кажется, не было. Впрочем, не было и «жестокое». Почему же тогда ей на ум пришло слово «кровавое»? Там же написано «опасное и трудное». Но почему же все-таки она решила, что «кровавое»? Страх зашевелился в душе, охватил все ее существо. Она быстрее запагала к дому. «Опасное и трудное предприятие»,— вспоминала она подлинные слова. Но что предстоит ему сделать? И почему, почему «опасное»? Она почти бежала.

Спустя час страдания Френсис, не потеряв своей остроты, приняла иной характер. Не то чтобы она простила Дугласу измену, но она перестала называть его про себя «несчастливым журналистом» и «размазней». Она снова взяла письмо, прочла и перечла последнюю страницу. И она знала, да, хорошо знала, что он выполнит все, о чем пишет. О мужчины, непонятные животные! С одной стороны, полнейшая бесхарактерность перед этой мерзкой Сибиллой, а с другой — такая решительность и мужество. И ради кого? Ради тропи. В первую минуту она почувствовала себя вдвойне оскорбленной. Но комизм происшедшего помог ей взять себя в руки. Еще раз перечитав письмо, она уже могла судить обо всем более здраво. Прежде всего она поняла, что с первой до последней строчки его письмо проникнуто глубокой и сильной любовью к ней, и, согретая этим открытием, Френсис должна была признать, сколько в Дуге подлинного благородства и мужественной требовательности. Короче, она поняла, что, по трезвому размышлению, бедный Дуг заслуживает скорее уважения и даже восхищения, нежели презрения и гнева.

Настолько заслуживает, что она даже начала обвинять

себя. Теперь, когда она разобралась во всем, история тропи показалась ей куда значительнее и важнее, чем ее собственные переживания. Ей стало стыдно. Внезапный порыв материнской любви к изменнику охватил ее, и неверность Дугласа, заброшенного в пустыню, представилась ей минутной слабостью, вполне простительной под небом пустыни. Даже Сибилы коснулась эта неожиданная умиротворенность.

Отныне душа Френсис была открыта всем тревоблениям. А вместе с тревоблениями в ней проснулось непреодолимое желание быть рядом с Дугом. Только бы не оставлять его наедине с химерами. Если, к счастью, думала она, уже слишком поздно предотвратить глупый шаг, пусть по крайней мере мы вместе разделим его последствия. Она послала телеграмму: «Поженемся немедленно», словно можно было немедленно пожениться, будучи разделенными расстоянием в двенадцать тысяч миль. Влюбленные, строя свои планы, не склонны принимать в расчет реальные обстоятельства. Но каким образом добраться к Дугласу без гроша в кармане? Ничего, она что-нибудь придумает. Или Дуг найдет какую-нибудь возможность вызвать ее к себе. Или они смогут оформить свой брак заочно. Разве в случае чрезвычайных обстоятельств закон не допускает подобную регистрацию браков? Нельзя же в самом деле помешать людям жениться только по той идиотской причине, что жених и невеста находятся на разных концах света.

Через два дня Френсис получила в ответ довольно длинную телеграмму. Дуг извещал о своем возвращении в Лондон. «Еду не один», — писал он. Первой мыслью Френсис было, что он возвращается с Сибиллой, и на какое-то мгновение ярость ослепила ее. Когда же, наконец, Френсис поняла, что, по всей вероятности, речь идет о тропи, она снова почувствовала себя «подлой» по отношению к Дугу. Но потом ей пришло в голову, что если он не упоминает о Сибиле, это еще не значит, что она не едет вместе с ним. Вскоре пришло письмо, но и оно не рассеяло ее сомнений, не пролило свет на загадочное «еду не один». Дуг просто писал, что Крепс, отец Диллиген и Гримы также готовятся к отъезду. Еще через несколько дней Дуглас сообщил, что он летит самолетом. Сначала Френсис успокоилась: не может же действительно один самолет захватить всю экспедицию со всем багажом и тропи. Но, с другой стороны,—

они всегда могут разделиться.

Френсис так ничего и не узнала вплоть до того дня, когда наконец она очутилась на аэродроме возле Слау и, не спуская глаз с туманного неба, ждала прибытия пассажирского самолета из Австралии.

Из самолета уже вышли все пассажиры, а Дуглас еще не появлялся. Френсис потеряла было всякую надежду, когда вдруг увидела его в дверях кабины. Сердце ее заколотилось: Дуглас был не один, он держал под руку какую-то женщину... Френсис сразу же отметила, что незнакомка была гораздо ниже ростом и гораздо полнее прекрасной Сибины. «Малайка», — пронеслось у нее в голове, так как путешественница была одета по-индийски, в просторном сари чудесного желто-коричневого цвета. И конечно, у нее большие глаза, иначе чего ради в такой сумрачный день она не снимает темных огромных очков, закрывающих чуть ли не половину лица. О, кажется, она замужем? Пассажир, который вышел из самолета последним, тоже весь-ма предупредительно подхватил ее под руку.

Так втроем они спустились по трапу, и Дуглас, увидев Френсис за белым барьером, улыбаясь, помахал ей рукой. Затем, все так же втроем, они пересекли поле между приземлившимся самолетом и зданием аэропорта. Женщина шла слегка сгорбившись и неуверенным шагом — так действительно ходят очень близорукие люди. Сопровождающие ее мужчины были полны предупредительности к своей даме.

Они вошли в здание аэропорта. И время, которое они там пробыли, показалось Френсис бесконечно долгим. Наконец первым вышел Дуглас. Они молча обнялись. Френсис беззвучно заплакала.

Когда (прошла всего одна минута или целый год?) Дуглас выпустил ее из своих объятий, совсем рядом оказалось поджидавшее их такси. Малайка и ее спутник уже сидели в машине. Дуглас помог Френсис сесть. Машина тронулась, и вдруг Дуглас совершенно неожиданным жестом снял с лица туземки, забившейся в темный угол такси, ее огромные черные очки.

Френсис едва не вскрикнула, хотя сразу же поняла, кто перед ней. Но «этого» она никак не ожидала.

— Ну как, она вам нравится? — спросил Дуглас.

Откровенно говоря, Френсис было вовсе не до того,

чтобы выносить суждения о наружности спутницы Дуга: ее ум и сердце переполняли вопросы. Но как заговорить в присутствии незнакомого юноши? («А это Мимс,— сказал Дуглас,— из Сиднейского музея».)

— Все прошло гладко?—спросила она вместо ответа.

— Как бы не так,—улыбнулся Дуглас.— Нам понадобилось одиннадцать виз и куча справок, удостоверяющих, что ей сделаны всякие прививки. Вы сами знаете, какую бурную деятельность требуется развить, чтобы достать такие бумажки даже для нас с вами. Так что можете представить, как мы намучились с нашей лжедамой: животное мы вообще не смогли бы провезти с собой. К счастью, во время войны мне раз шесть приходилось прыгать с парашютом на оккупированную территорию, и я привык орудовать с фальшивыми документами.

— А как она вела себя во время полета?

— О, совсем как взрослый человек!— с нежной улыбкой ответил Дуглас.

Тропи, чинно сидевшая на своем месте, то и дело поднимала на Дугласа горящий взгляд, полный ожидания и покорности. Дуглас улыбнулся и вынул из дорожной сумки, стоящей у его ног, завернутый в засаленную бумагу сандвич. Она следила за каждым его движением, как собака следит за обедающим хозяином в надежде получить от него лакомый кусочек. Дуглас, подбросив на ладони сандвич, словно мяч, поймал его на лету, тропи взвизгнула и рассмеялась совсем по-детски, обнажив сильные острые белые зубы с внушительными клыками. Дуглас протянул ей сандвич. Она взяла его своей смуглой рукой с длинными тонкими пальцами, ногти у нее были подпилены и покрыты красным лаком.

«У нее руки красивее, чем у меня»,—подумала Френсис со странным волнением. Тропи пережевывала сандвич своими мощными челюстями, угрюмо и степенно.

— Ее зовут Дерри,—сказал Дуг, повернувшись к Френсис.

Услышав свое имя, тропи перестала жевать. «У нее взгляд, как у Ван-Гога на том портрете с трубкой,—подумала Френсис.— А может быть, у самого Ван-Гога в начале его безумия глаза были как у тропи...»

— Дай!—сказал вдруг Дуглас, и Дерри покорно протянула ему остаток сандвича. Он передал его Френсис и, улыбаясь Дерри, подбадривающе кивнул ей головой. Та

внимательно посмотрела сначала на Дуга, потом на Френсис и, наконец, произнесла что-то вроде «bliss» или «prise», которое в общем так походило на «please»*, что Френсис, не колеблясь, протянула ей сандвич. Дерри сразу же вонзила в него зубы.

— Тс, тс! — сурово прикрикнул Дуглас, и она добавила «zankion»**.

— Откиньте у нее со лба вуаль, — попросила Френсис.

Дуглас повиновался. Теперь Дерри напоминала не то маргашку, не то портовую девку. Это двойственное сходство создавала доходящая до самих бровей челка. Без вуали оказалось, что лоб Дерри ненормально низкий. Сквозь пряди волос виднелись покрытые пушком уши, которые забавно двигались при жевании и были посажены слишком высоко.

— Куда это мы едем? — с удивлением спросила Френсис.

И действительно, машина шла уже не по дороге, ведущей в Лондон через Хаммерсмит, а свернула вправо, в сторону Виндзора. Дуглас, улыбаясь, сжал руку Френсис.

— Королевское общество антропологов отвело нам маленький домик в Саррее. Чудесный коттедж с небольшим садиком, затерявшийся в глубине леса. По крайней мере, — добавил он с улыбкой, — таким он мне представляется.

— Кому отвели?.. Дерри и вам?

— Дерри и нам. Ведь завтра, если вы не возражаете, мы непременно поженимся.

— Так уж и завтра?

— А почему бы и нет? Ведь мы и так слишком долго ждали, Френсис.

Хотя джентльмен, названный Мимсом, сразу же, как только тронулась машина, скромно отвернулся и не отрываясь смотрел на мелькавшие за окном поля, Френсис не решилась обнять Дугласа.

— Не будем терять оставшихся месяцев, — сказал он. Голос его прозвучал немного глухо и печально. Теперь уже Френсис сжала его руку, сжала тревожно, без улыбки. Она повернула к Дугласу свое лицо, на котором застыло напряженно-вопросительное выражение, углы рта у нее опустились, губы дрожали.

— Потом... — прошептал он. От тряски и глухого шума

* Пожалуйста (англ.).

** Испорченное английское "thank you" (спасибо).

мотора Дерри уснула. Она откинулась назад, голова ее склонилась, и она непринужденно прижалась щекой к плечу Мимса, которое тот предупредительно подставил. У нее были темные шелковистые веки с длинными и очень густыми ресницами. Тонкие губы приоткрылись, нескромно обнажив выступающие вперед челюсти и мощные клыки. Из-под прядей волос выглядывало слишком высоко посаженное ухо цвета спелого абрикоса. На лице спящей застыло выражение кроткой печали и настороженной жестокости.

Однако поженились Френсис и Дуглас не на следующий день, а только через одиннадцать дней, когда им удалось наконец выбраться в Лондон.

Устроить Дерри оказалось нелегким делом. Что происходило в этом маленьком загадочном черепе? В Сиднее во время карантина, предшествовавшего искусственному оплодотворению, она, по-видимому, привыкла жить одна — вдалеке от других тропи. Как настоящий верный пес, она привязалась к Мимсу, потом еще больше — к Дугласу. Рядом с ними все ей казалось нипочем. Однако в первую же ночь в Сансет-коттедже Мимс, проснувшийся от холода, обнаружил, что окно открыто и комната пуста. В конце концов Дерри нашли в саду: она забилась между тисовыми деревьями и решеткой, через которую не смогла перелезть.

Френсис терпеливо и насмешливо слушала догадки и предположения Дугласа и Мимса. Наконец, вмешавшись в разговор, она мягко заметила:

— Она просто ревнует.

— К кому?! — воскликнул Дуглас.

— Ко мне... Мы, женщины, понимаем друг друга, — добавила Френсис с неестественно кроткой улыбкой.

Дуглас покраснел до корней волос.

— Значит, вы меня не простили? — спросил он, когда они остались вдвоем. — Ведь я бы мог от вас все скрыть, — попытался он оправдаться совсем так, как и в своем письме.

— Мне достаточно было бы взглянуть на вас, мой бедный Дуг, когда вы произносите имя Сибилы, чтобы сразу же обо всем догадаться. Но сейчас речь идет только о Дерри. Вы думаете, она привыкнет?

— К чему?

— К моему присутствию...

— Неужели вы серьезно думаете, что она ревнует?

Однако догадки Френсис вскоре подтвердились. Не то

чтобы Дерри держалась враждебно в отношении Френсис. Напротив, она привязалась к ней так же, как и к обоим мужчинам. Но она совершенно не выносила, чтобы Френсис и Дуглас оставались вдвоем, вне ее поля зрения. В такие минуты она становилась нервной, молчаливой, бродила, ковыляя, по дому, открывала все двери. На следующую ночь, когда Френсис и Дуглас ушли к себе, Мимс привязал Дерри за руку к своей руке. Но она всю ночь так металась на циновке, что он ни на минуту не сомкнул глаз.

Решили провести опыт, который дал положительные результаты: следующую ночь Дуглас провел возле Дерри, и она спала спокойно. Френсис сменила Дугласа — Дерри спала так же хорошо. Но стоило Мимсу с веревкой на руке снова занять свое место, и поутру он обнаружил только веревку, а Дерри исчезла. Ей удалось высвободить руку, справиться с замком и пробраться в комнату Дугласа. Ее нашли спящей на коврик у его кровати.

Пришлось перепланировать весь дом. Ванную комнату, смежную с двумя спальнями, в одной из которых жил Мимс, в другой — Дуглас (а позднее чета Темплморов), переоборудовали для Дерри. Если двери в комнату Дугласа не запирались, Дерри спокойно засыпала с вечера. Тогда он мог запирается на задвижку, но под утро, если Дерри просыпалась первой, она прямо отправлялась к Дугласу, как бы желая проверить, один он там или нет. Дуглас прогонял ее, и она беспрекословно возвращалась к себе на циновку.

Но когда Френсис и Дуглас поженились и Дерри обнаружила их вместе, выставить ее из их спальни оказалось невозможным. Она улеглась на коврик возле кровати, и никакими силами нельзя было заставить ее сдвинуться с места: было ясно, что она скорее умрет, чем согласится уйти отсюда. Эти сцены повторялись каждый вечер. И бесспорно, Френсис была права, убеждая Дугласа не обращать внимания на это маленькое неудобство и не закрывать дверь на ключ. Если бы Дерри заметила это, она перестала бы им доверять.

Френсис забавлялась с Дерри, как маленькая девочка с новой куклой. Она сама помогала ей мыться. Ее приходилось мыть каждый день, иначе от нее начинало неприятно пахнуть, как от хищника в клетке. Первое время Френсис пампывала ее сама. Но Дерри слишком непосредственно реагировала на эти прикосновения: закрывала глаза, тихо

постанывала, казалось, она вот-вот упадет в обморок. Скоро Френсис научила ее обходиться без посторонней помощи и хохотала до слез, глядя, как Дерри с чисто жонглерской ловкостью орудует своими четырьмя руками, перебрасывая из одной в другую мыло, губку и щетку. Видя, что Френсис весело, Дерри тоже начинала смеяться.

В Лондоне Френсис накупила своей подопечной материи на платья. Вернее, на сари: в европейском костюме Дерри, с согнутой спиной и длинными руками, слишком походила на переодетую в человеческое платье обезьяну. Дерри явно нравилось одеваться. В ней даже пробудилось кокетство: если бы выбор оставили за ней, она носила бы только ярко-красные цвета. Но к украшениям она была совершенно равнодушна, и Френсис тщетно старалась заинтересовать ее безделушками. Повертев с минуту в руках бусы или браслеты, Дерри отбрасывала их в сторону. Очень трудно оказалось подобрать для нее обувь. Дерри не выносила туфель: обутая, она ковыляла как калека; не могла она привыкнуть даже к сандалиям, которые еще больше подчеркивали, что ноги ее служат также и руками.

Однажды Френсис решила ее подкрасить. Но результат оказался самым плачевным. Помада только подчеркнула полное отсутствие губ. А щеки под румянами казались еще более дряблыми и морщинистыми.

Присутствие Дерри и все те осложнения, которые она внесла в жизнь Френсис и Дугласа, не могли, как видите, в какой-то степени не испортить их «медового месяца». Получилось так, словно в свадебное путешествие им пришлось захватить с собой сироту-племянницу, к тому же еще девицу болезненную и обидчивую. Пропала радость одиночества вдвоем, но зато удалось избежать обратной стороны этого периода: мучительной взаимной «притирки» характеров и чувств. Но тем драгоценней казались минуты, когда, отделившись от тирании Дерри (чаще всего это было ночью), они оставались вдвоем. Как пылко тогда они любили друг друга! В их страсти причудливо сочетались беззаботность и отчаяние. Теперь Френсис знала, что счастье их недолговечно: обреченное счастье, отпущенное слишком скупой мерой. Наслаждаться им надо бездумно: только так можно было победить безнадежность. Теперь Френсис знала во всех подробностях планы Дугласа. Сначала она воскликнула: «Ты никогда не осмелишься на та-

кой шаг!» Но он спокойно ответил: «Ежедневно тысячи людей топят котят и щенков. Вряд ли кому-нибудь это доставляет удовольствие. Однако все это делают...» — «Но ведь то котята и щенки!» — «Ну и что ж?» — спросил Дуглас.

Френсис долго не могла решить, согласна она или нет с мужем. Она никогда больше не говорила Дугласу о своих сомнениях. Для него это вопрос решенный, к чему терзать человека понапрасну. Но затем, по мере того как она все яснее понимала, какие побуждения руководят Дугласом и какие последствия может иметь его поступок, она постепенно начала соглашаться с ним, сочувствовать его планам, потом одобрила их и наконец приняла. Нет, не просто приняла, а стала поддерживать со всей страстностью ума и сердца — сердца истерзанного, полного тревоги, но готового вынести все будущие страдания.

Тем временем на пароходе возвратились все члены экспедиции — Крепс, отец Диллиген и Гримы. Они привезли с собой двадцать самцов и оплодотворенных в разное время самок. На всю эту партию пришлось заключить особое соглашение с компанией фермеров. В одном из пунктов соглашения значилось, что потомство вывезенных в Англию тропи может быть востребовано компанией в любое время. По совету Дугласа это условие было принято, оно как нельзя лучше отвечало его планам.

Грим потребовал и сумел добиться от Королевского общества антропологов, чтобы приезд тропи в Лондон оставался в тайне и чтобы ему была предоставлена честь, на которую он имел полное право: первому сделать сообщение о *Paranthropus Erectus* в научной печати или в журналах. К счастью, излишняя развязность Джулиуса Дрекслера вызвала единодушное возмущение всех членов Королевского общества, что оказалось весьма на руку Гримам.

Таким образом, когда наступили сроки родов Дерри и других самок, привезенных в Лондон, о них еще ничего не было известно ни среди широкой публики, ни в деловых кругах, ни среди ученых. Поэтому у Дугласа были полностью развязаны руки, а этого он только и хотел.

Доктор Вильямс прилетел на самолете из Сиднея, чтобы присутствовать при родах. Самки разрешались от бремени в Кенсингтоне (с интервалами в несколько дней), в аудиториях музея, специально переоборудованных для этого случая. Исключение было сделано только для Дерри,

у которой Вилли принял младенца, как и предполагалось, в Сансет-коттедже.

Из Лондона были вызваны Грим и его жена. Месяца за два до этого Сибилла, зная наверняка, что застанет дома только одну Френсис, без всякого предупреждения приехала к ней. Когда они расстались, Френсис с радостью признала себя побежденной. В самом деле, думала она, все условности, весь строй наших чувств рушится перед такой женщиной. Непосредственность, обаяние, жизненная сила и то искреннее расположение, с каким Сибилла отнеслась к Френсис, сразу же как потоком смыли все уже порядком увядшие злые чувства.

Напротив, она неожиданно ловила себя на том, что Сибилла вызывает в ней необъяснимое, почти родственное чувство... А главное, было так очевидно, так ясно, что она не предъявляет и никогда не предъявляла никаких прав на Дуга; поэтому Френсис могла чувствовать себя в ее обществе куда более спокойно, чем, думалось ей, в обществе какой-нибудь другой менее откровенной женщины.

В дальнейшем она не всегда испытывала к Сибилле столь благородные чувства. Случалось, что образ непристойной Сибиллы, «естественной, как раковина», проскальзывал в какой-нибудь улыбке, жесте или слове. Но это длилось не больше минуты. Поток вновь уносил с собой все грязное, оставляя на берегах лишь светлый песок. Подчас Френсис раздражало также непринужденное поведение Дугласа в присутствии Сибиллы, свидетельствующее о его слишком короткой памяти. Дуглас действительно вел себя весьма непринужденно. Он первый, как это часто бывает, полностью и безоговорочно отпустил себе свои грехи.

В тайниках сердца Френсис страстно надеялась, что рождение детеныша тропи, слишком похожего на человека, поколеблет решимость Дугласа.

И вот новорожденный спал перед ними. С первого взгляда он ничем не отличался от всех прочих новорожденных: так же гримасничал, был такой же краснолицый и сморщенный. Но все его красновато-оранжевое тельце было покрыто тонким и светлым подшерстком, «будто свиной щетинкой», по словам Вилли. У него было четыре чересчур длинные ручки, слишком высоко посаженные оттопыренные уши и голова, как бы сросшаяся с плечами.

Грим открыл ему рот и сказал, что челюсть изгибается в виде подковы, более широкой, чем у настоящего детеныша тропи; возможно, надбровные дуги развиты не так сильно; череп... Впрочем, еще рано судить о черепе. В общем ничего интересного.

— Вы уверены в этом?—спросил Дуглас.

— Да,—ответил Грим.—Это тропи.

Френсис молчала. Вдруг она почувствовала, как две холодные руки обняли ее сзади. Это была Сибилла. Она увела Френсис в соседнюю комнату, и они долго просидели там вдвоем. Френсис все время судорожно сжимала руки своей подруги. Обе молчали. Но этот проведенный в молчании час окончательно скрепил их дружбу.

Френсис быстро справилась с минутной слабостью. На следующее утро она сама одела новорожденного—спеленала его, завернула в одеяло, прикрыла чепчиком его крошечный, покрытый пушком череп и положила на руки Дугласа, словно это был их собственный ребенок.

Спустя час Дуглас звонил у двери церковного дома в Гилдфорде. Пастор открыл не сразу.

— Прошла моя пора вставать до света,—извинился он.—Ужасные головокружения. Мои печень и желудок не ладят между собой. Полная анархия в стареющем государстве... Мне так же трудно убедить их жить в согласии, как и моих прихожан... Прелестное дитя,—сказал он, рассеянно откидывая край одеяльца.—Вы, я полагаю, хотите его окрестить?

— Да, сэр.

— Мы сейчас пройдем в церковь. Крестные, должно быть, уже там?

— Нет,—ответил Дуглас.—Я один.

— Но...—начал пастор, с удивлением взглянув на Дугласа.

— Меня принуждают к этому чрезвычайные обстоятельства, сэр.

— А!...—произнес пастор.—Понимаю, вы предложили свои услуги... Я слушаю вас, сын мой.

— Я только что женился, сэр. А это мой внебрачный ребенок.

Лицо пастора с чисто профессиональным искусством одновременно выразило строгость, понимание и снисходительность.

— Мне хотелось бы, чтобы эта церемония осталась

в тайне,—продолжал Дуглас.

Пастор закрыл глаза и кивнул головой.

— Говорят, у вас при церкви живет старый садовник с женой?.. Нельзя ли, сэр, попросить их...

Пастор продолжал стоять с закрытыми глазами.

— Очень хотелось, чтобы об этом знали только я и моя жена... Она с исключительным благородством отнеслась к рождению этого ребенка. И мой долг оградить ее от страданий, так сказать, от излишней гласности...

— Хорошо, мы сделаем все, как вы желаете,—ответил пастор.—Прошу вас, подождите минутку.

Вскоре он вернулся в сопровождении престарелой четы-садовника и его супруги. Все вместе они прошли в церковь. Старуха держала ребенка над купелью. Ей очень хотелось сказать Дугласу, чтобы доставить ему удовольствие: «Вылитый папочка!», но, хотя на своем веку она перевидала немало безобразных младенцев, такого, право...

Его записали под именем Джералд-Ральф.

— Рожденный от?..

— Дугласа Темплмора.

— И?..

— У матери нет фамилии. Она туземка из Новой Гвинеи. Ее зовут Дерри.

«Так вот почему он такой...»—подумала старуха.

Склонившись над книгой записей, пастор долго вертел перо в руках; он словно онемел, не зная, на что решиться. На сей раз он не сумел скрыть сурового осуждения, отразившегося на его лице. Наконец он записал в книгу, повторяя вслух каждое слово:

— ...и от женщины... туземки...

Потом попросил расписаться Дугласа, крестного и крестную. И молча закрыл книгу. Дуглас протянул ему пачку банковых билетов:— На ваши благотворительные дела.—Пастор все так же молча и степенно наклонил голову.

— Теперь мне придется,—начал Дуглас,—зарегистрировать его рождение в мэрии. Свидетелей у меня нет. Нельзя ли попросить вас еще...

Старики взглянули на пастора. Видимо, его ответный взгляд не выражал прямого запрещения.—Что ж, мы согласны...—сказала женщина, и все втроем они вышли. У старухи на языке вертелись десятки вопросов, но она не решалась задать их вслух. Она по-прежнему несла на руках

спящего ребенка. И старалась представить, какое лицо будет у этого мальчугана, когда он подрастет. Она уже видела его в школе, видела, как издевается над ним детвора. «Бедный малыш, придется ему горя хлебнуть...»

В мэрии дело тоже не обошлось без осложнений. Клерку, по его словам, никогда еще не приходилось записывать ребенка, «рожденного от неизвестной матери»! Он упрямо твердил:

— Английским законом это не предусмотрено...

Дуглас терпеливо разъяснял:

— Но ведь ребенок существует? Вот он, перед вами...

— Да...

— Если бы у него не было законного отца, ведь вы бы его все-таки записали, рождение любого ребенка должно быть зарегистрировано.

— Верно. Но...

— Эти люди подтвердят, что он родился у меня в доме, в Сансет-коттедже, что он крепче и носит мою фамилию.

— Но мать-то, черт возьми! Она же была там, когда его рожала! Должна же она существовать, должна же она быть известна, имя-то хоть должно у нее быть!

— Я уже сказал вам: зовут ее Дерри.

— Этого недостаточно для записи гражданского состояния!

— Но нет у нее другого. Я же вам говорю: она туземка.

Из этого изнуряющего состязания на выносливость Дугласу удалось выйти победителем. Клерк сдался; в конце концов он записал: «Мать — туземка, известная под именем Дерри».

Дуглас поочередно пожал руки всем присутствующим, щедро расплатился со «свидетелями», взял ребенка и направился в Сансет-коттедж.

До самого вечера Дуглас и Френсис сидели у колыбели спящего ребенка и не отрываясь смотрели на него. Чтобы придать себе мужества, молодая женщина старалась отыскать на маленьком красном личике признаки его животного происхождения. И конечно, их было немало. Не говоря уже о слишком высоко посаженных ушах, у него был очень покатым лоб с зачаточным костным гребнем, выступавшим под кожей, а маленький выдающийся вперед рот придавал его лицу сходство со звериной мордочкой. Чрезмерно развитая нижняя челюсть со срезанным подбород-

ком образовывала вместе с челюстной костью мощный выступ, шеи у него почти не было, и поэтому его плечи, казалось, почти срослись с основанием черепа. И хотя Френсис старалась сосредоточить все свое внимание на этих признаках, она никак не могла отделаться от ощущения, что перед ней — ребенок. Дважды он просыпался, кричал, плакал: маленький язычок дрожал в его широко открытом ротике. Он двигал своими крошечными ручками с розовыми ногтями. И Френсис, чувствуя, как мучительно сжимается у нее сердце, дала ему бутылочку с молоком. Ребенок жадно засосал и вскоре уснул.

В сумерках Дуглас и Френсис насмех пообедали. Потом они долго бродили по лесной тропинке, держась за руки и крепко перебирая пальцы. Оба молчали. Время от времени Френсис касалась щекой лица мужа или целовала ему руку. Когда окончательно стемнело, они решили вернуться домой.

Прежде чем подняться по лестнице, Френсис крепко обняла Дугласа, и они простояли так несколько минут. Потом она прошла к себе: она обещала Дугласу лечь спать, хотя ей было противно думать о сне. Пришлось выпить снотворное.

Дуглас сел за письменный стол и начал писать. Он постарался как можно полнее изложить события последних месяцев. Время от времени он откладывал перо в сторону и выходил выкурить сигарету в сад, где этой летней ночью как-то особенно громко шелестела листва, или садился с трубкой во рту в глубокое кожаное кресло, стоявшее в углу, а затем снова принимался за работу.

К четырем часам он кончил писать. Он распахнул окно; небо уже начинало бледнеть в первых лучах восходящего солнца. Ребенок проснулся и заплакал. Дуглас согрел рожок. Ребенок попил молока и снова уснул. Дуглас опять подошел к окну. Он смотрел на розовато-лиловое небо, которое постепенно становилось алым, затем закрыл окно, так и не дождавшись восхода солнца. Снял телефонную трубку и вызвал доктора Фиггинса из Гилдфорда. Дуглас извинился, что беспокоит его в столь ранний час, но речь идет, добавил он, о смертельном случае.

Шприц и синий флакончик с черно-красной этикеткой лежали в ящике стола. Он медленно наполнил шприц. Пальцы его не дрожали.

Глава
одиннадцатая

Шумный успех тропи в лондонском зоопарке. Дело Темплмора. «Друзья животных». Ассоциация матерей-христианок Киддерминстера. Можно ли лишать таинства крещения младенцев тропи? Молчание Ватикана. Смятение англиканской церкви. «Они мне набросят петлю на шею!» Отличительный признак.

К сентябрю, когда дело должно было слушаться в уголовном суде, Дуглас успел уже одержать первую победу — победу над общественным мнением. Нельзя сказать, чтобы все симпатии были на его стороне, далеко не все. Но газеты изо дня в день трубили о его процессе, о нем велись бесконечные споры и в Тутинге, и в Чесли, и в Оксфорде, и в Ньюкасле; Париж и тот начал поговаривать о нем, даже Нью-Йорк был заинтригован. Теперь уже нельзя было замять дело или обойти его молчанием.

Все началось с того, что «Дейли пикчер» поместила на своих страницах портреты Дерри и других самок тропи с их детенышами. А всем известно, как лондонцы вообще любят животных. (Когда в зоопарке родился белый медвежонок Брюмас, то там за несколько недель перебивало больше миллиона посетителей. «Видели ли вы Брюмаса?») Каждому не терпелось составить свое собственное мнение о тропи. Однако Ванкрайзен оказался человеком предусмотрительным, к тому же у него повсюду были связи: как только тропи прибыли в Лондон, министерство здравоохранения установило строгий карантин, запретив посещение зоопарка. Но и британские суконные фабрики пользовались не меньшим влиянием. Не успела «Дейли пикчер» поместить фотографии тропи, как со всех сторон — на что и рассчитывали — посыпались десятки тысяч писем с выражением протеста; и правительство, к которому в палате общин с весьма едким запросом обратился один из старых лейбористов, отменило запрещение. Наплыв посетителей был столь велик, что пришлось по воскресеньям, как и в период славы Брюмаса, чуть ли не в десять раз увеличить число автобусов. Вскоре успех тропи во много раз превзошел успех белого медвежонка.

Спорили буквально все: тропи — люди или обезьяны? Кто же, в конце концов, Дуглас: преступник или герой? Случалось, что, не придя к соглашению, старые, никогда

ранее не ссорившиеся подруги расставались навсегда, разругавшись на прощание, как рыночные торговки; устраивались свадьбы.

За несколько дней до начала судебного разбирательства «Ивнинг трибюн» в нескольких словах подвела итог этим жарким спорам:

«Что ждет Дугласа Темплмора: орден или виселица?»

В статье, помещенной под таким заголовком, описывалась драка, которой в Кингсвэй-холле окончился митинг «Друзей животных» (союз этот образовался из левого крыла расколовшегося «Общества покровительства животным» и обвинял последнее в чрезмерном попустительстве и нерадении).

Как только (говорилось далее в статье) было покончено с текущими делами, с места поднялась председательница союза.

— Через несколько недель,— произнесла она взволнованным голосом,— начнется суд над героем. Мы с вами бессильны повлиять на решение присяжных. Более того, мы даже, как вам известно, не имеем права открыто высказать свое мнение, ибо нас непременно обвинят в оскорблении суда. Но кто может помешать нам уже сейчас начать добиваться для Дугласа Темплмора почетного знака отличия? И разве не окажет в дальнейшем это обстоятельство влияния на приговор? Кто согласен со мной?

Но тут со своего места поднялась невысокая дама. Ей не совсем понятно, заявила она, какую, в сущности, услугу обществу оказал этот человек. Разве он не убил своего собственного ребенка?

— Он,— возразила председательница,— принес это маленькое существо в жертву его же братьям, которых гнусная компания фермеров Такуры собиралась обречь на ужасное рабство, на жизнь, полную мучений. Кто бы из нас не убил свою собственную кошку или верную собаку, лишь бы не отдать бедное животное в руки мучителей? Разве можно забыть о той страшной опасности, которая угрожала бы этим милым животным,— увы, мы знаем, что она и сейчас угрожает им,—если бы Дуглас Темплмор, совершив свой поистине героический поступок, не пожертвовал собой ради них.

Слово взял высокий худой мужчина с пушистыми светлыми усами.

Госпожа председательница, говоря о тропи,—начал он,—называет их «эти животные». Во-первых, называть их животными—значит играть на руку тем, кому не терпится превратить их в рабочий скот. Во-вторых, если они животные, то с какой стати наше общество должно вмешиваться в это дело? Ведь никто не собирается их истязать. Если только, конечно, госпожа председательница не считает истязанием животных то, что их заставляют выполнять работу, которая обычно выполняется людьми. И наконец, в-третьих, я сам тоже видел этих тропи. Видел, как они обтесывают камни, подбирают части машин, видел, как они забавляются. И я имею честь заявить госпоже председательнице, что они такие же люди, как она и я. И никакая там форма пальцев ног не заставит меня признать обратное. Что же касается Темплмора, то я прямо заявляю: он убил своего сына. Вот и все. Даже если бы у него родился сын от кобылы или от козы, все равно это был бы его ребенок, черт возьми! И я утверждаю, что, если каждому будет дозволено топить своих детей, как котят, Англия погибнет. Вот почему лично я голосую за то, чтобы его повесили!

Закончив свою речь, он собирался уже сесть на место. Но не успел. Его окружило с полдюжины, казалось бы, вполне миролюбивых дам, которые подступали к оратору с явным намерением расцарапать ему физиономию.—Значит, эти маленькие грациозные, чистые и ласковые создания—люди? Значит, эти милые животные—люди? Ну-ка, пусть он только осмелится повторить это еще раз!

Другие же в свою очередь принялись доказывать, что именно такие вот раздражительные дамы со своей любовью к тропи наверняка погубят их, потому что, сколько ни тверди...

Им не дали даже закончить. Раздражительные дамы получили подкрепление. В одно мгновение все присутствующие разделились на два лагеря: одни утверждали, что тропи—люди, другие, что они—животные. Напрасно председательница, отчаявшись навести порядок, звонила в колокольчик. Пришлось срочно вызвать полицию, дабы очистить зал.

Большое впечатление произвело также помещенное в «Таймс» открытое письмо Ассоциации матерей-христианок Киддерминстера.

«Сэр,—говорилось в нем,—мы просим разрешить нам со страниц вашей газеты обратиться к Его Святейшеству Пане и Его Милости Архиепископу Кентерберийскому...»

Далее по существу ставился вопрос, уже давно терзавший душу отца Диллигена: можно ли и должно ли лишать таинства крещения пятерых маленьких тропи, родившихся в зоопарке? Одна мысль, что над тропи не был совершен даже обряд малого крещения, «мучила их совесть матерей и христианок». Мысль эта «гнала сон от их глаз». А посему они умоляли папу и архиепископа сказать свое веское слово, решить наконец, надо ли принять эти маленькие существа в общину христиан.

Ватикан по-прежнему хранил упорное молчание. Архиепископ же в письме, свидетельствующем, по общему мнению, о его замешательстве, ответил, что, «действительно, перед всеми христианами встает весьма важный вопрос, который не может не волновать и не приводить в смущение наши души; однако, по имеющимся у него сведениям, вопрос о происхождении тропи явится решающим фактором на уже начавшемся процессе, и, следовательно, пока дело находится еще *sub judice**, было бы неуместным с его стороны высказывать свое мнение».

Итак, процесс, судя по всему вышесказанному, должен был начаться в достаточно накаленной атмосфере. Но если поначалу Дугласа радовало, что все население Британских островов так живо интересуется судьбой тропи, то теперь он начал опасаться, как бы океан бушующих страстей не поглотил основного вопроса.

Ежедневно на его имя в Вэйл-оф-Хелс приходили десятки писем; Френсис приносила их в тюрьму Вёрмвуд Скрабс. В одних письмах, и таких было большинство, его старались ободрить, в других оскорбляли, но и поклонники и хулители выводили его из себя.

— Эти идиоты на верном пути,—воскличал он,—но боже мой, с помощью каких нелепых доводов приходят они к истине!

— Почему же нелепых?—поинтересовалась как-то Сибила, которая иногда вместе с Френсис навещала Дугла-

* Под следствием (лат.).

са в тюрьме.— Мне кажется, наоборот...

— Они перепутали все на свете!— нетерпеливо ответил Дуглас.— Можно подумать, что я убил это маленькое существо лишь для того, чтобы доставить удовольствие «Друзьям животных»! Есть и такие, которые видят во мне только несчастную жертву. Знаете, что пишет мне один из этих кретинов? «Вы—новый Дрейфус!» Неужели я должен дать себя повесить, чтобы они наконец поняли, о чем идет речь?

Впрочем, в скором времени все, и даже Сибила, стали действовать ему на нервы.

— Что я ему сделала?— допытывалась она у Френсис.— Любое мое слово приводит его в бешенство.

— Он заслуживает снисхождения,— отвечала Френсис.— Не забывайте, что он рискует головой.

— Я и не забываю,— оправдывалась Сибила.— Но хоть вы-то не сердитесь на меня!— умоляюще проговорила она, замегив, что Френсис вдруг побледнела.— Объясните мне лучше, какую глупость я опять сказала.

— Я не сержусь, мне просто страшно,— призналась Френсис.— Страшно за него. Да и сам он, в конце концов, тоже боится. Если он выходит из себя, то лишь потому, что порой и вы рассуждаете так же, как те люди, которые, по его словам, накинут ему петлю на шею.

— Не понимаю,— прошептала Сибила.

— Они преуменьшают значение процесса. Большинство людей—и вы, Сибила, в том числе, признаетесь вы в этом или нет,—по моему глубокому убеждению, ждут лишь сохранения весьма неопределенного *status quo**. Конечно, им хотелось, чтобы тропи оставили в покое, а Дуга бы оправдала. Обо всем прочем они вообще стараются не думать.

— О чем прочем? О том, чтобы решить вопрос, люди тропи или нет?

— Да. Видите ли, этот вопрос волнует всех. И вас тоже, что бы вы там ни говорили.

— Меня это совершенно не волнует. Я по-прежнему считаю, что ставить вопрос в такой плоскости ненаучно.

— В конечном счете это одно и то же; и если только Дуг почувствует, что заседатели придерживаются той же

* Существующее положение (лат.).

точки зрения, что и все эти люди, и вы в том числе, и что они пытаются вывернуться, не разобравшись в существе вопроса, он сам, рискуя головой, сделает все возможное, лишь бы доказать свою вину. И судьям придется, поставив на карту его жизнь, сказать свое последнее слово, даже если оно будет стоить Дугласу жизни.

— Это же просто глупо!

— И все-таки он поступит именно так, Сибилла. И я не могу упрекать его, хотя при одной только мысли о подобном исходе у меня сердце разрывается. Но и он и я, мы недолюбливаем тех нерешительных игроков, которые сперва храбро ставят на карту все свое состояние и тут же, испугавшись, стараются взять свою ставку обратно... Неужели вы думаете, что он сможет примириться с убийством маленького тропи, если это ни к чему не приведет? И после всего, что произошло, спокойно умыть руки и уйти, поблагодарив суд за его снисходительность? Да для него это было бы самым страшным поражением.

— Небезызвестный Дон-Кихот также не желал забирать обратно своей ставки. Тропи очень милы, не спорю, но все они, вместе взятые, уверяю вас, не стоят жизни такого человека, как Дуг.

Френсис пожала плечами и тихо проговорила:

— Сейчас речь идет о вещах гораздо более важных!

— Более важных, чем?..

— Чем судьба тропи, Сибилла. Странно, что вы никак не можете этого понять.

— Но чего же в таком случае он ждет от процесса?

— Откровенно говоря, определить это пока еще трудно. Быть может, и впрямь это ни к чему не приведет. Нельзя сказать заранее.

— В таком случае это безумие!

— Возможно. А возможно, и наоборот: последствия будут самые неожиданные. Разве можно сказать наперед, как развернутся события. Вы помните капитана «Тайфуна»?

— Да... но... почему вы о нем вспомнили?

— Потому что Дуглас на него похож... Нужно ли обходить стороной циклон?— думал капитан. Пожалуй, так оно благоразумнее и для корабля и для собственной шкуры. Но тут он вспоминает о судовладельцах. «Да, этот рейс обошелся нам в копейку. Ну и сожгли же вы угля!»— скажут они. «Я сделал крюк в две тысячи миль, чтобы избежать бури»,— отвечу я. «Черт возьми!»— возразят они мне.—

Должно быть, действительно поднялся страшный ураган». «Страшный или нет, этого, видите ли, я не знаю, раз я обошел его стороной». Вот почему он решился идти навстречу ветру...

— И Дуг поступит так же. Нет,— вздохнула Сибилла,— никогда не смогу понять таких вещей... Ну что хорошего может выйти из всего этого?

— Не знаю... Может быть, всего лишь... еще одна «хорошая новелла». Послушайте, Сибилла, ведь вы сами... ведь вы же не верите ни в бога, ни в черта, я знаю... Но все-таки... Такое слово, как душа, оно вам на самом деле ничего не говорит?

— Нет, говорит,— ответила Сибилла.— Говорит, как и всем. При одном условии: пусть мне сперва объяснят, что она собой представляет. Или, вернее, каковы ее признаки.

— Как раз то же утверждает Дуглас!

— Что же удивительного,— улыбнулась Сибилла,— я сама подсказала ему эту мысль.

— Ну, а каковы эти признаки, могли бы вы ответить на такой вопрос, Сибилла?

— Если бы на него можно было ответить, все сразу стало бы ясным.

— А вам не кажется странным, что никто не может ответить на этот вопрос?— оживившись, спросила Френсис.— Подумайте только! Никто не оспаривает, что у любой негр-тянки с плоскогорья есть нечто общее с Эйнштейном, что отличает их обоих от шимпанзе; назовите это душой или еще как-нибудь. Но вот по какому признаку, говоря вашими же словами, Сибилла, мы узнаем, что это так? Трудно даже поверить, что люди столько времени спорят об этом и до сих пор не сумели найти ответа. До сих пор не сумели определить, что это за отличительный признак. Разве нет?

— Да, действительно, возможно...

— Вот вы, Сибилла, гордитесь тем, что для вас «не существует моральных принципов». Не потому ли их не существует для вас, что мы до сих пор не знаем, каков этот отличительный признак? И если бы мы установили этот признак, не повлиял ли бы он, хоть отчасти, на ваши поступки?

Сибилла задумалась.

— Возможно...— повторила она.— Вы коснулись моего больного места, Френсис. Обычно мне удается довольно

удачно скрывать свою слабость.—Голос ее неузнаваемо изменился.—Да, для меня «не существует моральных принципов...», но я этим не «горжусь», уверяю вас... Представьте, я почти всегда знаю, что думают обо мне люди... Но вы не догадываетесь, конечно, что порой это причиняет мне страдания. Конечно, не то, что они обо мне думают! А то, что все мои поступки полностью зависят только от меня одной, от собственных моих суждений... Иногда меня охватывает... такой ужас, что начинает кружиться голова... Вы удивлены, Френсис? Я казалась вам не столь уязвимой? Лучше «забронированной»? Все на свете уязвимы; броня—лишь видимость. Да, Френсис, на небесах никого нет, мы это знаем, и все-таки нам трудно привыкнуть к такой мысли. Привыкнуть к тому, что поступки наши не имеют никакого смысла... Что и хорошие и плохие могут случайно породить добро или зло... А бог всегда, всегда молчит... Мы определяем понятие добра и зла, основываясь лишь на своих собственных, непостоянных, как зыбучие пески, представлениях... И никто не приходит нам на помощь...—Она вздохнула.—Не так уж все это весело.

—Ну, а если,—тихо спросила Френсис,—ну, а если Дуг заставит наконец ответить... найти, раскрыть в конце концов этот *признак*, этот отличительный признак, которым должны обладать тропи, дабы мы смогли принять их в качестве равноправных членов в франкмасонское общество,—я имею в виду сообщество людей, которое требует наличия души у своих членов... Разве не на этом признаке основывалось бы все наше поведение, поведение людей? Не на зыбучем песке наших представлений, как вы говорите, не на призрачном расплывчатом определении добра и зла, а на незыблемом, как гранит, определении того, что есть человек... И даже разве вам, Сибила, не принесло бы это облегчение и спокойствие, разве не появилась бы у вас путеводная звезда?

—Что есть человек...—прошептала Сибила.

—Хотим мы того или нет,—в раздумье промолвила вполголоса Френсис.

—Что есть человек...—снова проговорила Сибила.

—Независимо от добра и зла,—добавила Френсис.

—Что есть человек...—еще раз произнесла Сибила.—А это действительно можно было бы узнать?—спросила она, словно школьница, и в голосе ее прозвучало наивное и трогательное волнение.—И вы думаете, что это можно будет

сделать?—повторила она через минуту все тем же тоном.

— Если это возможно для тропи, Сибила, то это так же возможно и для нас,—ответила Френсис.— Но для этого не надо... не надо считать Дуга Дон-Кихотом. Надо верить ему безоговорочно,—прошептала она с верой и болью.— Даже если всем нам суждено умереть, так и не увидев плодов его самопожертвования... В конце концов,—заклчила она с силой,—это ведь не в первый раз! Не в первый раз люди не внемлют шелесту дубов Додоны*... А потом, в один прекрасный день, их еле уловимый шепот превращается в песнь надежды.

Глава

двенадцатая

Сознание профессионального долга у доктора Фиггинса. Сведения о метизации, гибридизации и даже о телегонии. Осторожность доктора Балброу. Утверждение профессора Наача: «Покажите мне его астрагал, и я скажу, человек ли это». Противоположное мнение профессора Итонса. Спор о роли причастности. «Мысль породила руку человека». Странные выводы профессора Итонса.

— Доктор Фиггинс!

Это был первый свидетель, вызванный обвинением. Произнеся слова присяги, он подошел к месту, отведенному для свидетелей. Мистер Дрейпер, председатель суда, незаметно вытер лоб, под белым париком он буквально обливался потом. В этом году конец сентября выдался жаркий, душный, грозовой. Зал был так переполнен, что, казалось, стены его не выдержат напора публики.

Королевский прокурор, королевский адвокат, член парламента сэр К. В. Минчет «открыл огонь».

— Мы просим свидетеля,—начал он,—отвечать лишь на наши вопросы, не вдаваясь в излишние подробности. Как нам известно, седьмого июня в пять часов утра вас вызвали по телефону в Сансет-коттедж, куда вы и отправились. Констатировали ли вы там смерть новорожденного младенца мужского пола?

— Да.

— Вызвали ли вы в свою очередь полицию, дабы и она также констатировала смерть?

— Да.

* Город в Эпире, где, согласно преданию, находился древнейший из греческих оракулов—священный дуб Зевса.—Прим. ред.

— Последовала ли смерть от инъекции пяти сантиграммов стрихнина — дозы, смертельной даже для крупного животного?

— Да.

— Не заявил ли вам обвиняемый, что в то утро он сам сознательно сделал эту инъекцию?

— Да.

— Смогли ли вы сами установить, что данное заявление обоснованно?

— Да. Правильность его подтвердило также вскрытие, произведенное в моем присутствии судебным врачом.

— Нет ли у вас каких-либо оснований предполагать, что смерть могла бы произойти и при других обстоятельствах?

— Нет. При других обстоятельствах она не могла бы произойти.

— Ознакомились ли вы также с заявлением сэра Эдуарда К. Вильямса из Королевского колледжа хирургии, свидетельствующего о том, что обвиняемый несомненно является отцом жертвы?

— Да.

— Имеются ли у вас лично какие-либо основания ставить под сомнение авторитет самого сэра Эдуарда и не доверять сделанному им заявлению?

— Нет.

— Имеются ли у вас какие-либо основания сомневаться в том, что обвиняемый является отцом жертвы и виновником его смерти?

— Нет.

Прокурор с удовлетворенным видом сел на свое место.

Поднялся защитник, королевский адвокат мистер Б. К. Джеймсон.

— Доктор Фиггинс, внимательно ли вы осмотрели труп младенца? Не вы ли сами сказали при осмотре: «Это же не ребенок, это обезьяна?»

— Да.

— Придерживаетесь ли вы по-прежнему этого мнения?

— Да.

— Какие у вас на это имеются основания?

— Некоторые особенности строения его тела, одни из которых сразу бросаются в глаза, другие же я обнаружил во время вскрытия.

— Какие именно?

— Диспропорция частей тела; строение ноги, имеющее очевидное сходство с нижними конечностями обезьяны, поскольку большой палец стопы отделен от остальных глубокой выемкой; форма позвоночного столба, у которого полностью или почти полностью отсутствует поясничный изгиб, а также некоторые другие особенности лицевого угла и строения черепа.

— Сообщили ли вы свои замечания судебному врачу?

— Да.

— Подтвердил ли судебный врач правильность ваших слов?

— Да.

— Следовательно, вы считаете, что обвиняемый убил не человеческое существо, а звереныша?

— Да.

Адвокат поклонился и сел на место. Поднялся прокурор.

— Не говорится ли в заключении, данном судебным врачом, показания которого мы выслушаем позднее, что жертвой преступления является ребенок?

— Да, говорится.

— Если бы судебный врач придерживался того же мнения, что и вы, мог бы он сделать подобное заключение?

Этот вопрос был отклонен защитой.

Прокурор продолжал:

— Можете ли вы объяснить, каким образом, считая, что жертва не является человеческим существом, вы смогли составить свидетельство о смерти ребенка по имени Джералд-Ральф Темплмор?

— Как биолог я могу считать, что жертва по ряду характерных признаков ближе к обезьяне, нежели к человеку. Это мое личное мнение, но как врач я обязан был составить акт о смерти, поскольку существует совершенно официальный документ о рождении и поскольку я лично констатировал смерть.

— Признаете ли вы, таким образом, что все имеющиеся у вас сомнения относятся только к анатомическому строению жертвы, а не к ее гражданскому состоянию?

— Да, это так.

— Другими словами, вы признаете, что жертва с точки зрения закона является ребенком обвиняемого?

— Да.

Прокурор сел. Снова выступил представитель защиты.

— Доктор Фиггинс, считаете ли вы, что в данном случае закон должен восторжествовать над зоологией?

Прокурор отклонил вопрос, как побуждавший свидетеля высказать мнение, могущее повлиять на решение суда.

— В таком случае поставим вопрос несколько иначе, — сказал адвокат. — Доктор Фиггинс, если бы обвиняемый вызвал вас не для того, чтобы констатировать смерть жертвы, а для того, чтобы принять роды, согласились бы вы сообщить об этом рождении в мэрию?

— Нет.

— Даже если бы обвиняемый настаивал на этом?

— Все равно нет.

— Значит, если бы это зависело от вас, вы бы не признали за жертвой гражданских прав?

— Конечно.

— Также как вы не признали бы подобного права за собакой или кошкой?

— Да.

— Кстати, вы, кажется, лишь после долгих колебаний составили свидетельство о смерти? Не понудила ли вас к этому настойчивость обвиняемого? Не сам ли обвиняемый при помощи веских доказательств убедил вас в том, что жертва официально обладает всеми гражданскими правами?

— Да, это так.

Прокурор поднялся было с места, но председатель движением руки остановил его и начал:

— Суд, дабы восполнить пробелы в его познаниях в области зоологии, желал бы получить от вас, доктор Фиггинс, кое-какие сведения, если только вы, конечно, можете их дать: очевидно, жертва является плодом скрещивания. Для того чтобы убитого, как вы полагаете, можно было назвать обезьяной, необходимо, не правда ли, чтобы хоть один из родителей был обезьяной. Но если нам не изменяет память, одним из критериев определения вида служит то обстоятельство, что два индивидуума разных видов не могут иметь потомства?

Доктор Фиггинс кашлянул и ответил:

— Это, конечно, выходит за пределы медицины... Однако, милорд, возможно, я смогу быть полезным... Сельский врач всегда в какой-то степени ветеринар, он связан со скотоводами, интересуется их опытами. Итак, милорд, скрещивание может дать вполне положительные результаты

даже в том случае, если животные относятся к близким между собой породам, видам или — в отдельных случаях — родам. Продукт скрещивания у близких между собой пород называется метисом, у близких между собой видов и родов — гибридом. Естественно, что гибридизация удается гораздо реже, чем метизация.

— В интересующем нас случае мы, вероятно, имеем дело не с метизацией, а с гибридизацией?

— Не берусь этого утверждать, поскольку не знаю, к какому виду относится самка *Paranthropus*'а.

— Простите, — воскликнул председатель, — я вас не понимаю! Отцом ребенка был человек. Каким же образом ребенок мог оказаться обезьяной, если и мать принадлежит к человеческому виду?

— Это вполне возможно, милорд. Даже если в конечном счете самку *Paranthropus*'а следует отнести к виду человека (в чем я лично весьма сомневаюсь), то во всяком случае она принадлежит к племени, слишком отличному от современного европейца. А еще Дарвин заметил, что, например, потомство, полученное от спаривания двух домашних, но далеких друг от друга пород уток, обычно похоже на дикую утку. Объясняется это тем, что у метисов развиваются главным образом черты, присущие обоим родителям; а совершенно очевидно, что общие эти черты имеются лишь у их общего предка, то есть у дикого животного. В данном случае ребенок мог объединить в себе обезьяньи черты общего предка *Paranthropus*'а и человека, другими словами, черты какого-то общего древнейшего примата.

— И таким образом больше, чем его родители, походить на обезьяну?..

— Да... Но, возможно, произошло и нечто другое, милорд. Возможно, тут имела место телегония.

— Что это такое?

— Телегония — это влияние первого самца на последующее потомство самки, родившееся уже от других самцов. Факт подобного влияния отрицается биологами, как не поддерживающий научной критики, но его признавали и признают все скотоводы. Наиболее известный случай — это случай с кобылой лорда Мортонa. Сперва ее спарили с зеброй и получили метиса. Затем ее уже спаривали с жеребцами ее же породы, но она по-прежнему приносила полосатых как зебра жеребят. Если мы признаем телегонию, то тогда вполне возможно, что самка, о которой идет речь,

уже имела детеныша от самца своей же породы или от какой-нибудь большой обезьяны; и последующее потомство — результат скрещивания ее с человеком — сохранило черты первого производителя.

— Итак, обобщая все сказанное вами, вы считаете невозможным делать какие бы то ни было точные или даже приблизительные выводы о природе жертвы, исходя лишь из того факта, что она родилась от человека?

— Да, я думаю, это было бы неосторожно.

— Значит, вы можете повторить под присягой ваши слова? А именно, что жертву нельзя считать человеческим существом?

— Под присягой? Нет, милорд. Еще раз повторяю, это лишь мое сугубо личное мнение. И вполне возможно, что правы те, кто придерживается в данном вопросе противоположной точки зрения. Вообще я полагаю, что врачи-практики вроде меня не компетентны в подобных вопросах: их должны решать специалисты, то есть антропологи.

— Суд благодарит вас. Есть ли еще вопросы у обвинения? Нет. У защиты? Также нет. Вы свободны, доктор.

Место доктора Фиггинса занял судебно-медицинский эксперт доктор Балброу.

Это был седой как лунь старик с изможденным землистым лицом. Он сильно сутулился.

— Сообщил ли вам доктор Фиггинс во время вскрытия свои замечания о строении тела жертвы? — обратился к нему прокурор.

— Сообщил, — ответил свидетель.

— Пришли ли вы к тому же выводу, что и он?

— Нет.

— К какому же выводу пришли вы?

— К выводу, что смерть жертвы последовала от введения смертельной дозы стрихнина.

— Вас не об этом спрашивают, — вмешался председатель суда.

— Нам хотелось бы узнать, — продолжал прокурор, — какие выводы сделали вы из этих наблюдений, то есть считаете ли вы жертву человеком или обезьяной?

— Никаких выводов я не сделал.

— Почему?

— Потому что в мои профессиональные обязанности не входит делать подобного рода выводы.

— Однако ж вы передали результат вскрытия полиции для того, чтобы та начала дело об убийстве,—сказал прокурор.

— Совершенно верно.

— Но ведь нельзя назвать преступлением убийство обезьяны! Следовательно, вы пришли к выводу, что от руки убийцы пал человек!

— Ни к какому выводу я не пришел. Я лишь обязан выяснить причину смерти, и только. Остальное касается суда, а не меня.

— Никогда не слышал ничего подобного!—воскликнул прокурор.

— Но ничего подобного никогда и не происходило,—возразил свидетель.

— Значит, вы решительно отказываетесь высказать свое мнение?

— Решительно.

Так ничего больше от доктора Балброу и не смогли добиться. Тогда вызвали известного антрополога — члена Королевского общества антропологов профессора Наача. Королевский колледж естественных наук, к которому обратился суд, рекомендовал его в качестве эксперта, каковой должен был дать необходимые разъяснения о природе жертвы. Это был уже немолодой человек, с лицом, изрытым морщинами, с взлохмаченными волосами, по которым он то и дело проводил ладонью, тщетно пытаясь привести в порядок свою седеющую шевелюру. Он плохо слышал, и голос у него оказался неприятным, хриплым. Не успел прокурор закончить свой вопрос, как он начал пронзительным голосом, отрубая слова:

— Это же просто идиотство! Что вы хотите узнать? Люди ли эти существа? Конечно, люди! Высекают они огонь? Высекают! Обтесывают камни? Ходят прямо? Ходят. Да вы взгляните на их астрагал! Видели ли вы когда-нибудь обезьян с подобным астрагалом? Не стоит вам его и описывать, все равно ничего не поймете! Есть такая кость в стопе. Одного астрагала было бы достаточно. Не говоря уже о костях плюсны, длинных, как фаланги! У них большой палец на ноге развит так же, как у обезьян? Ну и что же? Есть же у нас аппендикс и остаток третьего века, который достался нам по наследству от плезиозавров; а для чего они нам сейчас? Должно быть, еще недавно, каких-нибудь пятьдесят или сто тысяч лет назад, эти тропи

жили на деревьях, вот и все. А теперь не живут и ходят прямо, как и мы. В каждом из нас есть нечто от обезьяны! Посмотрите на детей, которые учатся ходить: ходят так же, как шимпанзе, ставят стопу боком, а не опираются на нее целиком. Взгляните на большой палец ноги современных веддов: он столь подвижен, что им свободно можно поднять с земли шестипенсовую монету! Что же, выходит, они не люди? Нужно договориться о том, кого мы называем человеком. Кем были люди Нгандонга? А человек, кости которого откопали совсем близко отсюда, в Питтдауне? Череп у него, с нашего позволения, совсем такой же, как у нас с вами, милорд, а челюсть, как у гориллы. Но держится прямо — значит, человек. Вот почему важна форма астрагала, на который опираются при ходьбе: если астрагал узкий и тонкий — значит, обезьяна; если широкий и плотный — значит, человек. Вот и все. Что, что?

Приложив лодочкой ладонь к уху, он обратил к суду свое нервически подергивающееся лицо.

— Я обращаюсь к защите! — прокричал судья. — Имеются ли у нее вопросы?

— Нет, милорд, — ответил адвокат. — Но мы хотели бы, чтобы с разрешения суда был заслушан один из наших свидетелей.

Обвинение высказалось против. Защита заметила, что показания профессора Наача доступны лишь специалистам и таким образом она, то есть защита, лишается своего священного права задавать вопросы свидетелям обвинения. Суд удовлетворил ходатайство защиты, и для свидетельских показаний был вызван член Королевского общества естественных наук, член Королевского общества палеонтологии и Имперского колледжа антропологии профессор Итонс. Высокий, спокойный, изысканно вежливый, с застывшей улыбкой на губах, он казался полной противоположностью своего ученого предшественника.

— Труды профессора Наача, посвященные сравнительному изучению астрагала шимпанзе, австралопитека и японки, равно как и наблюдения Ле Гро Кларка, безусловно, относятся к числу наиболее авторитетных. Однако у нас есть все основания опасаться, что выводы сделаны слишком поспешно. И я, к сожалению, должен довести до сведения суда, что ему пришлось выслушать множество самых неленых высказываний. Нам прекрасно известно, что

профессор Наач в своей теории исходит из учения великого Ламарка, каковой полагал, что у людей были живущие на деревьях четверорукие предки, которые затем, спустившись с деревьев и покинув леса, постепенно стали двурукими. Но судя по последним исследованиям...

— Мы не в состоянии следить за ходом вашей мысли,— прервал его судья.— Попросил бы вас выражаться яснее.

На эту реплику судья решился лишь потому, что заметил побагровевшие от напряжения лица присяжных, не спускавших со свидетеля беспокойного взгляда широко открытых глаз.

— Я говорю об учении Ламарка и его школы,— продолжал свидетель,— согласно коему, как я уже имел честь заявить, предки человека жили на деревьях, подобно обезьянам, и так же, как и они, имели две пары рук, что позволяло им цепляться за ветки. Впоследствии они покинули леса, в связи с чем постепенно менялись их нижние конечности, приспособляясь к передвижению по твердой земле. Таким образом, по мнению представителей этой школы, и сформировалась нога человека в том виде, в котором она существует ныне. Видимо, профессор Наач разделяет эти взгляды. К сожалению, последние данные сравнительной анатомии говорят не в пользу этой теории. Сопоставление конечностей всех млекопитающих — сошлюсь, например, на последние труды Фрешкопа — показывает, что нога человека не только не является дальнейшей ступенью в развитии стопы обезьяны, но, наоборот, по своему строению представляет собой гораздо более примитивный и грубый орган. Нога обезьяны, хотя на первый взгляд подобное утверждение может показаться парадоксальным, сформировалась значительно позднее, чем наша; не исключена возможность, что человек унаследовал ее от тетраподов третичного периода. Из чего явствует, что те индивидуумы (как, например, тропи), чье строение ноги имеет хотя бы отдаленное сходство со стопой живущих на деревьях обезьян, не относятся к той ветви, от которой произошел человек.

— Таким образом, из ваших слов следует,— спросил судья,— что у наших млекопитающих предков уже миллионы лет назад была точно такая же нога, как у современного человека?

Свидетель подтвердил, что так оно и было.

— И что усовершенствовалась она у обезьян, когда те

стали жить на деревьях, то есть произошло как раз обратное тому, что утверждал Ламарк, а именно что нога человека, как таковая, появилась тогда, когда он спустился с деревьев?

— Да, именно так.

— Из этого, по вашему мнению, следует, что у представителей той ветви, от которой произошел человек, всегда были такие ноги, как у нас, и что эта ветвь в своем развитии не прошла через стадию обезьяны?

— Совершенно точно.

— И наконец, что тропи, имеющих такое же строение ноги, как и обезьяны, нельзя отнести к тому биологическому виду, у которого на протяжении всего его развития была такая же нога, как у современного человека...

— Да, это как раз то, что мы называем *philum**. Тропи не могут принадлежать к тому *philum*'у, который привел к созданию человека.

— Другими словами (если только мы вас правильно поняли), тропи как бы находятся в конце *philum*'а обезьян, а не в начале *philum*'а людей; словом, по-вашему, тропи — не какое-нибудь, как можно было бы предположить, пусть даже очень примитивное племя, а необычайно развитая порода обезьян?

— Да, именно так. Профессор Наач говорил: «Они высекают огонь, они обтесывают камни!» Но ведь теперь, когда найден синантроп, мы знаем, что высекать огонь и обтесывать камни умели даже такие примитивные, мало чем отличающиеся по своему развитию от шимпанзе существа. Вообще достаточно внимательно понаблюдать за тропи, и станет ясно, что они скорее следуют некоему внутреннему стимулу, нежели повинуются голосу разума... Таким образом, — заключил профессор Итонс, — тропи весьма подходит данное им название *Paranthropus*: они похожи на людей, но это не люди.

Профессор Наач, словно школьник, уже тянул со своего места руку. Прокурор попросил суд предоставить ему слово. Суд дал согласие.

— Это неслыханно! — воскликнул Наач прямо со своего места, что в этих стенах было случаем поистине беспрецедентным. Судья попытался было прервать его, но тщетно. Представитель защиты, улыбаясь, махнул рукой, как бы

* Тип (лат.).

говоря: «Простим свидетелю его рассеянность — пусть себе говорит с богом!» — Неслыханно! — продолжал ученый, не заметив этой паptomимы. — Стимул? Что такое стимул? Все — стимул! Логическое мышление — и то стимул! Ведь должно же оно чем-то быть вызвано? Должно. Это вам не чудеса в решете! Химические процессы мозга и тому подобное! Стимул, разум! Пустые слова. Одно лишь имеет значение: то, что они делают, и то, чего не делают. Синантроп? Возможно, он был человеком, почему бы и нет? Покажите мне его астрагал, и я вам скажу. Черт возьми, господин профессор Итонс, неужели вы забыли Аристотеля? Что создало человека? — говорил он. — Мысль, а мысль — это рука. Все органы животных выполняют всегда одни и те же, и притом неизменные, функции. А рука может стать и крючком, и щипцами, и молотком, и шпагой — любым инструментом, при помощи которого она как бы удлиняется. Вот оттуда-то и вытекает необходимость мышления. А что высвободило руку, профессор Итонс? Прямостояние. У четвероногих рук не бывает? Не бывает. А раз нет рук, нет и мысли. Если астрагал плохо развит, прямостояния нет. Так что же породило мысль? Астрагал. От этого не уйдешь. Может быть, желаете возразить?

— Обязательно, если разрешит суд, — ответил его коллега с почтительной улыбкой, отвесив поклон в сторону председателя.

Судья вопросительно взглянул на обвинение. Но прокурор, решив быть столь же снисходительным, как и защита, изящным движением поднял белую тонкую руку.

— Суд полагает, что свободный обмен мнениями в данном случае желателен, — сказал судья, — поскольку дело идет уже не о свидетельских показаниях, а о сопоставлении различных точек зрения экспертов. Слово предоставляется вам, профессор.

Тот вежливо поклонился и начал:

— «Рука породила мысль», — утверждает мой высокоуважаемый коллега. С его разрешения, я постараюсь доказать вам обратное. Не рука породила мысль, а мысль породила руку... Не слишком ли парадоксальное мнение? — спросите вы. Отнюдь нет, попробуйте просто изменить порядок слов: разум, рука, прямостояние. Именно потому, что человек начал мыслить, он встал на ноги и тем самым освободил руки. Вот истинная формула Аристотеля: мысль создала руку человека.

— Ну и что же,— крикнул с места Наач,— у тропи есть руки? Есть.

— И у обезьян также...

— Следовательно, они думают? А может быть, они еще и ходят прямо? Неслыханно!— воскликнул Наач.— Неслыханно! Просто галиматья.

— ... И у обезьян также есть руки,— терпеливо закончил Итонс,— но сознательно они еще ничего не умеют делать руками, потому они не пытаются освободить их, приняв вертикальное положение.

— Ну, а тропи уже освободили руки, раз они держатся прямо! Значит, они люди.

— Этого недостаточно.

— Что же тогда еще нужно?

— Нужен целый комплекс, профессор Наач, и вы это сами прекрасно знаете. Из тысячи шестидесяти пяти отличительных признаков, обнаруженных Кейтом при сравнительном изучении анатомии человека и различных видов обезьян, как-то: величина черепной коробки, число спинных позвонков или же число зубных бугорков и т.д., две трети присущи как человеку, так и различным обезьянам, остальные же характерны лишь для того, кого мы именуем *homo sapiens*. И если у индивидуума отсутствует хотя бы один из этих признаков, и не только один из таких специфических, как, например, количество нейронов серого вещества или строение самой нервной клетки, но и такие, как форма и строение зубов, соотношение грудной клетки и позвонка или даже их отростков; если только мы отметим, повторяю, отсутствие хотя бы одного из этих признаков,— мы уже не вправе считать этого индивидуума человеком в полном смысле этого слова.

— А кем же в таком случае вы считаете неандертальского человека?

— Он не принадлежит к *homo sapiens*. Мы называем его так только ради удобства.

— А ведды, пигмеи, австралийцы и бушмены?

Пожав плечами, Итонс сокрушенно улыбнулся и беспомощно развел руками.

— Честное слово, профессор,— воскликнул Наач,— уж не согласны ли вы с гнусной статьей Джулиуса Дрекслера?!

— Статья Джулиуса Дрекслера,— спокойно возразил Итонс,— открывает перед наукой вполне разумные перспективы. Возможно, некоторые его выводы носят следы из-

лишней поспешности и несколько упрощены. Но он совершенно прав в той ее части, где защищает неприкосновенность и независимость науки и напоминает нам, что последняя не нуждается в сентиментальных или так называемых гуманных предрассудках. Добиться равенства между людьми — задача, несомненно, благородная, но она должна интересовать биолога, как говорил мой учитель Ланселот Хогбен, лишь после восьми часов вечера... И если наука в конце концов докажет, что настоящим человеком является лишь белый человек, если она установит, что цветных нельзя считать людьми в полном смысле этого слова, мы, безусловно, сочтем этот факт прискорбным. Но обязаны будем согласиться с подобными выводами. И должны будем признать, что правы были не мы, а наши предки, некогда превратившие их в рабов, тогда как мы, исходя из чисто научной ошибки, неосмотрительно признаем их равными себе. Было бы правильнее, как говорит Джулиус Дрекслер, пересмотреть вообще весь вопрос и таким образом...

Ропот возмущения пронесся по залу, постепенно он перерос в яростный гул, заглушивший голос профессора Итонса, который, не переставая вежливо улыбаться, умолк. Судья Дрейнер взглянул на свои часы. «Скоро шесть — весьма кстати», — подумал он. И, встав, покинул зал заседания. Публику попросили удалиться.

Глава тринадцатая

Размышление судьи Дрейнера о британском гражданстве как о человеческой личности. Размышление о человеческой личности вообще. У всех народов есть свои табу. Неожиданное вмешательство леди Дрейнер. «У тропи нет амулетов». У всех народов есть свои амулеты.

Обычно сэр Артур доезжал до своего клуба на автобусе; это был тот самый знаменитый Реформ-клуб на Пелл-Мелл, откуда одним дождливым утром отправился в кругосветное путешествие Филеас Фогг. Там судья спокойно прочитывал номер «Таймс» и затем часам к восьми возвращался в Онслоу-меншнс, расположенный в районе Челси. Но на сей раз он решил, что в такой чудесный теплый вечер гораздо приятнее пройтись пешком. На самом же деле впервые за тридцать лет ему не хотелось видеть своих старых одноклубников, не хотелось даже молча просмат-

ривать в их присутствии вечерние газеты.

Размеренным, спокойным шагом шел он по набережной Темзы и думал о только что окончившемся заседании суда. «Что за странный процесс»,— пробормотал он. Ему было известно, какие именно соображения заставили Дугласа отдаться в руки правосудия. Мужественные, благородные соображения. «Но ведь,— думал он,— получается так, что обвинение выдвигает против него его же собственный тезис: тропи — люди. А защита обязана доказывать обратное, и, желая убедить нас в том, что тропи животные, она вызывает свидетелей, проповедующих как раз ту самую расовую дискриминацию, борясь против которой обвиняемый рискует своей жизнью; и он вынужден согласиться с такой системой защиты, при которой выдвигаются положения, прямо противоречащие его цели... Что за путаница! К тому же, если будет доказано, что тропи животные, победа останется за компанией Такуры... Потому симпатии подсудимого должны быть на стороне обвинения... Одним словом, только ценой своей смерти он может выйти победителем. И лишь потерпев поражение, может спасти свою жизнь... Интересно, отдает ли он себе в этом отчет, задумывался ли над последствиями? Трудно сказать, тем более что сам он не говорит ни слова, отказывается от выступлений».

Вечерело, какой-то особенно прозрачный голубой туман окутал город, и прохожие встречались и расходились плавно и молча, словно статисты в балете. Судья смотрел на них с новым для него чувством любопытства и симпатии. «Вот оно, человечество,— думал он.— Относятся ли к нему тропи? Странно все-таки: задаешь себе подобный вопрос и не можешь сразу же на него ответить. Странно, но приходится признать, что происходит это оттого, что мы сами еще не знаем, чем же мы от них отличаемся... Надо сказать, что мы никогда не задумываемся над тем, что такое человек. Нам достаточно уже и того, что мы люди; в самом факте нашего существования есть некая очевидность, не нуждающаяся ни в каких определениях...»

Стоя на небольшом возвышении, «бобби» не спеша, с чувством собственного достоинства регулировал уличное движение.

«Вот ты говоришь себе,— растроганно подумал сэр Артур,— вот ты говоришь: «Я полисмен. Я регулирую движение». И ты знаешь, что это означает. Порой тебе случается

говорить: «Я британский гражданин». Это тоже вполне определенное понятие. Но сказал ли ты хоть раз за всю свою жизнь: «Я человеческая личность?» Подобная мысль показалась бы тебе смешной; уж не потому ли, что она чересчур неопределенна: ведь будь ты только человеческой личностью, ты бы не чувствовал под ногами твердой почвы?». Судья улыбнулся. «А чем я лучше его?—продолжал он размышлять.—Я тоже думаю: я судья, мой долг—выносить правильные решения. Если меня спросят, кто я, у меня готов и другой ответ: «Я верноподданный его величества». Насколько проще определить, что такое англичанин, судья, квакер, лейборист или полисмен, чем что такое человек, просто человек!... И вот вам доказательство—тропи... Все-таки куда удобнее чувствовать себя чем-то таким, что не требует никаких пояснений.

И теперь по вине каких-то несчастных тропи,—продолжал думать он,—я вновь запутался в тех не имеющих ни конца, ни начала вопросах, которые пристало решать двадцатилетнему юнцу... Запутался или, наоборот, снова вышел на правильный путь?—пудумал он вдруг с неожиданной для самого себя откровенностью.—А в конце концов, почему перестал я задавать себе эти вопросы, были ли у меня на то достаточно веские основания?»

Когда его назначили судьей, он еще не достиг возраста, необходимого для замещения судейской должности в Соединенном Королевстве. Он помнил, как мучили тогда его вопросы: «Что дает нам право судить других? На чем мы основываемся? Как определить основное понятие виновности? Что за нелепое стремление—проникнуть в душу и сердце человека! Что за абсурд: умственная неполноценность смягчает вину преступника, она как бы частично снимает с него ответственность, и мы судим его менее сурово. Но почему умственная неполноценность служит ему оправданием? Очевидно потому, что он менее других способен подавлять свои инстинкты; но, стало быть, он может вновь совершить преступление. Как раз его-то и нужно было бы лишить возможности приносить зло окружающим; его следовало бы судить более сурово, чем человека, для которого нельзя найти подобного рода смягчающих обстоятельств, поскольку разум и мысль о перенесенном наказании скорее дают нам силу подавлять свои инстинкты. Но какое-то чувство говорит нам, что это было бы бесчеловечно и несправедливо. Таким образом, общественное

благо и справедливость совершенно несовместимы». Он вспомнил, что в ту пору его так измучили все эти вопросы, что он чуть было не отказался от обязанностей судьи. Но со временем он очерствел; правда, не так, как большинство его коллег, невероятная черствость которых и сейчас удивляла его и ставила в тупик. Тем не менее с годами он так же, как и все прочие, решил, что не стоит терять зря время и силы на эти неразрешимые вопросы, и с несколько запоздалой мудростью целиком положился на установленный порядок, традиции и на юридические прецеденты. И даже с высоты своего преклонного возраста с презрением поглядывал на ту самонадеянную молодежь, которая тщится противопоставить свою собственную крошечную совесть всему британскому правосудию!..

А тут на склоне лет он столкнулся с поразительным случаем, который вновь выдвинул перед ним все те же проклятые вопросы, потому что никакой установившийся порядок, никакие традиции, никакие юридические прецеденты не в состоянии тут помочь! И он сам не смог бы положить руку на сердце сказать, сердит ли это его или радует. Но, судя по тому бунтарски непочтительному смеху, который клокотал в груди, как бы служа беззвучным аккомпанементом хору его сокровенных мыслей, он вынужден был признать, что скорее радует; к тому же вся эта история как нельзя лучше отвечала юмористическому складу его ума. А потом, сэр Артур любил свою молодость. Любил и был счастлив оттого, что она оказалась права.

Вступив на стезю восхитительного отступничества, он безжалостным, критическим оком пересматривал эти установившиеся порядки, прецеденты, почетные традиции. «В конце концов,— думал он,— и у нас, как у дикарей, существуют тысячи табу. Можно — нельзя. Ни одно из наших требований или запрещений не покоится на незыблемом фундаменте. Ведь все то, что связано с понятием «человек», можно постепенно разложить, как в химии, на отдельные компоненты и свести к простейшей основе, к определению того, что же мы считаем человеческим. Но именно эту-то основу мы никогда и не пытались определить. Просто невероятно. А необоснованные запрещения — те же табу. Мы так же свято, как и дикари, верим в законность, в необходимость своих табу. Единственное различие в том, что мы сумели усовершенствовать свои табу. Мы создаем их, опираясь не на магию, или тотем, а на философию и религию.

А теперь ищем им объяснение даже в социологии и истории. Порой нам приходится выдумывать новые табу. Или на ходу видоизменять старые (что, впрочем, бывает редко). Или, если вопреки традициям эти табу начинают казаться нам слишком устаревшими или слишком вредными, мы подновляем их. Я согласен, что в целом все это хорошие, превосходные табу. Чрезвычайно полезные табу. Необходимые для жизни общества. Но тогда на чем мы должны строить свои суждения о жизни общества? И не только о той форме, в какую она вылилась или может вылиться, но вообще судить о том, хороша она или нет сама по себе или просто необходима для чего-то другого. Но тогда для кого? Для чего? Ведь все это тоже табу и ничего больше».

Он остановился на самом краю тротуара, ожидая сигнала, разрешающего переход.

«У нас, у христиан,— думал он,— по крайней мере имеется евангелие, заповеди, которые учат: «Возлюби ближнего своего как самого себя. Подставь левую щеку...» А ведь это находится в вопиющем противоречии с основными законами природы. Вот потому-то мы и считаем, что эти заповеди столь прекрасны. Но что прекрасного в том, что мы противопоставляем себя природе? Почему именно в этом пункте должны мы отвергать законы, которым подчиняются все животные? «Такова воля господня»,— этого, конечно, достаточно, чтобы заставить нас исполнить долг свой, но отнюдь не достаточно, чтобы растолковать его нам. Пусть меня повесят, если все это не просто табу!»

Он переходил улицу прямо напротив Вестминстер-бридж. «Если бы я высказал подобные мысли вслух, все бы решили, что я богохульствую. Но я вовсе не богохульник. Ибо я глубоко убежден в справедливости евангельских заповедей, табу они или нет. И возможно, именно потому, что они порывают с природой, с ее слепым волчьим законом взаимного пожирания. И вообще, не является ли милосердие, справедливость — словом, все эти табу — противопоставлением природе?.. Пожалуй, если поразмыслить немного, то неизбежно придешь к выводу: для чего были бы нужны нам правила, законы, религиозные заповеди, для чего нам были бы нужны мораль или добродетель, если бы человеку со всеми его слабостями не приходилось постоянно сдерживать и подавлять в себе мощный голос природы?.. Да, да, все наши табу основываются на противопоставлении человека природе... А ну-ка, ну-ка,— прошеп-

гал он вдруг, чувствуя приятное волнение мысли,— может быть, это и есть та самая неизменная основа? Не здесь ли следует искать ответ?»

«Возможно, вопрос стоит именно так: есть ли табу у тропи?»— подумал было он, как вдруг пронзительный визг тормозов заставил его отскочить назад, и вовремя! Пришлось постоять немного, чтобы унять биение сердца. Стройный ход мыслей был нарушен.

Вечером он обедал в холодной столовой Онслоу-меншнс. Напротив него, на другом конце длинного стола из полированного красного дерева, сидела леди Дрейпер. Как обычно, оба молчали. Сэр Артур очень любил свою жену, сердечную, преданную, мужественную женщину, принадлежавшую притом к весьма знатному роду. Но он считал ее восхитительно глупой и невежественной, именно такой, какой и подобает быть женщине из respectable семьи. Никогда она не задавала мужу неуместных вопросов, касающихся его служебных дел. Казалось, ей нечего было рассказать ему и о себе. И это давало чудесный отдых мысли.

Но в этот вечер она неожиданно спросила его:

— Надеюсь, вы не осудите молодого Темплмора? Это было бы чудовищно!

Сэр Артур, слегка шокированный этими словами, поднял на свою супругу удивленный взгляд.

— Но, дорогая моя, это не касается ни меня, ни вас: решение выносят присяжные.

— О,— мягко возразила леди Дрейпер,— вы прекрасно знаете, что присяжные поступят так, как вы захотите. И она полила мятым соусом кусок отварного мяса.

— Мне было бы очень жаль эту милую Френсис,— продолжала леди Дрейпер.— Ее мать дружила с моей старшей сестрой.

— Все это,— начал сэр Артур,— не может ни в какой мере повлиять...

— Конечно,— живо возразила жена.— Но,— добавила она,— ведь Френсис— такая милая девочка. И было бы слишком несправедливо отнять у нее мужа.

— Конечно, но все-таки... Правосудие его величества не может принимать в расчет...

— Мне иногда приходит в голову,— сказала леди Дрейпер,— не бывает ли то, что вы именуете правосудием...

Я хочу сказать, что в тех случаях, когда правосудие несправедливо, мне приходит в голову... Вас никогда не тревожат такие мысли?—спросила она.

Столь неслыханное вторжение леди Дрейпер в самую суть его сугубо профессиональных дел настолько поразило сэра Артура, что он не сразу нашелся что ответить.

— Да и вообще, по какому праву,—продолжала она,—вы пошлете его на виселицу?

— Но, моя дорогая...

— В конце концов вы же сами прекрасно знаете, что он убил всего лишь маленькое животное.

— Ну, положим, этого еще никто не знает...

— Простите, но все указывает на это.

— Что «все»?

— Не знаю. Это само по себе вполне очевидно,—ответила она, изящным движением поднося к губам ложку, где, как живой, трепетал кусочек розоватого бланманже.

— Что именно очевидно? Право же, вы меня...

— Не знаю,—повторила она.—Хотя вот вам: они даже не носят на шее амулетов.

Должно быть, позднее сэру Артуру не раз приходило на ум замечание его супруги; возможно, оно в какой-то мере определило его поведение на суде—настолько оно совпадало с его собственной мыслью: есть ли табу у тропи?

Но в эту минуту замечание супруги показалось ему нелепым, и только. Он воскликнул:

— Амулеты! А разве вы сами носите амулеты?

Леди Дрейпер с улыбкой пожала плечами.

— Порой мне кажется, что да. Я хочу сказать, иногда мне кажется, что ношу. А разве ваш прекрасный судейский парик, в конце концов, не тот же амулет?

Подняв руку, она остановила готовое сорваться с его губ возражение. И он не без удовольствия,—в который раз!—заметил, какая у нее тонкая, белая, еще очень красивая рука.

— Я вовсе не шучу,—сказала она.—Я думаю, у каждого возраста есть свои амулеты. И у народов также. Конечно, молодым нужны амулеты попроще, другим, постарше—уже более сложные. Но они, я полагаю, есть у всех. А вот у тропи, как вы видите, их нет.

Сэр Артур молчал. Он с удивлением смотрел на свою жену. А она продолжала, складывая салфетку:

— Амулеты совершенно необходимы, если во что-то ве-

ришь, не так ли? Если же не веришь, то... Я хочу сказать, что можно не верить в общепризнанные истины, но это не значит... Я хочу сказать, что даже вольнодумцы, которые утверждают, что ни во что не верят, и те, как мы видим, ищут что-то, не так ли? Одни... изучают физику... или же астрономию, другие пишут книги, а это и есть, в сущности, их амулеты. Таким образом, они... Ну—словом, это их убежище против всего того, что нас так пугает, когда мы об этом думаем... Вы согласны со мной?

Он молча кивнул. Она рассеянно вертела салфетку, продев ее в серебряное кольцо.

— Но действительно ни во что не верить... — продолжала она, — не иметь никаких амулетов — значит никогда ни над чем не задумываться, не правда ли? Никогда. Потому что, как только начинаешь задумываться... мне кажется... начинаешь бояться. А как только начинаешь бояться... Даже у тех несчастных, которых мы с вами видели на Цейлоне, Артур, даже у этих дикарей, которые ничего не умеют делать, не могут сосчитать до пяти и едва умеют говорить... даже у них есть свои амулеты. Значит, они верят во что-то. А раз они верят... значит, они уже задумывались над чем-то... задумывались над тем, кто обитает на небе или, может быть, в лесу, не знаю где... задумывались над тем, во что они могут верить... Вот видите! Даже они, эти несчастные дикари, задумывались... Так вот, если какое-нибудь существо ни над чем не задумывается... действительно ни над чем, совершенно ни над чем... значит, это просто животное. Мне кажется, только животное может жить и что-то делать на этой земле, не задаваясь никакими вопросами. Вы не согласны со мной? Даже деревенский дурачок, и тот задумывается над чем-то...

Они поднялись из-за стола. Сэр Артур подошел к жене, осторожно обнял ее и поцеловал в висок.

— Вы высказали сейчас весьма интересные соображения, дорогая моя. Пожалуй, обо всем этом следует подумать. И если вы разрешите, немедленно же! Пока ко мне не пришли с визитом. Я как раз жду гостей...

Леди Дрейпер нежно коснулась своими седеющими локонами щеки мужа.

— Вы ведь оправдаете его, да? — спросила она с пленительной улыбкой. — Мне будет так жаль эту девочку!

— Повторяю вам, дорогая, одни только присяжные...

— Но ведь вы сделаете все, что от вас зависит?

— Надеюсь, вы не потребуете от меня никаких обещаний? — мягко спросил сэр Артур.

— Конечно. Я просто полагаюсь на вашу справедливость, Артур. — Супруги еще раз поцеловались, и сэр Артур вошел в свой кабинет. И сразу же опустился в глубокое кресло.

— У тропи нет табу, — сказал он чуть ли не вслух. — Они не рисуют, не поют, у них нет ни праздников, ни обрядов, нет никаких знаков, нет колдунов, и у них нет даже амулетов. Они даже не людоеды.

И он произнес еще громче:

— Могут ли существовать вообще люди без табу?

Рассеянным, но пристальным взглядом он смотрел на портрет сэра Уэстона Дрейпера, баронета, кавалера ордена Подвязки. Он прислушивался к неудержному смеху, который зрел в самой глубине души и наконец тронул его губы.

Глава

четырнадцатая *Свидетельские показания профессора Рэмпола и опровержения капитана Троппа. Последние выступления свидетелей. Речь прокурора, речь защитника. Судья Дрейпер подводит итог судебному разбирательству. Присяжные растеряны. Прежде чем установить, люди ли тропи, необходимо определить, что такое человек. В кодексе законов полностью отсутствует официальное определение человека. Присяжные отказываются вынести вердикт.*

На следующем заседании были выслушаны еще два антрополога, вызванные в суд обвинением. И хотя ученые считали, что *Paranthropus*'а следует отнести к человеческому роду, обосновывая этот вывод, они так противоречили друг другу, что защита ограничилась лишь насмешливым молчанием, куда более красноречивым, чем самая страстная речь.

В свою очередь защита вызвала двух ученых-психологов: профессора Рэмпола, крупнейшего специалиста по вопросам психологии отсталых племен, и знаменитого капитана Троппа, посвятившего себя изучению умственных способностей человекообразных обезьян.

Череп профессора Рэмпола был так восхитительно лыс, что казалось, он с умыслом лишился своей шевелюры, лишь бы предоставить к услугам френологов столь редкостный объект для исследования. В правом глазу, затяну-

том бельмом, он носил монокль, и это делало его похожим на офицера кайзеровской армии. Но мягкий, удивительно приятного тембра голос заставлял забыть о неприглядной внешности профессора.

Первый же обращенный к нему вопрос, казалось, привел ученого в замешательство: существует ли, спросили его, признак, по которому можно безошибочно, исходя из данных науки, отличить разум примитивного человека от ума животного?

После минутного раздумья сэр Питер сказал, что несколько месяцев назад он бы ответил, что таким признаком является речь. Артикулированная у человека, в отличие от речи животного, отмеченная у первого деятельностью воображения и памяти, она у животного — застывшая и инстинктивная. Но появление тропи вынуждает его признать, что он не сделал всех необходимых выводов: речь тропи, по-видимому, инстинктивна, но в то же время и членораздельна; ее нельзя считать застывшей речью существа, лишенного воображения, поскольку запас слов у тропи увеличился, хотя бы за счет подражания; таким образом, ее нельзя считать ни человеческой речью, ни речью животных: она содержит элементы той и другой; теперь ему стало ясно, что специфичным надо считать не речь, которая является лишь средством общения, а самую потребность общения, равно как и цель его.

Подумав, он добавил:

— Некоторые ученые считают, что это специфическое различие лежит в способности человека создавать мифы. По мнению других, оно заключается в способности человека пользоваться символами и прежде всего простейшим из них — словом. Но в обоих этих случаях мы сталкиваемся с одной и той же проблемой: какой специфической необходимостью обусловлено создание мифов и символов?

Он провел большой узловатой рукой по своему блестящему черепу.

— Видите ли, рассуждая таким образом, мы вряд ли сумеем прийти к положительному выводу. Поэтому лучше остановиться на фактах, поддающихся контролю: то есть на тех, которые познаются путем анализа различных мозговых связей. Сравнительное изучение этих связей у человека и у животных, возможно, позволило бы установить точное и ясное различие.

— Мы не совсем улавливаем ход ваших мыслей,— остановил его судья.

— Мозг часто сравнивают,— продолжал сэр Питер,— с гигантской телефонной станцией, которая с неслыханной быстротой связывает тысячи различных центров: одни из них ведают наблюдением или изучением, другие руководят или приказывают. В общем все эти связи определены довольно точно. Я хочу сказать — их роль и количество достаточно хорошо изучены как у человека, так и у различных видов животных. Итак, человеком, по-моему, следует считать всякое существо, мозг которого объемлет всю сумму перечисленных выше связей, а животным — существо, мозг которого этими связями не обладает.

— Но,— попытался уточнить вопрос сэр Артур,— разве количество этих связей одинаково у всех людей, независимо от их классовой принадлежности, возраста, развития, расы?

— Н-н-нет,— замялся сэр Питер, потирая переносицу.— Это было бы слишком просто... Различия существуют... и большие различия... и все-таки не в этом главное. Ведь сумма связей у самого отсталого из людей несравненно больше, чем у самого развитого шимпанзе.

Сэр Артур задумчиво покачал головой и не сразу задал вопрос.

— Не слишком ли произволен и даже искусствен принцип такой классификации?

Профессор непринужденно рассмеялся и сказал:

— Пожалуй. Но, право, я и сам не знаю, как выбраться из этого заколдованного круга.

— Кроме того, не противоречите ли вы самому себе? Тот, у кого отсутствуют некоторые из этих связей, по вашим словам, уже не может называться человеком. Но разве их отсутствие нельзя объяснить специфическими умственными особенностями того или иного индивидуума?

— Совершенно справедливо.

— Следовательно, если у тебя нет тех или иных свойств, ты уже перестаешь быть человеком? А ведь вы сами утверждали здесь, что если это и возможно, то, во всяком случае, очень рискованно.

— Вы совершенно правы,— ответил профессор.

— Итак, из всего сказанного,— продолжал сэр Артур,— нам, очевидно, придется сделать вывод, что антропология, равно как и зоология, не в состоянии установить точной

границы, отделяющей человека от животного?

— Боюсь, что это так.

Наступило довольно продолжительное молчание. Затем сэр Артур, чуть заметно улыбнувшись бледно-розовой тюлевой шляпке с зеленым бантом, видневшейся в глубине зала, спросил:

— Если не ошибаюсь, профессор, на Земле не существует такого племени, независимо от того, живет ли оно на самом отдаленном острове или где-нибудь в неизведанной пустыне, чью психологию вы бы не изучили самым детальным образом. Так вот, видели ли вы хоть одно племя, которое бы не носило амулетов?

По залу пронесся легкий смех, несколько ослабивший напряжение. Но профессор даже не улыбнулся.

— А ведь и в самом деле нет. Никогда не видел,— после некоторого колебания ответил он.

— Чем же вы объясняете это явление?

— Что именно вас интересует?

— Не кажется ли вам, что вера в амулеты, которая существовала во все века и у всех народов, свойственна исключительно человеку?

— Да. Равно как и способность создавать мифы. Но это еще ничего не доказывает...

— Как знать,— возразил сэр Артур.— Разве способность задавать себе вопросы, даже самые примитивные, не свойственна только человеку, одному лишь человеку?

— Конечно.

— А нельзя ли,— продолжал судья,— объяснить эту способность некоторыми мозговыми связями, которых нет у животных?

— Нельзя ли?— задумчиво повторил профессор.— Ведь любопытство свойственно и животным. Многие животные страшно любопытны.

— Однако они не носят амулетов.

— Да, не носят.

— Значит, если они и любопытны, то иначе, чем человек. Ведь они-то не задаются вопросами?

— Вполне с вами согласен,— ответил сэр Питер.— Отвлеченное мышление свойственно только человеку. Животным оно недоступно.

— Вы в этом абсолютно уверены? Стало быть, у животных невозможно обнаружить признаков такого любопытства, пусть даже в самом зачаточном состоянии?

— Не думаю,— ответил сэр Питер.— Такие вопросы выходят за пределы моей компетенции, но на первый взгляд... Животное смотрит, наблюдает, ждет, что станется с тем или иным предметом, какие произойдут с ними изменения... и только. Вещь исчезает, а вместе с ней проходит и любопытство. Ни... ни этого протеста, ни этой борьбы против немоты окружающего их мира вещей. Дело в том, что любопытство животного всегда остается чисто потребительским, ему нет никакого дела до вещей как таковых, они интересуют его лишь в той мере, в какой соотносятся с ним самим— он неотделим от них, неотделим от природы, прикован к ней всеми фибрами, не абстрагируется от вещей с целью познать их извне... Одним словом,— закончил сэр Питер,— животные не способны мыслить отвлеченно. Не здесь ли, в таком случае, следует искать переплетение связей... специфическое переплетение, которое доступно человеку, и только человеку.

Вопросов к свидетелю не было. Судья поблагодарил профессора и не стал его больше задерживать.

Его место занял капитан Тропп—розовый, дородный блондин с живыми смеющимися глазами. Сэр Артур напомнил присяжным, что капитан Тропп является автором многочисленных докладов, сделанных им в Музее естественной истории и обобщающих его опыты с человекообразными обезьянами, и что его известность уже давно перешагнула границы Великобритании.

Судья вкратце изложил ему сообщение сэра Питера Рэмпола и те споры, которые оно вызвало. Затем задал ему следующий вопрос:

— Считаете ли вы, капитан Тропп, что даже самые развитые обезьяны лишены малейшей способности абстрагировать?

— Ну, конечно, нет!—воскликнул толстяк.

— Простите!

— Вовсе они не лишены этой способности. Они могут абстрактно мыслить, точно так же, как и мы с вами.

Сэр Артур растерянно заморгал глазами, в зале воцарилось молчание.

— Профессор Рэмпол сказал нам...— начал он наконец.

— Знаю, знаю,— прервал его капитан Тропп.— Все эти люди считают животных просто дураками!

Сэр Артур не смог сдержать улыбки, и весь зал, облегченно вздохнув, улыбнулся вслед за ним.

— Вы не читали моего сообщения,— продолжал Тропп,— об опытах Вольфа? Тогда послушайте: он установил у своих шимпанзе автоматический раздатчик изюма, работающий при помощи жетонов. Обезьяны очень скоро научились им пользоваться. Затем он установил автомат, выдающий жетоны. Обезьяны включили его и полученные жетоны сразу же опустили в первый. Но немного погодя Вольф выключил раздатчик изюма. Тогда обезьяны набрали себе жетонов и спрятали их в ожидании того часа, когда первый автомат снова заработает: словом, они как бы изобрели для себя деньги и даже узнали, что такое жадность. Что же, по-вашему, это не абстрактное мышление? А Верлен! Нет, не французский поэт, а бельгийский профессор. Взять хотя бы его опыты с макакой! Обезьяна *нижняя*, заметьте это. Ему удалось доказать, что его макака прекрасно отличает живое от мертвого, зверя от растения, минерал от металла, дерево от ткани; она ни разу не ошиблась, разбирая гвозди и спички, а также пух и кусочки ваты. Что же, по-вашему, это не абстрактное мышление? Или, например, их речь! Обычно считают, что обезьяны не умеют говорить. Но они говорят, и еще как говорят! Шестьдесят лет назад Гарнер установил, что между нашим языком и языком обезьян существует только количественная разница; больше того, у нас с ними много общих звуков. Я знаю, Делаж и Бутан во Франции опровергают это мнение. Но сравнительное изучение гортани, проведенное Джакомини, позволило составить шкалу, показывающую, как постепенно совершенствуется гортань у гоминидов: от орангутана через гориллу, гиббона, шимпанзе до человека. Почему же развитию гортани не должно соответствовать развитие речи? Разве обезьяны виноваты в том, что мы не понимаем их языка? Кстати, милорд, они понимают нас гораздо лучше: у Гледдена была обезьяна-шимпанзе, она, не задумываясь, выполняла сорок три приказания, которые отдавались без сопровождения жестов. Что же, по-вашему, это не абстрактное мышление? А Фэрнесу удалось научить молодого орангутана произносить слово «папа». Добиться этого было весьма затруднительно, ибо у животных имеется тенденция не выдыхать звуки, которым их стараются научить, а, так сказать, глотать. Но научившись слову «папа», орангутан произносил его всякий раз, когда к нему подходил мужчина, и никогда не называл так женщин: что же, по-вашему, и это не абстрактное мышление?

Затем Фэрнес, придавливая язык орангутана лопаточкой, научил его произносить слово «сир»*. Возможно, такой метод покажется вам искусственным, но с тех пор орангутан всегда говорил слово «сир», когда ему хотелось пить: что же это, как не абстрактное мышление? Затем Фэрнес попытался научить его произносить артикль «the» — это ведь уж абстракция чистой воды. К несчастью, молодой орангутан умер, так и не усвоив этого звука...

— Охотно верю, — сказал сэр Артур, — у меня есть немало друзей французов, право же, людей, достаточно смысленных, которые так и не смогли научиться произносить это слово... Бедная обезьяна... Но мы, кажется, не совсем правильно поставили наш вопрос. Суду хотелось бы знать: не приходилось ли вам самому наблюдать, или, может быть, вам известны факты, что кто-то другой заметил у обезьян хотя бы зачатки метафизического мышления?

— Метафизического мышления... — задумчиво повторил капитан Тропп и опустил голову, отчего у него сразу же появилось три подбородка. — Что вы понимаете под этим термином? — наконец спросил он.

— Мы понимаем под этим... чувство беспокойства, — ответил сэр Артур, — чувство страха перед неизвестным, желание объяснить необъяснимое, способность верить во что-то... Словом, не приходилось ли вам встречать обезьян, у которых были бы свои амулеты?

— Да, я видел обезьян, которые привязывались к какой-нибудь вещи так же, как ребенок привязывается к своему плюшевому медвежонку. Они играли с полкубившимися им предметами и не расставались с ними даже ночью. Но это вовсе не амулеты. Явление несколько другого порядка я наблюдал в Калькутте у молодой мартышки, отличавшейся чрезмерной стыдливостью: она никогда не засыпала, предварительно не прикрыв все что полагается зеленой сандалией, с которой никогда не расставалась. А вот амулеты?.. Нет... Но, черт возьми, — вдруг воскликнул он, — почему вы хотите, чтобы у них были амулеты? Они живут в природе, в непрерывном общении с ней и не боятся природы! Ее боятся только дикари! Только дикари задают себе все эти дурацкие вопросы! Но какая им от этого польза? Если они, не в пример обезьянам, недовольны своим существованием и не желают быть такими, какими их создал

* Чашка (англ.).

бог,—то гордиться здесь еще нечем! Они просто анархисты. Бунтари, которым ничем не угодишь. Почему вы хотите, чтобы мои славные шимпанзе начали задавать себе всякие дурацкие вопросы? Амулеты? Покорно благодарю!

— Уверяю вас, мы вовсе этого не хотим,—с добродушной улыбкой успокоил его сэр Артур.— Нам просто необходимо было получить от вас точный ответ: действительно ли у обезьян полностью отсутствует метафизическое мышление, нет хотя бы его следов?

— Никаких следов! Даже намек на них нет! Даже намек! — ответил капитан, торжествующе щелкнув ногтем по зубам.

— И вы тоже, капитан Тропп,—спросил его вкрадчивым голосом адвокат,—не задаетесь подобными вопросами?

— Какими вопросами? — насторожился капитан Тропп.— Я добрый христианин, я верю в бога, и этим все сказано. Почему же вы... Вы что, за дикаря меня принимаете, что ли?

Сэр Артур любезно уверил капитана Троппа, что за дикаря его никто не принимает, поблагодарил за выступление, и тот удалился. Затем один за другим выступили Грим, Вильямс, Крепс и отец Диллиген; они подробно рассказали о своих наблюдениях над тропи и о тех опытах, которые они с ними проделали. Им задали всего несколько вопросов. Было очевидно, что защита не пытается даже добиться каких-либо преимуществ и выиграть лишнее очко. Она лишь постоянно уравнивала силы, то есть делала все возможное, чтобы вопрос остался нерешенным: всякий раз, когда обвинение заостряло внимание на какой-либо детали, свидетельствующей о том, что тропи — люди, защита, со своей стороны, тотчас же обращала внимание на какой-либо факт или наблюдение, которые бы доказывали обратное. Но если, напротив, один из свидетелей приводил слишком веские доводы в пользу того, что тропи животные, защита незамедлительно выдвигала новое доказательство, подтверждающее их человеческую природу. При этом прокурор торжествующе потрясал своими широкими рукавами, а окончательно сбитые с толку присяжные только дивились такой странной системе защиты.

Последним выступал отец Диллиген. Он говорил так живо и забавно, что даже сумел несколько разрядить напряженную атмосферу, царившую в зале: он говорил в основном о языке тропи и даже несколько раз крикнул, под-

ражая им. Во всякой иной аудитории его выступление встретили бы дружными аплодисментами; когда он возвращался на свое место, его перехватила пожилая дама и завела с ним бесконечную беседу о своих любимых попугаях,—и бедный отец Диллиген не знал, как от нее отделаться.

Сэр Керью В. Минчет, королевский прокурор, скрестил на груди свои тонкие белые руки. Он умолк и, словно во время молитвы, наклонил голову, предоставив присяжным любоваться безукоризненными локонами своего парика. Затем, подняв голову, он произнес:

— Леди и джентльмены, господа присяжные, я вполне представляю себе ваше замешательство. Конечно, ни у кого не может быть сомнений в том, что обвиняемый совершил преднамеренное убийство. Мы полагаем, даже защита не попытается отрицать этот факт. Правда, она сделала все возможное, чтобы посеять сомнение в ваших умах относительно самой природы жертвы. Желая добиться оправдания обвиняемого, она профанировала одну из наших судебных традиций, наиболее дорогую нашему сердцу, наиболее прочно вошедшую в наши обычаи: традицию «разумного сомнения». Именно это и обязывает нас спросить: существует ли действительно основание для разумного сомнения в природе жертвы? Если вам кажется, что таковое сомнение существует, поверьте мне—это всего лишь иллюзия. Правда, защите удалось внести невообразимую путаницу в существо вопроса, она вела дебаты сразу на двух фронтах, в двух совершенно различных планах: в плане юридическом, законном, и в плане зоологическом; и она с завидной ловкостью перепутала все нити.

Итак, леди и джентльмены, в чем же заключается ваш долг? Должны ли вы разобраться в самом факте убийства или же решать ученые споры?

Здесь перед нами выступали виднейшие ученые. И вы сами убедились, что они не могут договориться между собой даже в вопросе, что есть человек. Неужели же вам надлежит объяснить им это? Неужели же вам решать их споры?

Конечно, вы можете меня спросить: не вы ли первый вызвали профессора Наача? Действительно, это так. Но можно было не сомневаться в том, что защита вызовет в суд ученых, которые будут доказывать уже известный

вам тезис. Их необходимо было опередить, иначе вы, чего доброго, поверили бы им.

Но что дали нам в сущности все эти споры? Для себя вы можете извлечь лишь одно: от вас требуют, чтобы вы знали больше, чем эти ученые. Но разве это входит в вашу обязанность, и можно ли говорить о сомнении, «заложенном в самих фактах», лишь потому, что вы знаете не больше, нежели ученые мужи? Только потому, что вас запутали слишком сложными и непонятными для вас аргументами? Нет, вы собрались здесь не для того, чтобы выяснять специфичность черт той или другой зоологической классификации или установить, права ли школа, называющая *Paranthropus*’ом то существо, которое другая школа именует *homo faber**. Вы собрались здесь для того, чтобы судить о фактах с точки зрения суда и закона.

А может ли существовать хоть малейшее сомнение именно в этом плане? Можно ли сомневаться в том, что обвиняемый преднамеренно умертвил рожденного от него ребенка, которого он сам зарегистрировал и окрестил, дав ему имя Джералд-Ральф Темплмор?

Нет, сомневаться в этом нельзя.

Но, быть может, у вас осталось все-таки зерно сомнения? Быть может, вы считаете, что в любом случае лучше оправдать преступника, чем наказать невиновного? Быть может, вы считаете, что, коль скоро существует хоть какая-то неясность, пусть даже вызванная этими учеными спорами, все же лучше оправдать обвиняемого, будь он даже тысячу раз виноват?

Да, так бы и следовало поступить по-христиански, если бы речь шла только об одном обвиняемом. Если в результате вашей снисходительности вы отпустили бы на свободу убийцу. Но разве так обстоит дело в данном случае? Можно ли считать, что здесь решается судьба лишь одного обвиняемого? Нет, конечно, нет: это только видимость! Сейчас решается судьба тысяч, десятков тысяч, а может быть, десятков миллионов!

Леди и джентльмены, на вас лежит огромная ответственность. За всю мою практику я, пожалуй, никогда еще не чувствовал такой ответственности. Ибо ваш вердикт может вызвать в будущем последствия, несравнимые по своему значению не только с судьбой одного обвиняемого,

* Трудящийся человек (лат.).

не только с нашей судьбой, но даже с судьбой всего британского правосудия.

Представьте себе, что, поддавшись уговорам защиты, которая, конечно, не преминет осыпать вас самыми резкими упреками, вы послушаетесь голоса своего сердца и проявите снисходительность; желая быть справедливыми, вы сочтете, что обвиняемый, умерщвляя свою жертву, искренне верил, что убивает обезьяну; короче, представьте себе, что, стремясь оправдать подсудимого, вы признаете его невиновным! Тем самым сразу же, во всеуслышание, быть может, даже против своей воли, вы признаете, что убита была *обезьяна*, — во всяком случае, такое мнение должно будет сложиться не только у наших сограждан, но и у миллионов людей за границей, которые ждут вашего вердикта и, конечно, только так и смогут истолковать его. Таким образом, одно ваше слово навсегда исключит тропи из человеческого общества. И не только тропи, но и множество других племен, ибо, как вы сами слышали, ученые утверждают, что, признав тропи животными, будет весьма трудно доказать, что, например, пигмеи или бушмены — люди. Понимаете ли вы, что рискуете таким образом приоткрыть ящик Пандоры? Если в один прекрасный день, лишившись права называться людьми и, следовательно, потеряв все человеческие права, эти примитивные и незащитные племена попадут в руки тех, кто будет их безнаказанно уничтожать и эксплуатировать, то произойдет это только по вашей вине. А мы знаем — увы! — что охотников найдется много.

И это еще только начало! Ибо, как вы тоже слышали здесь, если на основании каких-то биологических различий будет поставлена под сомнение священная сущность человеческого рода, как удержать нам разгул страстей? Вновь возродится преступная идея высших и низших рас, кошмарные воспоминания о которой еще живы в нашей памяти, — но и это еще не все. И в этом новом несчастье будете повинны лишь вы одни! От такой перспективы содрогнутся люди более ученые, чем вы. Закон, я повторяю, не требует от вас учености. Он требует от вас мудрости. И вы без труда и риска справитесь с этой задачей; вам придется только взглянуть на дело именно с той точки зрения, с которой оно должно рассматриваться в этих стенах, то есть с точки зрения закона. Дуглас Темплмор убил Джералда-Ральфа Темплмора, своего ребенка, своего сына. Этого до-

статочно. Вы должны признать его виновным.

Сэр К. В. Минчет снова скрестил, как бы молясь, свои длинные белые пальцы.

— Может быть, имеются какие-либо смягчающие обстоятельства? — добавил он. — Это уж решайте сами; но мы, к сожалению, не видим их. Поскольку это не просто преступление, а преступление преднамеренное. Возможно, совершая его, обвиняемый полагал, что поступок его принесет человечеству пользу. Но не забывайте, что врачи-преступники, творя в лагерях смерти свои ужасные опыты, тоже считали, что действуют во имя науки! Проявив снисходительность, мы таким образом из-за своей непрости-тельной мягкости не только подвергнем опасности новых покушений подданных его величества и обречем на рабство и вымирание множество ни в чем не повинных племен, но и поощрим в дальнейшем подобные гнусные опыты, прикрывающиеся именем науки и прогресса! В конечном счете это было бы прямым оскорблением для самого обвиняемого; возвратить ему жизнь и свободу, которыми он рисковал, совершая свой поступок, значило бы лишить этот самый поступок сомнительного оттенка благородства, если только уместно в данных обстоятельствах говорить о благородстве, которое при желании ему можно было бы приписать.

Леди и джентльмены, я кончил. К чему распространяться о вещах, и без того достаточно ясных? Пусть защита произносит длинные речи — ведь ей придется доказывать недоказуемое: что обвиняемый не убил своего сына. А он его убил. Достаточно и этих коротких слов, чтобы вынести вердикт.

Сказав это, сэр К. В. Минчет сел.

Судья, повернувшись к защите, дал слово ее представителю.

Мистер Б. К. Джеймсон поднялся и заявил:

— Согласно желанию обвиняемого, защитительная речь произнесена не будет.

Однако он не сел на место и, делая вид, что не замечает удивленно-взволнованного шепота, пробежавшего по залу, добавил:

— Защита считает своим долгом заявить, что по ряду вопросов она полностью согласна с уважаемым представителем обвинения. В особенности с той частью его речи, когда он заклинал взвесить лежащую на вас ответствен-

ность. Вообразите, говорил он, вообразите только, к каким последствиям может привести ваша ошибка! Однако мы позволим себе сделать из этого положения совсем иной вывод. Нет-нет, леди и джентльмены, вы не должны соглашаться с этим слишком упрощенным и чисто формальным предложением, которое опирается не на закон даже, а на формальность. И на какую формальность? На простую запись в книге мэрии! Представьте себе, что в юности кто-нибудь из вас, господа, вместе с товарищами, подпоив чиновника из мэрии, заставил его, шутки ради, зарегистрировать гражданское состояние новорожденного щенка, а потом, когда пес одряхлел, вы попросили бы ветеринара отравить его, и вот теперь ветеринара приговаривают к повешению!

Это, конечно, шутка. Другие доводы уважаемого представителя обвинения гораздо более серьезны. Он предостерегал вас против последствий, которые может повлечь за собой оправдание, ибо оно признавало бы *ipso facto*, что тропи — обезьяны. Доводы весьма существенные. Ну, а если тропи действительно обезьяны? Неужели вы думаете, было бы меньшим преступлением отправить на каторгу, а может быть и на виселицу, английского джентльмена, пусть даже ради того, чтобы дать свободу двадцати пяти тысячам обезьян? Сознательно послать на смерть невинного, пойти на преступление, совершить, как это нам предлагают, вопиющую несправедливость, лишь бы не дать себе труда подумать! Как, по-вашему, можно это назвать? Это было бы преступным не только по отношению к личности человека весьма достойного, но и по отношению к нашим самым священным правам! Ибо поставить свободу и жизнь британского гражданина в зависимость не от его поступков, а от предполагаемых последствий, которые может вызвать его оправдание, — значит отдать каждого из нас, связанного по рукам и ногам, на произвол властей. Кто из нас в таком случае может быть уверен в завтрашнем дне? Это значит одним ударом покончить со всеми нашими свободами!

Нет, леди и джентльмены, вы можете признать подсудимого виновным лишь в случае полнейшей уверенности в том, что он убил человеческое существо, то есть если у вас не будет никакого сомнения в том, что тропи — люди. Даже рискуя весьма удивить уважаемого представителя обвинения, мы не станем доказывать обратное. Ибо здесь

мы отстаиваем не свою собственную жизнь, которая в общем так мало значит. Мы отстаиваем здесь истину. Мы не желаем доказывать, что тропи — обезьяны, ибо, будь мы в этом уверены, мы не убили бы это невинное маленькое существо и не подставили бы шею позорной петле виселицы. Мы готовы ко всему. Однако мы хотим, чтобы наша смерть помогла по крайней мере выяснить то единственное, что важно для нас: не то, что может показаться полезным и нужным, а то, что справедливо и более соответствует истине, и не в ее сомнительной ясности, а в ее абсолютной очевидности! Да, мы готовы пожертвовать своей жизнью ради жизни тропи, если только удастся с полной неоспоримостью доказать, что они люди; и это разрушит замыслы тех, кто собирается обречь их на рабство. Но если тропи — обезьяны, мы еще раз заявляем, что было бы позором приговорить к смерти человека в силу совершенно неслыханного довода, что так, мол, удобнее!

Наша точка зрения совершенно ясна. Пусть ваша будет не менее ясной. Мы не просим ни милости, ни прощения, мы не нуждаемся в вашем снисхождении. Поймите нас хорошо! Да, мы не нуждаемся в нем. Но мы требуем от вас лишь того минимума, на который вправе рассчитывать: серьезно подумать, прежде чем принять решение.

— Вот почему, — проговорил он, повернувшись к суду, — мы обращаемся к вам, милорд, с ходатайством. Мы были кратки, и суд мог бы поддаться искушению, воспользовавшись оставшимся временем, заставить присяжных вынести вердикт сегодня же...

И вдруг неожиданно для всех добавил странно равнодушным тоном:

— Так или иначе, нам кажется, им следовало бы дать ночь на размышления, это бы привело к лучшим результатам.

Судья Дрейпер озадаченно посмотрел на адвоката; взгляды их встретились: зачем защита вносит такое предложение? Ведь и так очевидно: чтобы спокойно обсудить вопрос, присяжным понадобится куда больше времени, чем у них остается... «Может быть, он хочет что-то дать мне понять... на что-то пытается намекнуть?..» — подумал судья. И первым отвел глаза. — Конечно, — подумал он, — конечно! Он прав! Им нельзя давать времени собраться с мыслями...» Судья взглянул на часы и произнес:

— Суд не может принять ваше ходатайство. У нас

остается еще полтора часа. Суд считает, что этого времени вполне достаточно, чтобы вынести справедливый приговор.

Сказав это, сэр Артур надел очки.

Наступило тягостное и продолжительное молчание. Только слышалось, как в переполненном зале шаркают чьи-то подошвы и кто-то глухо покашливает. Откуда-то справа донесся шепот, но двести голов одновременно с осуждением повернулись в ту сторону, и шепот сразу стих.

Дуглас не спускал глаз с сэра Артура. С самого начала процесса он старался не смотреть на Френсис. Он заранее решил, что не произнесет ни слова, при всех обстоятельствах останется безучастным, словно его нет в зале: он хотел присутствовать здесь в качестве некоего символа. Играть эту роль оказалось нелегко, мучительно сжималось сердце. Один только взгляд Френсис, полный боли, страха, мольбы, и, кто знает, доведет ли он до конца свою роль? И уж совсем невыносимой мукой оказался запрет не видеть трогательно прекрасного лица с чересчур крупным ртом... Из этих двух попыток приходилось выбирать ту, которая по крайней мере не лишала смысла его поступок, оправдывала риск, на который он пошел. И до сих пор ему это удавалось неплохо.

У Френсис не было таких оснований сдерживать себя. Сидя между Гримом и Сибилой, она, казалось, не только слухом, но и глазами впитывала каждое слово. Иногда, схватив руку Сибилы, она до боли сжимала ее. Иногда в полном изнеможении, закрыв глаза, она откидывалась на спинку скамейки. Когда сэр Артур отклонил ходатайство защиты, Френсис, чтобы не выдать своего волнения, до крови закусил губу. Но в груди у нее что-то вдруг оборвалось.

А Дуг даже бровью не повел. Как ей хотелось, о, как ей хотелось, чтобы он взглянул на нее, — хоть один раз, ну хотя бы в эту минуту! Но они обещали друг другу: он — не смотреть на нее, а она — не искать его взгляда. Он был нрав, прав! И она отвернулась.

Теперь она тоже смотрела на судью. Сэр Артур медленно надевал очки. И вот, когда он укрепил их на носу, Френсис заметила вдруг, да, заметила его беглый, как взмах ресниц, веселый, дружеский, почти общинческий взгляд,

который скользнул по лицу обвиняемого...

— Видели? — прошептала Френсис в сильном волнении Сибиле.

— Да, — ответила Сибиле, — да... похоже, что...

Сибиле не кончила фразы, и пораженная Френсис увидела, как она тихонько трижды постучала о деревянную обшивку скамьи.

— Вы и не подозревали, что я такая суеверная? — рассмеелась Сибиле.

— Конечно, нет! — ответила Френсис. — Уж кто-кто...

— Подождите, вы еще и не то обо мне узнаете... Но взгляните на Дуга!

Дуглас, казался, окаменел. Но если он превратился в мрамор, то мрамор пурпуровый. Он покраснел до корней волос. Губы его приоткрылись, он смотрел на судью удивленными глазами, словно перед ним предстал ангел, несущий благостную весть.

— Он тоже заметил, — прошептала Френсис. — Лишь бы...

Но Сибиле в страхе сжала руку Френсис и заставила ее замолчать. К тому же судья Дрейпер уже взял слово.

— Леди и джентльмены, господа присяжные, — начал он, — в течение трех дней перед вами выступали свидетели обвинения и свидетели защиты, вы выслушали обвинительную речь, и только по желанию обвиняемого не была произнесена речь защиты. Теперь вам надлежит решить его судьбу.

Но прежде, следуя традиции, суд в нескольких словах подведет итог судебному разбирательству, дабы по возможности облегчить вам принятие трудного и ответственного решения. Ибо оно действительно трудно и действительно ответственно. Обе стороны дали вам ясно понять, что придется серьезно подумать, прежде чем вынести окончательный приговор. Не буду возвращаться к этому вопросу. Мой долг — напомнить вам вкратце показания сторон на этом процессе, но я не смогу хотя бы в какой-то степени облегчить вашу задачу: только вам, вам одним, предстоит сделать выводы из всего сказанного.

А теперь перейдем к сути дела.

К чему же в конце концов она сводится?

Обвиняемый, став вследствие экспериментального оплодотворения самки, принадлежащей к недавно открытому антропоморфному, то есть человекообразному, виду,

став, как мы уже сказали, отцом маленького существа — гибрида, убил его.

Вам предстоит решить вопрос, совершил ли обвиняемый, таким образом, убийство.

Поступок, совершенный обвиняемым, можно назвать убийством лишь в том случае, если он полностью соответствует определению убийства, записанному в кодексе, то есть: «Убийство есть умышленное лишение человека жизни».

В данном случае вы можете признать обвиняемого виновным, если у вас не останется никакого разумного сомнения в том, что доказаны нижеследующие пункты:

1. Объект действительно убит обвиняемым.
2. Убийство совершено обвиняемым преднамеренно.
3. Объект убийства является человеческим существом.

Вряд ли у вас возникнут сомнения по двум первым пунктам: обвиняемый признает себя ответственным за свой поступок; он признает и заявляет, что совершил его преднамеренно; различные свидетельские показания подтверждают, что это действительно так.

Но третий пункт далеко не столь ясен.

Профессор Наач считает жертву человеческим существом. По его мнению, доказательством тому служит следующее: вид, к которому принадлежит жертва, помимо прямого умения обтесывать камни, добывать огонь, имеет зачаточные признаки речи. Той же точки зрения, хотя и по иным соображениям, придерживаются профессора Кокс и Хансон.

В противоположность им профессор Итонс утверждает, что жертву нельзя отнести к человеческому роду, ибо за всю историю существования ветви, от которой произошел человек, ни один из представителей ее не имел такой стопы, как стопа жертвы.

Таково же мнение доктора Фиггинса.

Представитель обвинения пытается убедить вас, что вам не следует решать ученые споры, но в то же время не признает за вами права умыть руки, оправдав подсудимого, не принимая в расчет все те страшные последствия, которые повлечет за собой оправдание; вы обязаны, утверждает обвинение, признать подсудимого виновным в совершении преднамеренного убийства, ибо, с точки зрения закона и правосудия, этот факт не вызывает сомнений.

Однако суд не считает, что вы можете безоговорочно

принять данный тезис. Напротив, он полагает, что объявить подсудимого виновным вы сможете лишь тогда, когда у вас будет твердая уверенность в том, что полностью доказано третье условие в определении убийства: другими словами, когда у вас не будет никакого разумного сомнения в том, что жертва действительно является человеком.

Никакого разумного сомнения! Это выражение не раз повторялось во время процесса. Долг суда раскрыть вам точное значение двух этих слов.

В чем же заключается «разумное сомнение»?

При истолковании этого термина и впрямь может произойти опасная путаница.

Сомнение может корениться в самих фактах; так, обвиняемого застали на месте убийства, но виновность его не может быть доказана абсолютно точно. В этом случае, естественно, возникает разумное сомнение.

Сомнение может корениться в сознании; так, например, если присяжные не в силах разобраться в нагромождении фактов, накопленных в ходе процесса, они не могут составить ясное представление о деле в целом. Здесь, конечно, нельзя говорить о разумном сомнении. В этом случае присяжные должны потребовать все необходимые им разъяснения. И если в конце концов разъяснения эти так и не помогут прояснить суть дела, им остается лишь один выход: объявить, что они не в состоянии решить данный вопрос.

Если, на наш взгляд, разумное сомнение лежит в самих фактах, вам ни в коем случае не следует принимать в расчет любые возможные последствия, какими бы ужасными и грозными ни рисовало их вам обвинение: вы должны будете признать обвиняемого невиновным.

Но если же, наоборот, вы решите, что сомнение лежит не в самой природе фактов, а в *вашем* понимании этих фактов, я буду вынужден согласиться с доводами обвинения: если бы речь шла только об одном обвиняемом, только о том, чтобы ввиду имеющихся сомнений отнести к нему со всем христианским милосердием, против этого мы не стали бы возражать, но в данном случае снисходительный приговор может вызвать слишком тяжелые последствия, и ваш долг — долг людей гуманных — помнить об этих ужасных последствиях. Но и суровый приговор, вынесенный, несмотря на сомнение, закрававшееся в вас, столь же неприемлем. В самом деле, вы бы создали не менее опасный прецедент для будущего нашего правосудия: по-

тому что, послав на смерть, возможно и невинного, человека, осужденного не за совершенное им преступление, а только в силу предполагаемых последствий, в плане политическом или социальном, которые могли бы повлечь за собой оправдание, вы подорвали бы самые основы правосудия нашей страны.

После короткой паузы судья продолжал:

— Резюмирую вышесказанное. Мы, как и обвинение, считаем, что в самих фактах не может быть сомнения, факты остаются фактами, тропи остаются тропи. Их природа — факт, от нас не зависящий. Мы считаем, так же как и обвинение, что сомнение, если таковое и существует, вызвано вполне понятным замешательством, внесенным в ваши умы спорами ученых. Следовательно, так же как и обвинение, мы считаем, что сомнения такого рода не могут расположить вас в пользу бездумной снисходительности, не считающейся с последствиями.

Но зато мы полагаем — на сей раз так же, как и защита, — что вы сможете, не покрывив душой, осудить обвиняемого, будучи лишь твердо уверены, что доказаны полностью все три пункта, определяющие убийство.

Прежде чем высказаться за или против, необходимо предварительно решить для самих себя вопрос о природе жертвы — обезьяна она или человеческое существо.

Только тогда, когда у вас не останется никаких сомнений на этот счет, вы сможете принять то или иное решение.

Иначе, каким бы ни был ваш приговор, вы рискуете совершить трагическую и кровавую ошибку.

Вновь последовала пауза, затем сэр Артур продолжил:

— Теперь, леди и джентльмены, вам известна суть дела. Вам остается лишь ответить после совещания «да» или «нет» на вопрос, который вам будет задан: «Виновен ли подсудимый?»

Судебный исполнитель, соблаговолите провести присяжных в комнату для совещаний. Объявляю перерыв.

Он поднялся и, выйдя из зала, с облегчением снял надоевший парик, под которым невыносимо горела голова. И в ту же минуту публика, с облегчением нарушив тягостное молчание, зашумела, как морской прибой, бьющийся о скалы.

Когда заседание возобновилось, присяжные вновь предстали перед судом. От имени своих коллег председатель присяжных попросил у суда кое-каких разъяснений.

Лицо его было почти такое же белое, как и маленький листок бумаги, дрожавший в его руках.

— У нас нет разногласий по основному вопросу,— начал он,— то есть по вопросу... о преступлении. Здесь сомнений нет. Остается решить только одно, как вы сами изволили указать: люди тропи или нет? А вот этого-то как раз мы и не знаем.

— Вполне естественно,— ответил сэр Артур.— Что же дальше?

— Так вот... Не мог бы суд нам сказать, что он сам думает по данному вопросу.

— Нет, это невозможно. Обязанность суда — уточнять отдельные факты и правовые вопросы. Но он не может иметь своего мнения по существу вопроса; если бы даже он имел собственное мнение, то по закону не имел бы права сообщить его вам.

Председатель присяжных — высокий худой старик с вьющимися вокруг маленького багрового блестящего черепа седыми кудрями — свирепо подвигал челюстями и наконец заговорил:

— Вот мы подумали, что если бы, по крайней мере... если бы суд нам просто напомнил... то... стало быть... определение человека, общепринятое определение человека, ну хотя бы то, которым пользуются вообще, стало быть, законное определение, юридическое... если это... конечно, не выходит за пределы обязанностей суда?

— Нет,— ответил, улыбаясь, судья.— Но для этого нужно, чтобы такое законное определение существовало. Возможно, это покажется невероятным, но такого определения действительно не существует.

Некоторое время старик тупо молчал, а затем переспросил:

— Не существует?

— Нет.

— Но ведь это невозможно...

— Суд согласен, что это странно, и мы уже высказались по данному вопросу; хотя, в сущности, это вполне соответствует духу нашей страны. Во всяком случае, таковы факты.

— И такого определения нет ни в Англии, ни в других странах?

— Нигде. Даже во Франции, где все определено и узаконено, где предусмотрен даже вопрос о том, кому принадле-

жит яйцо, снесенное моей курицей во дворе соседа.

— Невероятно,—произнес старик присяжный, помолчав минуту.— Выходит, что все определено и узаконено, даже самые мелочи... кроме... стало быть, нас самих.

— Совершенно справедливо,—ответил судья.

— Но, пеужели... с тех пор как существуют люди, пикогда?... Подумали обо всем... все определили и узаконили, за исключением?... А не значит ли это, что люди вообще ни о чем не подумали? Просто начали с конца?

Судья улыбнулся. Он беспомощно развел руками.

— Потому что,—продолжал присяжный,—если мы не знаем... точно... я хочу сказать, если уж мы не договорились между собой... по крайней мере... даже о нас самих... как же мы можем, черт возьми, тогда понимать друг друга.

— Возможно, именно поэтому,—согласился судья,—мы так плохо и понимаем друг друга. Но мы уклоняемся в сторону, а время уходит.

— Прощу прощения, милорд,—продолжал старик.— Но право... стало быть... даже вот для нашего решения... разве это не ужасный пробел?

— В вашей власти его заполнить,—заметил судья.

— Как, в нашей?

— Боюсь, что, не заполнив существующий пробел, вы не сможете здраво разобраться в этом деле; чтобы определить природу тропи, надо сначала дать определение самому человеку.

— Но если никто никогда не сделал этого до нас, как же мы-то сможем, милорд, мы... Пусть нам по крайней мере помогут!

— Суд для того и существует, чтобы отвечать на ваши вопросы.

— А когда я вас спрашиваю, вы отвечаете, что сами не знаете!

— Суд существует для того, чтобы напомнить вам все, что говорилось здесь по данному вопросу, и чтобы объяснить вам то, чего вы не поняли.

— Но,—с раздражением возразил старик присяжный,—мы прекрасно помним все, что здесь говорилось и, мне кажется, достаточно хорошо поняли все. Дело в том, что... если бы только, стало быть... все эти профессора пришли к какому-нибудь соглашению... Но они только бранились друг с другом... Как же вы хотите, чтобы мы... мы...

— И тем не менее вам придется это сделать,— ответил судья.— И даже, представьте себе, сделать безотлагательно: приговор должен быть вынесен через сорок минут, если вы не хотите завтра начать все сначала.

Присяжных провели в комнату для совещаний. Старик председатель, выходя из зала, сокрушенно покачивал седыми кудрями. Когда через двадцать минут старик вошел в зал, он все с тем же сокрушенным видом качал головой.

— Мы не пришли к определенному мнению,— заявил он.— Мы только еще сильнее запутались. Чем больше мы спорим, тем труднее нам принять решение. Двое—за, трое—против, остальные ничего не говорят. Я и сам-то совсем растерялся.

— И все-таки вы должны настоять, чтобы ваши коллеги вынесли решение,— сказал судья.— Сегодня в вашем распоряжении еще десять минут.

По истечении последних десяти минут старый председатель появился снова, на сей раз уже в сопровождении всех присяжных.

— Мы решительно решили, что мы ничего не можем решить,— заявил он и умолк.

Судья тоже молчал.

— Наверно, вам просто не хватило времени?— заговорил он наконец.— Мы можем вам дать для размышлений ночь. Вас удобно разместят, накормят...

— Совершенно бесполезно,— отрезал старик председатель.— Мы решили окончательно.

— Ничего не решать?

— Ничего не решать. И заявляем, что мы не в состоянии решить этот вопрос.

Несколько минут все молчали. Наконец сэр Артур произнес:

— Суд сожалеет, но при данных обстоятельствах ему придется освободить присяжных от возложенных на них обязанностей. Судебный процесс переносится на следующую сессию с новым составом присяжных. Заседание окончено.

Лишь когда судья вышел из зала, присутствующие поняли, что произошло. Сначала в зале воцарилось растерянное молчание. Но потом затишье сменилось бурей. Только уважение к этим древним стенам умеряло рокот человеческих голосов. Люди вскакивали с мест, что-то спрашивали друг у друга сдержанными, но полными досады и возбу-

ждения голосами. Френсис тоже не могла усидеть на месте. Через головы людей она старалась поймать взгляд Дугласа, которого минуту назад привели выслушать приговор и теперь уже уводили обратно. Ей удалось встретиться с ним глазами. И он, словно боксер, вышедший победителем на ринге, подняв обе руки, радостно приветствовал свою Френсис.

Глава пятнадцатая

Волнение лорда хранителя печати, равно как и владельцев английских ткацких фабрик. «Трони или не трони? Вот в чем вопрос». Судья Дрейнер предлагает передать дело в парламент. Как обходят одну из самых славных традиций. Создание комиссии по изучению вопроса. Противоречия в комиссии. Угроза провала. Положение осложняется. Польза взаимопротиворечивых мнений. Мучительное признание Френсис. Солидарность всего человеческого рода. Основное различие между человеком и животным и. Молчание устрица.

Сэр Артур Дрейнер ждал, что его вызовут. От кого последует вызов? От министра внутренних дел? Или, может быть, от генерального прокурора? Оказалось, что его просто попросил заглянуть в клуб лорд хранитель печати — министр без портфеля.

Пересекая Грин-парк, сэр Артур думал: «Стало бы, если бы речь пойдет обо всем, кроме правосудия. С одной стороны, это меня даже устраивает...» И далее: «Не придется, по-видимому, объяснять ему, как, действуя, откровенно говоря... не совсем по форме, я фактически сорвал процесс и привел присяжных в полное замешательство. Напротив, он сам, по всей вероятности, собирается попросить меня о чем-то. И попросить, конечно, о чем-то не совсем официальном... Так что козыри в моих руках. Но сумеешь ли ты пустить их в ход, старина? Ты ведь никогда не был силен в дипломатии...»

Лорд хранитель печати не заставил себя долго ждать. Он весело приветствовал сэра Артура дружеским «Хэлло!» и, фамильярно похлопав его по спине, провел в зал. Они уселись в укромном уголке. После нескольких любезных вступительных фраз министр протянул судье кипу газет.

— Вы уже просмотрели иностранную прессу?

Сэр Артур отрицательно покачал головой и не без интереса прочел напечатанный огромными буквами заголо-

вок в «Чикаго дейли пост»: «Тропи или не тропи? Вот в чем вопрос». Автор статьи весьма саркастически кратко изложил ход судебного разбирательства и подверг резкой критике британский формализм и британское правосудие, которое в силу полнейшего отсутствия гибкости заходит в тупик при любом выходящем за обычные рамки судебном разбирательстве. Французская газета «Паризьен» поместила статью под названием «Тропи и тропы британского правосудия». В ней, правда, в более игривом и не столь насмешливом тоне развивалась все та же мысль. Однако, обращаясь к читателю, она с нескрываемым юмором добавляла: «А как поступили бы вы на месте присяжных?» Пражское «Руде право» в статье под ироническим заголовком «Буря в умах двенадцати» приводила бесконечное множество нелепых вопросов: «Кого бы вы стали спасать во время кораблекрушения: мать, жену или дочь, если бы могли спасти только одну из них? Вот какие нравственные проблемы ставит буржуазное правосудие перед несчастными присяжными...»

Но ни одна из газет, казалось, не заметила тонкого маневра старого судьи.

Сэр Артур молча положил газеты на стол и вопросительно взглянул на министра.

— Неужели действительно было невозможно,— начал министр,— добиться определенного решения?

Судья ответил, что, как известно, по английским законам нельзя заставить присяжных помимо их воли вынести решение.

— Но... вы действительно... сделали все возможное?— спросил министр.— Вы действительно использовали все свое влияние?

— В каком плане?— осторожно осведомился сэр Артур.

— Ну, чтобы добиться от них решения.

— Решения, но в каком именно плане?— повторил судья.

Министр нетерпеливо пошевелился в кресле.

— Не мне, конечно...

— И не мне,— сказал сэр Артур.— Если судья не может сохранить беспристрастность, то к чему тогда институт присяжных? Это было бы просто оскорбительно для сознания и чести британских граждан. Пусть уж французское судопроизводство считает своих сограждан слабоумными; вы, надеюсь, не одобряете их закона, принятого правительством во время немецкой оккупации, по которому судья

сам руководит совещанием присяжных?

— Конечно, нет! — живо отозвался лорд хранитель печати. — Однако... И все-таки это очень неприятная история, — добавил он, взяв в руки пепельницу и разглядывая ее с преувеличенным вниманием. — Но наши-то газеты вы по крайней мере читали?

— Нет, только просмотрел. К тому же судья не может считаться с общественным мнением.

— Общественное мнение возбуждено... даже слишком возбуждено... Пожалуй, не следовало бы... Что, по-вашему, произойдет в следующий раз? С новым составом присяжных?

— А что, собственно говоря, может произойти? — спросил сэр Артур. — Вероятнее всего, то же самое.

— Это невозможно! — воскликнул министр.

Сэр Артур развел руками и мягким движением опустил их на колени.

Последовало довольно продолжительное молчание, министр, очевидно, решил на этот раз повести атаку с другого фланга.

— Вчера у меня был мой коллега из министерства торговли, — начал он.

Сэр Артур слушал с видом вежливого внимания.

— Он сказал мне... конечно, все это между нами... Он сообщил мне... я говорю вам это только в порядке информации... само собой разумеется, ваши обязанности... вы не можете принимать в расчет... но, в конце концов, все-таки лучше, если вы будете знать. Повторяю... только в порядке информации... Этот вопрос очень волнует определенные круги.

Министр с задумчивым видом повертел в руках пепельницу.

— Нельзя не учитывать... Особенно когда такая серьезная опасность угрожает процветанию одной из крупнейших отраслей нашей промышленности... Вам, вероятно, известны, — добавил он, подняв наконец глаза на сэра Артура, — кое-какие планы австралийцев относительно тропи?

Сэр Артур утвердительно кивнул головой.

— Поистине счастливое совпадение, что... что интересы нашей прославленной во всем мире текстильной промышленности не находятся в противоречии с... с точкой зрения прокуратуры, — продолжал министр. — С точкой зрения гу-

манной, не так ли? Именно гуманной. Но если бы даже... если бы даже ваша беспристрастность помешала вам полностью разделить эту точку зрения... было бы во всех отношениях крайне желательно,—вы согласны со мной?—чтобы тропи раз и навсегда признали человеческими существами.

Сэр Артур ответил не сразу.

— Что же, это было бы возможно,—проговорил он наконец.

Он умолк и молчал довольно долго.

— Да, было бы возможно,—повторил он.—Но только при одном условии...

Он замялся, и министр энергичным движением руки, плохо скрывавшим его нетерпение, дал понять, что ждет продолжения.

— При том предварительном условии, что все поводы для сомнений будут уничтожены.

— Я вас не понимаю,—сказал министр.

— Если даже новый состав присяжных,—начал сэр Артур,—если даже новый состав присяжных и признал бы подсудимого виновным (хотя в настоящее время это мало вероятно), что бы это доказало? Лишь то, что по закону подсудимого считают виновным в убийстве собственного сына. Но вопрос о природе его сына по-прежнему оставался бы открытым. Равно как и вопрос о тропи в целом. Мне кажется, это не привело бы к желаемым результатам.

Министр выжидающе посмотрел на сэра Артура.

— Обвиняемого отправили бы на виселицу или на казнь,—продолжал судья,—но что помешало бы компании Такуры использовать тропи в качестве рабочего скота на своих ткацких фабриках? Разве только пришлось бы начать новый процесс, еще более запутанный, чем этот. Да и кто бы его затеял?

— Ну, а вы что предлагаете?

Сэр Артур сделал вид, что ответить сразу на этот вопрос не так легко:

— Я думаю, для того чтобы добиться решения, и к тому же решения, которое бы дало положительные результаты, надо было бы... надо было бы, чтобы это решение строилось на совершенно определенной, не вызывающей никаких сомнений основе.

— Согласен,—отозвался министр.—Но на какой?

— На той, которую тщетно пытались найти присяжные.

— То есть?

— На узаконенном, ясном и точном определении человеческой личности.

Министр широко открыл глаза. Наконец после минутного колебания спросил:

— Но... разве оно не существует?

— Как раз этот вопрос,—сдержанно улыбаясь, ответил сэр Артур,—задали мне сбитые с толку присяжные.

— Прямо не верится!—воскликнул министр.—Неужели же это возможно?

— Подобного рода определения не английская добродетель... Скорее они вселяют в нас ужас.

— Вы правы... но я хотел спросить: неужели возможно, что французы... или немцы, друг мой, даже немцы?... Трудно поверить, что немецкие ученые писали свои философские труды о чем-то таком, чему они предварительно не дали определения.

Сэр Артур улыбался.

— Все это ставит нас в весьма затруднительное положение,—добавил министр,—во всяком случае теперь. Что же делать? Как, по-вашему, можно добиться...

— По моему мнению,—ответил сэр Артур,—следовало бы передать этот вопрос в парламент.

Глаза министра заблестели. Наконец-то эта надоевшая история попадала в его родную стихию. Но он тут же досадливо поморщился.

— Вы же сами сказали: подобный вопрос приведет в ужас наших милейших депутатов. Определение!... Ясное и точное! Определение человека! Да никогда нам не добиться...

— Как знать? Вы же видели, как отнеслись к этому присяжные во время процесса? Вспомните свою собственную реакцию. Самое невероятное во всей этой истории, что даже мы, англичане, чувствуем себя обязанными, преодолев свой инстинктивный ужас...

— Вы шутите, господин судья,—с тонкой улыбкой возразил министр.

— Никогда не позволю себе...

— Так вы говорите серьезно?

— Вполне серьезно. Необходимость в подобном определении давно назрела, и даже британский парламент, по моему мнению, согласится взять на себя этот труд.

Министр ответил не сразу, он, очевидно, обдумывал слова собеседника.

— Возможно, вы и правы, в конце концов... Словом, никто не удивится... если кто-нибудь... желательно из членов нашей партии... обратится в парламент с запросом и упрекнет нас в том... что мы позволили высмеять...

Покусывая губу, он рассеянно улыбался. Казалось, он совсем забыл о сэре Артуре. И вспомнил о нем, лишь когда тот заговорил:

— Только, господин министр, не следует связывать обсуждение в палате общин непосредственно с процессом. Вы, конечно, знаете, что, пока дело находится *sub judice*, нельзя начинать политическую дискуссию, которая сможет так или иначе повлиять на приговор.

— А, черт!.. Но в таком случае... это же все меняет...

— Почему же? Надо только принять необходимые меры предосторожности.

— Значит, мы можем рассчитывать на ваши советы?

— Господин министр, я и мысли не допускаю, что более сведущ в юридических науках, чем господин генеральный прокурор или же...

— Конечно, конечно, но они слишком заняты. Итак, решено: вы будете руководить нами.

Он встал. Судья последовал его примеру. Молча прошли они по мягкому ковру. Вдруг министр спросил:

— Скажите... а адвокат—член парламента?

— Мистер Джеймсон? Конечно,—ответил судья.

— Как вы думаете, а нельзя от него ждать,—сказал министр,—каких-либо... выступлений, которые могли бы затруднить...

— Не думаю,—возразил судья, улыбаясь.— Наоборот, если ловко взяться за дело, мы, вне всякого сомнения, найдем в нем союзника.

Министр остановился. Широко открыл глаза, наморщил лоб.

— Но...—начал он в замешательстве,—не следует заблуждаться... Если, как мы надеемся, тропи окончательно признают людьми... ведь это значит, что его подзащитного тогда повесят?

— Не надо так говорить, господин министр,—сказал сэр Артур,—не надо так говорить, но... мне кажется, что при всех условиях... обвиняемый не слишком рискует.

И, еще раз улыбнувшись, добавил:

— Если только адвокат его не окажется последним глупцом.

Нельзя было предоставить столь важным событиям идти своим ходом.

Поначалу все шло гладко: в палате общин с запросом к правительству обратился молодой депутат, говоривший с безукоризненным оксфордским произношением; он разразился по адресу правосудия целым потоком острог, эпиграмм и цитат, заимствованных из Шекспира и Библии.

Ввиду отсутствия министра внутренних дел на запрос с достоинством, но и не без юмора ответил лорд хранитель печати. Он смело встал на защиту суда его величества; доказав, что ни в одной другой стране суд не смог бы удачнее справиться с подобной задачей, он попутно высмеял глупость прессы, которая не разглядела даже того, что прямо-таки бросалось в глаза: отсутствия в международном праве точного определения *Человеческой личности*.

Тогда молодой интерпеллиант спросил, что собирается предпринять правительство, дабы помешать одной и той же причине бесконечно порождать одни и те же следствия.

Министр в своем ответе показал, что вопрос этот не застиг правительство врасплох и что оно уже успело обдумать вопрос. Оно пришло к заключению, сообщил он, что парламент вполне компетентен заполнить сей удивительный пробел. Правительство предлагало создать специальную комиссию и поручить ей выработать с помощью ученых и юристов законное определение *Человеческой личности*. Тут на господина министра снизошло вдохновение, и он произнес блестящую речь.

Он сказал, что Великобритания, явившая миру образец демократии, должна теперь взять на себя эту высокую миссию и заложить первый камень величественнейшего монумента.

— В самом деле,—продолжал он,—вообразите только, какие последствия повлечет за собой подобное определение и подобный статут, когда в один прекрасный день они выйдут за рамки британского свода законов и будут внесены в международное право! Ведь, установив законом сущность *Человеческой личности*, мы тем самым определим и все обязательства по отношению к этой личности, поскольку то, что явится угрозой для нее, будет грозить и всему человечеству в целом. Впервые все права

и взаимные обязанности людей на всех широтах, во всех странах, людей различных социальных групп, обществ и наций, независимо от религиозных убеждений, будут определяться не отдельными утилитарными, а следовательно, недолговечными соображениями, не философскими, а следовательно, спорными теориями и не произвольными, а следовательно, непостоянными и изменчивыми традициями (не говоря уже о безумных и слепых страстях),— впервые их будет определять сама природа Человеческой личности, те не вызывающие никаких сомнений особенности, которые отличают Человека от Животного.

И в самом деле, разве мало таких случаев, когда то, что считается преступлением у одного народа, не является таковым у его соседа или противника? А иногда даже может считаться долгом или делом чести, примером чему служат нацисты? И стоило ли вообще создавать в Нюрнберге Новое Право, если сама основа, на которой строились принципы Нюрнбергского устава, уже тогда признавалась не всеми? Если сегодня друзья осужденных, прикрываясь немецкими традициями, пытаются низвести эти принципы из высокой категории Общечеловеческих до уровня позорного Права сильных, а мы не в состоянии сразить непрерываемой очевидностью их гнусные заблуждения? Вот почему принципы Нюрнбергского устава, вопреки возлагаемым на них надеждам, начинают постепенно растворяться во мраке, и во мраке этом куются новые преступления.

И вот, возможно, само провидение избирает нас, членов палаты общин парламента его величества (если, конечно, мы чувствуем себя в состоянии справиться с подобной задачей), дабы мы дали вечно враждующему человечеству столь необходимое законное основополагающее определение того, что отличает Человека от Животного. Определение это не подкрепит и не отвергнет другие существующие ныне политические, философские или религиозные концепции, которые даже в тех случаях, когда они противоречат или взаимоопровергают друг друга, являются—да-да, являются—ответвлениями одного и того же древа. Иными словами, наша священная обязанность дать этой какофонии тот единственный ключ, который превратит ее в симфонию!

Он возвысил голос:

— Отныне сей ключ в наших руках. Вступив в облада-

ние им, мы, возможно, растеряемся, возможно, даже будем неприятно поражены, ибо на первый взгляд все это идет вразрез с нашими привычками, с обычным нашим благо-разумием. Но перед величием задачи должно отступить малодушие и, как сказал Шекспир:

Когда б традициям во всем мы подчинялись,
Вовек не вымести бы нам времен античных пыль,
Гора ошибок выросла б до неба
И заслонила истину...

Речь была оценена по заслугам, и министр, обратившись к спикеру, попросил его поставить предложение правительства на голосование, однако спикер, прежде чем перейти к голосованию, спросил, как того требовала формальность, нет ли у кого-нибудь возражений.

Тогда поднялся мистер Б. К. Джеймсон.

— Инициатива правительства,—сказал он,—делает ему честь, и как простой британский гражданин я могу лишь поздравить его с принятием подобного решения. Но я не только парламентарий, я адвокат. И в данных обстоятельствах не просто адвокат, но адвокат, как вам известно, взявший на себя защиту Дугласа Темплмора. Таким образом, по счастливой случайности моя душа стала сейчас ареной тех споров, в которых, как мне кажется, должен принять участие и весь парламент. Ведь если мы примем закон, определяющий Человеческую личность, в то время как обвиняемый еще находится *sub judice*, то определение это, бесспорно, окажет влияние, и немалое, на решение присяжных, а следовательно, и на судьбу обвиняемого. Не противоречит ли это нашим законам и не более разумное ли нам подождать окончания настоящего процесса?

Министр внутренних дел ответил, что он не разделяет этого мнения.

— Мы не собираемся,—сказал он,—решать в настоящее время какие-либо вопросы, касающиеся природы тропи. Речь идет только об одном: об определении Человеческой личности. Если же данное определение и окажет впоследствии свое влияние на ход процесса, то лишь косвенным образом, подобно тому как пограничная линия, намеченная во время подготовки мирного договора, может в дальнейшем косвенно повлиять на исход тяжбы о границе, разделяющей два смежных владения. Но совершенно очевидно, что вряд ли стоит откладывать подготовку мирного договора до окончания этой тяжбы.

К тому же официальное определение Человеческой личности — проблема, имеющая не только национальное, но и международное значение, и, хотя, бесспорно, этот необычный процесс заставил нас ускорить ее решение, она сама по себе гораздо шире!

Он спросил у спикера, продолжает ли мистер Джеймсон настаивать на своих возражениях. Тот ответил, что, напротив, как адвокат и как парламентарий он рад признать убедительность аргументов министра и уверен, что и его клиент разделяет это мнение. Однако, добавил он, по его мнению, комиссия не должна носить официальный характер, что поможет впоследствии парламенту избежать возможных упреков. Ему кажется, что предварительное неофициальное изучение вопроса, проведенное какой-либо известной ассоциацией, хотя бы Королевским обществом, могло бы явиться той основой, на которую парламент сумеет опереться при подготовке закона.

Это предложение, встреченное поначалу одобрительно, вызвало самые оживленные споры. Один из старейших членов парламента заявил, что, поскольку понятие «Человек» включает плоть и дух, определить его основные особенности лучше всего могут духовные и светские пэры в палате лордов. Другой член парламента, исходя из того, что речь идет об определении чисто юридического, считал наиболее разумным обратиться непосредственно в адвокатуру. Еще один депутат утверждал, что это дело короля, ведь существует для чего-то его личный совет. Третий предлагал передать дело колледжу антропологов, четвертый — колледжу психологов, а пятый даже посоветовал Би-би-си устроить референдум. В конце концов спикер предложил обратиться к обществу, которое объединяло виднейших представителей всех перечисленных областей наук, а именно: Королевскому колледжу по изучению вопросов этики и религии. Повернувшись к депутату сэру Кеннету Саммеру, он осведомился, считает ли тот возможным попросить это прославленное общество, одним из самых почетных членов коего является он сам, назначить нескольких джентльменов для изучения данного вопроса, и в знак согласия сэр Кеннет Саммер два или три раза медленно кивнул головой.

Но лорд хранитель печати заметил, что, по его мнению, было бы нежелательно держать парламент в стороне от участия в работах. Он предложил, чтобы в эту группу, ко-

торая должна оставаться неофициальной, включили несколько членов парламента, назначенных в частном порядке различными фракциями. Мистер Б. К. Джеймсон, к которому он, казалось, обращался в первую очередь, с улыбкой выставил вперед обе ладони, как бы желая показать, что он присоединяется к мнению оратора.

И сэр Кеннет Саммер мог вскоре сообщить парламенту об образовании «Комиссии по изучению характерных особенностей человеческого рода с целью создания законного определения человеческой личности». В дальнейшем для большего удобства группу эту стали именовать просто «Комиссия Саммера» по имени ее председателя. Сэра Артура Дрейпера попросили принять участие в работе комиссии, помочь юридическими советами, и, кроме того, его присутствие уже как бы гарантировало законность созданной комиссии. Было решено, что заседания комиссии будут происходить по вторникам и пятницам в знаменитой библиотеке Королевского колледжа по изучению вопросов этики и религии, где раньше находился читальный зал Сесилия Родса.

И вот тогда-то все и началось...

Оказалось, что у каждого из членов комиссии имеется по этому вопросу своя более или менее твердая точка зрения, каковая и отстаивалась ими с пеной у рта. Старейшина, которого попросили высказаться первым, заявив, что, по его мнению, лучшее из возможных определений уже дано Уэсли. Уэсли, напомнил он, указал, что нельзя считать Разум, как то обычно делают, отличительной особенностью человека. И в самом деле, с одной стороны, никак не назовешь глупыми многих животных, а с другой — вряд ли свидетельствуют о мудрости человека такие его заблуждения, не свойственные даже животным, как фетишизм или колдовство. Подлинное различие, по словам Уэсли, заключается в том, что люди созданы, дабы познать бога, а животные не способны его познать.

Затем слово попросила маленькая седая квакерша с детскими глазами, робко смотревшими из-за толстых стекол очков; тихим, дрожащим голосом она пролепетала, что ей не совсем понятно, как можно узнать, что творится в сердце собаки или шимпанзе, и как можно с такой уверенностью утверждать, что они по-своему не познают бога.

— Но, помилуйте! — запротестовал старейшина. — Тут

нет никаких сомнений! Это же совершенно очевидно!

Но маленькая квакерша возразила, что утверждать — еще не значит доказать, а другой член комиссии, застенчивый на вид мужчина, негромко добавил, что было бы по меньшей мере неосторожно отрицать, что у дикарей-идолопоклонников есть Разум: они просто плохо им распоряжаются; их можно сравнить, сказал он, с банкиром, который доходит до банкротства, потому что плохо распоряжается своим капиталом. И все-таки этот банкир — финансист, и финансист куда лучший, нежели любой простой смертный.

— Мне кажется,— закончил он,— что, напротив, необходимо исходить именно из того положения, что «Человек — животное, наделенное Разумом».

— А где же, по-вашему, начинается Разум? — иронически осведомился изящный джентльмен в безукоризненно пахламеленных воротничке и манжетах.

— Это как раз нам и следует определить,— ответил робкий господин.

Но старейшина заявил, что если только комиссия намеревается дать такое определение Человеку, в котором будет отсутствовать идея бога, он, в силу своих религиозных убеждений, не сможет принимать дальнейшее участие в ее работе.

Однако председательствующий сэр Кеннет Саммер напомнил, что определение, которое им предстоит подготовить, должно, как указывало правительство, удовлетворять людей самых различных убеждений. А следовательно, нет никаких оснований опасаться, что в определении будет отсутствовать идея бога; однако неправильно настаивать на исключительно теологическом определении, ибо его не смогут признать многие агностики, и не только на континенте, но и на самих Британских островах.

Высокий плотный мужчина с роскошными белыми усами, отставной полковник, служивший когда-то в колониальных войсках в Индии и прославившийся своими многочисленными любовными историями, сказал, что его мысль на первый взгляд может показаться присутствующим несколько парадоксальной, но, наблюдая в течение многих лет людей и животных, он пришел к выводу, что есть нечто такое, что свойственно одному лишь человеку: половые извращения. По его твердому убеждению, человек — единственное в мире животное, создавшее, например,

сообщества на основе гомосексуализма.

Но один из присутствующих джентльменов, фермер из Хемпшира, спросил, заключается ли, по мнению предыдущего оратора, эта отличительная особенность в самом создании этих сообществ (тогда надо определить, откуда у человека потребность в создании цивилизации), если же этот признак — гомосексуализм, — то в этом последнем случае он, к сожалению, должен сообщить уважаемому полковнику Стренгу, что однополая любовь нередко встречается у уток как среди самцов, так и среди самок.

По его мнению, добавил он, комиссия ни к чему не придет, если будет придерживаться «строго разграниченных» представлений: зоологии, психологии, теологии и т. д. и т. п. Человек — «сложный» комплекс, сказал оп. Он существует лишь в своих связях с окружающими его предметами и людьми. Это окружение и определяет его, так же как и он сам определяет это окружение, и это взаимодействие, беспрестанно возобновляемое, и создает постепенно Историю, вне которой ничто не имеет значения.

Джентльмен в безукоризненных манжетах оттянул указательным пальцем, на котором сверкал бриллиантовый перстень, туго накрахмаленный воротничок и сказал, что его уважаемый коллега в своем хемпширском замке, видимо, здорово нахватался Маркса. Но если он собирается обратиться в марксистскую веру не только членом комиссии, но и весь английский парламент, то пусть запасется терпением. Тут вмешалась маленькая квакерша, тихо прошептавшая, что вовсе не обязательно быть марксистом, чтобы рассуждать так, как их коллега, но что его точка зрения, хотя практически она и может показаться правильной, все равно ничего не дает. Так или иначе, придется объяснять, почему подобное взаимодействие не происходит также и у животных. Раз история Человека находится в постоянном изменении, чего нельзя сказать о животных, значит существует же что-то особое, присущее только Человеку, что и следует определить.

Сэр Кеннет Саммер спросил, не желает ли она изложить свою точку зрения. Маленькая дама ответила, что она, конечно, желает, тем более что у нее на сей счет имеется свое особое мнение. Человек, сказала она, единственное в мире животное, способное на бескорыстные поступки. Другими словами, доброта и милосердие присущи лишь Человеку, только ему одному.

Старейшина не без сарказма осведомился, на чем основывается ее утверждение о неспособности животных на бескорыстные поступки: разве не сама она только что пыталась доказать, что, возможно, они также познают бога? Джентльмен-фермер добавил, что его собственная собака погибла во время пожара, бросившись в огонь спасти ребенка. Впрочем, даже доказав, что вышеперечисленные чувства присущи лишь Человеку, надо еще установить, как правильно указала многоуважаемая леди, источник подобного различия.

Взяв слово, джентльмен в накрахмаленных манжетах заявил, что его лично очень мало волнует, будет или нет дано определение Человеку. Вот уже пятьсот тысяч лет, сказал он, люди прекрасно обходятся без таких определений, или, вернее, они не раз уже создавали концепции о сущности Человека, концепции, правда, недолговечные, но весьма полезные для данной эпохи и данной цивилизации. Пусть же действуют так и впредь. Лишь одно имеет значение, заключил он: следы исчезнувших цивилизаций, иными словами — Искусство. Вот что определяет Человека, от кроманьонца до наших дней.

— Но, — спросила его маленькая квакерша, — неужели вам безразлично, что целому племени, если, конечно, тропи-люди, грозит рабство или что из-за каких-то обезьян, если тропи-обезьяны, могут повесить невинного гражданина Великобритании?

Джентльмен признал, что действительно, с высшей точки зрения, ему это совершенно безразлично. На каждом шагу натыкаешься на несправедливости, и единственно, на что можно рассчитывать, — это сократить их до минимума. А для того существуют законы, традиции, обычаи, установившиеся порядки. Главное — умело их применять. И поскольку мы не в силах точно установить, что такое справедливость и что такое несправедливость, не так уж важно, будут ли законы чуточку лучше или чуточку хуже.

Джентльмен-фермер заметил, что хотя мысль эта, конечно, спорная, лично он склонен ее принять. Однако он спросил у своего коллеги, может ли тот дать точное определение Искусству. Коль скоро, по его мнению, Искусство определяет Человека, надо раньше определить, что такое Искусство.

Джентльмен в манжетах ответил, что Искусство не нуждается ни в каких определениях, ибо оно единственное

в своем роде проявление, распознаваемое каждым с первого взгляда.

Джентльмен-фермер возразил, что в таком случае и Человек не нуждается в особом определении, ибо он тоже принадлежит к единственному в своем роде биологическому виду, распознаваемому каждым с первого взгляда.

Джентльмен в накрахмаленных манжетах ответил, что как раз об этом он и говорил.

Тут сэр Кеннет Саммер напомнил присутствующим, что комиссия собралась не для того, чтобы установить, что Человек не нуждается в особом определении, а для того, чтобы попытаться найти это определение.

Он отметил, что первое заседание, возможно, и не принесло ощутимых результатов, но тем не менее позволило сопоставить весьма интересные точки зрения.

На этом заседание закрылось.

После следующего заседания члены комиссии выходили из зала уже не в столь спокойном состоянии духа. Холеные усы джентльмена в манжетах не смогли скрыть кистой улыбки, кривившей уголки его тонких губ. Старейшина был бледен, щеки его нервно дергивались. И уж не слезы ли блестели за толстыми очками маленькой квакерши? Крупные капли пота выступили на лбу джентльмена-фермера, а полковник Стренг нетерпеливо покусывал свои роскошные белые усы. Церемонно раскланявшись друг с другом, члены комиссии удалились, оставив председателя сэра Кеннета Саммера наедине с сэром Артуром, и тут сэр Кеннет не без тревоги признался судье:

— По-моему, сегодня мы сделали еще меньше, чем в прошлый раз.

Сэр Артур ответил, что и у него сложилось такое же впечатление.

Тогда сэр Кеннет сказал, что его беспокоит мысль, возможно ли вообще при столь непримиримых взглядах членов комиссии прийти к...

Сэр Артур возразил, что он лично не считает их точки зрения столь уж непримиримыми, как это может показаться на первый взгляд.

Сэр Кеннет ответил, что если даже это мнение несколько оптимистично, он все-таки рад был его выслушать, и в голосе председателя прозвучало явное облегчение. Хотя, добавил он, он не совсем ясно себе представляет...

— В сущности,— заметил тут сэр Артур,— это весьма от-
радный признак.

— Что?... Что я не могу себе ясно представить?

— Да нет, нет! То, что эти взгляды кажутся несовме-
стимыми.

— Весьма отрадный признак?

— Конечно. Если бы среди членов комиссии царило еди-
нодушие, они бы в два счета состряпали определение. Не-
ужели, по-вашему, такое определение могло бы быть
приемлемым?

— А почему бы и нет? Время тут вряд ли поможет.

— Не спорю. Но определение человека, данное дюжи-
ной британских подданных, незамедлительно пришедших
к соглашению, имеет, на мой взгляд, слишком много шан-
сов оказаться определением человека англосаксонской
расы. А от нас не этого ждут.

— Черт возьми, а ведь вы правы.

— Тогда как уже сами расхождения во взглядах ваших
уважаемых коллег приведут к тому, что члены комиссии —
пусть в ходе бурных споров, отбросив все, что их разделя-
ет,— оставят в конечном счете лишь то скрытое зерно, то
общее, что есть во всех этих концепциях.

— Ваша правда.

— Главное, наберитесь терпения.

— Да... да... боюсь только: терпения-то мне и не
хватит.

И действительно, сэр Кеннет не отличался особым тер-
пением. А потому постепенно, от заседания к заседанию,
роли их менялись. Все чаще и чаще во время дискуссий сэр
Кеннет прибегал к помощи сэра Артура. И вскоре с общего
согласия сэр Артур стал фактически руководить работой
комиссии.

Как раз в это время леди Дрейпер познакомилась
с Френсис. Однажды старая леди сказала своей племянни-
це:

— А ты ловко прячешь свою подопечную.

Леди Дрейпер знала, что слова ее попадут в цель.

— Уж кто-кто, а Френсис не нуждается в опеке! — вскипе-
ла племянница.

— Тогда почему же ты ее прячешь? — продолжала тетка.

— Я ее вовсе не прячу, но я решила... А разве это удоб-
но? — спросила она.

- Что именно?
- Ну хотя бы привести ее сюда... Дядя Артур судил ее мужа, и, может быть, будет судить его опять... Вот я и спрашиваю, удобно ли...
- Но при чем тут я?
- Как при чем?
- Разве я буду судить этого простофилю, ее мужа?
- Нет, но все-таки...
- Так приведи ее завтра к чаю.

Прежде чем принять предложение, Френсис побывала в тюрьме у Дугласа и посоветовалась с ним. Почему она вдруг понадобилась этой старой даме?

– Непрерменно пойдешь, – сказал Дуглас. – Ясно, Дрейпер не будет меня судить. Будет у него хоть малейшее сомнение на сей счет, он не согласился бы участвовать в работе комиссии Саммера. Непременно пойдешь! – повторил он, вдруг воодушевляясь. – Много бы я отдал, лишь бы узнать, что думает Дрейпер, что происходит в комиссии и что из всего этого получится!

Через разделяющую их решетку Френсис молча смотрела на мужа. Потом прошептала:

– Это ужасно, любимый, но я не смею сказать тебе, о чем я думаю.

– Френсис?... Но почему же, бог мой?

– Потому... потому что... во мне происходит такая борьба!.. Я прихожу в ужас от собственных мыслей. Да, да, в ужас. Я больна от них. И все-таки не могу не думать.

– Френсис, я никогда не видел тебя в таком состоянии. Что с тобой? Ты от меня что-то скрываешь?

Френсис совсем по-детски заодно тряхнула светлыми пушистыми волосами. И так же по-детски заодно посмотрела на мужа блестящими, полными слез глазами.

– Ты, наверно, так же запиралась перед отцом, когда в детстве гнала ему, – ласково пошутил Дуглас.

Она засмеялась, но по напудренному носику скатилась слезинка.

– Мне стыдно самой себя, – призналась она.

Дуглас не настаивал. Он смотрел на нее, и в его улыбке Френсис прочла такую доверчивую нежность, что вслед за первой скатилась вторая слеза. И, шмыгнув носом, как маленькая, она удержала третью. И снова засмеялась:

– Тебя это забавляет, но если бы ты только знал...

– Что же, – сказал Дуглас, – я сейчас узнаю.

И все-таки она никак не могла решиться.

— Я вовсе не такая сильная, как ты считаешь,— сказала она наконец.

— Нет, сильная!

— Да... но не такая, как ты считаешь.

— Ну полно,—успокоил ее Дуглас.

Она смотрела на него через разделяющую их решетку. Она смотрела на его доброе, чуть побледневшее лицо под шапкой рыжеватых волос.

— Нет, не могу,—проговорила она с душераздирающим вздохом.— Это так... так не к месту!

— Но тебе будет еще тяжелее, если ты не скажешь мне.

— Конечно.

— Тогда я сам скажу тебе, в чем дело,—промолвил Дуглас.

Она открыла глаза и рот, совсем как золотая рыбка в аквариуме.

— Ты перестала верить в мою правоту,— очень серьезно сказал он.

— Что ты говоришь!—закричала Френсис.

Обеими руками она схватилась за решетку, словно собиралась вырвать ее.

— Не смей, никогда не смей так думать. О Дуг, обещай мне... Никогда!— снова крикнула она.

— От всего сердца обещаю,— сказал Дуглас со вздохом облегчения.— Никогда!

— Ты знаешь, я всегда буду по-прежнему тебя любить и восхищаться тобой, что бы ни случилось, даже если они захотят... если только... они посмеют... утверждать, что ты... Я своими руками сплету шелковую лестницу,— сказала она, улыбаясь,— и передам ее тебе в пироге. Я убегу вместе с тобой. Спрячу тебя в пещере. Я смогу пойти даже на убийство, лишь бы защитить тебя... Ты ведь это знаешь?

— Знаю. Но?..

Френсис молчала. Дуглас повторил мягко, но настойчиво:

— Но?

— Но все-таки это будет уже не то,— прошептала она тихо, однако он расслышал.

— Что же изменится?

— Я буду любить тебя так же сильно, но любовь моя... уже не будет... такой... такой кристально чистой.

— Ты... ты тоже будешь считать меня... убийцей?

В ответ она лишь утвердительно кивнула головой. Дуглас замолчал, ему требовалось время, чтобы все понять.

— Странно,— произнес он наконец.

И он с веселым любопытством посмотрел на Френсис, будто она сказала ему что-то очень забавное.

— А вот я нет,— добавил он.

Лицо Френсис вспыхнуло огнем надежды и ожидания.

— Ты нет? Нет? Даже если тропи—люди?

— Даже,— ответил Дуг.— Я не смогу тебе объяснить сейчас, но я уверен, что бы там ни говорили, я знаю, что убил всего лишь звереныша. Может быть, потому, что... в общем... ну вот, если бы... если бы во время войны я убил немца из Восточной Пруссии, и мне вдруг говорят: «Да, но, видите ли, теперь это польские земли—значит, вы убили нашего союзника». Но ведь я-то знаю, что это не так.

Френсис задумалась.

— Нет, это не одно и то же,— вздохнула она.

Не поднимая глаз, она медленно покачала головой.

— Твой немец был сперва одним, потом другим. А твой маленький тропи... он не был ничем. Он и сейчас еще ничто. Вот когда решат, кем он был, тем он тогда и будет.

И вдруг ее словно волной подхватило.

— Не могу больше этого выносить!— закричала она.— Ничего не смогу с собой подслать... если только решат... если только выяснится, что тропи люди... все равно я никогда не смогу отделаться от этой мысли... Я понимаю, что это возмутительно, условно до глупости, раз... раз сам ты не изменишься. Ведь ты, ты останешься точно таким же, но, несмотря на все... от того, решат ли люди, что ты убил обезьяну или человека, все изменится, и я... я при всем желании не смогу заставить себя думать иначе, чем они!..

— Знаешь, это даже хорошо.

— Хорошо?

— Да... хотя мне самому еще тоже не все ясно, и я, пожалуй, не сумею объяснить тебе толком, о чем я подумал. Но, во-первых, это доказывает... доказывает, что убийство как таковое не существует. То есть, не существует само по себе. Поскольку все зависит не от того, что я сделал, а от того, что по этому поводу решат люди, и в том числе я и ты. Люди, Френсис, только люди. Род человеческий. И мы так глубоко солидарны с ним, что невольно думаем

так же, как и он... Мы не в состоянии думать иначе, ведь только он может решить, что мы такое: я, ты, мы все. И мы решим это сами для нас одних — не заботясь о Вселенной. Вероятно, именно поэтому я сказал «хорошо». Остальное, право же, не так уж важно. Я знаю, мне будет очень тяжело, если твоя любовь ко мне потеряет, как ты говоришь, свою кристальную чистоту... Но, в конце концов, мне следовало это предвидеть.

— Дуг, любимый... — начала Френсис, но к ним подошел надзиратель.

— Свидание окончено! — сказал он.

И пришлось отложить до следующей встречи то, что она собиралась сказать.

Трудно решить, в какой мере изменились или определились взгляды сэра Артура Дрейпера благодаря своеобразным флюидам, которые возникли между ним и Дугласом через посредство обеих женщин. Отдавал ли он сам себе в этом отчет? Во всяком случае Френсис, как и желал того Дуглас, находилась в курсе всего, что происходило в комиссии от заседания к заседанию, и передавала все новости мужу. Затем она сообщала леди Дрейпер о том, как воспринимал ее рассказы заключенный. Старая леди на досуге размышляла обо всем услышанном и за завтраком допрашивала сэра Артура.

— Вы намерены пойти сегодня в комиссию?

— Конечно.

— Долго ли еще будут эти глупые улитки с вашего дозволения ощупывать друг друга рожками?

— Но не могу же я их подгонять, дорогая.

— На днях Дуглас говорил своей жене, что на суде после выступления капитана Троппа его как будто осенило. А возможно, после выступления профессора Рэмпола, не помню точно.

— А может быть, после выступлений их обоих?

— Может быть. Френсис говорила мне, но я ничего не понимала.

— Однако оба ученых сказали то же, что и вы: у людей есть амулеты, а у животных их нет.

— Конечно. Ну и что же из этого?

— Полагаю, что Темплмор извлек из этой мысли кое-какие выводы.

— А вы?

- И я тоже.
- Такие же, как и он?
- Вполне вероятно.
- Какие именно?

Сэр Артур задумался. Как далеко сможет его супруга следовать за ходом его мыслей? Вернее, даже предвосхищать их, подумалось ему, и, так как он не забыл, что именно ее слова дали первый толчок его размышлениям, он пояснил:

- Отсюда вытекают два положения, взаимно дополняющие друг друга: «Ни у одного вида животных нельзя обнаружить, пусть даже в самом зачаточном состоянии, признаков отвлеченного мышления; ни у одного отсталого племени нельзя не обнаружить, пусть даже в самом зачаточном состоянии, признаков отвлеченного мышления». Не в этом ли кроется основное отличие?

- Но, — воскликнула леди Дрейпер, — ведь это то же самое, как если бы сказать: «Нет такого вида среди животных, который обращался бы к услугам парикмахера. И нет такого племени, которое не обращалось бы к услугам парикмахера (какого, это уж дело другое!)». Следовательно, человека от животного отличает то, что человек обращается к услугам парикмахера?

- И это было бы не так уж глупо, как может показаться на первый взгляд, — ответил сэр Артур. — Развив вашу мысль, можно прийти к выводу, что человек заботится о своей внешности, а животное нет. Другими словами, можно свести все это к понятиям вполне отвлеченным. Видите ли, все сводится к тому же: человек задается различными вопросами, а животное — нет...

- Как знать? — возразила леди Дрейпер.

- Тогда давайте скажем так: человек, видимо, задается различными вопросами, а животное, видимо, не задается ими... Или же еще точнее: наличие признаков отвлеченного мышления доказывает, что человек задается различными вопросами; отсутствие же этих признаков, видимо, доказывает, что животное ими не задается.

- Но почему же? — спросила леди Дрейпер.

- Потому что отвлеченное мышление... Но, моя дорогая, вы не находите, что это ужасно скучная тема для разговора?

- Мы же одни, — заметила леди Дрейпер улыбаясь.

- И все-таки это ужасно скучно.

— Ну что же, попрошу Френсис мне объяснить. А что думают по этому поводу ваши улитки?

— Они еще не добрались до таких вопросов.

— Почему же вам тогда не пригласить к себе Рэмпола или капитана Троппа?

— Право,— воскликнул сэр Артур,— вас осенила гениальная мысль!

Когда Рэмпол и Тропп, закончив свои выступления, удалились, старейшина воскликнул:

— Разве я был неправ? Они сказали то же, что и Уэсли!

— С чего вы взяли?—спросил джентльмен в манжетах.

— Именно молитва отличает человека от животного.

— Лично я ничего подобного не слышал!

— Имеющий уши...—начал было старейшина.

— Я слышал как раз обратное. Рэмпол сказал: «Ум человека способен за внешней формой предметов улавливать их сущность. А у животных ум не улавливает даже внешней формы, он не идет дальше ощущений».

— Но Тропп опроверг это положение!—воскликнул старейшина.—Вспомните только макаку Верлена: она отличала треугольник от ромба, ромб от квадрата, кучку в десять бобов от кучки в одиннадцать!

— Возможно, мне удастся внести ясность,—мягко сказал сэр Артур.

Сэр Кеннет попросил судью примирить противоположные точки зрения.

— Сравнивая ум человека и ум животного,—начал сэр Артур,—профессор Рэмпол в общем говорил нам не столько о количественном различии, существующем между ними, сколько о качественном. Он утверждал, даже, что так всегда происходит в природе: небольшое различие в количестве может вызвать неожиданные перемены, полное изменение качества. Например, можно в течение некоторого времени нагревать воду, но она по-прежнему будет оставаться в жидком состоянии. А потом в определенный момент одного градуса будет достаточно, чтобы из жидкого состояния она перешла в газообразное. Не то же ли самое произошло и с интеллектом наших пращуров? Небольшое, может быть, совершенно незначительное количественное изменение мозговых связей заставило его совершить один из тех скачков, которые определяют полное изменение качества. Так что...

— Пагубнейшая точка зрения,— прервал его джентльмен в манжетах.

— Простите?

— Я читал нечто подобное в... уже не помню где... Но, в конце концов, это же чистейший большевистский материализм. Один из трех законов их диалектики.

— Профессор Рэмпол,— внес поправку сэр Кеннет,— племянник епископа из Кру. Жена его — дочь ректора Клейтона. Мать ректора — подруга моей матери, а сам сэр Питер — примерный христианин.

Джентльмен подтянул манжеты и с подчеркнутым интересом стал рассматривать потолок.

— Профессор Рэмпол,— продолжал сэр Артур,— указал, в чем именно заключалось это качественное изменение: разница между мышлением неандертальского человека и мышлением человекообразной обезьяны, вероятно, была количественно невелика. Но, надо полагать, в их отношениях с природой она была поистине огромной: животное продолжало бездумно подчиняться природе, человек же вдруг начал ее вопрошать.

— Да это же... — воскликнули одновременно старейшина и джентльмен в манжетах, но сэр Артур не обратил на них внимания.

— А для того, чтобы спрашивать, необходимо наличие двоих: вопрошающего и того, к кому обращены вопросы. Представляя единое целое с природой, животное не может обращаться к ней с вопросами. Вот, на мой взгляд, то различие, которое мы пытаемся определить. Животное составляет единое целое с природой. Человек не составляет с ней единого целого. Для того чтобы мог произойти этот переход от пассивной бессознательности к вопрошающему сознанию, необходим был раскол, разрыв, необходимо было вырваться из природы. Не здесь ли как раз и проходит граница? До этого разрыва — животное, после него — человек? Животные, вырвавшиеся из природы,— вот кто мы.

Несколько минут прошло в молчании, которое нарушил полковник Стренг, прошептав:

— Все это не так уж глупо. Теперь мы можем объяснить гомосексуализм.

— Мы можем теперь объяснить,— проговорил сэр Артур,— почему животные не нуждаются ни в мифах, ни в амулетах: им неведомо их собственное невежество. Но разве

мог ум человека, вырвавшегося, выделившегося из природы, не погрузиться сразу же во мрак, не испытать ужаса? Он почувствовал себя одиноким, предоставленным самому себе, смертным, абсолютно невежественным — словом, единственным животным на Земле, которое знает лишь то, что «ничего не знает», не знает даже, что оно такое. Как же ему было не выдумывать мифов о богах или духах, чтобы оградиться от своего невежества, идолов и амулетов, чтобы оградиться от своей беспомощности? И не доказывает ли как раз отсутствие у животных таких извращающих действительность измышлений, что им неведомы и страшные вопросы?

Присутствующие молча смотрели на оратора.

— Но тогда, если человек — разумный человек — и история человечества обязана своим появлением этому отрыву, этой независимости, этой борьбе, этому отделению от природы, если, для того чтобы животное стало человеком, ему необходимо было сделать этот мучительный шаг, то как, но какому признаку, наконец, мы можем понять, что шаг этот сделан?

Ответа на его вопрос не последовало.

Глава

шестнадцатая

Каким образом твердый кристалл превращается в медузу. Законная тревога Дугласа Темплора. Судья Дрейпер возмущается, но затем уступает. Уместное замечание профессора Рэмпола помогает вовремя решить щекотливый вопрос. Почетная традиция обойдена вторично. Английские текстильщики торжествуют.

Когда Дуглас узнал, что предложение судьи было встречено враждебным молчанием и что лорд хранитель печати снова вызывал судью в свой клуб, им овладело глухое беспокойство.

— Они провалят все дело, — сказал он Френсис, не скрывая волнения.

— Кто?

— Да эти политиканы, — ответил Дуглас. — Знаю я их. Самый твердый кристалл они способны превратить в медузу.

В это самое время сэр Артур в обществе лорда хранителя печати пил старое виски в маленьком кабинете Гаррик-

клаба, обставленном креслами мореного дуба с сафьяновой обивкой.

— Вы их здорово взбудоражили,— сказал министр.

— Это я и сам понимаю. Но мне не совсем ясно, что именно их волнует.

— По их словам, вы проповедуете бунт.

— Каким образом?

— Для них неприемлема сама мысль, что человек отличается от животного тем, что он противопоставляет себя природе. Как это вы говорите? Вырывается из природы.

— Но ведь мне никто не возражал.

— Возможно, и все-таки эта мысль им не по душе.

— Дело вовсе не в том, по душе она им или нет.

— Быть может, они не сумели сразу найти нужный ответ. Но мне кажется, они вправе были вам сказать: «В действительности мы вовсе не вырвались из природы. И не вырвемся из нее никогда. Мы всегда будем составной ее частью. Каждая клетка нашего тела восстает против подобной мысли!»

— Ну и пусть себе восстает. Я никогда этого не отрицал.

— Знаю... Однако...

— Мы вырвались из природы точно так же, как тот или иной человек отделяется от толпы: от этого он не перестает быть человеком, но зато может теперь смотреть на толпу извне, избавиться от ее воздействия и разобраться во всем беспристрастно.

— Конечно-конечно, хотя, видите ли, это звучит несколько двусмысленно... И потом... вас также могут упрекнуть... ведь вы рассматриваете природу как нечто чуждое нам, почти враждебное? Но что бы мы делали, что бы с нами без нее стало?

— Почему враждебное? Это слово имеет смысл только для человека, оно неприменимо к самой природе.

— Не спорю, но все это звучит также неубедительно. Пришлось бы давать слишком много объяснений... Парламентское большинство никогда не согласится с подобными идеями... Удивительно уже и то, что под тяжестью фактов наши славные парламентарии, которым внушает ужас даже само слово «определение», пошли на создание специальной комиссии. Так не усложняйте их и без того трудную задачу. Поймите, в чем дело, дорогой мой. Возможно, вы и правы, не знаю, решать такие вопросы мне не по силам. Но в глазах парламента вы допу-

скаете ошибку, в этом можно не сомневаться.

Судья с подчеркнутым спокойствием отхлебнул большой глоток виски.

— Вот если бы мы,—продолжал министр,—сумели ему предложить... с соответствующими комментариями, конечно... определение... которое, никого бы не шокировало и всех бы устраивало...

— Что вы имеете в виду?

Министр с минуту молча смотрел на судью и затем произнес:

— Религиозный дух.

Судья онемел.

— Я виделся с председателем,—не давая ему опомниться, продолжал министр.—Вся комиссия согласна. Даже этот слегка фашиствующий молодой человек. Как там его зовут? Конечно, эти понятия надо взять в самом широком смысле слова. Религиозный дух подразумевает способность абстрактно мыслить, способность исследовать, жажду истины и прочее. Это понятие включает не только веру, но и науку, искусство, историю и даже колдовство, магию — словом, все что угодно. В общем то же самое говорите и вы. Только в несколько ином изложении.

— И надо сказать,—воскликнул судья,—в изложении чертовски двусмысленном! Все это пустые слова, при желании их можно истолковать в противоположном смысле.

Министр улыбнулся.

— Это... хм... это как раз и удобно...

— Но в таком случае, какую пользу принесет подобное определение? Вы ведь сами, господи министр, вспоминали о Нюрнбергском процессе. Вы ведь сами хотели, чтобы была найдена солидная база, на которой бы строилось неопровержимое право людей. Религиозный дух! Неужели вы надеетесь, что та же Россия согласится с подобным определением, какими бы комментариями мы его ни снабдили? Если бы нам предложили признать как всеобщее определение Энгельса, которое, право же, не менее точно, пошли бы мы на это?

— Дорогой мой,—возразил министр,—в порыве страсти вы говорите как римский правовед. Теоретически вы, может быть, тысячу раз правы. Но практически быть правым в политике еще ничего не значит, и вы это сами отлично понимаете. Мы должны срочно решить некий вопрос. Этот вопрос не имеет международного значения, он касается

лишь племени тропи и нашей текстильной промышленности. Наличие религиозного духа, как я вам уже говорил, — предложение, вполне приемлемое для большинства членов английского парламента. Предложение неполное, согласен. Но ошибочно ли оно? Нет. Оно дает нам возможность проверить на практике, произошло ли с тропи именно то, о чем вы говорите, то есть вырвались ли они из природы, стали ли независимыми, противопоставили ли себя ей и так далее и тому подобное. Не так ли?

— Да... Но как раз... А вдруг у тропи не окажется ни малейшего признака религиозного духа, тогда что? Они не носят даже амулетов...

— По-моему, эта сторона дела не должна нас беспокоить... Всему свое время. Я виделся также с профессором Рэмполем. У него, если не ошибаюсь, есть замечания весьма разумные. Возможно, они помогут решить этот вопрос немедленно. А если мы предложим парламентау определение, не спорю, куда более полное, менее двусмысленное, но которое вызовет бесконечные дискуссии, поправки, отклонения *sine die**, мы никогда не добьемся положительного результата. Да и пользы это никому не принесет: ни тропи, ни обвиняемому, ни британскому правосудию, ни даже правам человека. Вспомните-ка пословицу: «Для того чтобы приготовить рагу из зайца, надо иметь зайца». Не следует ускорять события, поверьте мне. Удовольствуемся тем, чего можно добиться сейчас. Остальное придет в свое время. Доказательством тому вся история Англии.

Предсказание лорда хранителя печати оправдалось. На основании доклада комиссии Саммера после небольших поправок парламент принял статьи следующего закона:

Статья I. Человека отличает от животного наличие религиозного духа.

Статья II. Основными признаками религиозного духа являются (в нисходящем порядке): вера в бога, наука, искусство во всех своих проявлениях; различные религии, философские школы во всех своих проявлениях; фетишизм, тотемы и табу, магия, колдовство во всех своих

* Без конца (лат.).

проявлениях; ритуальное людоедство в его проявлениях.

Статья III. Всякое одушевленное существо, которое обладает хотя бы одним из признаков, перечисленных в статье II, признается членом человеческого общества и личность его гарантируется на всей территории Соединенного Королевства всеми законами, записанными в последней Декларации прав человека.

Как только закон был принят голосованием, один интерпеллянт, известный своими связями с крупной текстильной промышленностью, запросил парламент о дальнейшей судьбе тропи.

Ему ответили, что, по мнению правительства, этот вопрос не может рассматриваться сейчас в парламенте, ибо подобное обсуждение оказало бы незаконное давление на еще незаконченный судебный процесс.

Но интерпеллянт решительно выступил против такой точки зрения. Он спросил:

— В том случае, если бы Шотландия, подобно Ирландии, решила отделиться (вещь, конечно, невообразимая), сформировала бы временное правительство и объявила себя независимой, отказался бы парламент рассматривать шотландский вопрос лишь на том основании, что в Эдинбурге не окончен еще процесс некоего мистера Макмиша, обвиняемого в оскорблении королевской власти, хотя было бы ясно, что решения, принятые за или против независимости Шотландии, могли бы значительно повлиять на судьбу уже упомянутого Макмиша?

Он сказал далее, что убийство одного из тропи и законный статут племени тропи — совершенно разные вещи и зависят они друг от друга не более, чем судьба Соединенного Королевства от процесса какого-то шотландца. Что, напротив, парламент обязан решать этот вопрос в первую очередь с точки зрения гуманности, и лишь потом — с точки зрения экономической и национальной.

Депутат оппозиции ответил ему, что такое разделение было бы необоснованным и искусственным. Нельзя, заявил он, сравнивать второстепенный вопрос о статуте племени тропи, фактически полуживотного, с обсуждением вопроса о единстве Королевства, не терпящим отлагательств. К тому же, спросил он, разве может к чему-нибудь

обязать Австралию или Новую Гвинею статут тропи, принятый в Лондоне?

Но интерпеллиант напомнил, что Великобритания не раз заставляла считаться со своим мнением не только доминионы, но и иностранные государства, когда там слишком явно попирался принцип гуманности. Что же касается срочности решения вопроса, заявил он далее, то разве может благородный человек считать спасение целого племени от рабства, которым ему открыто угрожают, второстепенным вопросом?

После оживленной дискуссии было единогласно решено просить комиссию Саммера продолжить работу с целью изучения вопроса о тропи. Однако было оговорено, что принятие статута тропи ни в коем случае не должно входить в компетенцию лондонского парламента. При случае он лишь выработает проект и представит его на рассмотрение в ООН, а также правительствам Австралии и Новой Гвинеи.

Комиссия, в состав которой вошел в качестве эксперта по вопросу психологии примитивных племен сэр Питер Рэмпол, по очереди выслушала мнение Крепса, Диллигена, Вилли, супругов Грим и прочих антропологов, имевших возможность наблюдать поведение тропи со времени их прибытия в Лондон.

Поначалу казалось, что у тропи невозможно обнаружить ни малейших признаков религиозного духа. Не говоря уж об искусстве и науках, у них не было ни идолов, ни амулетов, ни татуировки, ни танцев, ни каких-либо других ритуальных обрядов. Правда, они хоронили своих мертвецов, но точно так же, как хоронят их многие виды животных, большинство из которых зарывают даже свои экскременты, инстинктивно избегая опасности гниения или просто стараясь уничтожить свои следы. Никаких погребальных обрядов у тропи заметить не удалось.

К самоедству у них не оказалось ни малейшей склонности. Они никогда не поедали друг друга и не пытались с этой целью похитить или заманить человека. Они не покушались даже на носильщиков папуасов, к которым сразу же почувствовали антипатию.

Выслушав эти неутешительные показания, комиссия поручила сэру Питеру Рэмполу совместно с сэром Артуром тщательно изучить их и постараться, если возможно,

обнаружить более обнадеживающий признак. Сэр Кеннет в достаточно туманных выражениях дал понять психологу, что было бы крайне желательным обнаружить подобный признак, конечно, не в ущерб истине.

На следующем заседании сэр Питер заявил, что внимательно изучив сообщения ученых-антропологов, они с сэром Артуром пришли к весьма важному выводу.

— Мы имеем в виду,— сказал он,— каннибализм. Людоедство, даже в тех редких случаях, когда целью его является утоление голода или гурманство, есть не что иное, как ритуальный обряд. К сожалению, у тропи не удалось обнаружить никакой склонности к людоедству. К счастью, папуасы не проявили по отношению к ним такой же сдержанности: они не раз устраивали тайные пиршества, на которых ели мясо тропи. Обращаем ваше внимание на тот факт, что все эти пиршества происходили втайне. А раз они происходили втайне, папуасы, видимо, либо вообще хотели скрыть это обстоятельство от европейцев, либо сохранить от них втайне свои обряды и церемонии, сопровождающие ритуальные пиршества. Естественно, папуасы не принимали бы таких предосторожностей, если бы собирались полакомиться просто дичью. Следовательно, тропоедство было для них ритуальным пиршеством, и ели они не мясо животных, но мясо людей.

Тут сэр Питер сделал эффектную паузу, а затем продолжал:

— Это лишь симптом. Мы, безусловно, не имеем оснований доверять инстинкту папуасов больше, нежели наблюдениям, которые в течение полугода вели над тропи наши виднейшие ученые. Но в то же время мы не можем и не считаться с инстинктами папуасов. Мы должны принять их в расчет, поскольку это — инстинкты людей, которые гораздо ближе нас с вами к природе и благодаря этому могут скорее, чем мы, уловить в другом существе признаки примитивного мышления. Я думаю, следовательно, что мы с вами проглядели у тропи какой-то, пусть зачаточный, признак религиозного духа, который, однако, не ускользнул от внимания папуасов. Мы с сэром Артуром догадываемся, в чем дело. Но для окончательного подтверждения нам необходимо уточнить некоторые уже заслушанные показания.

Он добавил, что надеется получить эти сведения в пер-

вую очередь от своего уважаемого собрата, геолога Крепса.

— Действительно, профессор Крепс,—сказал сэр Питер,— имел возможность наблюдать тропи со всей пунктуальностью ученого и в то же время без предубеждений зоолога или антрополога. Ни одно показание,—заверил он,— не может быть более объективным.

Во время следующего заседания присутствующие снова выслушали Крепса.

Сэр Питер спросил ученого, делали ли папуасы в своих набегах на тропи различие между теми из них, кто жил в скалах, и теми, кто жил в «загоне».

Крепс ответил, что папуасы охотились исключительно на тропи, живущих в скалах. Факт достаточно характерный, заявил он, так как прирученные тропи находились буквально под боком. Они жили почти без присмотра со стороны белых, и папуасам, особенно в первое время, была предоставлена полная свобода действий.

Сэр Питер спросил далее, много ли копченого мяса обнаружили в гrotах члены экспедиции, когда впервые поднялись на скалы.

Крепс ответил, что мяса там обнаружено было очень немного.

— Мы полагали,—заметил сэр Питер,— что тропи коптили его с целью сохранить на более долгий срок.

— Такого же мнения сначала придерживались и мы. Но потом убедились, что тропи не делали запасов. Когда у них возникала нужда в свежем мясе, они охотились и тут же съедали убитую дичь.

— А вы уверены, что они коптили сырое мясо?

— Абсолютно уверен,—ответил Крепс.— Нам ни разу не удалось заставить тропи хотя бы просто попробовать вареное мясо. Оно вызывает у них отвращение. Сырое же мясо их самое любимое блюдо.

— Но если они такие любители сырого мяса, то в таком случае зачем они коптят его: ведь впрок они его не оставляют?

— Откровенно говоря, я и сам этого не понимаю. Здесь действительно какая-то загадка: тропи, живущие в скалах, не желают взять в рот мясо, которое не провисело над огнем хотя бы день. То же самое они проделывали даже с ветчиной, которую мы им давали, как будто хотели удостовериться, что она тоже прокопчена по всем правилам.

Что же касается тропи из загона, то они с жадностью поедали предложенное им сырое мясо, ни о чем не тревожась.

— И вы из этого не сделали никаких выводов?

— Видите ли,— сказал Крепс,— бывает, что попав в неволю, животные быстро утрачивают свои прежние инстинктивные привычки, свойственные им в диком состоянии.

— И все-таки кое-какие факты действительно могут показаться странными, особенно если их сопоставить,— сказал сэр Питер.— Во-первых, тропи предпочитают сырое мясо. Во-вторых, тропи, обитающие в скалах, вопреки своему пристрастию, коптят его, однако не с целью запаса впрок. В-третьих, прирученные тропи сразу же изменяют своим привычкам. В-четвертых, папуасы-каннибалы охотятся за первыми и не обращают ни малейшего внимания на вторых.

— Но ведь вы сами,— обратился он к Крепсу,— сказали о прирученных тропи: «Мы собрали самых бездельников»?

— Совершенно верно,— с улыбкой подтвердил Крепс.

— Поставим себя на место папуасов,— продолжал сэр Питер.— Перед ними странное племя — полуобезьяны, полулюди... Одна часть этого племени производит на них впечатление гордецов и свободолюбцев. В некоторых их привычках папуасы справедливо видят нечто гораздо более важное, чем инстинкт или пристрастие, в их глазах это примитивное поклонение огню, признание его магической власти очищения. Другая часть племени, легкомысленная и беззаботная, продает свою свободу за несколько кусков сырого мяса; предоставленная самой себе, она сразу же отказывается от тех обычаев, которым до того следовала не инстинктивно и уж, конечно, не сознательно, а просто из подражания. И наши папуасы не ошиблись: первых они сочли за людей, вторых — за обезьян. Нам кажется, что они на правильном пути. У этого племени, стоящего на границе между человеком и животным, не все особи сумели перешагнуть эту границу. Но мы полагаем, что, если некоторые из них все же перешли грань, мы вправе требовать, чтобы весь вид был принят в лоно человечества.

— Впрочем,— признавался сэр Питер позже в разговоре с сэром Кеннетом,— многие ли из нас имели бы право именовать человека, если бы нам пришлось перейти эту границу без посторонней помощи?...

Докладом комиссии Саммера устанавливалось, таким образом, что, поскольку у тропи обнаружены признаки религиозного духа, нашедшие свое выражение в ритуальном поклонении огню, они должны быть приняты в человеческую общину.

Учитывая состояние крайней дикости, в которой пребывает это племя, — говорилось далее в докладе, — необходимо взять тропи под защиту, в частности оградить его от всех посягательств со стороны. Комиссия предлагала выработать особый статут, который Великобритания рекомендовала бы Австралии и Новой Гвинее под контролем ООН.

Все эти предложения были приняты подавляющим большинством голосов, и в этот вечер наконец-то облегченно вздохнул огромный клан английских текстильщиков.

Глава семнадцатая

Чисто формальный процесс. Задача присяжных облегчена. Все хорошо, что хорошо кончается. Мрачное настроение Дугласа Темплмора. Френсис черпает надежду в самой безнадежности. Любопытные противоречия во взглядах судьи Дрейпера. «Новая эпоха становления». Оптимистические выводы, сделанные в кабачке «Перспектив-оф-Уитби».

Второй процесс, поскольку страсти уже улеглись, начался в обстановке доброжелательного любопытства к обвиняемому. Теперь, когда все сомнения исчезли, убийство это стало казаться будничным, как и всякое убийство. Обвиняемому дружно желали успеха, так как еще свежа в памяти была та роль, которую он сыграл в эмансипации тропи. Надеялись, что прокурор примет во внимание доводы защиты и что присяжные проявят достаточно снисходительности. Заключались пари о характере будущего приговора. Некоторые заядлые спорщики отваживались ставить даже на полное оправдание. Причем ставки были немаленькие.

Леди Дрейнер старалась успокоить Френсис, она никак не могла взять в толк, что так угнетает ее подругу. Новый судья, говорила она, давнишний друг ее мужа. Да и прокурор тоже. Конечно, оказывать на них прямое давление сэр Артур не имеет права, но он с полуслова понял, каково их отношение к процессу. А оно, судя по всему, было благожелательным.

И в самом деле, процесс посил чисто формальный ха-

рактар. Было вызвано всего два-три свидетеля, так как предполагалось выяснить лишь обстоятельства убийства. Королевский прокурор, как и следовало ожидать, оказался не слишком строгим. Он сказал, что теперь уже нет сомнений в том, что было совершено убийство и что подсудимый виновен. Однако, принимая во внимание причины, толкнувшие его на преступление, равно как и тот факт, что в момент совершения убийства подсудимый еще не знал, кого он убивает — человека или животное, — обвинение не будет протестовать, если присяжные учтут эти смягчающие обстоятельства.

Адвокат мистер Джеймсон поблагодарил прокурора за его снисходительность. Но тут же заметил, что тот был не совсем последователен в своих выводах.

— Обвинение признает, — сказал он, — что подсудимому в момент совершения убийства не была известна истинная природа жертвы. Но так ли следует ставить вопрос? Мы лично полагаем иначе. Мы полагаем, что в момент совершения убийства жертва еще не являлась человеческой личностью.

Он помолчал, а затем заговорил снова:

— И действительно, потребовался специальный закон, определяющий человеческую личность. Потребовался также закон, дающий тропи право именоваться людьми. А уж одно это доказывает, что будут или нет тропи признаны членами человеческого общества, зависело отнюдь не от них: *только от нас зависело признать их людьми.*

Это доказывает также, что не одни только законы природы дают человеку право именоваться человеком: право это должно быть признано за ним другими людьми, для чего он должен пройти через своеобразное испытание, через своеобразный искус.

Человечество напоминает собой клуб для избранных, доступ в который весьма затруднен: мы сами решаем, кто может быть туда допущен. Его внутренний устав действителен только для нас одних. Вот почему было столь необходимо найти для него ту законную основу, каковая облегчила бы прием новых членов и позволила установить правила, равно обязательные для всех.

Само собой разумеется, что пока тропи не были приняты в клуб, они не могли участвовать в его жизни, а члены его не были обязаны признавать за ними те привилегии, которые дает принадлежность к клубу.

Иными словами, мы не имели права требовать от кого бы то ни было обращения с тропи как с людьми, пока сами не установили, что они достойны так называться.

Объявить подсудимого виновным в этих условиях значило бы признать, что закон имеет обратную силу. Это было бы равносильно тому, что после введения правостороннего уличного движения мы стали бы штрафовать водителей, которые до того ездили, придерживаясь левой стороны.

Это было бы вопиющей несправедливостью, противоречащей всем нашим юридическим нормам.

Вопрос совершенно ясен.

Тропи — и этим они обязаны обвиняемому — официально признаны людьми. Они имеют все права человека. Ничто им не угрожает более. Ныне, когда существует официальное определение человека, ничто также не угрожает всем отсталым и диким племенам.

Таким образом, присяжные могут не опасаться, что признание подсудимого невиновным повлечет нежелательные последствия. И нет ни малейшего сомнения, что, признав его виновным, они совершили бы грубейшую ошибку, чудовищную несправедливость. И не только потому, что в то время, когда было совершено убийство маленького тропи, его еще не признали человеческим существом, но и потому (а это главное!), что именно гибель его привела к эмансипации племени тропи и внесла определенную ясность в наше законодательство. Поэтому мы полностью доверяем присяжным и надеемся, что они вынесут мудрый и справедливый приговор.

Судья с добродушной улыбкой подвел итог прениям. Оставаясь в рамках спокойного беспристрастия, он сумел дать понять, что здравый смысл на стороне защитника. Присяжные почувствовали подлинное облегчение. Посоветовавшись несколько минут, они объявили, что Дуглас Темплмор полностью оправдан, чем привели публику в восхищение.

Прижавшись друг к другу, Френсис и Дуглас молча сидели в такси, которое увозило их на обед к леди Дрейпер.

Глядя на измученное лицо мужа, Френсис не решалась заговорить первой. Да и что она могла ему сказать? Она слишком хорошо понимала, что в его глазах, так же как и

в ее собственных, подобный конец был скорее полупоражением, чем полупобедой. Однако при Дрейперах оба старались держаться как ни в чем не бывало. За столом, как и положено, никто не завел речи о том, что переполняло их сердца все эти дни. Только раз, без всякой связи с процессом, кто-то упомянул имена прокурора и адвоката, сравнив их таланты, но не в ораторском искусстве, а в искусстве играть в крикет.

После обеда леди Дрейпер увела Френсис в гостиную, а Дуглас и сэр Артур прошли в курительную комнату.

— Вид у вас что-то не очень радостный,— дружески сказала леди Дрейпер.

— Дуг потерпел поражение,— ответила Френсис.

— Артур думает иначе.

— Правда?— оживилась Френсис.

— Артур очень доволен. Он считает, что достигнуто больше, нежели можно было ожидать. Ну, а сама я, дитя мое, смотрю на всю эту историю совсем иначе, чем вы. Дуг свободен—и слава богу! Это главное. Но вообще, зачем ему надо было начинать все это?

— Что начинать, Гертруда?— дамы называли теперь друг друга по имени.

— Неужели вы думаете, что тропи будут счастливее, став людьми? Я, например, в этом глубоко сомневаюсь.

— Конечно, не станут,— ответила Френсис.

— Вот как! Значит, вы согласны со мной?

— Речь идет не о счастье,— сказала Френсис.— По-моему, это слово здесь не подходит.

— Жили они, не зная забот, а теперь их, наверно, начнут приобщать к цивилизации?— с ядовитым сочувствием осведомилась Гертруда.

— Должно быть, начнут,— ответила Френсис.

— И они станут лжецами, ворами, завистниками, эгоистами, скрягами...

— Возможно,— согласилась Френсис.

— Они начнут воевать и истреблять друг друга... Нечего сказать, мы сделали им прекрасный подарок!

— А все-таки подарок,— возразила Френсис.

— Подарок?

— Да. Прекраснейший подарок. Я тоже, конечно, много думала об этом последнее время. Вначале я очень страдала.

— Из-за тропи?

– Нет, из-за Дугласа. Его оправдали. Но он все-таки убийца, что бы там ни было.

– И это говорите вы?

– Да. Он убил ребенка, своего сына. И я ему помогла. И никакие хитроумные доводы ничего не изменят. Сколько ночей я проплакала. Кусала себе пальцы. Вспоминала свои детские годы. У моего крестного был автомобиль. В то время это считалось редкостью. Я восхищалась крестным, обожала его. И вот однажды папа рассказал нам, что крестного на месяц посадили в тюрьму. В узкой улочке дети играли в классы. Он даже не сразу понял, как это случилось, что он раздавил ребенка. Только выйдя из машины, он увидел разможенную головку... Толпа его чуть не растерзала. А ведь он был не виноват. Папа говорил нам: «Он не виноват, любите его по-прежнему». И я любила его по-прежнему. Только с тех пор, когда он приходил к нам, я испытывала ужас... Конечно, я была девчонкой... Я ничего не могла с собой поделать. Сейчас я бы вела себя иначе. И все-таки... когда я думаю о Дугласе... я не могу удержаться... Наверно, я кажусь вам отвратительной, да?

– Вы меня просто несколько удивляете,– призналась Гертруда.

– Я и самой себе казалась отвратительной. А потом... Теперь я считаю, что все это прекрасно. Мне это объяснил Дуг. Я не все помню. Но, как и он, я чувствую, что это прекрасно. В этом страдании, в этом ужасе – красота человека. Животные, конечно, гораздо счастливее нас: они не способны на подобные чувства. Но ни за какие блага мира я не променяю на их бездумное существование ни этого страдания, ни даже этого ужаса, ни даже нашей лжи, нашего эгоизма и нашей ненависти.

– Пожалуй, и я тоже,– прошептала леди Дрейпер и глубоко задумалась.

– После процесса,– продолжала Френсис,– нам по крайней мере стало ясно одно: право на звание человека не дается просто так. Честь именоваться человеком надо еще завоевать, и это звание приносит не только радость, но и горе. Завоевывается оно ценою слез. И тропи придется пролить еще немало слез и крови, пройти через раздоры и горькие испытания. Но теперь я знаю, знаю, знаю, что история человечества не сказка без конца и начала, рассказанная каким-то идиотом.

«Вот, что я должна была сказать Дугу»,—подумала Френсис. Она думала также о том, что чем более сомнительны доводы собеседника, тем становятся тебе яснее свои собственные.

— Нет, это полное поражение,—с горечью проговорил Дуглас, отхлебнув глоток портвейна.

— В вас говорит непримиримость молодости,—улыбнулся сэр Артур.—Все или ничего, не так ли?

— Но то малое, что сделано, ничего не дает. Да и сделано-то отнюдь не из благородных побуждений! А это еще хуже, чем ничего.

— Нет. Дело сделано. И это главное... Вам представился прекрасный случай посмеяться надо мной,—добавил он, насмешливо улыбаясь.

— Не понимаю, почему?

— Вам бы следовало послушать мой спор с лордом хранителем печати. Я говорил ему как раз обратное.

— Вы изменили свое мнение?

— Ничуть. И в этом-то самое забавное. С ним я рассуждаю, как вы. С вами—как оп. Знаете, из всего этого можно извлечь весьма ценный урок.

— Интересно знать, какой.

— Не помню уж, кому принадлежат эти слова,—сказал судья:—«Было бы слишком прекрасно умереть за абсолютно правое дело!» Но ведь на свете таких «абсолютно правых дел» не существует. Даже в наиболее правом деле справедливость играет лишь второстепенную роль. Чтобы поддержать его, необходимы как раз те самые соображения, которые вы называете неблагородными. Почему это так, нам с вами отныне вполне понятно: человеческий удел двойствен в самой своей основе, не с нас эта двойственность началась, и мы постоянно пытаемся бороться против нее. В этой борьбе, даже в тех падениях и норажениях, без которых она немыслима,—величие человека.

— Что вы советуете мне теперь делать?—спросил его Дуглас.

— Ну, конечно, продолжать, старина,—ответил судья.

— Продолжать? Неужели, по-вашему, я должен убить еще одного тропеньца?

— Бог мой! Конечно, нет!—расхохотался сэр Артур, утирая слезы, выступившие у него на глазах.—Конечно же, нет! Я имел в виду вашу профессию, вы, надеюсь, помните, что вы, как-никак, писатель?

Он с улыбкой протянул кипу газет, в них синим карандашом были отмечены места, представляющие интерес для Дугласа. Это были отклики на опубликованную в «Таймс» статью сэра Артура, комментирующую официально принятое в Соединенном Королевстве определение человеческой личности. Все газеты дружно нападали на данное определение. Но иного никто не предлагал. И точек зрения, с которых критиковался новый закон, было больше, чем цветов на летнем лугу.

Один из французских парламентариев в своем интервью, данном корреспонденту газеты относительно нового закона, заявил, что он-де «слишком хорошо относится к своим британским коллегам, чтобы вообще распространяться на эту тему». Его ответ рассмешил Дугласа. — Ну и злобный тип! — произнес он. — Куда честнее прямо сказать, в чем их разногласия.

— Он, вероятно, не в состоянии этого сделать, — заметил судья.

— Почему же?

— Именно это я и пытаюсь объяснить в своей статье. Уже одно существование различных мнений ясно доказывает, что нам пока не дано знать истины (иначе не было бы поводов для разногласий), и все же, несмотря ни на что, мы стремимся найти эту истину (иначе о чем нам было бы спорить?). А ведь именно это в конечном счете и выражает закон при всей своей неполноте и двойственности. Стоит только начать спор, как наталкиваешься на неразрешимые противоречия.

— И вы думаете, ваш французский коллега понимает все это?

— Нет. Чаще всего, как вы сами убедитесь, разногласия вытекают из соображений эмоционального характера, а иногда просто из предрассудков. Они, и это вполне закономерно, не опираются и не могут не опираться на логические доводы. Но человеческий ум очень ловко обходит то, что его стесняет.

«...В свое время Маркс и Энгельс доказали (прочитал Дуглас в «Уэлш уоркер»), что человека от животного отличает его способность преобразовывать природу. Наши уважаемые парламентарии, которых трудно назвать коммунистами, потратили немало сил, чтобы в конце концов прийти, правда другим путем, к тому же самому выводу. Отдадим должное их доброй воле, но укажем по-дружески, что, приняв подобное определение, они от-

крывают путь опасным заблуждениям».

— Но и здесь тоже ничего не объясняется,— заметил Дуглас.

«Само понятие религиозного духа,— писал другой обозреватель,— взятое в широком смысле слова, может оказаться полезным и плодотворным. Но, коль скоро оно легло в основу закона, вынесенного политическим органом, оно не имеет в наших глазах никакого значения».

— Ну, это уж слишком!— вскричал Дуглас.— Ведь нужно просто решить, достаточно ли полно это определение, справедливо оно или нет. Какое отношение к делу имеет то, от кого оно исходит?

— Не волнуйтесь,— успокоил его сэр Артур.— Согласен, это нечестно, но кто из нас без греха?

Но Дуглас уже весело смеялся, читая третью статью:

«В крайнем случае, мы могли бы согласиться с тем, чтобы данное определение базировалось на понятии религиозного духа, если бы понятие это было взято лишь в его христианском значении, но...»

Отложив газету, Дуглас произнес без улыбки:

— Да, случай безнадежный.

— Вовсе нет,— ответил сэр Артур.— Вы подумайте только, что бы творилось сейчас, если бы мы попытались немедленно добиться более полного определения, в основу которого были бы положены отход, отказ, борьба — окончательный отрыв от природы.

— Такого определения никогда не добиться,— вздохнул Дуглас.

— Почему же? Если только оно справедливо, его рано или поздно добьются,— возразил сэр Артур.— Истине — и это вполне понятно — не так-то легко одержать победу. Но в конце концов она торжествует. Впрочем, быть может, не в этом главное.

— Но в чем же оно, черт возьми?

— Главное в том, дружище, что сделали мы сами,— сказал сэр Артур.— Вы вселили беспокойство в души людей. Вы ткнули их носом в совершенно непонятный пробел, существующий миллионы лет. Кто это из французов писал недавно: «Мы должны заново пересмотреть все наши представления. Началась новая эпоха становления». Вы показали, что это действительно так, что до сих пор все строилось на песке. Осознав это, мы постарались на ско-

рую руку, по мере сил своих, заполнить существующий пробел. В будущем это надо сделать лучше и полнее. Не все сразу пойдет как по маслу. Но вы стронули с места машину, а такую громадину уже не остановить.

На закуску сэр Артур предложил Дугласу статью, напечатанную в литературном журнале «Гаргойл».

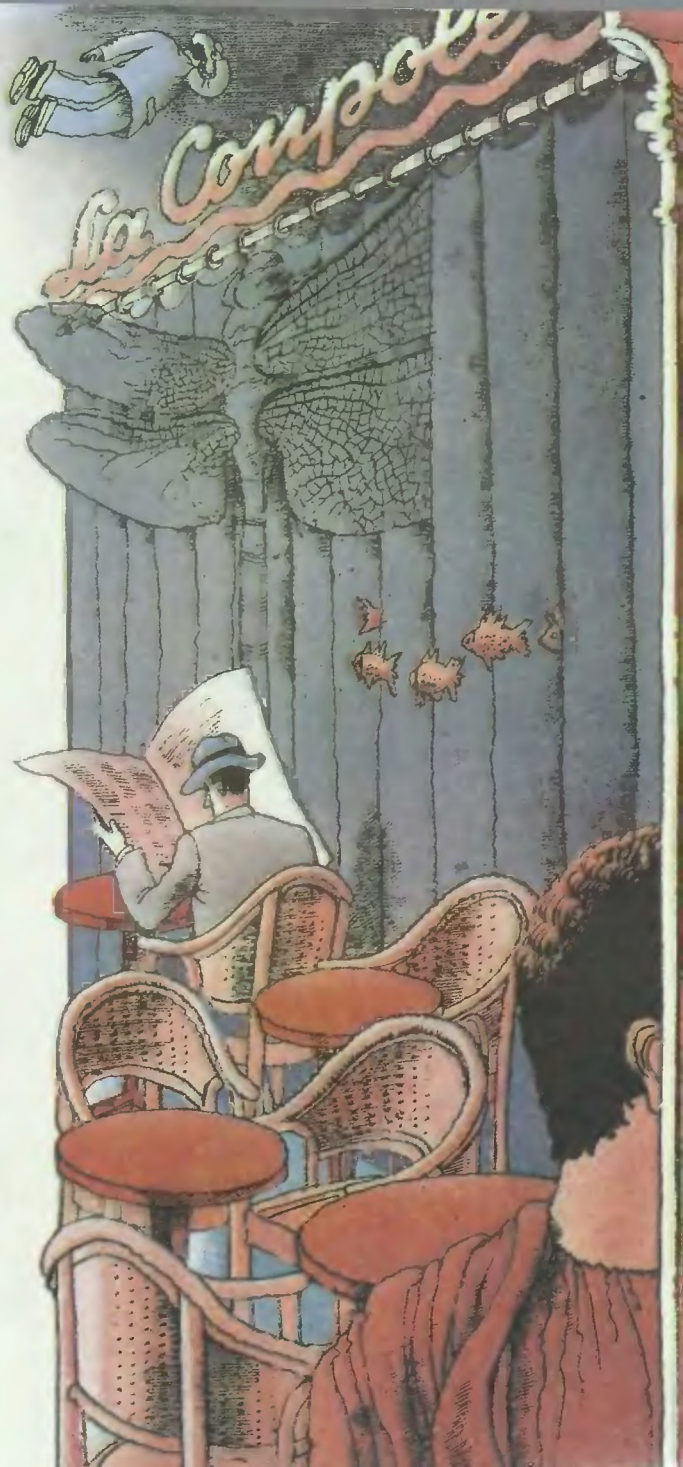
«Давно пора,—писал автор, известный своими исследованиями в области лингвистики,—давно пора покончить с этой глупой историей; я имею в виду—с тропи. Поистине жалкое зрелище являли собой наши лучшие умы, тратившие свои силы (и время) на эти лженаучные, никому не нужные проблемы, связанные с определением человека! Благодарение богу, отныне с этими проблемами покончено и, надо надеяться, навсегда. Обратимся, господа, к вещам куда более серьезным. Недавно вышел в свет совершенно необычный (автобиографический) роман, который даст вам более глубокий материал для размышлений. Настоятельно рекомендую этот роман вашему вниманию. В книге показано, как в психологии автора (пожелавшего остаться неизвестным) вскоре после того, как подростком он задушил свою мать с целью грабежа (или изнасилования), слова вдруг претерпевают магические изменения, приобретают значение ритуала. Автор, опоив читателя дурманящим напитком своего поистине неслыханного словаря, водит его по лабиринту сносшибательных непристойностей, где после каждого поворота, окончательно сбившись с пути, мы обнаруживаем в некоей многозначительной мистификации во всей его остроте смысл нашего существования.

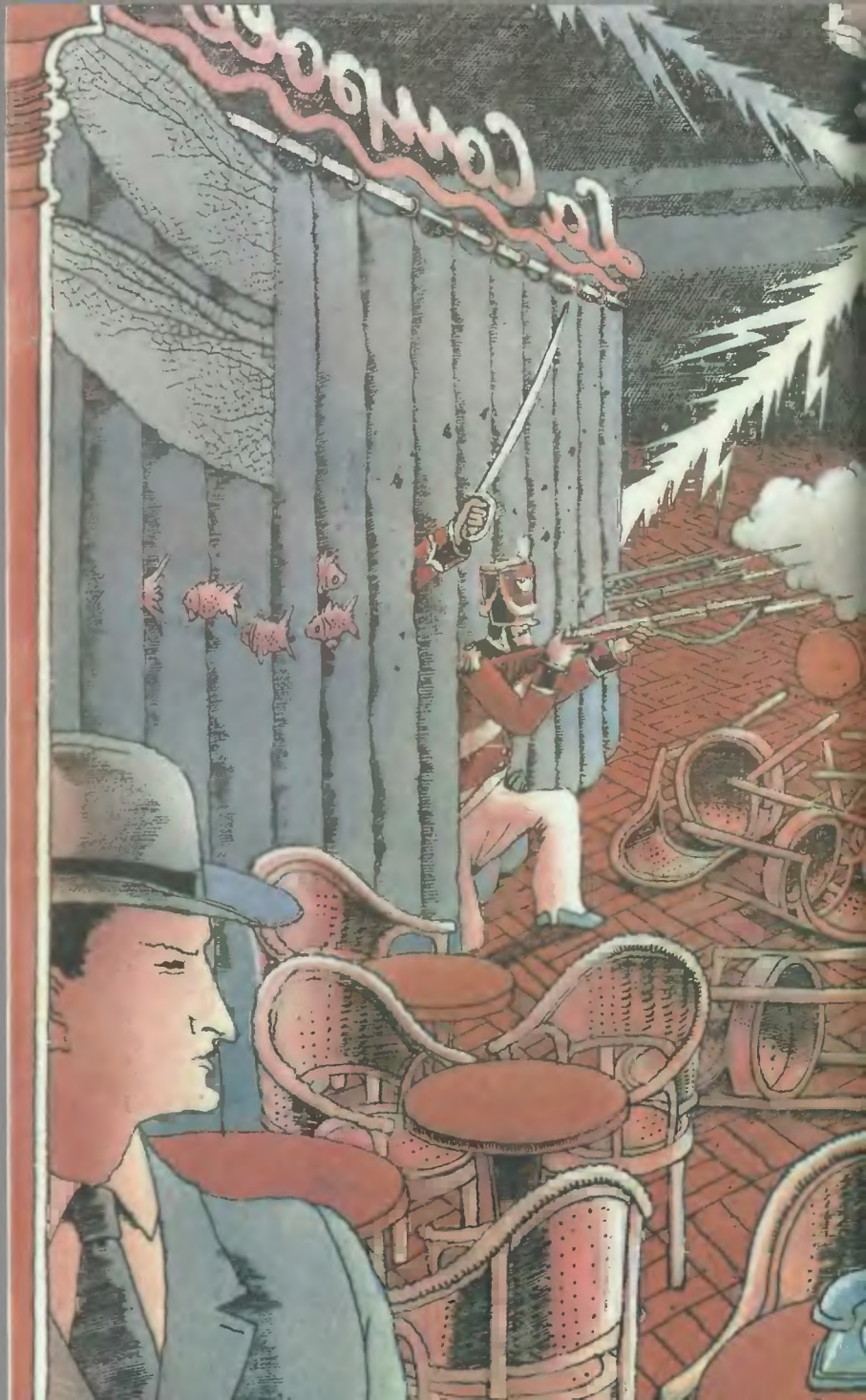
Естественно предположить, что человеческая личность определяется в результате именно этой изнуряющей погони за неуловимыми мифами. В противном случае, как объясним мы...»

Дуглас поднял голову. Усталость, омрачавшую его лицо, как рукой сняло. Он дружелюбно и весело посмотрел на сэра Артура. Заглянув в курительную, Гертруда и Френсис с удивлением увидели, что их мужья от души смеются.

И вдруг Дугласу ужасно захотелось отвезти своих друзей, хотя бы на час, в кабачок «Проспект-оф-Уитби», в его толчею и клубы дыма, где музыка, песни, знаменитая коллекция—ссохшаяся голова индейца, причудливые сувениры о морских путешествиях, свадьбах, кораблекрушениях, коммерческих сделках, игре, приключениях—все прославляло радостную любовь людей к этому раскрепощенному миру, который они создали для себя и по своему подобию.

Рассказы









Леону Эннику, другу и почитателю

1. *Неведомые*

Это было за тысячу лет до того, как возникли первые поселения, из которых потом выросли Ниневия, Вавилон, Экбатан.

Вечерело. Кочевое племя пжеху со своими ослами, лошадьми и прочим скотом продвигалось через девственный лес Кзур, пронизанный косыми лучами солнца. Разноголосый птичий гомон становился громче.

Все очень устали и молча шли вперед, отыскивая поляну, где можно будет возжечь священный огонь, приготовить вечернюю трапезу и заснуть, укрывшись от диких зверей за двойным кольцом красных костров.

Облака стали опаловыми; призрачные видения наплывали со всех сторон, боги ночи убаюкивали все живое, а племя шло и шло. Но вот прискакал дозорный — он принес весть, что неподалеку есть поляна и чистый родник.

Трижды разорвал тишину протяжный крик радости. Кочевники оживились. Послышался детский смех, даже лошади и ослы, привыкшие по возгласам людей узнавать о близкой стоянке, вскинули головы и зашагали бодрее.

Открылась поляна. Среди мхов и зарослей кустарников пробивал себе дорогу живительный ключ. И вдруг и люди и животные остолбенели.

На противоположной стороне поляны светилось кольцо каких-то голубоватых полупрозрачных конусов с темными извилинами. Они были примерно по пояс че-

Печатается по изд.: Рони-старший Ж. Ксипехузы. — В сб. Пришельцы ниоткуда. Пер. с франц. — М.: Мир, 1967. — Пер. изд.: Rosny aîné J. H. Les Xipéhuz: Mercure de France, Paris, 1892.

© перевод на русский язык с исправлениями, «Мир», 1986

ловеку, и у каждого внизу, почти у самой земли, горела ослепительная звезда. Позади них виднелись такие же странные призмы, белесые с темными черточками, как на березовой коре. Кое-где высились бронзовые с зелеными точками цилиндры: одни тонкие и высокие, другие приземистые и широкие. И у всех у них возле основания сверкали такие же звезды.

Кочевники оцепенели. Суеверный страх сковал даже самых отважных. Но стало еще страшней, когда Неведомые зашевелились. Звезды их замигали, конусы вытянулись, цилиндры и призмы зашипели, словно на раскаленные камни плеснули воды, — и все они, набирая скорость, понеслись прямо на кочевников.

Племя, как замороженное, не двигалось с места. Неведомые налетели на людей. Столкновение было страшным. Люди будто подкошенные валились на землю под ударами незримых молний. Невыразимый ужас вернул силы живым, и, словно обретя крылья, они бросились врассыпную. Сомкнутые ряды Неведомых в безжалостном преследовании своих жертв тоже разъединились. Однако их таинственное оружие разило не всех: одни от него падали замертво, другие только теряли сознание. Раненых не было. Оглушенные после недолгого беспамятства вскакивали и, не разбирая дороги, в полутьме снова бежали от Неведомых.

Действия Неведомых скорее походили на действия живых существ, а не слепых сил природы. Они меняли скорость и направление движения, выбирая жертву, не путали людей с растениями и животными.

Вскоре самые быстроногие заметили, что преследование прекратилось. Утомленные и разбитые, они все же осмелились обратить лица к таинственному лесу, где светящиеся Неведомые все еще выискивали свои жертвы, хотя меж деревьев уже сгустилась тьма.

Это безмолвное избиение в преддверии ночи издали казалось кочевникам еще ужаснее. Оставшиеся в живых готовы были снова обратиться в бегство, но заметили, что Неведомые прекращают преследование, словно не в силах пересечь некую невидимую черту. За этой чертой даже совершенно обессилевшему и беспомощному беглецу уже не угрожала опасность. Затаив дыхание, люди наблюдали, как еще полусотне их соплеменников удалось так спастись. Это немного их успокоило. Вождь племени, храбрейший из

воинов, преодолел растерянность и, вновь обретя твердость духа, приказал разжечь огонь, а затем затрубил в буйволоный рог, сзывая людей.

Один за другим собирались соплеменники. Некоторым отказали ноги, и они ползли, цепляясь руками за землю. Неукротимая материнская любовь помогла женщинам уберечь своих малышей и вынести их невредимыми из страшного побоища. На звук рога стягивались ослы, лошади, быки; животные были напуганы не меньше, чем люди.

Ночь прошла в мрачной тишине, без сна. Даже воинов пробирала дрожь. Но вот наступило утро, и бледный свет робко просочился сквозь листву. Потом к небу вознеслись звонкие птичьи трели, и яркие краски зари, славя жизнь, отогнали ужасы ночи.

Вождь собрал людей, чтобы подсчитать потери. Половина воинов — около двух сотен — не откликнулись на зов. Женщин погибло мало, а дети уцелели почти все. Когда закончилась перекличка и были навьючены животные (их погибло немного — инстинкт порой оберегает животных лучше, чем человека), вождь расположил племя в походном порядке и велел всем ждать. А сам в одиночку двинулся к поляне. Никто не нашел в себе смелости последовать за ним даже на почтительном расстоянии.

Он направился туда, где расступались деревья, пересек замеченную накануне границу, остановился и стал наблюдать.

Утренний воздух был свеж и прозрачен, мирно журчал ручей, на берегу которого, источая сияние, застыло фантастическое воинство Неведомых. Их окраска слегка изменилась. Бирюзовые конусы налились темной зеленью, цилиндры сделались густо-малиновыми, а призмы стали походить на куски медной руды. Но и на ярком дневном свете звезды их по-прежнему ослепительно сияли.

Менялись и очертания кошмарных существ: конусы превращались в цилиндры, их основания расширялись, округлялись грани призм.

Но вот, как и накануне, Неведомые вдруг зашевелились, их звезды часто-часто замигали.

Вождь с побелевшим от волнения лицом, медленно пятясь, отступил за спасительную черту.

2. Священная жертва

Племя пжеху приблизилось к святилищу и остановилось у его врат; дальше могли идти только вожди. В глубине святилища под изображением Солнца-Отца, окруженного звездами, стояли три великих жреца. Чуть ниже, на золоченых ступенях застыли остальные двенадцать жрецов, в чьи обязанности входило заклятие жертв.

Вождь подробно поведал о страшном переходе через лес Кзур. Невозмутимые жрецы внимательно слушали его, смутно ощущая, что столь невероятное событие угрожает их могуществу. Верховный жрец возвестил, что Неведомые — боги и что после того, как племя принесет в жертву Солнцу двенадцать быков, семь диких ослов и трех жеребцов, к месту обитания кровожадных божеств надо совершить паломничество.

Жрецы и вожди захелалов тоже должны были принять участие в походе. Вестники обошли горы и долины на расстоянии двадцати дневных переходов вокруг того места, где позднее возник город волхвов Экбатана. И слушая их мрачный рассказ, всякий содрогался от ужаса. Все вожди тотчас откликнулись на священный призыв.

И вот в одно осеннее утро Солнце-Отец пронзило тучи, залило светом храм, и луч его коснулся алтаря, на котором дымилось окровавленное сердце быка. Торжествующий вопль вырвался из груди жрецов и пятидесяти вождей. Сто тысяч кочевников, стоявших снаружи на росистой траве, подхватили клич и повернули обветренные лица к таинственному лесу Кзур. Предзнаменование было благоприятным.

Кочевники во главе со жрецами двинулись к лесу. В три часа пополудни вождь племени пжеху остановил шествие. Перед ними простиралась обширная поляна, осень раскрасила ее в ржавые тона и усыпала мертвыми листьями. На берегу ручья жрецы увидели тех, кому пришли поклониться и кого хотели умиловить. Не вселяли тревоги переливчатые нежные цвета Неведомых, чистый огонь их звезд и спокойный, медлительный хоровод у ручья.

— Жертву принесем здесь, — промолвил верховный жрец. — Да будет им ведомо, что мы покоряемся их могуществу!

Старцы согласно склонили головы. И тогда раздался протестующий голос — голос молодого звездочета Юшика из племени ним. Этот юный прорицатель с бледным ли-

ном фанатика требовал приблизиться к Неведомым.

Но седые старцы, давно познавшие искусство мудрых речей, одержали верх: у поляны воздвигали алтарь и привели жертву — великолепного жеребца, верного слугу человека. Кочевники пали ниц, и бронзовый нож пронзил благородное сердце животного. Жалобный стон разорвал тишину. Тогда верховный жрец спросил:

— О боги, примете ли вы нашу жертву?

Неведомые, переливаясь всеми цветами радуги, продолжали безмолвно кружить по поляне, устремляясь туда, где больше солнца.

— О да, — пылко вскричал юный пророк, — они принимают ее!

И не успел удивленный верховный жрец произнести слово, как Ющик схватил дымящееся сердце жеребца и ринулся на поляну. Вслед за ним с воим устремились его почитатели. Неведомые медленно собрались вместе, заскользили над землей навстречу безрассудным и учинили столь безжалостную расправу, что сердца воинов всех пятидесяти племен сжались от ужаса.

Только шестеро едва спаслись от разъяренных преследователей, успев пересечь спасительную границу. Остальные, и вместе с ними Ющик, погибли.

— Эти боги неумолимы! — торжественно провозгласил верховный жрец и собрал Великий совет.

Жрецы, старейшины и вожди решили огородить поляну частоколом, дабы обозначить спасительную черту: ее определили, послав почти на верную смерть рабов. Эта предосторожность сохранила многие жизни, ибо отныне границу мог увидеть каждый.

Так закончился священный поход. На время таинственный враг перестал страшить захелалов.

3. Закат

Но спасительная ограда, воздвигнутая по решению совета, вскоре оказалась бесполезной. Следующей весной Неведомые напали на племена хертот и наззум, без особых опасений проходившие неподалеку от частокола, и учинили жестокое побоище.

Вожди, чудом избежавшие смерти, сообщили Великому совету захелалов о том, что Неведомых стало значительно больше, чем прошлой осенью. Правда, как и прежде, враг преследовал людей до определенной черты, но теперь она

охватывала более обширную площадь.

Эта весть испугала захелалов. Кочевники принесли великие погребальные жертвы. А совет решил уничтожить лес Кзур огнем. Но поджечь удалось лишь его окраины.

Отчаявшиеся жрецы наложили проклятье на лес, запретив кому бы то ни было входить в него. Так прошло еще несколько лет.

А потом в одну из октябрьских ночей стан племени зулф, разбитый в десяти полетах стрелы от проклятого леса, подвергся нападению Неведомых. И еще триста воинов расстались с жизнью.

И пополз от племени к племени жуткий рассказ о таинственных, смертоносных созданиях. Люди шепотом передавали его друг другу на ухо долгими месопотамскими ночами. *Человеку приходит конец*. Другие — те, кто захватывает леса и долины, те, кого невозможно уничтожить, — скоро погубять обреченный род людской.

Страшная весть леденила сердца, туманила слабый разум кочевников, лишала их сил для борьбы со злом, отнимала главное оружие — надежду на будущее. Кочевнику было уже не до богатых пастбищ; его усталые глаза с тоской смотрели на небо: он был уверен, что вот-вот остановится ход созвездий. Шел всего тысячный год истории юной расы, а уже близился ее закат, и человек безропотно ждал своей судьбы.

И этот всеобщий ужас был на руку только бледным пророкам нового мрачного культа, культа смерти, которые утверждали, будто Мрак могущественнее Звезд и он поглотит, погасит священный огонь — блистающий животворный Свет.

В пустынях появились тощие отшельники и ясновидцы, которые подолгу застывали в безмолвных молитвах. Время от времени они приходили к кочевникам, сея ужас в их сердцах — пророка гибель Солнца и приближение вечной Ночи.

4. Бакун

Жил в те времена один удивительный человек, по имени Бакун; как и его брат, верховный жрец захелалов, он был родом из племени птух. Еще юношей отказался от кочевой жизни, поселившись в живописном тихом месте, меж четырех холмов, в узкой веселой долинке, где немолчно журчал прозрачный ручей. Вместо шалаша он, подобно циклопам,

воздвиг себе жилище из каменных плит. Он был настойчив, приспособил к работе быков и лошадей и вскоре стал снимать со своих земель обильные урожаи. Четыре его жены и тридцать детей жили вместе с ним в этом маленьком раю.

Речи Бакуна не походили на речи других людей, и его давно бы побили камнями, если бы не страх перед старшим братом, верховным жрецом захелалов.

Бакун говорил, что оседлая жизнь лучше кочевой, ибо у человека остается больше сил для совершенствования духа. Он говорил, что Солнце, Луна и Звезды — светящиеся тела, а вовсе не боги. Еще говорил, что человек должен по настоящему верить лишь в то, что можно измерить, взвесить и сосчитать.

Захелалы считали, что Бакуну подвластны магические силы, а потому наиболее смелые иногда приходили к нему за советом. И никогда потом не раскаивались. Было известно также, что он нередко помогает бедствующим племенам, делясь с ними своими запасами.

И вот в страшный час, когда настало время выбора — уйти с плодородных земель или стать беззащитной жертвой Неумолимых богов, — люди вспомнили о Бакуне. Жрецы, поборов самолюбие, отправили к нему трех самых уважаемых своих собратьев.

Бакун внимательно выслушал их, расспросил очевидцев. Потом потребовал два дня на размышление. По истечении этого срока он объявил, что сам отправится к Неведомым.

Кочевники снова пали духом, ибо надеялись, что Бакун сразу освободит их земли, прибегнув к волшебству. И все же вожди с радостью встретили его решение.

Бакун поселился вблизи леса Кзур. Целыми днями он наблюдал за Неведомыми, удаляясь только на время отдыха. Сначала он разъезжал верхом на самом быстром жеребце Халдеи, пока не убедился, что его великолепный конь превосходит скорость самого быстрого из врагов человеческих. И только после этого он приступил к наблюдению за пришельцами. Результаты своих наблюдений он запечатлел на шестидесяти громадных плитах. Эту книгу доклинописного периода, лучшую из каменных книг, дошедших до нас, кочевники оставили в наследство современному человеку.

Это великолепное повествование, обобщающее терпе-

ливые наблюдения мудреца. Бакун скромно подчеркивает, что ему удалось изучить лишь некоторые внешние проявления иной жизни, да и то весьма поверхностно. Становится страшно, когда читаешь об этих существах, названных Бакуном ксипехузами. Беспристрастные подробности, так и не сведенные в единую систему,— о поведении и способах передвижения, о боевых качествах ксипехузов, об их размножении,—которые приводит древний летописец, свидетельствуют о том, что человеческая раса была на краю гибели, а Земля едва не стала обителью существ, о которых нам ничего не известно.

Прочтите прекрасный перевод Б. Дессо, ознакомьтесь с его неожиданными открытиями в области доассирийской лингвистики, с открытиями, которые, к сожалению, больше ценят не на его родине, а за границей. Этот крупнейший ученый предоставил нам самые волнующие отрывки из своего труда. Мы предлагаем их вниманию читателя, надеясь, что они пробудят у него интерес и он прочтет великолепные переводы мэтра целиком*.

5. Из книги Бакуна

Ксипехузы, бесспорно, живые существа. Все их движения свидетельствуют о наличии у них воли, желаний, независимости—всего, что отличает живое существо от растений или неодушевленных предметов. Хотя их способ передвижения нельзя ни с чем сравнить—ксипехузы просто скользят над землей,—легко заметить, что их перемещения вполне осмысленны. Они внезапно останавливаются, поворачиваются, бросаются вдогонку друг за другом, прогуливаются по двое, по трое, оставляют одного товарища, чтобы приблизиться к другому, находящемуся поодаль. Они не умеют лазить по деревьям, но им удается убивать птиц, притягивая их к себе неведомым способом. Я часто видел, как они окружали лесных животных или поджидали их за кустом; зверей они убивают и сжигают. Как правило, они убивают любое животное, если могут его догнать, хотя делают это без всякой видимой нужды, ибо свою жертву не съедают, а испепеляют.

Труп они сжигают, не разводя костра: десять—двад-

* Б. Дессо, «Предшественники Ниневии», in-8, изд. Кальман-Леви. В интересах читателей я кое-где передал речь Бакуна более современным научным языком.

цать ксипехузов собираются вокруг большого животного и направляют на него лучи своих звезд; один ксипехуз может сжечь только мелкого зверька или птицу. Мне иногда удавалось подставлять ладонь под луч звезды — кожа начинала разогреваться лишь некоторое время спустя.

Не знаю, можно ли говорить о разных ксипехузах, ибо они постоянно меняют свою форму на одну из трех, иногда даже в течение дня. Цвет их непостоянен, что вызвано скорее всего изменениями силы света от восхода до заката. Однако некоторые их оттенки зависят от желаний, даже пристрастий отдельных существ, разобраться в которых при всем старании я не смог. Мне ни разу не удалось отличить окраску гнева от окраски дружелюбия, что было бы первым открытием такого рода.

Я говорил об их чувствах. А еще раньше упомянул о том, что некоторые ксипехузы склонны подолгу проводить время с одними особями и не обращать внимания на других. Я могу теперь назвать эти чувства дружбой. Наблюдал я и проявления ненависти. Если один ксипехуз ненавидит другого, то второй отвечает ему тем же. Когда они раздражены, то приходят в ярость и сталкиваются между собой, словно нападая на крупное животное или человека. Именно эти схватки убедили меня в том, что они — существа смертные, хотя раньше я был склонен думать иначе. Я два или три раза видел, как погибали ксипехузы: они падали, сжимались и окаменевали. Я сохранил несколько этих странных трупов; может быть, позднее благодаря им будет открыта тайна ксипехузов. Это неправильной формы желтоватые кристаллы, пронизанные голубоватыми нитями*.

Убедившись, что ксипехузы не бессмертны, я стал думать о том, как с ними бороться и как их победить. Но об этом я расскажу позже.

Ксипехузов легко заметить в чаще: даже если они прячутся за толстыми стволами, их выдает светящийся ореол, и я, полагаясь на своего быстроногого жеребца, часто отваживался забираться далеко в глубь леса.

* В коллекции Кенсингтонского музея в Лондоне и у Б. Дессо имеются осколки минералов, похожие на те, которые описал Бакун. Химический анализ не дал результата. Осколки невозможно разложить на составные части, они не вступают в реакцию с другими веществами.

Я пытался выяснить, строят ли они себе жилища, но мне это не удалось. Они не передвигают камней, не при­трагиваются к растениям и не выделяют никаких ви­димых и осязаемых предметов. Поэтому у них нет оружия в нашем понимании. Они не могут убивать на расстоянии: любое животное, избегнувшее непосредственного сопри­косновения с ними, всегда может спастись бегством, чему я неоднократно был свидетелем.

Уже люди злосчастливого племени пжеху заметили, что ксипехузы перестают быть опасными за какой-то опреде­ленной чертой, которую никогда не пересекают. Но черта эта охватывает все больше и больше земель из года в год, из месяца в месяц. Я должен был найти причину этого явления.

Теперь я наконец знаю: причина эта — в постоянном уве­личении числа ксипехузов. Закон таков: граница их владения расширяется, как только ксипехузов становится боль­ше, но пока их число остается неизменным, ни один из них не может выйти за существующие пределы обитания; такова их природа. Поэтому каждый ксипехуз больше за­висит от всех остальных, чем человек или животное от себе подобных. Позже мы заметили, как сужались границы владений ксипехузов по мере их уничтожения.

О появлении на свет новых ксипехузов я узнал очень немного, но и это немногое кажется мне очень важным. Они рождаются четыре раза в год, накануне равноден­ствий и солнцестояний, и только в совершенно безо­блачные ночи. Сначала ксипехузы собираются по трое, а потом образуют единую фигуру в форме сильно вытяну­того эллипса. Они остаются в таком положении всю ночь и все утро, пока солнце не достигнет зенита. Потом расхо­дятся в стороны и тогда становятся видимыми громадные, туманообразные существа.

Постепенно они уменьшаются, становятся как бы плот­нее и к концу десятого дня превращаются в янтарные ко­нусы, значительно более крупные, чем взрослые особи. Че­рез два месяца и несколько дней они достигают вершины своего развития, суживаясь до размеров остальных. К это­му времени они уже полностью походят на своих собратьев и могут менять цвет и форму в зависимости от времени дня или по собственному желанию. Несколько дней спустя границы владений ксипехузов расширяются.

Когда приближался этот опасный момент, я седлал

моего славного Куата и разбивал лагерь подальше от леса.

Трудно сказать, есть ли у ксипехузов органы чувств. Но что-то их наверняка заменяет.

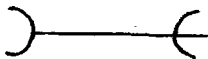
Они легко отличают издалека животное от человека; отсюда следует, что их органы наблюдения, пожалуй, даже острее наших глаз. Я ни разу не заметил, чтобы они путали растение с животными, даже когда игра света или окраска вводили в заблуждение меня самого. Они очень хорошо ощущают размеры; когда нужно сжечь птицу, с этим легко справляется один ксипехуз, но когда попадаетесь более крупное животное, вокруг него собирается десять, двенадцать или пятнадцать ксипехузов — ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы испенелить труп. Способ их нападения на людей говорит о том, что у них помимо чувства есть и разум, в чем-то схожий с разумом человека, ибо ксипехузы почти не трогают женщин и детей, однако безжалостно уничтожают воинов.

Теперь самое важное: есть ли у них язык? Без малейшего колебания я отвечаю: «Да, есть». И состоит он из знаков, из которых я кое-что смог расшифровать.

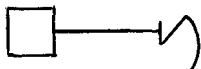
Если один ксипехуз желает поговорить с другим, он направляет лучи своей звезды на товарища и тот сразу их ощущает. Если тот, к кому обращаются, в это время движется, он замирает на месте и ждет. Говорящий быстро чертит лучом своей звезды на собеседнике — с любой стороны — короткие световые рисунки, которые светятся какое-то время, а потом тускнеют и исчезают.

После короткой паузы следует ответ.

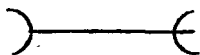
Замыслив нападение или засаду, ксипехузы всегда использовали такой рисунок:



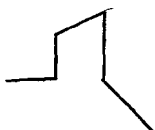
Когда речь шла обо мне (а это случалось часто, ибо ксипехузы прилагали немало усилий, пытаясь уничтожить моего славного Куата и меня), они обменивались таким знаком:



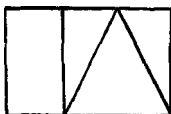
И его всегда сопровождал первый знак:



Обычным знаком призыва был такой рисунок:



На него всегда отзывался тот, кому он был послан. Когда ксипехузы хотели собраться вместе, я наблюдал рисунок, где сливались очертания всех трех форм, которые они могут принимать:



Ксипехузы обмениваются и более сложными знаками, не относящимися к действиям, похожим на человеческие: смысла их я так и не понял. У меня нет сомнений в том, что они способны мыслить отвлеченно, как и люди, ибо могут часами стоять и переговариваться друг с другом, явно обмениваясь мыслями.

Моя долгая жизнь вблизи ксипехузов помогла мне, несмотря на их постоянные перевоплощения, узнать некоторых из них поближе, подметить их особенности и даже что-то вроде разницы в характерах. Надо сказать, что уловить различия между ними может лишь упорный и зоркий наблюдатель. Я отличал молчаливых, которые никогда не рисовали слов, от неугомонных ораторов, писавших длинные речи, внимательных — от болтунов, перебивающих друг друга. Некоторые любили уединение, другие явно стремились к обществу себе подобных, жестокие постоянно преследовали животных и птиц, а добрые часто оставляли их в покое. Разве это не признак развитой жизни? Разве не столь же разнообразны поведение, ум и характеры людей?

Ксипехузы занимаются воспитанием молодых. Сколько раз доводилось мне видеть, как старый ксипехуз, сидя среди множества юных, показывал им знаки, которые те воспроизводили один за другим. Если же они делали ошибки, он заставлял их начинать сызнава.

Обучение юных ксипехузов больше всего привлекало меня, занимая мои мысли в бессонные ночи. Я чувствовал, что именно эти уроки на заре жизни молодых могут при-

открыть завесу тайны — вдруг блеснет неожиданная мысль и выхватит из глубины мрака какой-нибудь кусочек целого! Не отчаиваясь, я долгие годы исподтишка следил за такими уроками, пытаюсь истолковать виденное. Не раз мне казалось, что я ухватил смутную суть природы ксипехузов, их сверхсвязанную сущность, но она так и осталась недосягаемой для моих скромных способностей.

Я уже говорил, что долгое время считал ксипехузов бессмертными. Но мне приходилось видеть, как они гибли в схватках друг с другом. Нужно было безотлагательно найти уязвимое место ксипехузов и оружие против них, ибо, выйдя из леса Кзур на юг, север и запад, они двинулись по долинам к восходу солнца. Ксипехузы вскоре угрожали вытеснить человека с обжитых земель.

Я вооружился пращей и, как только какой-нибудь ксипехуз оказывался неподалеку, целился и метал в него камень. Но хотя и попадал в них и даже в их звезду, все было тщетно. Они явно чувствовали себя в безопасности и даже никогда не увертывались от моих снарядов. После месяца бесплодных попыток мне пришлось признать, что праща пользы не принесет, и я ее оставил.

Тогда я взял в руки лук. Ксипехузы испугались первых же стрел: они увертывались, стараясь не оказываться на расстоянии их полета. Семь дней я пытался поразить хотя бы одного ксипехуза. На восьмой день несколько существ, видимо увлеченных охотой, пронеслись вблизи от меня, преследуя газель. Я выпустил вслед им стаю стрел, но безрезультатно: ксипехузы рассыпались в разные стороны, а я стал гоняться за ними, растрачивая свои боевые запасы. Но едва я выпустил последнюю стрелу, как они начали быстро окружать меня с трех сторон. Только невероятная скорость моего храброго Куата спасла мне жизнь.

После этого случая я исполнился веры и...сомнения. Целую неделю я провел в глубоких размышлениях: мои замыслы занимала одна тайна, она отгоняла сон, заставляла меня страдать и радоваться одновременно. Почему ксипехузы так боялись моих стрел? Ведь многие попали в тех, кто охотился, но ни одного из них не поразили насмерть. Я знал, что мои противники умны, и не думал, что их охватывает боязнь без особых причин. Нет, как раз все говорило за то, что в определенных условиях стрелы очень опасны для них. Но в каких условиях? Где их уязвимое ме-

сто? И вдруг истина открылась мне: надо попасть в звезду! Целую минуту страстно и слепо я верил в это. А потом сомнения вновь овладели мною.

Разве я уже не поражал эту цель камнем? Почему же стрела должна быть счастливей?

Стояла глубокая ночь, над головой чернела неизмеримая бездна, в которой мерцали рассыпанные огни звезд. А я думал, охватив голову руками, и думы мои были мрачнее ночи.

Где-то рычал лев, по равнине носились шакалы. Но вот неясный свет надежды вновь забрезжил в моей душе. Может быть, камень пращи больше звезды ксипехузов? А цель надо пронзить острием? Тогда их страх перед стрелой понятен...

Близилась заря, и усталость на несколько часов замедлила бег моих мыслей. Но с первым лучом солнца с луком в руках я снова уже преследовал ксипехузов в их собственных владениях. Но они избегали меня и держались в отдалении. О засаде я и не думал, ибо их способ наблюдения позволял им обнаруживать меня за любым укрытием.

К концу пятого дня случай опять показал мне, что ксипехузы уязвимы, но в то же время могут легко, как человек, приспосабливаться к новой обстановке. В тот вечер какой-то ксипехуз без всякого страха понесся прямо на меня. Я удивился, но остался на месте и с волнением приготовил лук. В рождающихся сумерках ксипехуз был подобен бирюзовой колонне. Вот он приблизился на расстояние полета стрелы. И я уже опустил тетеву, как вдруг он повернулся и спрятал свою звезду, продолжая надвигаться на меня. Я был так поражен, что едва успел подстегнуть Куата и уйти от опасного противника.

Этот простой маневр, которого раньше не применял ни один ксипехуз, подтвердил еще раз, что наши враги разнятся между собой умом и характером. Одновременно я убедился, что моя догадка об уязвимости звезды верна. Но тут же с огорчением подумал, что сколь трудной, чтобы не сказать невыполнимой, станет моя задача, если эту тактику переймут все ксипехузы.

Однако после всего, что я сделал ради выявления истины, подобное препятствие только подстегнуло меня, ибо я верил в изворотливость своего ума, способного справиться с любым затруднением.

6. Вторая часть книги Бакуна*

Я вернулся домой, Анакр, третий сын моей жены Тэпаи, был прославленным оружейником. Я приказал ему изготовить для меня лук невиданной мощи. Он взял твердую, как железо, ветвь дерева вахам и смастерил мне лук, который стрелял в четыре раза дальше, чем лук пастуха Занканна, сильнейшего лучника из тысячи племен. Ни один человек не смог бы натянуть этот лук. Но я придумал приспособление, которое сделал мне тот же Анакр. Теперь даже женщине стало под силу стрелять из громадного лука.

Я всегда прекрасно метал копьё и отменно стрелял из лука. Через несколько дней я настолько привык к оружию, сработанному моим сыном Анакром, что мог попасть в любую цель, даже если она была размером с муху и мчалась со скоростью сокола.

После этого я вновь отправился в лес Кзур на своем пламенноглазом Куате и опять стал искать встречи с врагом человека.

Чтобы усыпить осторожность ксипехузов, я выпускал множество стрел из обычного лука, когда кто-нибудь из них приближался к заветной черте, и стрелы каждый раз падали, не долетев до цели. Ксипехузы узнали дальность полета стрелы и на определенном расстоянии чувствовали себя в полной безопасности. Но все же по-прежнему опасались моего лука, никогда не останавливались и прятали от меня звезды, если им не служил защитой лес.

Однако моя терпеливость поборола их опасения, и вот на шестое утро несколько ксипехузов расположились на отдых прямо напротив меня под большим каштаном, в трех полетах стрелы обычного лука.

Я тут же выпустил тучу бесполезных стрел. Ксипехузы понемногу успокоились, и их движения обрели плавность и непринужденность первых дней нашей встречи.

Решающий час пробил. Сердце мое сжалось, я почувствовал, как руки мои бессильно опускаются, и замер: ведь от одной стрелы зависело все наше будущее! Если она пролетит мимо цели, ксипехузы вряд ли предоставят мне возможность повторить выстрел и я не узнаю, способна ли рука человека нанести им смертельный удар.

* Я немного сократил следующие главы перевода Б. Дессо, изобилующего утомительными повторами, однако в основном старался держаться ближе к тексту.

Я собрал всю свою волю. Дыхание мое успокоилось, руки и ноги вновь обрели гибкость и силу, а глаз — остроту. Я медленно поднял лук Анакра. Вдалеке, под сенью дерева застыл большой изумрудный конус, и его сверкающая звезда была повернута ко мне. Громадный лук содрогнулся, стрела со свистом рассекла воздух... и сраженный на смерть ксипехуз упал, сжался и окаменел.

Яростный ликующий крик вырвался из моей груди. Я скинул руки к небу и вознес хвалу Единому.

Значит, человеческое оружие могло поражать насмерть этих ужасных ксипехузов. Значит, люди могут надеяться на победу!

Уже без страха я пел гимн радости: ведь раньше я боялся за будущее человека, ибо высчитал во время бодрствования под бегущими созвездиями и синим хрусталем неба, что через два века ксипехузам станет тесен наш обширный мир.

Но когда настала ночь, любимое время для размышлений, ликование мое сменилось печалью: почему люди и ксипехузы не могут жить рядом, почему выживание одних зависит от гибели других?

7. Третья часть книги Бакуна

Жрецы, старейшины и вожди выслушали мой рассказ с радостью; гонцы донесли добрую весть до самых отдаленных кочевий. Великий совет повелел всем воинам собраться на равнине Мехур-Азар в шестую луну 22 649 года, и пророки стали воспевать священную войну. Прослышав о великом походе, явились более ста тысяч захелалских воинов; на помощь нам пришли и другие племена — дзумы, сахры, халдеи.

Кзур был окружен десятью рядами лучников, но их стрелы оказались бессильными против ксипехузов. Множество неосторожных воинов погибло, и ужас снова объял людей...

На третий день восьмой луны я объявил, что выйду один против ксипехузов, вооружившись только остро точенным пожом, и развею сомнения людей, не поверивших моему рассказу.

Но мои сыновья Лоум, Демжа и Анакр воспротивились моему решению, желая пойти вместо меня. И сказал Лоум: «Ты не можешь идти, ибо, если ты умрешь, все поверят в бессмертие ксипехузов и человеческий род погибнет».

Демжа, Анакр и многие вожди присоединились к его речам, я счел их доводы разумными и остался.

Тогда Лоум взял мой нож с рукояткой из рога и пересек границу смерти. Ксипехузы приблизились. Один из них, самый быстрый, коснулся было моего сына, но Лоум, ловкий, как леопард, отскочил, пропустил ксипехуза мимо себя, а затем прыгнул и вонзил острие ножа в звезду.

И замершие люди увидели, как упал ксипехуз, сжался и окаменел. Тысячеголосый клич вознесся к голубому небу, и вот уже Лоум пересек границу и возвратился к нам. Его славное имя воины передавали из уст в уста.

8. Первая битва

Год 22 649-й, седьмой день восьмой луны.

На заре прозвучали рога; тяжелые молоты опустились на бронзовые гонги, призывая к битве. Жрецы принесли в жертву сто черных буйволов и двести жеребцов. Мои сыновья молились Единому вместе со мной.

Солнце разлилось по небу красной зарей, вожди проскакали перед войском, вдохновляя его на битву. Тысячи бойцов издали воинственный клич, стремительно разнесившийся по рядам.

Племя наззум первым схлестнулось с врагом, схватка была ужасной. Вначале неумелые и бессильные против таинственного оружия ксипехузов воины вскоре познали искусство застигать их врасплох и уничтожать. Тогда все — захелалы, дзумы, сахры, халдеи, ксизоастры, пжарванны — затопили равнину и лес с ревом, подобным гулу разгневанного моря, и окружили безмолвных врагов.

Все смешалось в смертельной схватке; только гонцы беспрерывно сообщали жрецам о гибели сотен людей и о том, как живые мстят за погибших.

В этот жаркий час битвы мой быстроногий сын Сурдар, посланный Лоумом, донес мне, что убийство каждого ксипехуза стоило жизни двенадцати воинам. Тяжко стало у меня на душе, сердце мое сжалось и лишь губы шептали: «Да будет так, если это угодно Единому!»

Нас было сто сорок тысяч, ксипехузов — около четырех тысяч, и я подсчитал, что более трети войска погибнет, однако земля останется за человеком. Но что произойдет, если у нас не хватит сил?

«Разве это победа?» — с печалью шептал я.

Пока я размышлял об этом, шум битвы приближался,

и вот из леса выскочили наши воины; испуская отчаянные крики, они со всех ног бежали к границе спасения.

Затем из-за деревьев показались ксипехузы — и не одиночке, как утром. Они соединились в круги, спрятав свои звезды, и стали неуязвимыми. Теперь, без страха налетая на наших обессилевших воинов, ксипехузы убивали их сотнями.

Это был разгром.

Даже самые отважные помышляли только о бегстве. Однако я, несмотря на терзавшую душу горечь, терпеливо наблюдал за роковым ходом битвы, надеясь отыскать способ, как обратить поражение в победу. Ибо часто яд, умело употребленный, становится противоядием.

И моя вера была вознаграждена. Я заметил, что там, где людей было значительно больше, чем ксипехузов, число убитых людей быстро уменьшалось: удары врага достигали цели все реже, многие из упавших вновь поднимались с земли после краткого беспамятства, а самые крепкие оставались на ногах даже после многих прикосновений. То же происходило и в других местах побоища, и я заключил, что ксипехузы уставали, их сила ослабевала.

Тут я заметил, что враг со всех сторон окружил халдеев. Вырвав из земли небольшие деревца, они стали орудовать ими как палицами. К моему великому изумлению, их попытка прорвать окружение увенчалась успехом. Почти половина халдеев оказались спасенными. Но — странное дело — те, кто сражался бронзовым оружием, в основном вожди, погибали, едва дотронувшись до противника. Дубинки не причиняли особого вреда ксипехузам, ибо упавшие быстро принимали прежнее положение и снова бросались вдогонку за воинами. Мне стало ясно, что эти наблюдения очень помогут нам в грядущих битвах.

А пока разгром продолжался. Земля дрожала под ногами побежденных. К вечеру в границах ксипехузских владений остались лишь убитые да несколько сот живых, вскарабкавшихся на деревья. Смерть их была ужасной: ксипехузы сожгли воинов живьем, направив тысячи огней на укрывшихся в ветвях. И их страшные крики еще долго звучали под небесным сводом.

9. Выбор

Наутро мы пересчитали живых. Почти девять тысяч наших воинов погибли; ксипехузов было убито лишь шестьсот.

Каждый поверженный враг унес в могилу пятнадцать человеческих жизней.

Смятение поселилось в сердцах, многие стали выступать против вождей, требуя прекратить борьбу. Тогда, невзирая на крики и ропот, я вышел к воинам и стал упрекать их в малодушии. Я спросил, что лучше — гибель всех людей или только части. Я показал им, что через десять лет Неведомые захватят страну захелалов, а через двадцать придет черед халдеев, сахров, пжарваннов и ксизоастров. К тому же шестая часть земель, захваченных Неведомыми, уже вернулась к человеку, а враг отброшен в лес. Я пробудил в них голос совести. И наконец, я поделился своими наблюдениями: ксипехузы явно уставали во время битвы, что позволяло легко опрокинуть их деревянной дубиной, открыв доступ к уязвимому месту врага — звездам.

Великая тишина воцарилась над равниной, и надежда вернулась в сердца воинов, внимавших моим словам. Чтобы укрепить их дух, я рассказал о придуманных мной деревянных приспособлениях для нападения и защиты. Воинов охватило воодушевление, они славили мое имя, а Совет вождей поставил меня во главе войска.

10. Новое оружие

На следующий день я велел срубить множество деревьев и показал, как мастерить легкие защитные приспособления — решетки, состоящие из двух частей: внешней — длиной в шесть, а шириной в два локтя и внутренней — шириной в один, а длиной в пять локтей. Каждое приспособление защищало шесть человек: двое воинов несли его, у двоих в руках были деревянные тупые копыя и двое держали наизготовку деревянные копыя с острыми металлическими наконечниками и луки со стрелами. Теперь можно было передвигаться по лесу, не опасаясь внезапного нападения ксипехузов. Когда противник приближался, воины с тупыми копиями опрокидывали его, открыв звезду, а лучники-копьяносцы поражали цель копьем или стрелой. Рост ксипехузов едва превышал полтора локтя, потому решетки сделали так, чтобы во время ходьбы они поднимались не выше локтя с четвертью над землей; к тому же их связующие планки были слегка наклонены. Решетки создавали непреодолимую преграду для ксипехузов — ведь они могли двигаться, только находясь в вертикальном положении, и не умели преодолевать неожиданных препятствий. Ко-

нечно, ксипехузы могли поджечь решетки — я это предвидел, но тогда им пришлось бы приоткрыть, сделав уязвимыми, свои звезды.

11. Вторая битва

Год 22 649-й, одиннадцатый день восьмой луны.

В этот день произошла вторая битва с ксипехузами. Вожди избрали меня верховным военачальником. Я разделил людей на три войска. Чуть раньше восхода солнца я бросил на Кзур первое — сорок тысяч воинов, защищенных решетками. На этот раз столкновение двух армий было не столь беспорядочным. Племена, разделенные на небольшие группы, стройными рядами вошли в лес, и сражение началось. Сначала люди воспользовались преимуществами новой тактики, и в первый же час более ста Неведомых расстались с жизнью, а мы потеряли человек десять. Ксипехузы были обескуражены, но они быстро оправились от замешательства и принялись поджигать решетки. На четвертом часу битвы ксипехузы применили опасный маневр: тесно прижавшись друг к другу, они с разгона ударяли по решетке, опрокидывая ее вместе с воинами. Так погибло великое множество людей. Враг снова стал одерживать верх, и отчаяние охватило многих воинов.

На пятом часу сражения захелалские племена джох и кемар, а также часть ксизоастров и сахров начали отступать. Чтобы избежать разгрома, я послал к сражающимся гонцов с вестью о подкреплении, а сам стал готовить второе войско. Свежим воинам я повелел держаться поближе друг к другу и построиться в тесные каре, а когда покажутся скопления ксипехузов, ни на минуту не прекращать наступления.

Потом я подал сигнал к битве и вскоре с радостью увидел, что союз племен снова стал побеждать. К середине дня наши потери составили около двух тысяч человек, а ксипехузов погибло около трехсот. И мы снова поверили в победу.

Но все же к четырнадцатому часу побоища враг снова стал нас одолевать, ибо число убитых с нашей стороны выросло до четырех тысяч, а ксипехузов погибло только пятьсот.

Тогда я бросил в бой третье войско. Битва достигла величайшего напряжения, воинский пыл возрастал от минуты к минуте, но солнце уже опускалось за край земли.

Ксипехузы организовали наступление на севере Кзура, преследуя там дзумов и пжарваннов. Это внушало мне тревогу. Зная, что ночь благоприятствует противнику, я протрубил сигнал отбоя. Воины покидали поле битвы в полном порядке. Большую часть ночи мы праздновали успех: было уничтожено около восьмисот ксипехузов, их владения сократились до двух третей Кзура. Правда, в лесу осталось семь тысяч наших соплеменников, но по сравнению с первым сражением эти потери были не столь уж велики. Я обрел уверенность в победе и замыслил план решающей битвы: ведь в живых осталось около двух с половиной тысяч ксипехузов.

12. Уничтожение

Год 22 649-й, пятнадцатый день восьмой луны.

Когда красная звезда взошла над холмами, воины были уже построены перед Кзуром и готовы к битве.

Преисполненный надежды на победу, я напутствовал вождей. Протрубил рог, тяжелые молоты звучно ударили в бронзу, и первое войско вступило в лес.

Только треть решеток была сделана по старому образцу, остальные, более прочные и длинные, вмещали двенадцать человек вместо шести.

Такую решетку труднее было поджечь или опрокинуть.

Первые часы битвы оказались счастливыми для нас: к исходу третьего часа мы уничтожили четыреста ксипехузов, потеряв всего две тысячи воинов. Вдохновленный столь радостными вестями, я бросил в бой второе войско. Обе стороны ожесточились, ибо нас опьянял успех, а противник отстаивал свою жизнь и владения. С четвертого по восьмой час битвы мы отдали не менее десяти тысяч жизней, но ксипехузы заплатили за них тысячью своих, и теперь в глубине Кзура их укрывалось чуть более тысячи.

Мои последние сомнения в исходе сражения рассеялись; я понял, что человек останется властителем мира.

Однако на десятый час битвы наше победное настроение несколько омрачилось. Ксипехузы стали появляться только огромными скоплениями и лишь на полянах. Они прятали звезды, а опрокинуть их было почти невозможно. Разгоряченные битвой воины без страха бросались на врагов. Тогда часть ксипехузов быстро отделялась от остальных, сбивала с ног отважных и уничтожала их.

Так погибли тысяча человек, а враг особенных потерь не понес. Увидев это, пжарванны закричали, что все кончено; паника охватила воинов, и они обратились в бегство. Многие побросали решетки, чтобы быстрее бежать, и заплатились за это жизнью. Сотня ксипехузов, бросившаяся в погоню, убила более дух тысяч пжарваннов и захелалов. Страх проник в души людей.

Когда гонцы принесли мне эту горькую весть, я понял, что битва будет проиграна, если мне не удастся вернуть завоеванные позиции, прибегнув к удачному маневру. Я тут же отдал приказ о наступлении вождям третьего войска и объявил, что сам поведу его. Я быстро направил свежие силы навстречу бегущим. Вскоре мы оказались лицом к лицу с ксипехузами. Ослепленные яростью, они не успели перестроиться, и мы окружили их: немногим удалось спастись. Наш успех возродил мужество в сердцах воинов.

И я изменил план битвы, приказав отсекал от главных сил по несколько ксипехузов, окружать и уничтожать их.

Ксипехузы сообразили, что наша тактика губительна для них, и снова стали нападать небольшими скоплениями. Битва двух миров, из которых один мог существовать, лишь уничтожив другой, разгорелась с новой силой. Но всякое сомнение в ее исходе исчезло даже у самых малодушных. К четырнадцатому часу против ста тысяч человек сражалось едва ли пятьсот ксипехузов. И эта жалкая кучка врагов могла передвигаться только в границах шестой части Кзура, что облегчало нам борьбу.

Однако, когда сквозь листву деревьев просочился кровавый отсвет сумерек, я, опасаясь засад, прекратил битву. Победа наполнила наши сердца ликованием; вожди предложили мне стать царем всех народов. Я отказался и посоветовал им никогда не верить судьбы многих людей в руки одного слабого создания, а поклоняться Единому, взяв в земные вожди Мудрость.

13. Последняя часть книги Бакуна

Земля принадлежит людям. За два дня мы полностью уничтожили ксипехузов; мы не оставили ничего — ни дерева, ни кустика, ни травинки там, где скрывались двести последних. С помощью моих сыновей Лоума, Азаха и Симхо высечен на гранитных плитах рассказ о случившемся, чтобы не остались в неведении грядущие поколения.

И вот я снова один на окраине Кзура. Ночь светла. По-

ловина медной Луны висит на западе. Под звездами ревут
львы. Между ивами медленно струится река; ее вечный го-
нос шепчет о преходящем времени, о печали смертных.
Я обхватил голову руками, сердце мое ноет. Ибо теперь,
когда ксипехузы погибли, моя душа скорбит о них и я во-
прошаю Единого, почему безжалостной Судьбе было
угодно оборвать цветущую жизнь?!

1896 г.

Зовут меня Оскар Венсан. Я не женат. Владею небольшой книжной лавкой на Монпарнасе. Недавно мне исполнилось пятьдесят. Я воевал, как и все вокруг, и считаю, что на человеческую жизнь одной войны хватит с лихвой.

Я много читаю. Интересуюсь новинками из области литературы, философии, науки. Порой задумываюсь над вопросами бытия и тем исчерпываю свою тягу к необъяснимому. Восхищаюсь учеными, сумевшими расщепить ядро атома, и вздрагиваю от счастья, размышляя, в какой век мне выпало жить.

В водоворот совершенно невероятных событий я попал по чистой случайности и не хочу за это ни клясть, ни благодарить судьбу: чему быть — того не миновать. Хотелось бы только знать, как из этого выбраться.

Приключения начались вечером седьмого августа 1949 года. Я сидел на террасе кафе «Куполь», глядя на прохожих и потягивая прохладное пиво, — удовольствие, которому я всегда предаюсь в жаркое время года. На столе по обыкновению лежала развернутая газета, и, устав смотреть на прохожих, я опускал в нее глаза и пробегал строчку-другую.

Мне казалось, что в целом жизнь вполне сносна.

Именно в эту секунду в мое мирное существование вторгся бадариец и сделал это со свойственной ему бесцеремонностью.

Я уже успел обратить внимание на субъекта, трижды продефилировавшего перед моим столиком, неотрывно вгляды-

Пер. изд.: Boulle P. La nuit interminable.— В сб.: Contes de l'absurde, René Juillard, Paris, 1953.
© перевод на русский язык, «Мир», 1986

ваясь в лица посетителей. Тело его облегала красная римская тога; такое, конечно, увидишь не каждый день, но еще более заинтриговало меня его лицо. Не знаю, чем именно — то ли изысканным благородством черт, то ли царственным лбом и чеканным профилем, то ли, наконец, невиданным золотистым цветом кожи. Выше окружающих на целую голову, он показался мне на мгновение египетским божеством, потехи ради напялившим на себя облачение цезарей.

Я стал следить за его поведением. Он вновь медленно прошел мимо, словно иностранец, заблудившийся в чужом городе и не осмеливающийся спросить дорогу. В конце концов он, похоже, набрался духу, присел за соседний столик и указал подскочившему гарсону на мою кружку жестом, означавшим «мне то же самое». Вид у него при этом был как нельзя более растерянный. Выяснилось, однако, что не я один заинтересовался любопытным посетителем: сидевший невдалеке низенький господин в очках, совершенно лысый, так и пожирал его взглядом.

Златокожий отхлебнул пива и скорчил гримасу глубокого отвращения. Потом он надолго погрузился в свои мысли, а затем неожиданно обратился ко мне с вопросом:

— Соблаговоли, о друг мой, — проговорил он низким голосом, — сказать мне, в каком веке мы пребываем ныне?

— Как, простите?.. — не понял я.

— Мне желательно было бы знать номер нынешнего века, — повторил он.

Еще одна деталь довела мое изумление до крайности: он говорил по-латыни. Я изучал этот язык, так что без труда понимал его слова и мог отвечать. Наша беседа велась, таким образом, на классической латыни. Здесь я даю по возможности точный перевод.

Сперва я решил, что меня разыгрывают. Однако незнакомец выражался слишком вежливо и к тому же явно был чем-то обеспокоен, так что версия шутки, по всей вероятности, отпадала. А может, это просто ненормальный? Я решил подыграть ему, кто бы он ни был.

— О гражданин! — отозвался я как мог любезнее. — Мы живем с тобой в двадцатом веке, около его середины. А если быть точным, то в одна тысяча девятьсот сорок девятом году.

На его лице отразилось горестное недоумение. С упрямком поглядев на меня, он сказал:

— О друг мой, что побуждает тебя столь бессердечно насмехаться над пришельцем, извергнутым своей родной эпохой? Я совершенно точно знаю, что мы отнюдь не находимся в одна тысяча девятьсот сорок девятом году, как выговорил только что твой лживый язык, ибо я покинул Бадари—если только верны мои расчеты—около восьми тысяч лет тому назад. И уже в то время шел десяти тысячный год.

Говорят, спорить с безумным—опаснее всего. По всей видимости, безумие этого человека заключалось в том, что он воображал себя в ином столетии. Незадолго до того мне довелось читать в газете о раскопках Брентона, открывшего развалины древнего государства Бадари. Помню, как живо заинтересовали меня сообщения о блестящей цивилизации бадарийцев. Похоже было на то, что мой собеседник также начитался этих сообщений, которые и помугили его разум. Поэтому я ровным голосом продолжал:

— Мне известно, о чужестранец, что бадарийская культура имеет древнюю и великолепную историю. Боги свидетели, я ни сном ни духом не помышлял смеяться над тобою. Из моих слов следовало лишь, что мы находимся в одна тысяча девятьсот сорок девятом году по христианскому летосчислению. Тебе ведомо, о мудрый, что время относительно. По этой причине, если мы живем в двадцатом веке, спустя одну тысячу девятьсот сорок девять лет от рождения Христова, это вовсе не мешает нам пребывать в восемнадцатитысячном году, или что-то около того, по отношению к тому моменту, который твоим высокочтимым и высокоученым согражданам было угодно выбрать в качестве точки отсчета.

Слова мои успокоили его. Погрузившись в глубокое размышление, он, казалось, производит сложнейшие вычисления.

— Прости, друг мой,—сказал он наконец,—что я позволил себе усомниться в твоей искренности. Дело в том, что меня неотступно терзает одна мысль. В знак доверия я открою тебе свою тайну. Надеюсь, меня не осудит за это Академия наук, пославшая меня сюда. К тому же я наблюдаю на твоем лице несомненные признаки тупости, которые, согласно нашим представлениям, служат вернейшим доказательством лояльности. Не сердись за прямоту моих слов: она в правилах бадарийцев... Узнай же то, о чем и сам ты в силах был бы догадаться, будь ты чуть ме-

нее глуп: я путешествую во времени. Мое имя Амун-Ка-Зайлат. Я прибыл сюда из великой Бадари несколько минут назад, если считать по моему времени, или примерно восемьдесят столетий назад, если считать по-земному. Я имею честь состоять членом королевской Академии наук. Мне было поручено испытать в действии машину времени, разработанную сотрудниками нашей Академии. Ранее один из моих коллег уже осуществлял перемещения во времени, но, так сказать, более краткосрочные. Он переносился во времена древнеримских императоров, и эпоха эта с тех пор нам настолько хорошо знакома, что я, как видишь, свободно изъясняюсь по-латыни. Направляясь сюда, я надел римское облачение, понадеявшись, что одежда и язык остались неизменными со времен Древнего Рима. К несчастью, убеждаюсь, что это не так. Перед отправлением я настроил машину на двадцать тысяч лет в сторону будущего: пока это для нее крайний предел. Однако уже вскоре я осознал, что столь длительный временной промежуток одним махом не одолеть. Тогда я решил сделать привал и вот уже несколько минут как пребываю в твоём времени, а это значит, что я нахожусь на восемь тысяч лет или около того позже своего собственного. Возможно, однако, что я сделал ошибку в расчетах, и это меня беспокоит.

Как ни странно, я начинал верить каждому его слову. Зародившиеся было у меня сомнения насчет твердости его рассудка сменились болезненным возбуждением, свидетельствовавшим, не исключено, о нетвердости моего. Да, говорил я себе, это так! Передо мной самый настоящий, подлинный бадариец, один из тех, о ком пишет Брентон в своем трактате "The Badarian Civilization". Какая удача, что именно я стал свидетелем невероятного события! Путешествие во времени! Неужели начинают сбываться мечты Герберта Уэллса? Бесчисленные вопросы роились в моем мозгу и просились наружу. Но пришелец продолжал:

— Мне понятно твое изумление, сын мой. Ты, наверно, и слыхом не слыхивал о блистательной бадарийской цивилизации. Да, надо думать, за восемьдесят веков, прошедших на Земле, то есть за краткие минуты моего путешествия...

Такие вещи не могли оставить меня равнодушным, даже если они звучали по-латыни. Поэтому я обратился

к прищельцу с нижайшей просьбой пересесть за мой столик и разрешить мне предложить ему чего-нибудь выпить в качестве приветствия в нашем веке. Он не заставил себя долго упрашивать. Осведомившись, какой именно напиток ему более по вкусу, я услышал, что ни за какие блага в мире он не согласится вновь омочить губы в том омерзительном пойле, что принес ему в кружке раб. При этом он присовокупил, что у него остались, напротив, самые блаженные воспоминания о привезенном из Рима напитке рубинового цвета, который ему посчастливилось попробовать несколько дней назад (несколько *своих* дней назад) и который римляне называли словом *vinum*. Я велел гарсону подать пару бутылок лучшего бургундского. Мой собеседник отхлебнул вина, одобрительно кивнул и со всей серьезностью заметил:

— Питье это веселит и согревает. Возвращаясь назад, я захвачу с собой несколько сосудов этого напитка.

Что до меня, то я залпом осушил один за другим четыре вместительных бокала, после чего попросил бадарийца продолжать.

— Я хотел сказать, — продолжал он, — что, по всей видимости, за восемьдесят веков земного времени, что уложились в краткие минуты моего путешествия во времени, великолепная бадарийская цивилизация успела погибнуть. И твое изумление объяснимо, ибо вместе с нею, по всей вероятности, канули в неизвестность и наши выдающиеся технические изобретения. Уже римлянам о них ничего не известно. Незнакома им и машина времени. Сомневаюсь, чтобы кому-нибудь в дальнейшем удалось заново изобрести ее.

Я подтвердил, что и в мое время никто серьезно не думает о путешествиях во времени.

— О Амун-Ка-Зайлат, — говорил я, — твое путешествие представляется мне одним из самых захватывающих достижений человеческой мысли. Теперь я вижу, что мои современники, несмотря на важнейшие научные открытия, сделанные у нас в последнее время, не более чем несмышленные дети в сравнении с вами. И все же мы не столь невежественны, как ты полагаешь. Я, например, знал о существовании бадарийской цивилизации. Хотя ее след и стерся в памяти людей, наши ученые недавно вновь открыли ее. Производя археологические изыскания, они наткнулись на остатки вашей славной культуры. Знай, что ваша столица

была разрушена более шести тысячелетий назад и погребена под толщей песков. Недавно ее развалины были найдены.

— Возможно ли это?—удивился Амур.

— Да, в земле обнаружено множество черепков, бронзовых кинжалов, а также изуродованных человеческих костей. Однако от упоминавшихся тобой чудесных технических достижений не сохранилось ничего. Потому у нас создалось впечатление, что бадарийцы были просто земледельцами. Мы знали, что ваши мастера владели искусством обработки перламутра и чеканки по меди, что они умели изготавливать изящные фигурки из слоновой кости... Однако мы не догадывались, что и наука ваша достигла подобных высот, в чем я отныне не сомневаюсь.

— В сущности, удивляться тут нечему. Простые, грубые изделия, о которых ты говорил, лучше сохраняются в земле. Приборы же наши были сделаны из гораздо более изысканных материалов, нежели медь и бронза... Неужели ты ничего не слышал о волновых явлениях, об излучении? Неужели вы не умеете передавать энергию на расстоянии при помощи этих неощутимых субстанций?

Я отвечал, что таким умением мы обладаем и что имеем немалые достижения в этой области. С гордостью поведал я пришельцу о нашем радиотелеграфе и о телевидении.

— Вот видишь,—заметил он,—то, на чем основана работа ваших приборов, нельзя потрогать руками. Вообрази, что через какое-то время секрет радиоволн будет утерян. Те, кому спустя много лет доведется раскопать в земле обломки ваших машин, не будут иметь никакого понятия о назначении хитроумных устройств, которыми ты так гордишься. Они решат, что перед ними какие-то талисманы или произведения искусства. Именно так рассуждают ныне ваши археологи, натываясь на обломки сосудов и на металлические предметы, испещренные непонятными письменами и символами... Как видно, вы едва успели вступить на тропу познания. У нас же любые механизмы внешне поразительно просты. Например, устройство, при помощи которого я оказался здесь, основано на весьма сложных радиационных явлениях, но при этом внешне оно поражает своей незатейливостью. Взгляни сам и убедись, что на такой нехитрый предмет никто бы и внимания не обратил.

С этими словами он извлек из кармана небольшую матово-белую овальную вещь. С одной ее стороны наружу выступала маленькая панель, усеянная кнопками и рычажками. Никакого другого механизма, казалось, в приборе не было.

Тут я заметил, что упоминавшийся ранее низенький господин в очках вытянул шею и с нескрываемым интересом разглядывает вещь. Сидел он недалеко от нас и, вполне вероятно, мог кое-что уловить из нашего разговора. Бадариец поспешил спрятать прибор в карман.

— Незачем подчеркивать, друг мой, сколь велико доверие, которое я тебе оказываю. Этот крохотный прибор мне дороже, чем все священные сосуды нашего королевства вместе взятые. Я не намереваюсь задерживаться долее в вашем веке. Мне надо следовать намеченному плану и добраться до двадцатитысячного года, а затем я вернусь домой... Постой, но ведь ты сказал, что божественной Бадари больше не существует?

— Мне кажется, что и тебе самому это должно быть отлично известно,— отвечал я после некоторого раздумья.— Пролетая сквозь время, ты не мог не созерцать неуклонного заката и упадка вашей цивилизации. Уж наверно, ты присутствовал при ее гибели? Может быть, ты даже наблюдал, как твой собственный пепел ссыпают и запечатывают в роскошную многоцветную погребальную урну, подобную тем, которыми мы восхищаемся сегодня?

— Чтобы нам с тобой было проще понимать друг друга,— сказал на это бадариец,— пора кое-что рассказать тебе о наших научных воззрениях. Это избавит тебя от надобности задавать кучу вопросов, большинство из которых, прости меня, о друг мой, кажутся мне нестерпимо глупыми... Однако уж коль мы познакомились, то не откроешь ли ты мне свое имя? Ибо я порядком устал от обращений «друг мой» или «о чужестранец», что были в ходу у римлян.

— Мое имя,— объявил я ему,— Оскар Венсан.

— Да-а... В таком случае... Знаешь, ты не обижайся, но уж лучше я буду, как прежде, именовать тебя «друг мой». Итак, я уже говорил, что ваш взгляд на возможность путешествий во времени крайне примитивен. Вот послушай...

Мы сидели за столиком друг против друга, а вокруг было восхитительное монпарнасское лето, и в воздухе уже

разлилась предвечерняя прохлада. Рассказ пришельца так захватил меня, что об ужине я и думать забыл. Между тем было уже девять вечера. Бутылки наши давно опустели. Но не успел я приказать гарсону принести нам новые, как вдруг тот самый низенький господин в очках поднялся и, к моему изумлению, обратился к нам также по-латыни:

— О граждане,— сказал он,— не гневайтесь, если я позволю себе прервать вашу беседу. Быть может, вы сочтете меня неучтивым, но я все слышал. Как только ты появился здесь, о мой предок, твоя внешность поразила меня. Невольно я слышал твои первые слова; они все во мне перевернули, и я начал прислушиваться. Но не осуждайте меня, а лучше возблагодарите судьбу за эту встречу, как равно и за поистине необъяснимое пристрастие людей к прошлому, которое побуждает их преподавать латынь в школах в наши дни... Нет, я неправильно выразился. Следовало бы сказать «в мои дни», ибо, о благородные чужестранцы, мы с вами живем в *разные эпохи*. Пусть это покажется вам невероятным, но знайте, друзья, что перед вами — еще один путешественник во времени. Я, однако, пришел из вашего отдаленного будущего. Ни один из вас не мог и догадываться о моем существовании, ибо мне предстоит родиться, слушай, о парижанин, и ты, бадариец, лишь десять или пятнадцать тысячелетий спустя. Точнее я сказать не могу, потому что подобно тебе, о далекий пращур мой Амун, я оказался в этой эпохе по чистой случайности, после того как понял, что не сумею без промежуточной остановки одолеть временной отрезок в двести веков, как я намеревался это сделать на своей машине времени.

Друзья мои, перед вами доктор Джинг-Джопг, один из наиболее выдающихся ученых Перголийской республики... Но я забыл, что вы не слышали о моей Перголии, ибо та земля, на которой вырастет и расцветет наша великолепная культура, пока еще скрыта под толщей вод океана, который ты, о парижанин, называешь Тихим. Знайте же, что перголийская Академия наук поручила мне... я хотел сказать — поручит мне совершить с научной целью путешествие в прошлое при помощи нашего новейшего изобретения — машины времени. Мы установим на этой машине двухсотый век по земному времени. Я сам рассчитаю эту дату таким образом, чтобы попасть в эпоху высшего расцвета древнейшей бадарийской цивилизации, следы которой мы недавно обнаружили. Однако случится небольшая

неисправность — и вот я среди вас. И весьма тому рад, так как имею возможность познакомиться одновременно с двумя различными эпохами.

Считая по-твоему, парижанин, я здесь вот уже шестой день. Мне удалось выменять перголийскую одежду на то одеяние, что носят сейчас. А вот и моя машина времени.

В его руках появился овальный предмет, в точности похожий на машину Амуна.

— О божественный Джинг-Джонг, — начал было я потрясенно, но не смог более выговорить ни слова из-за волнения, охватившего меня. Подозвав гарсона, я указал перголийцу на стул возле нашего столика и с грехом пополам сумел спросить нового гостя, какой напиток он предпочитает. Оказалось, что питье, называемое «коньяк», вполне ему по вкусу.

— Оно напоминает мне, — добавил он, — один напиток, который я часто употреблял дома... То есть я хочу сказать: который я буду часто употреблять. По правде говоря, я еще не привык жить за десять тысячелетий до собственного рождения, а потому прошу не судить меня строго за то, что я иногда путаюсь во всех этих прошедших и будущих временах. Итак, с твоего позволения, я хотел бы коньяку, слегка разбавленного содовой.

Я велел гарсону принести бутылку и сифон, после чего молча уставился на вновь прибывшего. Он был мал ростом, одет в мало поношенный черный редингот и при этом лыс как колено. В глазах его плясал сатанинский огонек, и не будь мое внимание всецело захвачено бадарийцем, я уверен, что невероятно массивный череп перголийца сразу бросился бы мне в глаза. Кстати, бадариец не пророчил ни единого слова с того самого момента, как пришелец из будущего вмешался в нашу беседу, и сидел насупившись.

Отхлебнув изрядную порцию коньяку, я вновь обрел способность рассуждать здраво.

— Господа! — начал я. — В смысле джентльмены... То есть я хотел сказать: высокоученые мои друзья! Ты, о величайший из бадарийцев, и ты, чья слава затмевает... то есть затмит всех на свете перголийцев! Сегодня — лучший день в моей жизни, и я бесконечно благодарен провидению за эту милость. Я краснею от стыда за свое невежество в сравнении с твоей ученостью, о Амун-Ка-Зайлат, и с твоими будущими познаниями, Джинг-Джонг. Да, моя

эпоха не блещет знаниями, и я теперь вижу, что ее смело можно уподобить темному средневековью... Но жаль-тесь, умоляю, и просветите меня. Ведь ты, о бадариец, жил на Земле восемь тысяч лет назад, а это значит, что по крайней мере уже семьдесят девять веков как умер. Почему же тогда ты сидишь здесь и я тебя вижу?

— С радостью удовлетворю твою любознательность, хотя вопросы эти поистине наивны. Позволь, я начну с самого начала, как и намеревался сделать в тот момент, когда нас прервал почтенный перголиец... А ты, далекий потомок мой, выслушай мой рассказ, прежде чем я стану внимать твоему.

Доктор Джинг-Джонг кивнул в знак согласия, и бадариец продолжал:

— За много поколений до нас ученые установили, что ускоренное перемещение во времени в сторону будущего теоретически осуществимо. Один физик доказал, что время течет отнюдь не равномерно, и для наблюдателей, «привязанных» к различным системам, движущимся с неодинаковой скоростью одна относительно другой, время идет по-разному. Однако доступны ли эти рассуждения твоему разуму, парижанин?

— Продолжай. Я слышал об этой теории. Один наш ученый сделал аналогичное открытие.

— Итак, была доказана возможность (теоретическая, повторяю) пребывать во времени, отличном от земного. Однако для ее практического осуществления необходима скорость, близкая к скорости света. Я приведу пример, который будет доступен твоему разумению (у нас его всегда приводят школьникам): путешественник, покинувший нашу планету со скоростью двухсот девяноста девяти тысяч девятисот восьмидесяти пяти километров в секунду и вернувшийся обратно спустя два года, обнаружит, что на Земле за время его отсутствия протекло целых двести лет...

— И это мне известно,—заявил я, гордый своими познаниями.—Профессор Ланжевен прославился тем, что...

— Это хорошо, но постарайся впредь не перебивать меня, ибо я собираюсь поведать тебе о том, чего ты не знаешь.

Открытие, о котором я упомянул, оставалось чисто умозрительным эффектом до тех самых пор, пока не было найдено поразительно простое средство заставить живой организм двигаться со скоростью, почти равной скорости

света. С этого момента путешествие во времени стало осуществимым — но лишь в одном направлении. Мы получили возможность «забрасывать» своих посланцев вперед, в будущее: для этого оказалось достаточным отправлять их в космос, а затем с огромной скоростью возвращать обратно на Землю. Но это лишь в общих чертах. На деле же человек, улетевший в космос, полностью выпадал из-под нашего контроля, потому что оказывался вне нашего времени. Ему, таким образом, приходилось действовать по инструкциям, разработанным заранее, и проходить специальную подготовку.

Так мы «забросили» в будущее десять человек, одного за другим. Первый недавно вернулся. Его маршрут был рассчитан так, чтобы он прилетел спустя двадцать пять лет по земному времени, прожив всего лишь несколько секунд по своему собственному. Возвратился он в полном здравии и был весьма удивлен, встретив собственного сына, который за это время успел стать ровесником отца. Что касается прочих путешественников из числа десяти, то нам о них ничего не известно: ни один пока не возвращался.

Если ты внимательно следил за моим повествованием, то мог заметить существенный недостаток в наших опытах: все эти люди могли достичь любой временной точки в будущем, но при этом не имели ни малейшей возможности вернуться обратно в наше время. Открытие было неполным. Посланец, заброшенный в будущее, мог наслаждаться плодами всех открытий и усовершенствований, сделанных земной наукой за время его путешествия, однако был не в состоянии поделиться всем этим со своими современниками, оставшимися в прошлом. Приходилось ждать, пока они «поравняются» с ним или «догонят» его во времени, а заодно и в познаниях... Это было совсем не то, чего мы хотели. И все сильнейшие умы Бадари посвятили себя работе над проблемой возвращения.

Я горд, что мне удалось внести свой вклад в решение проблемы «полного» цикла. Отныне в наших руках имеется средство, позволяющее двигаться вверх по течению веков, несмотря на то, что некоторые ученые предсказывали невозможность такого путешествия ввиду необратимости времени. Однако выяснилось, что на самом деле время таковым не является... Но я не намерен вдаваться в детали: тебе, парижанин, все равно их не постичь, а что до тебя,

перголиеца, то само твое присутствие среди нас доказывает, что открытие наше известно и тем, кто находится в будущем. Когда я пожелаю вновь перенестись в Бадари, мне будет достаточно перевести небольшой рычажок на машине времени. И тогда мое тело, обладая комплексной скоростью, понесется вдоль мнимой оси пространства — времени в обратном направлении, и в определенный момент я вновь окажусь у себя дома. Первые опыты дали отличные результаты. Как я уже упоминал, предыдущий посланец доставил нам интереснейшие данные из времен Римской империи.

Я благоговейно внимал каждому его слову. Джинг-Джонг временами одобрительно кивал головой. Когда Амун-Ка-Зайлат умолк, перголиец воскликнул:

— Сколь славна перголийская мудрость, которой предстоит вернуть к жизни все эти чудеса! После твоего повествования, бадариец, мне осталось добавить совсем немного. И нам тоже удалось... то есть удастся овладеть секретом головокружительных скоростей. Мы также постигнем тайны комплексных движений и мнимых измерений. Твое путешествие, о мой предок, отличается от моего лишь направлением перемещения во времени. У нас будет принято решение отправить человека в прошлое. И тогда, тщательно настроив машину, я устремлюсь в бадарийскую эпоху, воодушевляемый напутствиями всех моих сограждан. Я отправлюсь в путь через двенадцать тысяч лет. И я прибыл сюда пять дней назад после нескольких часов пути...

Такие выражения, как «комплексная скорость» и «мнимое измерение», я еще так-сяк вытерпел, но вынести непрерывное смешение настоящего, прошедшего и будущего времени оказалось выше моих сил. Борясь с охватившей меня нервной дрожью, я заказал еще вина и смиренно проговорил:

— Простите, что перебиваю вас, о друзья мои, но дайте же мне время хоть немного привыкнуть ко всему этому. Не так быстро, умоляю вас... Итак,— продолжал я, стараясь навести порядок в своих мыслях,— ты говоришь, Амун-Ка-Зайлат, что можешь двигаться навстречу потоку времени и достичь того самого момента, когда пустился в путь?

— Именно так.

— Но позже, когда ты будешь уже мертв, твое путешествие будет все длиться в будущем? И люди нашего века,

например я сам, смогут лицезреть тебя несмотря на то, что тебя давно нет в живых?

— В этом нет ни малейшего сомнения,— отвечал бада-риец.

— Что же здесь странного?— вмешался Джинг-Джонг.— Ведь вот я сижу перед тобой, хотя я еще и не родился на свет.

— Это верно,— задумчиво проговорил я,— об этом я как-то не подумал... Но в таком случае откуда мне знать, что ты *в настоящий момент* не мертв... то есть именно так— вполне очевидно, что ты мертв.

— Вино твое превосходно, парижанин, башка же твоя тверже, чем череп мамонта. Все ведь очень просто: для тебя я мертв, но в своем собственном времени я жив, раз сижу тут. Моя смерть относится к *моему будущему*, хотя одновременно она находится в *твоем прошлом*. Мне предстоит умереть, если пожелаешь знать, чуть меньше восьмидесяти твоих столетий тому назад. И никакого противоречия здесь нет.

— Да-да... Но предположим, что ты совершил путешествие на два года вперед (я имею в виду два земных года). Проведя несколько дней в этом новом времени, ты возвращаешься назад и больше никуда из своей эпохи не отлучаешься. Тогда, если только я чего-нибудь не напутал, два года спустя ты встретишься с самим собой там, где уже бывал... где побываешь двумя годами раньше... то есть позже.

— Да, все это именно так, и встреча с самим собой— лишь один из парадоксов, которыми столь богаты подобные перемещения. Вполне ясно, что после осуществления недолгого замкнутого цикла и при условии, что я буду продолжать существовать на Земле, мне придется встретиться лицом к лицу с самим собой, подобно тому как я сейчас сижу перед тобой.

— О моя голова!— вскричал я в отчаянии.— А ты, Джинг-Джонг, когда ты родишься... после того, как ты родился... Словом, родившись в будущем, ты вернешься сюда, в Париж, где уже бывал... то есть где уже имел быть, и тогда ты вспомнишь, что посещал эти места за двенадцать тысяч лет до своего рождения?

— Вряд ли,— возразил Джинг-Джонг.— Ты забыл, что мне *предстоит* родиться лишь *по отношению к тебе*, в то время как для самого себя я уже родился некоторое время

тому назад, иначе я не сидел бы здесь. К нынешнему моменту я помолодел всего часа на два-три, а поскольку мне от роду шестьдесят лет, то и появился я на свет шестьдесят лет назад, считая по перголийскому времени.

Так мы сидели на террасе кафе и рассуждали. Коньяк помогал мне сохранять некоторое достоинство, хотя я продолжал позорно путаться в употреблении времен глаголов. Ночь была прекрасна. Вокруг кипела бурная монпарнасская ночная жизнь, как в довоенные времена. В толпе прохожих то и дело мелькали иностранцы разных цветов кожи и в самых невероятных облачениях. На бадарийца в римской тоге никто и не глядел.

«И никто,—думалось мне,—никто и не догадывается, что в настоящую минуту свершается историческое событие колоссальной важности. То есть не свершается, а свершится... или, вернее сказать, уже свершилось. Мне, Оскару Венсану, выпало на долю стать его очевидцем и участником! О всеблагое провидение!»

Перенолненный признательностью к милостивому провидению, я робко спросил пришельцев, не угодно ли им будет отведать напитка, весьма ценимого в наших краях, и заказал две бутылки шампанского. Мы чокнулись. Амун-Ка-Зайлат благосклонно похвалил напиток. И продолжил:

— Странное ощущение, друг мой,—внезапно перенестись на восемь тысяч лет вперед по отношению к своей эпохе. Я не хотел бы чернить век, в котором ты живешь, парижанин, хоть он и погряз в невежестве. Следует признать, что дышится в нем легко, все кругом радует глаз, и я по какой-то причине испытываю непривычное тепло во всем теле. Я глубоко признателен тебе за гостеприимство от своего имени и от имени пославшей меня Академии наук... Хотел бы я знать, чем заняты сейчас мои ученые друзья в Бадари? Или, выражаясь точнее, чем они занимались восемьдесят веков тому назад? Разумеется, они с волнением ждали моего возвращения. И их ожидания не будут обмануты. Я вернусь с богатой добычей знаний, и этот момент станет важнейшей вехой в истории науки... Но было бы непозволительно сладко дремать теперь, погрузившись в чересчур материальные удовольствия твоего века, друг мой; я должен выполнить свою миссию. Поставленная цель будет достигнута; эта цель — побывать в твоём времени, Джинг-Джонг. Не исключено, о перголиеце, что я окажусь там в течение срока твоей жизни и тогда, быть может, мы

с тобой встретимся. Но ты не узнаешь меня, ибо к тому времени еще не успеешь пережить нашу нынешнюю встречу. Надеюсь, однако, что ты окажешь мне гостеприимство по примеру нашего парижского друга, и еще надеюсь, что высокое искусство виноделия будет в чести и в твоё время.

— Насчет последнего не сомневайся, мой пращур. В остальном же ты, увы, заблуждаешься самым жестоким образом. Ты никак не сможешь отыскать меня в Перголии, потому что если бы такая встреча действительно состоялась, то она находилась бы в моем прошлом и я знал бы о ней. Между тем лицо твоё мне незнакомо.

— Это верно, о будущий мудрец, об этой детали я как-то не подумал... Однако мне пора. Не мог бы ты, парижанин, оказать мне ещё одну услугу? Мне не хотелось бы взлетать посреди толпы людей, ибо это не пройдет незамеченным. Отведи меня в уединенное место, откуда я мог бы улететь, не внося смуту в умы окружающих.

Я поднялся, чтобы проводить его. Джинг-Джонга я попросил обождать меня здесь, в кафе, потому что мне не терпелось продолжить беседу.

— Не тронусь с места, — отвечал перголиец, — пока ты не вернешься. Отлет я наметил лишь на завтра. Что же до тебя, о предок мой Амун, то я желаю тебе счастливого пути. Не надо ли, кстати, передать что-либо от твоего имени твоим современникам на тот случай, если я сделаю остановку в вашей эпохе, что вполне вероятно?

— Скажи им тогда, что повстречал на своем пути Амун-Ка-Зайлата, что путешествие его проходит успешно и вскоре он вернется домой. *Vale!*

Немного пройдя по бульвару, мы свернули в переулок, ведущий к Люксембургскому саду. Пока мы шли, бадариец говорил:

— Прости, друг, что я ретировался столь внезапно, но у меня не лежит душа к этому коротышке перголийцу. Мне кажется, он замыслил недоброе. Страна наша — Бадари — богата и привольна, и во все века тянулись к ней жадные лапы врагов. Многих неприятелей побили мы в былые годы. Что же будет, когда весть о процветании нашем докатится до грядущих поколений? И если эти поколения равны нам силой и знанием (а эти перголийцы, по всей видимости, именно таковы), то не захотят ли они прилететь к нам в прошлое и завладеть нашими богатствами? Мне очень подозрительна форма черепа этого Джинг-Джонга

и хилое его телосложение. В свое время я изучал взаимосвязь между внешним обликом и духовной сущностью, и теперь нахожу в нем явные признаки коварства... Парижанин, я открою тебе еще один секрет, ибо знаю, что ты не станешь выдавать меня. Хотя в целом мое путешествие носит научный характер, в то же время оно преследует некоторые, скажем, информационные цели. Овладев сокровеннейшими тайнами мироздания, исполненные сознанием своего величия, а также несравненной мудрости нашей цивилизации, мы, бадарийцы, стремимся нести плоды своей культуры народам всех веков, чтобы и они смогли воспользоваться ими. Опасаюсь, однако, что перголийцы воспрепятствуют этому.

Решение мое твердо. На своей машине я установлю время, когда жил этот субъект. Я намерен провести в его эпохе несколько недель, разузнать, какие коварные замыслы там вынашиваются, и затем, вернувшись домой, обо всем доложить его величеству королю Бадари. И тогда мы успеем заранее принять надлежащие меры.

Мы стояли совсем одни в глухом переулке. Он достал из кармана машину времени и принялся тщательно наладивать ее.

— Готово,—сказал он через некоторое время.

— Неужто,—воскликнул я с грустью,—появившись столь ненадолго, ты покидаешь меня навсегда? Возможно ли, что я потеряю тебя на веки вечные именно сейчас, когда ты открыл моему воображению такие чудеса? У меня осталось бесчисленное множество вопросов. Ты даже не рассказал мне как следует о вашей изумительной бадарийской цивилизации.

— Быть может, мы встретимся еще, и раньше, чем ты думаешь,—улыбаясь ответил Амун-Ка-Зайлат.— Я даю тебе обещание, что непременно вновь остановлюсь в твоей эпохе по пути домой.

— Но где и как тебя найти?

— Доверься, друг, мудрости бадарийцев... А сейчас удались на несколько шагов.

Запахнувшись в тогу, он сделал мне какой-то знак рукой, который я понял как прощальный, и нажал на кнопку. Вспыхнуло лиловое пламя, сверкнула белая молния, раздался долгий свист, словно при запуске пороховой ракеты, и ночное небо прорезал светящийся след. Секунду спустя кругом все опять было тихо и темно. Стоя в оди-

ночестве у решетки Люксембургского сада, в безмолвном волнении я сжимал в руках чугунные прутья.

Какое-то время я не двигался. Но не успел я прийти в себя после пережитого потрясения, как вдруг новая вспышка озарила ночную тьму. В небе вновь пролег яркий след, и передо мной опять возник мой друг Амун-Ка-Зайлат, причем стоял он на том самом месте, откуда улетел, но на этот раз был затянут в черное.

— Что случилось?— вскричал я в тревоге.— Во имя неба, что означает твое поспешное возвращение? Разумеется, я счастлив вновь лицезреть тебя, однако что за неожиданность расстроила твои планы? Быть может, в механизм попала песчинка и он испортился?

Бадариец снисходительно улыбнулся.

— Никакой неожиданности не было, парижанин. Все прошло как нельзя лучше. Не говорил ли я тебе, что загляну сюда на пути домой? Как видишь, слово свое я держу крепко. Я только что из Перголии. Целый месяц провел я в этом краю, который мне решительно не по сердцу, и теперь рад и счастлив, что вновь обрел уют и тепло Парижа.

И снова я не мог скрыть своего недоумения:

— Но ведь ты улетел отсюда едва ли минуту назад?

— Это так. Ну и что тут странного? Сколько раз надо повторять тебе, что с того мгновения, когда я оказался в космосе, время мое пошло по-иному? В Перголию я прибыл менее чем через час после отлета, что соответствует примерно одиннадцати тысячам земных лет. Там я провел около месяца, как и намеревался, и должен тебе доложить, что с превеликим трудом терпел неудобоваримые кушанья и тошнотворные напитки, которыми меня пичкали в этом двадцать девять тысяч сто пятьдесят третьем году. А потом я полетел обратно, предварительно настроив машину на твою эпоху, как и обещал. Поскольку день и час нашей первой встречи оставили во мне приятные воспоминания, я сделал так, чтобы вернуться в этот самый момент. Мне это удалось без труда. И вот я здесь. В моей жизни прошло около месяца, а для тебя едва промелькнуло несколько секунд. На Земле же пробежало за это время одиннадцать тысячелетий, сперва в одну сторону, а потом в другую,—но, разумеется, только по отношению ко мне. Все это предельно ясно. Я,

вспоминать, подумывал, не вернуться ли назад чуть раньше нашего расставания. Но потом я пожалел твои нервы, ибо вижу, что ты еще не успел привыкнуть к относительности времени.

— Нет, я понимаю,— проговорил я несколько растерянно,— я все понимаю... Спасибо, что передумал и вернулся чуть позже. Но неужели ты и вправду побывал в двадцать девять тысяч сто пятьдесят третьем году, или как ты там сказал? А видел ли ты там... то есть увидишь ли... О, послушай, умоляю, давай будем пользоваться привычным мне прошедшим временем, хотя это и неверно по сути! Итак, видел ли ты, какова эта Перголийская республика, один из граждан которой сидит сейчас в кафе за бутылкой шампанского и дожидается моего возвращения?

— Видел, не сомневайся. Я там побывал и везу с собой плохие новости. Назревают серьезные неприятности. Я все подробно тебе расскажу, но не могли бы мы прежде сесть за столик в одном из заведений, где подают дивный напиток, вкус которого остался на моих губах даже месяц спустя? А что касается твоего Джинг-Джонга, то пусть себе подождет, тем более что он негодяй и мерзавец.

Я взглянул на бадарийца. На нем теперь было, как я уже говорил, черное одеяние, облекавшее безупречные формы античной статуи. Я повел его в небольшой бар в квартале Сен-Жермен-де-Пре, надеясь, что необычный внешний вид моего друга не привлечет там ничьего внимания. Так оно и оказалось. После того, как мы заказали выпить, он продолжал:

— Да, сын мой, хотя Перголия и достигла довольно высокого уровня в физике и математике, это не тот край, где я хотел бы окончить свои дни. Люди там неприветливые, чужающиеся радостей жизни. К тому же они злонамеренны и, как я и предполагал, замышляют послать войско на мою милую родину Бадари. Позволь, однако, я расскажу по порядку все, что произошло со мной. А вещи там приключились преудивительные.

Как тебе известно, я отправился в путь, основываясь на указаниях Джинг-Джонга, с тем чтобы попасть во времена Перголии. И таково совершенство моей машины, что я вмиг оказался в нужном мне времени, да еще в самой столице их республики — городе Бала. Надо ска-

зять, что это самый отвратительный из всех городов, куда только ступала нога благородного бадарийца.

Я смешался с местным населением, никому не раскрывая тайны своего происхождения. Мне удалось выменять тогу на этот дикий перголийский наряд, который оскорбляет мое чувство прекрасного. В считанные дни я выучился перголийскому наречию, а затем стал принимать попытки проникнуть в среду ученых, которая составляет там настоящую элиту. Счастливый случай помог мне. Я сумел наняться слугой в дом одного из членов перголийской Академии наук. И там я узнал, что попал — о всемогущая наука! — не только в эпоху Джинг-Джонга, но, более того, в тот самый момент, когда он *возвращался из своего путешествия во времени*. Предвидя твои замечания, напомню, что прошедшее время я употребляю здесь чисто условно, только чтобы не раздражать тебя, а на самом деле мне следовало бы сказать «когда он *вернется* из путешествия». Помнишь, когда я говорил Джинг-Джонгу о возможности нашей встречи в будущем, этот коротышка справедливо заметил, что, если бы ему доводилось встречать меня в Перголии, то он бы об этом помнил? Так вот я все-таки виделся с ним в Перголии, только это *после* нашей встречи здесь, *после* его путешествия в прошлое, то есть в Бадари, и *после* его возвращения оттуда. По этой причине он ничего и не мог помнить, ибо встрече нашей еще только предстоит произойти *в его* будущем. Понятно ли я выражаюсь?

— Продолжай, — ответил я, залпом опорожнив свой бокал.

— О чем бишь я? Ах да! Так вот, стало быть, я оказался в будущем в момент возвращения Джинг-Джонга. Незабываемый миг, когда он узнал меня и — следи внимательно за моими словами! — понял, что, хотя мы с ним дважды имели случай видеться в твоём веке (дважды потому, что совсем скоро мы свидимся во второй раз), он во время нашей второй встречи еще ничего не знал, что в Перголии мы уже виделись (по отношению ко мне, но можно сказать также «еще увидимся», и это будет по отношению к нему) одиннадцать тысяч лет спустя (прошу прощения за неловкий оборот). Однако я-то об этом прекрасно знал, и в результате сумел обвести его вокруг пальца!

— Но как же... Как же... — бормотал я.

— Да, понимаю, все эти временные отношения сразу постичь нелегко, но постарайся, прошу тебя. Повторяю, сейчас мы вновь увидимся с ним. Мне это известно, поскольку он сам, ослепленный гневом, проговорился об этом в двадцать девять тысяч сто пятьдесят третьем году. Сегодня он не знает, что я присутствовал при его возвращении в город Бала. Однако, когда эта встреча в Перголии, уже пережитая мною в моем прошлом, случится наконец и для него, он осознает, что сегодня я был в курсе всех обстоятельств нашей грядущей встречи и потому сумел перехитрить его. Так оно, кстати, и произошло в дальнейшем, и он горько упрекал меня за вероломство. Но не потерял ли ты нить моей мысли?

— Продолжай. Мне примерно ясно, что ты имеешь в виду.

— Итак, Джинг-Джонг вернулся домой. Разумеется, я сначала затаился. Этот предатель делал свой доклад на заседании Академии наук в доме моего хозяина. Спрятавшись за шкафом, я прослушал все от начала до конца. О, сын мой, что за гнусные замыслы кипят в мозгу этих извращенных людей и какие неисчислимые бедствия случат они моей родине Бадари!

Конечно, я рад был узнать из его доклада, что мое путешествие окончится благополучно. Дело в том, что Джинг-Джонг прибыл в Бадари чуть позже того момента, когда я вернулся. Здесь я решительно сомневаюсь, чтобы ты был способен уловить всю тонкость положения. Должен признаться, впрочем, что и у меня самого слегка путаются мысли... Но это ничего. Повторяю, мне было лестно услышать, да еще из уст моего соперника, известие о счастливом завершении предприятия, еще не начатого мною к тому времени, и о событии, которое по сей день остается неизвестным ему самому. Но хватит об этом: мне жаль тебя. Одним словом, все окончилось как нельзя лучше.

Итак, я рассказывал тебе о сообщении Джинг-Джонга. Он красочно описал прелести бадарийской цивилизации, рассказал о счастливой, безмятежной жизни и о глубокой мудрости немногочисленных обитателей моей страны. Говоря о бескрайних просторах Бадари, он сравнивал ее с Перголией, страдающей от скученности и перенаселения. Это для них самое больное место. Бездумно размножаясь, как велит им слепой инстинкт, и не

заботясь о будущем, перголийцы в итоге оказались в страшной тесноте, подобно крысам, что в мое время кишели в кое-каких зарубежных странах. Их земля не в силах прокормить всех живущих на ней. Об этом я догадывался и раньше и, к несчастью, оказался прав. И вот эти треклятые перголийские ученые замыслили дьявольски хитрый план: направить в прошлое войска и покорить Бадари.

Доклад Джинг-Джонга еще более воодушевил их. Они тут же развернули серийное производство машин времени. Интенсивную подготовку проходит целый легион конкистадоров. В эту минуту, быть может, их передовые отряды уже в пути... Но нет, это абсурд! Я, кажется, тоже начал заговариваться! Перголия возникнет лишь спустя одиннадцать тысячелетий! Джинг-Джонг никуда еще не отправлялся. Он все так же ожидает тебя на террасе заведения, в котором мы были с тобой сию минуту, месяц назад... Да, видно, я устал, друг мой. Подобные путешествия изменяют самый строй мыслей, а это не всякому разуму под силу. Ситуация осложнилась и запуталась до предела... Но позволь, я продолжу.

Итак, я стоял за шкафом, не замечаемый никем, и слушал, что говорит Джинг-Джонг. Он продемонстрировал своим коллегам сокровища, недрогнувшей рукой похищенные им из музеев Бадари. Потом он пустился в подробное описание гнусных опытов, которые производил в моей стране. С научной целью, по его словам, он вступал в плотскую связь с бадарийскими женщинами, имея целью выведение гибридной расы людей... Это было уж слишком. Слушая эти мерзости, я пришел в такое исступление, что, потеряв всякую осторожность, выскочил из своего укрытия и, представ перед этим недостойным ученым, принялся гневно укорять его в неприглядных поступках. Он узнал меня и сразу догадался о том, что я несколько минут назад силялся тебе втолковать. Указав на меня пальцем, он вскричал: «Вот он, этот человек, который встречается мне на каждом шагу! Везде и всегда! Вот он, этот бадариец, что осмелился предпринять путешествие во времени еще за двадцать тысяч лет до меня! Дважды сталкивался я с ним в двадцатом веке по христианскому летосчислению. И сюда добрался он, чтобы шпионить за мной, пока я доверчиво сижу в городе, называемом Парижем, на террасе кафе и жду его воз-

«вращения! Но пока я не успел увидеть его здесь, он, недостойный, поспешит в Париж, будучи уже в курсе всех моих планов! Там он попытается заморочить голову бедному дурачку, которого привлек на свою сторону. При пособничестве этого Оскара Венсана он захочет опоить меня и похитить мою машину времени. Но провидение не дремлет! Я расстрою его планы, и вот доказательство — я выполнил свою задачу в Бадари и теперь стою перед вами!»

«Но и это еще не все, перголийцы! — продолжал он. — Клянусь вам, этот нечестивый предок путался у меня под ногами, куда бы я ни направился — в прошлом, в настоящем, в будущем! Наши существования столь тесно переплелись — мое прошлое с его будущим, мое будущее с его прошлым, что и самим богам во всем этом не разобратся! Я встречал его в Бадари уже после того, как он тайком прокрался на наше сегодняшнее собрание и здесь же заколол меня кинжалом, свидетелями чего вы все станете через минуту! Нечестным путем проник он в наши грандиозные замыслы, разведав их во всех подробностях, и сделал все, что в его силах, дабы расстроить их. Там, у себя, он бахвалился, как ловко он погубил меня здесь, на ученом собрании, в присутствии моих коллег! Ну что же, да исполнится предначертание судьбы! Погибни, злодей! Знаю, ты обратишь против меня самого кинжал, которым я сейчас потрясаю, направляя его против тебя! Лишь потому, что событие это записано в веках, я вынужден пытаться убить тебя, хоть и знаю, что погибнуть предстоит мне самому. Умри же, презренный убийца!» И он действительно бросился на меня, подняв кинжал.

— Да как же это!.. — завопил я.

— Умоляю, парижанин, не перебивай меня. Все и так запутано до предела. Знай, во всяком случае, что он говорил правду. О предстоящей краже машины времени ты узнаешь чуть погодя. А насчет убийства, повторяю, — все истинная правда.

Итак, он кинулся на меня с кинжалом. К счастью, я намного сильнее его и, кроме того, держался настороже. В один миг я вывернул ему руку и завладел оружием.

«Уж не думаешь ли ты, презренный, — вскричал я в свою очередь, — не думаешь ли ты, что мне по душе натекать на тебя на каждом углу в прошлом, настоящем и буду-

шем? Уж не решил ли ты, что мне по нраву служить исполнителем воли судьбы? Неужели я ради собственного удовольствия пойду на эту идиотскую затею — пытаться выкрасть у тебя машину времени, зная наперед, что этому не суждено сбыться, поскольку ты стоишь сейчас предо мною? Но — умри, негодяй, ибо так предначертано!» Сказав так, я вонзил ему в грудь кинжал. Он издал душераздирающий крик, и его грязная душонка отлетела в объятия дьявола...

Да, сын мой, я преступник, однако никаких угрызений совести не испытываю. Кроме всего прочего, в тот момент я вынужден был защищать свою жизнь. Жалею лишь, что мне так и не удалось оборвать жизнь этого ничтожества. Увы, мне еще предстоит вновь увидеть его здесь, в Бадари... И спустя одиннадцать тысяч лет — там, в Перголии, после его возвращения, и вновь заколоть его... И опять... Ты знаешь, после всех этих путешествий мне в голову стали приходить довольно тонкие мысли о природе времени... Похоже, время — вещь гораздо более сложно устроенная, чем нам казалось... Но я хочу закончить рассказ.

Итак, я прикончил этого коротышку Джинг-Джонга... Ну что мне стоило сделать это раньше? Ученая ассамблея пришла в неописуемое смятение. Все эти книжные черви, визжа, устремились ко мне и принялись размахивать своими уморительными кулачишками. Я с наслаждением вышиб бы мозги одному-другому, но их было слишком много, и я опасался, что живым из их эпохи мне бы тогда не выбраться. И я предпочел отступить, сохраняя достоинство. Благодаря превосходящей длине ног и мощи моих легких я сумел убежать и укрылся в городе. Мне пришлось провести там еще несколько дней, чтобы дознаться, какие новые коварные замыслы вынашивают члены перголийской Академии. Гибель Джинг-Джонга не заставила их отступить. И теперь близился смертный бой между Перголией и Бадари. Война неизбежна. Все разведав, я поспешил в обратный путь и, летя вдоль мнимого измерения времени, прибыл сюда. О дальнейшем тебе известно.

Я сидел молча. Вокруг взвизгивала причудливая музыка, дергались в танце пары. Амун-Ка-Зайлат одобрительно взирал на танцующих, ему все это явно нравилось.

— Мне по сердцу шум и суета твоего века, — проговорил он со вздохом. — Отчего я не могу побыть здесь подольше

и отдохнуть душою? Но нет! Пора в путь: долг призывает меня.

Я осведомился, каковы теперь его планы.

— Против нечестного противника все средства хороши,— сказал он.— Я решил хитростью завладеть проклятой машиной Джинг-Джонга. Ты поможешь мне. Мы обманем его. Я солгу, объявив, что мой отлет откладывается, и мы станем пить и веселиться до утра. Ты опоишь его хмельным зельем. Ему, я заметил, нравятся ваши крепкие напитки. Опьянев, он станет беспомощен, и я украду его машину. Он окажется пленником вашего века, и Бадари будет спасена.

Однако я заметил в его плане одну деталь, которая противоречила здравому смыслу.

— Рад буду помочь тебе,— сказал я,— но ведь ты сам только что говорил, что этому плану не суждено сбыться! Что судьба решила по-иному! Прилично ли нам идти на это дело, притворяясь, что не знаем о предстоящей неудаче?

— Никакого притворства тут не будет. Событие, которое я предсказал, должно произойти, и оно произойдет. Хотя я знаю, чем все кончится, и даже имел случай сообщить об этом Джинг-Джонгу, не в моей власти предотвратить то, чему суждено свершиться. Неужели наивность твоя настолько велика, что ты не знаешь о принципе научного детерминизма? Произойдет вот что: доктор Джинг-Джонг перехитрит нас. И даже уже перехитрил: тот предмет, который он покажет тебе, а потом на твоих глазах уберет в карман редингота, вовсе не машина времени, а всего лишь копия, специально изготовленная, чтобы вводить в заблуждение похитителей. Когда он увидит твое озабоченное лицо и заметит твое волнение, то заподозрит недоброе. Более того: я совершу непростительную ошибку, сказав, что никуда пока не улечу, но забыв при этом, что на мне перголийская одежда. Он догадается, что я тем не менее успел побывать на его родине (не зная, впрочем, что мы с ним там повстречались), и станет держаться на чеку. Притворится, будто опьянел. Я вытащу его поддельную машину, воображая, что завладел настоящей. Тогда он вынет настоящую, которая пока лежит в левом кармане его редингота, но мы об этом не догадываемся, слышишь?.. И торжествующе провозгласит... Но к чему все эти предсказания? Тебе предстоит все услышать и увидеть

самому. Помни, однако, что я при всем том полностью сохраняю свободу выбора. Не знаю, как тебе объяснить, но наши крупнейшие философы заключили, что дело обстоит именно так. Я волен действовать по собственному усмотрению, но тонкость заключается в том, что я сам хочу, желая совершить этот акт — выкрасть машину времени... Ну, пошли, да постарайся хорошенько напоить его.

Я покорно поднялся с места, расплатился и пошел, сопровождая благородного бадарийца туда, куда звала его судьба.

Все произошло в точности так, как было описано и как должно было произойти. Когда мы пришли в кафе, где сидел Джинг-Джонг, там уже закрывали. Я повел своих гостей в кабаре. Мы стали пить и толковать о всяких вещах, происходивших в прошлом и предстоящих в будущем. Маленький перголиец, ухмыляясь, безотказно поглощал все те адские смеси, что я подсовывал ему. Часов около трех ночи, решив, что Джинг-Джонг пьян, Амун-Ка-Зайлат ловко вытащил у него предмет, который принял за дьявольскую машину. Но тот внезапно вскочил на ноги и воскрикнул:

— О жалкий глупец! Знай, что я с самого начала подозревал тебя в нечистых замыслах и сумел облапошить как последнего кретина, каков ты и есть, невзирая на твою древность. Ты сказал, что не отлучался с Монпарнаса, а я вижу на тебе нашу перголийскую одежду! Тебе не удалось обдурить меня. Но я не мешал тебе действовать, желая узнать, как далеко простирается твоя наглость. То, что ты держишь в руке, — всего лишь безжизненный кусок металла, копия, изготовленная мастером из моего божественного города Бала и привезенная мною сюда в предвидении подобных случаев. Что же до тебя, глупый парижанин, которому я имел несчастье довериться, то с тобой мы скоро еще встретимся. А вот и настоящая машина времени, о невежды, о предатели!

Порывшись в левом кармане редингота, он извлек оттуда овальный предмет и сжал его обеими руками.

— Теперь я, Джинг-Джонг, улетаю, и никто из вас не в силах мне помешать. До скорого свидания, говорю я вам! *Vale!*

Вспыхнуло лиловое пламя, заставившее померкнуть огни кабаре, сверкнула белая молния, раздался свист — и все стихло. Доктор исчез.

— Уф! — сказал Амун-Ка-Зайлат. — Наконец эта мучительная сцена позади. Как хорошо! Благородному бадарийцу нелегко стерпеть, когда его называют глупцом и невеждой его собственный отдаленный потомок. Но, к счастью, все кончено. Давай выпьем и поразмыслим.

В одиночестве сидел я у стойки бара и пытался, как мог, привести мысли в порядок. Было четыре часа. Амун-Ка-Зайлат только что улетел предупредить своих о готовящемся вторжении перголийцев. Бармен смотрел на меня странно.

— Привет тебе, Оскар Венсан, парижанин коварный, — прозвучал надтреснутый голос у меня за спиной.

Я обернулся. Передо мной стоял доктор Джинг-Джонг. Я даже не удивился.

— Присаживайся, — сказал я ему. — Ты, видимо, хочешь сообщить, что провел только что пару месяцев в Бадари. Этим меня не удивишь. Кстати, надеюсь, ты не затаил на меня злобы за то, что я помогал нашему предку обмануть тебя. Не тебе, с твоим необъятным разумом, обижаться на подобные пустяки. Но что за странное одеяние я вижу на тебе?

Действительно, маленький ученый был до ушей закутан в кусок ткани, переливающийся всеми цветами радуги.

— Таковую одежду носят в Бадари. Ты угадал — я довольно долгое время провел в той эпохе, а теперь возвращаюсь назад. Нет, я не стану сердиться на тебя и прошу тебя, о парижанин, ибо ты глуп, но только при одном условии... Но раньше дай мне чего-нибудь выпить: я устал с дороги, и на душе у меня скверно. От Амун-Ка-Зайлата я узнал, что этот негодяй сумеет зарезать меня в Перголии, и с тяжелым сердцем возвращаюсь теперь на родину, где мне предстоит тяжкое испытание.

Он отпил из стакана и продолжал:

— Мне нужна твоя помощь. Я придумал одну штуку. Амун считает, что ему все известно, но он ошибается... А кстати, ему отныне вовсе ничего не известно, ибо он мертв. Улетая оттуда, я сумел избавиться от него.

— Но как же... — пробормотал я. — Ведь он сам должен убить тебя в твоей Перголии?

— Потому-то я и должен был опередить его. Услышав о своей предстоящей гибели, я пришел в ярость и не сдержался. Схватив случайно оказавшийся под рукой молоток,

я раскроил ему череп. Но это все неважно. Мне... Я обеими руками взялся за голову:

— Позволь, но ведь он только что... час назад был здесь, а значит, должен был знать, что его убили... то есть убьют. Но он мне ничего не сказал!

— А он ничего и не знал. Это событие состоится в его будущем, да и в моем тоже. Поскольку мне все известно, то при желании, попав впоследствии в Перголию, я смог бы кое о чем известить его, но чувствую, что и не подумаю этого сделать.

— Ах! — простонал я, до глубины души потрясенный известием о гибели моего друга.

— Не будем говорить об этом помешанном. Жду не дожусь, когда его смерть, равно как и моя собственная, избавит меня от него навсегда. Но, увы, ожидания мои окажутся напрасными.

— Как напрасными?

— Подумай сам... Но довольно болтать. Вот мой план. Будучи в Бадари, я провел там ряд опытов. Я захватил с собой из Перголии несколько образцов семенной жидкости, взятой от благороднейших из моих соплеменников. В Бадари я отобрал нескольких женщин и сумел оплодотворить их. Результаты превзошли все ожидания. Дети, рожденные от перголийца и бадарийки, изумительно сложены и являют несомненные признаки выдающегося интеллекта. От них могла бы взять начало высшая раса людей...

— Прости, но сколько же времени ты провел в Бадари?

— Лет двенадцать... Мои опыты, повторяю, дали замечательные результаты. Кстати, я занимался не только искусственным осеменением, но и принимал личное, непосредственное участие в экспериментах, причем результаты оказались не хуже. Кажется, я не успел сказать тебе, что бадарийские женщины прелестны? Но это детали... У меня созрел гениальный замысел. Тебе известно, что моя обожаемая родина жестоко страдает от перенаселения... Ты догадался — я задумал переправить избыток нашего населения в прошлые времена. Точнее, в Бадари. Они станут там жить, плодиться и размножаться, смешиваясь с местным населением. Благодаря нашей многочисленности и превосходящим природным данным бадарийская раса начнет отступать, стираться, исчезать... Ее вытеснит победоносная раса перголийцев, и наши потомки впослед-

ствии, но не позже чем через двадцать тысячелетий, *воссоздадут* нас. Что будет дальше? Я не осмеливаюсь задумываться над этим. Из-за всех этих путешествий в прошлое возникают необычные ситуации, и мне думается, что нам надо будет каким-то образом усовершенствовать самый процесс мышления... Но и это неважно. Пока наши машины способны переносить нас не далее чем на двадцать тысячелетий. Подумай, что будет, когда мы научимся забираться еще дальше! Мы доберемся до той эпохи, когда жизнь на Земле еще только зарождалась. И сумеем исправить, да-да, исправить те или иные неловкие шаги природы! Да, друг мой, так будет, а значит, так было. Перголиец будет стоять у самых истоков бытия. Именно пашений создал мир таким, каким мы его видим ныне. Именно нам было суждено *стать первопричиной того, что сбылось*. Это — величайшее торжество науки!

Однако вернемся к бадарийцам. Действовать надлежит не медля. Этот негодный Амун, хоть он и подох, все еще способен ставить нам палки в колеса. Я должен как можно скорее вернуться домой. Перед смертью я успею дать надлежащие наставления коллегам. Мы сразу же вышлем в прошлое передовой отряд воинов, поставив перед ними задачу закрепиться в прошлом. Тут мне нужна будет твоя помощь. Не волнуйся, пока речь идет не о всей армии. Население Бадари не превышает и десятка тысяч душ. Чтобы покорить их и обратить в рабство, хватит и полусотни наших воинов, вооруженных грозным лучом смерти. Пятьдесят вооруженных солдат! Они сделают привал в твоём веке. Ты должен будешь их принять, накормить, напоить, словом, поддержать их боевой и моральный дух. Большого я от тебя не требую.

— Но ведь я всего лишь небогатый книготорговец, — робко возразил я, — по силам ли мне принять целое войско?

— Уж постарайся. А не сумеешь — пеняй на себя. Ты даже не можешь вообразить, парижанин, сколь мало значит жизнь человека двадцатого столетия для того, кто совершил преступление восемь тысяч лет назад и кому предстоит погибнуть одиннадцать тысячелетий спустя от руки своей жертвы...

Спорить не приходилось. Силы были неравны, и мне пришлось смириться, хотя воспоминание о несчастном Амуне разрывало мне сердце.

— Скажи хотя бы,—попросил я перголийца,—когда именно сюда нагрянут твои молодцы.

— Да вот и они,—отвечал доктор Джинг-Джонг.

Целый ливень падающих звезд пронзил потолок каба-ре. Передо мной возникли пятьдесят лысенких, затянутых в черное перголийцев. Они заполнили весь зал. Кому не хватило стульев, уселись прямо на стойку бара.

— Вот они и здесь,—повторил Джинг-Джонг.— Опасаясь, что ты задумаешь улизнуть, я выбрал для прибытия сегодняшний день. Теперь закажи выпивку на всех.

Положение мое было незавидным. После ночных возлияний мой кошелёк порядком опустел. А, все едино,—решил я и заказал на всю компанию шампанского. Бармен, бесстрастно взиравший на неожиданных посетителей, с готовностью выстроил ряд бокалов. Джинг-Джонг схватил бутылку, одним махом опорожнил ее и сразу подобрел:

— Вообще-то парень ты неплохой, парижанин. Я сохранию приятное воспоминание о тебе и о твоей стране. Однако мне пора в Бадари — я должен организовать там встречу этих солдат, а потом мне предстоит подставить свою грудь под гибельный кинжал. Прощай!

И он унесся в предрассветное небо, оставив меня посреди толпы этих хилых солдатиков, разглядывавших меня с недобрыми ухмылками. Что делать, я не знал. Бармен, снюнявя карандаш, старательно выписывал счет. Я допил бокал и вверил себя воле провидения. Но тут вновь засверкали вспышки падающих звезд. Понимая, что сейчас произойдет нечто неопишемое, я закрыл лицо руками.

Приоткрыв глаза, я увидел перед собой пятьдесят бадарийцев, пятьдесят златокожих, сияющих красавцев-гигантов, выстроившихся перед входом в заведение. Передо мной, нахмутив брови, воинственно выставив нос, стоял до ушей закутанный в радужное одеяние их предводитель — Амун-Ка-Зайлат.

— Не страшись,—сказал он мне.— Мудрость бадарийская не дремлет. Час битвы пробил.

— А я думал, ты умер,—простонал я.

— Я и умер. Джинг-Джонг, вижу, успел тебе рассказать. Но вот чего ты не знаешь: спустя несколько мгновений после того, как этот мерзавец изловчился и разнес мне череп вдребезги, одному из моих учеников пришла в голову блестящая идея. Он вложил в мою еще теплую руку машину времени, предварительно включив автоматическое устрой-

ство для пуска и остановки в нужный момент. Машина была настроена на весьма краткое путешествие в прошлое. Этот эксперимент прошел успешно, и я, здоровый и невредимый, очутился в Бадари за две недели до того. Четырнадцать дней мне хватило, чтобы все подготовить. Догадавшись, что авангард перголийцев остановится на привал в твоём веке, я собрал отряд вооружённых бадарийцев и поспешил сюда, чтобы встретиться с врагами. Сейчас в твоей эпохе закипит кровавый бой.

Тут я наконец сообразил, к чему идет дело. Отчаяние придало мне силы, и я отважно выступил на защиту своего века.

— О неукротимый бадариец,—воскликнул я,—ты, кого и сама смерть не в силах остановить, скажи, так ли уж необходимо, чтобы смертельная битва разгорелась именно здесь и именно у нас как раз в тот момент, когда мы в кои-то веки обрели мир и встали на путь, ведущий к совершенству? Не сам ли ты говорил ранее, что время наше и края наши приятны тебе, а ведь ты даже не успел прикоснуться к нашей мудрости! Позволь, я в кратких словах поведаю тебе о ней, и тогда, может статься, ты откажешься от своего зловещего замысла.

У нас ныне век науки, время великих достижений. В области знания, называемой физикой, мы, например, недавно доказали, что вся система законов природы, ранее считавшаяся незыблемой, на самом деле неверна; более того, доказано, что на самом деле никаких законов нет и не было, а природа в своем развитии подчиняется одной лишь случайности. Создавать вещество мы пока не умеем, зато не так давно научились блестяще уничтожать его.

В так называемой математике мы сумели дать определение неопределимого, основанное именно на его неопределимости, а это не так-то просто.

В области, называемой моралью, после долгих дискуссий мы пришли к выводу, что действия, связанные с продолжением рода, сами по себе не аморальны и не подлежат суровому осуждению. Из одного этого ты мог бы понять, что отвага наша не уступает нашей мудрости. Более того, развивая так называемую логику, мы вначале яростно утверждали, что добро—это добро, а позднее с тем же рвением принялись доказывать, что добро—это зло. И если где-нибудь, на земле или на небесах, существует какая-либо иная точка зрения,—будь спокоен, Амун-Ка-Зайлат, она

от нас не уйдет, мы рассмотрим и ее.

Но, вероятно, наиболее выдающихся успехов достигли мы в области, известной как метафизика. Здесь установлено, что понятия бога и сущего равно необоснованны. Позже, опираясь на этот постулат, мы принялись возводить всевозможные системы воззрений, включающие в себя эти понятия. Мне не хватило бы времени даже на краткое перечисление всех этих систем. Скажу лишь, что сперва мы утверждали, что все сущее создано богом, потом решили, что сущее возникло само по себе, затем — что эти два необъяснимых понятия на самом деле представляют собой неделимое целое, также, впрочем, необъяснимое. Чуть позже было решено, что существовать может либо одно, либо другое в отдельности, далее — что ни того, ни другого нет вовсе, и в итоге, сделав невероятное усилие, мы пришли к мнению, что бога создало сущее, на чем дело застопорилось. Согласись, мы обладаем подлинным даром творить поразительные сочетания из элементов, которые сами по себе остаются для нас загадкой!

И во многих иных областях доказывали мы свою одаренность. Есть, к примеру, нечто, называемое литературой... Но, к сожалению, времени больше нет. Я не успею описать тебе все науки, в которых мы достигли совершенства. Однако я слезно молю тебя — не препятствуй, чтобы судьба пошла по мирному пути, и перенеси свою битву на несколько столетий в будущее!

Рыдания душили меня — так я разволновался, перечисляя наши разнообразные заслуги. Но бадариец, слушая мои слова, не скрывал нетерпения.

— Это невозможно, сын мой, — сказал он мне, — ибо величайшая битва, которую ты заклинаешь не начинать, должна разразиться именно в твоем веке. Гордись — тебе выпало стать свидетелем сражения, не имеющего себе равных во всем бесконечном времени... Излишне было бы напоминать, что все мои войны прошли специальную подготовку. Каждый из них в совершенстве овладел непростым искусством мгновенно передвигаться во времени так, чтобы загодя узнавать замыслы своих врагов, а также и последствия их действий. Все это ты сможешь увидеть собственными глазами.

Пробил наш час, бадарийцы, — провозгласил он громовым голосом, обращаясь к своим воинам, — теперь вперед, сквозь время и пространство!

Громкие возгласы бойцов ответствовали ему. Но тут же раздался грозный рык перголийцев и злобный хохот неизвестно откуда взявшегося Джинг-Джонга. И мгновенно перед моими глазами, а также под взглядом бармена, невозмутимо продолжавшего складывать колонки цифр, закипела настоящая битва.

Это было устрашающее зрелище. Воздух прочерчивали нескончаемые ливни падающих звезд, в один миг превращавшихся в солдат, одетых в самое разнообразное платье. Я понял, что каждый из сражающихся, дабы обмануть противника, совершает мгновенные броски в прошлое и в будущее.

На моих глазах все бадарийцы внезапно куда-то сгинули, но тут же материализовались вновь, одетые в медвежьи шкуры и вооруженные каменными топорами. Они, вероятно, по ошибке залетели слишком далеко в прошлое. В ответ перголийцы растворились в сиянии разноцветных огней, а потом возникли в виде копьеносцев, построенных в каре. Я подумал, что передо мной македонская боевая фаланга. В свою очередь отряд бадарийцев преобразился в батальон мотострелков.

Мне пришлось наблюдать довольно занятные схватки. Благородный Амун-Ка-Зайлат сначала был одет в греческую тунику, потом — в латы средневекового рыцаря, восседавшего на боевом коне, также закованном в доспехи. Далее он превратился в американского солдата, а вслед за этим — в туго спеленутого младенца. Очевидно, по ошибке. Вскоре он исчез и возник снова в облики уродливого скелета. Своими костлявыми пальцами он схватил Джинг-Джонга, на голове которого к этому моменту красовалась меховая шапка. Перголиец сделал неуловимое движение и стал гигантской доисторической обезьяной, глаза которой, впрочем, горели все тем же хорошо знакомым мне огнем. В ответ на это Амун-Ка-Зайлат рассыпался в прах.

На пороге кабака валялись причудливые трупы, которые тут же вставали, осыпали друг друга разноязычными проклятиями, схватывались врукопашную, съеживались, раздувались, превращались в монстров, в зародышей, рассыпались в тлен. Перекрещивались лучи. Сплетались волны. Зал кабака тонул в реках крови, которые тут же высыхали и пропадали.

Потом я увидел... Но как описать то, что не поддается никакому описанию? С меня было довольно. Я схватил чу-

дом уцелевшую бутылку и единым духом осушил ее, чтобы разом избавить себя от всех этих кошмаров.

Бой мало-помалу стихал. Постепенно погасли лучи. Монстры испарились. Стало пусто и неуютно. Молчаливый бармен сметал в угол осколки стекла. Все воины куда-то подевались. Один лишь Амун-Ка-Зайлат сидел рядом и говорил:

— Налей мне чего-нибудь, друг мой, ибо сражение было нелегким. К тому же мысли мои путаются как никогда. Враги рассеялись во времени, но и наши солдаты тоже. Меня убивали, наверно, раз двенадцать, но зато, к великой моей радости, я успел сорок раз вышибить мозги Джинг-Джонгу, причем каждый раз в ином веке. Тем не менее отведать твоего славного винца, сдается мне, это не помешает.

— Но чем же все кончилось?—еле выговорил я.

— Ну,—сказал он уклончиво,—так сразу не объяснишь. Не знаю, с чего и начать.

Внезапно он показался мне постаревшим, усталым, спикшим. Даже внешний облик его изменился: лицо потеряло свою чеканность, осанка—прежнюю горделивость.

— Послушай,—медленно начал он.—Если не ошибаюсь, то истина заключается в следующем. Тебе известно, что Джинг-Джонг замыслил переселить в Бадари часть перголийцев. Так вот, нам удалось перехватить только их передовой отряд, в то время как подавляющее большинство перголийцев высадилось у нас в гораздо более отдаленном прошлом. Задолго до моего рождения Бадари уже попала под власть этих существ, о которых мне отныне неудобно плохо отзываться.

Наступило молчание. Нет, я не бредил: он действительно съеживался и старел на глазах. Лицо его избороздили морщины. Еще одно, последнее чудо? Или я все-таки сошел с ума? Где я видел эту сатанинскую ухмылку, эти глаза, горящие дьявольской хитростью, эти тонкие губы?.. Он продолжал:

— Так что план Джинг-Джонга осуществится, то есть уже осуществился. То, что произошло, мог бы, в сущности, предсказать заранее какой-нибудь мудрец, но я после всех этих приключений пребываю в такой растерянности, что мой мозг не в силах охватить всего разом.

Бадарийская раса растворилась. Ее вытеснила раса пер-

голийская. Преклони колени, парижанин, перед необъятной мудростью сущего! Перголийцы превратились в бадарийцев, но затем, с течением времени, бадарийцы в свою очередь стали перголийцами. Они одновременно и предки наши, и мы сами, и наши потомки; мы же — и пращуры их, и прапраправнуки одновременно. Все мы так переплелись, что стали одним и тем же. Они — это *мы*, говорю я тебе, а мы, живущие в Бадари, — это *они*.

Каждая из двух воюющих сторон, которых ты видел, отражает один из аспектов одной и той же действительности. Каждый воин сражался с *самим собой*, а я, Амун-Ка-Зайлат, и есть ученый перголиец Джинг-Джонг. Я порождаю сам себя в будущем и воскресаю в прошлом...

Превращение завершилось. Рядом со мной сидел, прихлебывая из бокала, Джинг-Джонг. Голова моя пошла кругом. Переживания расстроили мои нервы и затумили рассудок.

Я вышел из кабаре. Бледный рассвет занимался над старым Монпарнасом, где прошла моя тихая жизнь. Джинг-Джонг увязался за мной. Он беспрестанно хихикал, заранее зная, что произойдет. Присутствие его превратилось для меня в пытку. Любой ценой я должен был вырваться из этого кошмара.

Внизу, в сточной канавке я заметил матово-белый округлый предмет. Видно, один из воинов обронил здесь свою машину времени. Я подобрал ее и с интересом принялся разглядывать. Внимание мое привлекли две кнопки. Перголийский ученый с подозрительной готовностью объяснил мне их назначение: одна служила для начала движения во времени, а другая — для остановки.

— Машина установлена на прошлое, — ободряюще говорил перголиец. — Попробуй, не бойся. Ты улетишь совсем недалеко. Только нажми первую кнопку и тотчас другую: ты вернешься в прошлое, но всего на несколько часов. Это совсем просто.

И таково было обуревавшее меня желание вырваться из ада, что я не стал долго раздумывать. Мне и в голову не пришло, что за приторной услужливостью Джинг-Джонга кроется дьявольская хитрость. Я зажмурил глаза и лишь потом, нажав на кнопки, проклял все на свете.

Меня сильно потрянуло, подкатила тошнота, вокруг замелькали яркие светила. Потом — еще один толчок, и я вновь на Земле.

Через секунду я все понял. Окружающий мир помолодел на двенадцать часов. Я включился в существование накануне вечером, с теми же мыслями и настроениями, что и тогда, перед началом всех приключений. Мне предстояло заново переживать эту кошмарную ночь, причем во всех подробностях, а стало быть, на исходе ночи *мне вновь придется подобрать машину времени и нажать на кнопку.* И снова я вернусь назад, и опять потащусь через эту ночь... И так вновь и вновь, до бесконечности. Еле заметное движение моего пальца навсегда затянуло меня в замкнутый цикл течения времени...*

Я открыл глаза и осмотрелся.

Я сидел на террасе кафе «Куполь», глядя на прохожих и потягивая прохладное пиво,—удовольствие, которому я всегда предаюсь в жаркое время года. На столе по обыкновению лежала развернутая газета, и, устав смотреть на прохожих, я опускал в нее глаза и пробегал строчку-другую.

Мне казалось, что в целом жизнь вполне сносна.

Именно в эту секунду в мое мирное существование вторгся бадариец...

* Один остроумный человек заметил мне, что коль скоро события развиваются для меня каждый раз одним и тем же образом, то в каждый данный момент своего повествования я должен знать, что произойдет в следующий. Да, так оно и есть. Мне известно каждое мгновение цикла, который я обречен переживать вновь и вновь, переходя из бесконечности прошлого в бесконечность будущего. Однако о своей осведомленности мне приходится помалкивать, иначе пропадет интерес повествования. Да и потом, надо же с чего-то начать?—О.В.

Впервые я услышал голоса Пространства на борту искусственного спутника, что кружит между орбитами Земли и Луны. На спутнике я оказался потому, что жить на Земле стало невыносимо и захотелось бежать от однообразия и от чумы сумасшествия, которое подстерегало меня там, на нашей планете. Думаю, вы помните, каковы они были, Годы безумия. Сумасбродство и нетерпимость каждый день грозили войной, и переполненные лечебницы уже не вмещали помешанных.

Но для тех, в ком отвращение не погасило искру жизни, еще оставалось Пространство. Вот где люди еще пытались чего-то достичь. Там, вдали от бессмысленной суеты и угара больших городов, без помех отдавалась раздумьям и работе горсточка людей. Там мы точно знали, каких одолевать противников — пустоту, страх, невесомость — и к каким целям стремиться — к Марсу, Венере, Юпитеру, Сатурну, к астероидам, а быть может, и к Меркурию, и к Урану; мы даже мечтали проложить дорогу детям и внукам. Пусть они достигнут звезд.

Наша жизнь была вовсе не так однообразна, как могут подумать. По крайней мере нам она казалась куда увлекательней, чем та, какую мы могли бы вести на Земле. И несмотря на неизбежную строжайшую дисциплину, которой подчинялось все наше существование, мы чувствовали себя свободными как никогда. Впереди у нас были века научных исследований, наконец-то мы видели звезды, не затянутые пологом земной атмосферы, заново совершали

Печатается по изд.: Клейн Ж. Голоса Пространства. — В сб.: Трудная задача. : Пер. с франц. — М.: Мир, 1982. — Пер. изд.: Klein G. Les voix de l'espace. — В сб.: Les perles du temps: Denoël, Paris, 1958.

© перевод на русский язык, «Мир», 1982

открытия в пространстве, не знающем тяготения, изучали состояние людей, внезапно поставленных лицом к лицу с миром чуждым и неведомым. Каждый мог заниматься тем, что ему по душе,—и так, не торопясь, в свое удовольствие, мы следовали многообразными путями познания. И вот во время одного из таких опытов я впервые услышал голос Пространства.

Специалистом по электронике у нас был Грандэн; он изучал эффект сверхпроводимости, который обнаруживается, когда температура падает почти до абсолютного нуля. Это же явление позволило ему сконструировать сверхточные аппараты и с их помощью тщательно исследовать любую гамму волн, от самых коротких, которые когда-то называли космическим излучением, минуя те, которые наш глаз воспринимает как свет, и до самых длинных. Его чуткие приборы ловили колебания, посланные далекими солнцами тысячи лет назад. На экранах его осциллографов плясали сумасшедшую сарабанду огненные точки, и это значило, что за полтораста тысяч лет перед тем какая-то звезда на другом краю галактики вспыхнула и обернулась сверхновой, прежде чем погаснуть навеки.

Грандэн был худой, сухопарый, странная желтоватая кожа словно бы в трещинах, как будто среди его ближайших предков затесалась какая-нибудь огромная ящерица. Был он на редкость молчалив, казалось даже, ему трудно связать самые простые слова, так сильна привычка изъясняться математическими формулами. Но в отвлеченном мире электронов ум его обретал необычайную проницательность. Грандэн плохо понимал людей, потому-то и летел, как и мы, по космической орбите, зато никто так не умел подметить признаки недуга, постигающего любую машину. Однако в отличие от многих своих коллег он не приписывал инструментам сложных человеческих чувств. Нет, напротив, он людей готов был считать чересчур сложными, хрупкими машинами, которые слишком часто ошибаются.

Мы работали в самой сердцевине нашей космической станции, под куполом, где нет силы тяжести, под звездами, которые оттуда казались неподвижными,—из боковых иллюминаторов они представлялись светящимися кольцами, потому что спутник вращался вокруг собственной оси.

Мы изучали Пространство — Грандэн при помощи тон-

чайших антенн, а я простым глазом и почти без цели: под этими чистейшими небесами я только размышлял и философствовал.

Вдруг Грандэн страшно побледнел, затряс головой, будто невидимая оса назойливо жужжала у самого уха. Обернулся и посмотрел на меня.

— Этого не может быть,— сказал он.

— Чего именно?

Он молча смотрел на меня в упор, лицо его искажала медленная судорога. Мне вспомнилось — много лет назад такое я видел у человека, который больше всего на свете любил музыку; в доме его полно было пластинок, казалось, музыка льется отовсюду, и если мерный напев трубы на миг прерывался скрипом, в чертах того человека я видел такое же невыразимое страдание.

— Не понимаю,— сказал Грандэн.— Слышны шумы.

— Помехи?

— Нет. Все помехи мне знакомы.

Это верно. Ухо его различало любое жужжанье, скрип, сухой треск крохотных взрывов, раздающихся в Пространстве; он узнавал любое из незримых насекомых, чьи челюсти неустанно грызут тишину, и далекие шорохи, и виолончельное пение звезд. Любой звук он мог назвать по имени. Мог ослабить их, почти свести на нет. Мог раздавить их или отогнать, как избавляешься от пчелы или неразличимого во тьме летней ночи ноющего комара.

— Какое-нибудь далекое излучение,— сказал я.— Радиомаяк указывает путь кораблям. Или это вспышка на Солнце. Или волна отразилась от Луны.

— Ничего похожего,— возразил Грандэн.— Это совсем другое.

Мне пригрезилось Пространство, населенное волнами,—они пронизывают планеты, пересекают небеса, разыгрываются бурями, проникают сквозь стены и закрытые двери. Это трудно себе представить. Надо закрыть глаза и вообразить тьму и тишину, необъятную, пустынную, и, однако, там полным-полно жизни, там все насыщено и переплетено, вспыхивают внезапные молнии и, точно в море, округло колышутся волны. Это тоже вселенная, как и Вселенная планет, звезд и галактик. Но для нас она еще недостижимей, и, однако, она неотделима от планет, от галактик и от звезд, из которых они состоят, так же, как наш

скелет, которого мы никогда не увидим, неотделим от нашего тела.

— Не знаю,—жалобно сказал Грандэн.— Слушай.

Он передал мне наушники, я взял их и в первое мгновение ничего не услышал, только уловил какую-то безмолвную глубину, словно бы эхо молчания, отраженное стенами бездонного колодца. А потом незаметно это пришло, и все нарастало, и меня начало трясти.

То были тяжкие мерные колебания, которые дрожью отдавались у меня в черепе, звуки невыразимо мрачные, протяжные, грозные, и на миг мне почудилось, будто всю Вселенную накрыл исполинский колокол и его-то песнь я услышал. Словно осенний ветер вздыхал в ветвях деревьев, свистал в тонких органных трубах высохших трав, медлил и гудел на липких лужах, завывал в дымоходах, трещал в огне зимних очагов, тихонько шептал что-то в обрамляющих окна сосульках.

Звук появлялся и исчезал, нарастал и вновь слабел, медлительный, заунывный, ничуть не похожий на однообразное шуршание радиопомех.

— Это голоса,—сказал я.

Грандэн поглядел на меня и слегка пожал плечами, но даже не улыбнулся. Морщины у него на лбу немного разгладились.

— Не знаю,—повторил он. Возможно, почему бы и нет. Но что это за голоса?

— Не все ли равно,—сказал я.— Голоса Пространства. Голоса плавящегося металла. Голоса комет, метеоров, астероидов, пылающих гор Меркурия или колец Сатурна. Свет, жар, энергия, преобразенные в звук.

Грандэн покачал головой.

— Нет,—сказал он.— Все, о чем ты говоришь, я слышал, а это совсем другое. Никогда, даже в день страшного суда, бывалый моряк не спутает сирену, которой сигналият в тумане, со штормовой. Так и тут. Как не спутаешь дыхание с человеческим голосом. Слышишь, как входит в легкие и опять выходит воздух,—или слышишь слова, их произносят губы. Это не спутаешь. Радиопомехи — дыхание Вселенной. А здесь не то. Это... может быть, ты прав... это голос.

Он взял у меня наушники, и по его лицу так ясно было, что он слышит, я и сам улавливал эти глухие плавные коле-

бания и понял — вот они слабеют, сходят на нет, потому что Грандэн весь — внимание, словно бы погружается в себя, даже закрыл глаза, пытаясь следовать за таинственным голосом в глубины, где тот под конец исчез.

— Кончилось? — спросил я.

Он посмотрел удивленно.

— Да.

— Это был голос, — торопливо заговорил я, голова кружилась. — Это был голос... может быть, он дошел с Марса, или с Венеры, или с другой какой-то планеты. Мы не одиноки во Вселенной.

— Нет, — печально сказал Грандэн. — Ниоткуда он не шел, ни из какого другого мира. И во Вселенной мы одиноки. Право, не понимаю, как ты еще можешь в этом сомневаться; мы одни со своими машинами. Через десяток лет мы высадимся на Марсе и воочию убедимся, что Марс просто пустыня, мы же всегда это знали наверняка, наперекор всему, о чем мечтали.

Он обернулся ко мне, через силу улыбнулся.

— Видишь ли, — продолжал он, — почти сто лет назад, когда только что появилось радио, люди уловили сигналы, исходящие с Марса. И возликовали. Весть об этом разнеслась по всей Земле. Времена одиночества миновали. Отныне конец войнам, розни народов, нищете. На Марсе живут наши братья. А потом другие люди развернули антенны, сделали измерения и расчеты. И обнаружили, что пойманные прежде сигналы были всего лишь эхом, поверхность Марса отразила волны, идущие от Солнца. Марс остался пустыней. И осталась рознь между народами, войны, нищета. И с тех пор временами наши приемники ловят сигналы из космоса, но это всегда только шутки, которые шутит с нами Вселенная.

— Но, может быть, когда-нибудь... — неуверенно сказал я.

— Ты всего лишь философ, — вздохнул он. — Или, еще того хуже, поэт.

Прошли годы. Я забыл те голоса. Мы достигли Марса — и Марс оказался всего лишь пустыней. Тяжесть безмерного разочарования придавила Землю.

Я не был среди тех, кто первыми ступили на Марс. Но не все ли равно, ведь когда их серебряная ракета, пронизав тощий слой облаков, снижалась над ледяными марсиан-

скими пустынями, я тоже вглядывался в просторы этой планеты, и кто-то во мне, кто-то древний, неведомый, ждал — вот сейчас что-то вспыхнет, взору явится сверкающий город в зареве тысячи огней, в отраженном свете крохотного солнца.

Но ничего я не увидел.

И никто ничего не увидел. Марс был пустыней.

Мы предвидели это, мы это знали, заранее рассчитали, доказали и проанализировали, и все же оказалось — почти никто ни среди команды корабля, ни на Земле в это не верил. Оказалось, даже тот, кто все это вычислил и проверил расчеты, надеялся, что допустил ошибку. Оказалось, миллионы прислушивались к небу в надежде уловить малейший необычный звук, чужой голос.

Вспоминаю радиogramмы, которыми обменялись первая марсианская экспедиция и Земля. Переговоры были кратки и оттого драматичны.

— Ничего, — передали с Марса.

Молчание. Земля медлит, взвешивает каждое слово.

— Проверьте еще, — говорит она наконец. — У вас еще не может быть уверенности. Вы еще не успели осмотреть всю планету, квадратный метр за метром.

— Нет совсем ничего, — отвечал Марс. — Мы уверены. Здесь никогда не было жизни.

— Проверьте под почвой, — настаивала Земля. — В глубине океанов. Под песками, подо льдом.

— Ничего, — отрезал Марс.

И Земля умолкла. И нам, на Марсе, стало горько, потому что правы оказались мы. А на Земле еще шире распространилось безумие и отчаяние. Мнимые пророки богатели, предсказывая, что мы обречены навеки оставаться в одиночестве. И вот что написал я для одной газеты:

«Марс — пустыня. Огромная красная пустыня, которую золотит неяркое солнце, а по ночам — робкие лучи двух лун. Стылое море иссохло в пыль, лишь порою старый усталый ветер, свистя в трещинах скал, подобных полуразрушенным колоннам, поднимает на нем серую пену песка, или медлят на нем холодные мерцающие туманы марсианского утра. Ветер стар и утомлен, он только свистит, никогда ему не

петь в обнаженных ветвях деревьев. На Марсе нет деревьев. И лишь порой ночами отсветы и трепетные тени бесцельно бродят по белым тропам прожекторов; они похожи на странные мертвые деревья, наклеенные на черные экраны, и еще они напоминают мертвенно-бледные и зеленые деревья Земли, те, что шумят и бушуют в бурю или мирно простирают ветви в часы затишья, сонные деревья — память о Земле.

Но тени эти — лишь грезы, призрачные воспоминания древних равнин Марса».

Итак, мы завоевали Марс и два его спутника. Мы работали как одержимые. Предстояли уже не века, а тысячелетия исследований; и уже не только для внуков, но для себя мы жаждали звезд, которые так ясно и холодно сияли в небе Марса.

Однажды вечером мы слушали оркестр с Земли — музыка звучала так, словно играл он здесь, в нашем воздушном пузыре. А потом между этим нашим жилищем и Землей прошла одна из марсианских лун, и несколько секунд мы только и слышали завывание и треск помех. И ждали, не смея вздохнуть, — так среди ночи, замирая, слушаешь, как кровь стучит в висках.

— Оркестры играют только на Земле, — промолвил Ласаль.

— Что ты хочешь этим сказать? — резко спросил Ферье.

— Сколько месяцев, сколько лет мы обшариваем небо, и ни разу не поймали никаких передач, кроме как с Земли.

— А ты чего ждал? — спросил Ферье.

— Не знаю, — сказал Ласаль. — Крика, зова, голоса. Необъяснимой дрожи эфира.

Мы смотрели на этих двоих, уронив руки на колени, лица у всех осунувшиеся, усталые.

— Ты просто мечтатель, — сказал Ферье.

Я присмотрелся к нему: отрешенный взгляд запавших глаз, застывшие черты сурового лица в желтом свете кажутся особенно резкими... да, конечно, он и сам мечтатель! И я понял — как все мы, он мечтает не о Земле, он равнодушен к тому, что оставил позади, к текущему счету, который растет не по дням, а по часам, потому что он, Ферье, как все мы, занят самой опасной работой, до какой

додумалось человечество, и не извлекает из этого ни малейшей выгоды; равнодушен и к долгому отдыху, которым сможет насладиться лет через десять, когда его наконец вымотают космос и синтетический воздух, каким мы дышим на Марсе; я понял—он думает о том, что хотел бы открыть и чего мы не нашли на Марсе, но, быть может, откроем на Сатурне или на Юпитере,—о братьях.

Тогда поднялся Юсс. Молодой, белокожий и светловолосый и глаза светлые,—почему-то казалось, что ему трудно не отвести их, если встретишься с ним взглядом. И голос тоже у него был ясный, но неуверенный и звучал еще нерешительней оттого, что с нами Юсс разговаривал не на родном своем языке.

— Вчера я шарил на всех диапазонах и услышал такое, что шло не с Земли,—сказал он.—Ничего подобного я никогда еще не слышал. Это было похоже... как бы сказать... похоже на жалобу. А потом утихло. Я слушал, и мне стало страшно.

Он поднял глаза и тревожно оглядел нас, сидящих полукругом, но никто не засмеялся. Кто-то зашаркал подошвами, кто-то покашлял, но не засмеялся никто. И не встретив того, чего опасался—насмешки,—Юсс продолжал:

— Может быть, сегодня вечером попробовать еще раз? Может быть, я опять это услышу.

Белые, длинные, совсем девичьи пальцы его пробежали по клавишам настройки. Снаружи, в разреженном холодном воздухе Марса, беззвучно повернулись антенны.

В картонных раковинах громкоговорителей хрипло вздохнул ветер. Но летел он не над какой-то планетой, не над океанами Земли и не над полюсами Марса, он летел среди миров и не приносил с собой ни отзвука, ни зова, только свое же звездное эхо.

Мы ждали, недвижимые, охваченные смутной печалью, печальной тревогой оттого, что сейчас увидим, как горько обманется Юсс в своих надеждах.

Но о оно пришло, и в первую минуту я не понял, что же это напоминает. Я мог бы поклясться, что никогда еще не слышал ничего похожего. То был звук бесконечно низкий, глубокий, и не просто звук, но песнь, протяжный вопль, голос, полный невыразимого страдания, голос некоего духа, влачащегося в недрах пустоты, голос иного времени, иного мира.

Из громкоговорителя слышался шорох, будто моросил

дождь. Радиопомехи. А голос... такой рев издавали, должно быть, плезиозавры, что обитали в теплых морях вторичного периода.

А потом я подумал о Грандэне, мне представилось его озабоченное лицо, вспомнилось, что услышал я тогда в глубине наушников, прижатых к ушам, точно морские раковины.

Но здесь, на Марсе, вдалеке от нашего Солнца, голос звучал гораздо более мощно, чем тогда на околоземной орбите.

Я порывисто зажал уши, как зажмуриваешься, когда спит, я пытался больше не слышать этого далекого зова, искаженного, страдальческого, всепроникающего и зыбкого, этих хриплых воплей, завывания расплавленной материи, зловещего свиста.

Я пытался не искать в этом смысла, проблеска надежды, ибо знал: надеяться бессмысленно, ведь я на Марсе, в пустыне, и знаю, что во Вселенной мы одни. Я пытался... но тщетно.

А голос менялся. В нем было все меньше глубины, все больше металла, словно звучали какие-то небесные трубы. Слабее, слабее, и вот все пропало.

— Помехи,—сквозь зубы сказал Ферье.

Настала тишина, и тогда Ласаль коротко щелкнул переключателем, и к нам хлынула музыка Земли. Долгие минуты мы молчали, а на Земле трубач все разматывал нескончаемую, спутанную певучую нить.

Наконец я обернулся к Ферье.

— Нет, не думаю,—сказал я.—Помехи так не исчезают. Не думаю, чтобы это объяснялось так просто.

— Чего не знаю, того не знаю.

И Ферье возвел глаза к потолку в знак, что ему надоели разговоры на эту тему, а я подумал—просто он не желает признать, что ошибся, и не позволяет себе надеяться.

— Чего вы надулись?—сказал Ласаль.—Вам эта музыка не по вкусу? Пожалуйста, можно послушать «Ла Скала», или парижскую оперу, или московскую, или Альберт-Холл, или Сторивилл. Стоит только переменить волну.

Волну переменяли, и вот все голоса, все оркестры Земли к нашим услугам. Но мы-то ждали и надеялись услышать неведомый голос, иные созвучия, вот о чем думали мы, глядя на экраны, на пустынные равнины Марса.

— Это мне напоминает один случай,—сказал Вьет.

Как ни странно, до сих пор он молчал, а ведь обычно, что бы ни случилось, у него всегда была в запасе какая-нибудь удивительная история, которая оказывалась кстати. Не человек, а ходячая летопись. Очень редко мы узнавали, что думал он сам о каком-либо своем приключении, но что и как приключилось — об этом он умел поведать во всех подробностях.

— Это мне напоминает один спиритический сеанс. Помнится, нас там было пятеро, мы сидели в полутьме за круглым столом, кончиками пальцев касались полированной столешницы и, сами не очень в это веря, надеялись — вдруг что-то произойдет. Ждать было нечего — я думаю, все мы это понимали, кроме, может быть, женщины, в чьем доме мы собрались, — она-то верила непоколебимо. Однако мы тоже смутно надеялись.

— И действительно что-то произошло? — резко спросил Ферье.

— Право, не знаю. Теперь я почти уверен, что ничего не было, а тогда совсем не был уверен. В человеке живут всевозможные звуки — шумит кровь, текущая по артериям, колеблются барабанные перепонки, дышат легкие, да еще сколько призраков, воспоминаний о звуках, которые некогда погребены были в саркофагах памяти, но только и ждут, как бы вырваться на волю. Да, не очень-то можно верить своим ушам. А может быть, тут что-то другое. А может быть, это одно и то же. Вот ты что-то услышал — и заморожен, и трепещешь, а потом все прошло — и начинаешь сомневаться.

— Не вижу связи, — сказал Ферье.

— А я вижу, — отрезал Вьет. — Все мы тут сидим вокруг огромного стола — пустынного Марса, — нетерпеливо барабаним по нему пальцами, и подстерегаем, и ждем, и надеемся, и стараемся пробудить голоса Вселенной. Время идет, а мы всё ждем напрасно. А потом, когда свет меркнет, и стол вздрагивает, и где-то в пространстве возникает звук, мы начинаем спрашивать себя, не обманул ли нас слух, начинаем сомневаться.

— Мы не гадалки и не астрологи! — загремел Ферье. — Не предсказываем будущее по картам и по звездам. И не вызываем духов умерших.

— Пока еще нет. Пока. Но у нас есть кое-что общее и с гадалками и с астрологами, — заметил Вьет. — Мы ждем зова. Ищем контакта. И очень надеемся дожидаться и най-

ти. Через пять лет мы дойдем до Юпитера. А через столетие, возможно, достигнем звезд. И нравится тебе это или нет, Ферье, мы стремимся туда все по той же старой-престарой причине: нам ненавистно одиночество.

На то, чтобы достичь Юпитера, мы потратили шесть лет. А Юпитер оказался всего лишь громадным океаном, совершенно безжизненным: жидкий зеленый шар, исполинское око в орбите Пространства, отражающее холодные лучи далекого солнца; Юпитер — скопище бесстрастных бурь и гигантских волн. Мы этого и ждали — и все-таки это было горьким разочарованием. Ведь долгие недели мы мчались в пустоте, пленники своих ракет, затая тоску по Земле, и во взглядах угадывались печаль и призраки земных зеленых равнин, в ушах отдавалось эхо родных звуков — говор толпы, волчий вой, все голоса жизни.

И долгий путь, и тоска — все оказалось напрасно.

Мне вспоминается — когда я был маленький, родители однажды привели меня на мыс, которым заканчивался материк, где я родился. Равнодушные волны разбивались о черные скалы. А за этим мысом и несколькими островками не видно было уже ничего, совсем ничего, только море. Но важно было не то, что увидел я лишь пустынный оком, важно то, что я знал. А я знал — она необъятна, эта водная гладь без единого зернышка суши, эта зеленая жидкая соль, — и, однако, за непостижимой далью, по другую ее сторону, живут люди. Я знал, потому что мне об этом сказали. Знал, потому что в это верил. Ничего такого не было написано в небесах, и даже мой детский глаз не различал воображаемых очертаний далеких материков. Но я знал и то, что стою на краю земли — и что в дальней дали вновь начинается земля, и так они с морем чередуются бесконечно.

В тот день я понял, как далеко отстоит то, что знаешь, от того, что есть на самом деле. Кроме всего, что можно увидеть и потрогать, существует еще и другое — и, хоть его не коснешься, оно придает новый смысл всему, что тебя окружает. Главное — всегда можно закрыть глаза и перенестись через непостижимую ширь соленых вод, главное — само это препятствие чудесно, ибо чудесно то, что воображается мне по другую сторону моря.

И космос тоже чудо, думал я, пролетая вокруг Юпитера, я и сейчас на мысу, на краю пространства и, сощурился,

пытаюсь разглядеть звездные берега или, может быть, громадные корабли, еще скрытые за его изгибом.

Сатурн сейчас по ту сторону Солнца, и до противостояния еще годы; Уран движется далеко, совсем в другой части эклиптики, а Нептун и Плутон — всего лишь крохотные островки, вехи на пути.

Я на краю света.

Вдали от голосов Земли, от грозного рокота и шороха астероидов. И как никогда близко к голосам космоса.

Мы научились их узнавать, пока кружили вокруг Юпитера, наблюдая неизменную поверхность этой жидкой планеты. Научились различать, как они чередуются, нарастают и вновь слабеют, переходят от глубоких, низких к высоким и пронзительным и удаляются, словно вопль исполинской сирены, тревожно взывающей в ночи.

Я счастлив был, что достиг Юпитера. На Земле по-прежнему было неладно. Люди устали и отчаялись безмерно. Раза два мы даже опасались, что нам прикажут прервать все изыскания и возвратиться на Землю.

Тогда нам пришлось бы повиноваться.

Мы прислушивались к голосам.

И прилетали еще люди, чтобы их услышать.

— Что вы об этом скажете?

— Страшновато, правда?

— Будь я человек суеверный, я бы подумал, что это голоса мертвецов или вампиров.

— Насмотрелись плохих фильмов.

И я спрашивал себя, что станется с голосами Земли, со звучанием земных оркестров, когда несущие их волны через тысячи лет достигнут туманности Андромеды, и найдется ли там ухо, способное их услышать? Я спрашивал себя, во что обратятся Девятая симфония и труба Армстронга, квартет Бартока и электронная музыка Монка после того, как долгие годы их будет носить в Пространстве по прихоти космических течений, и качать на светозарных волнах звезд, и затягивать в тихие темные омуты космоса?

Сигнальный трезвон. Треск громкоговорителя.

— Ради всего святого, оставайтесь на своих местах. Опасности никакой нет.

— Нас изрядно потрянуло, правда?

— Да вы хоть на экраны поглядите. Таковую громадину

можно бы увидеть и простым глазом.

Я вскочил, торопливо оделся. Тревога миновала. Невидимый, но массивный метеор чуть задел нас, и мы отклонились от прежней орбиты. Задел. Быть может, он пролетел в миллионе километров от нас. Быть может, в десяти миллионах. Никто ничего не увидел. Даже наши инструменты, даже зоркие, настороженные глаза инструментов не увидели его, даже их чуткие подвижные уши ничего не уловили.

— А ну, послушайте! — крикнул кто-то.

И в наш корабль хлынул голос космоса, потек по переходам, просочился во все скважины и каналы, проскользнул под дверьми, и все затрепетало, заполнилось грозным гулом.

— Никогда еще не слыхивали подобной мощи.

Они измеряли, взвешивали, подсчитывали, а у меня в ушах по-прежнему звучал и звучал этот голос, и вспомнилось: на Земле, на самом острове мыса, который так и назывался — край света, я видел однажды, как ширится в море, расплывается по волнам пятно нефти.

Вот и здесь то же самое, думал я: голос этот ширится, расплывается в океане Времени, отделяющем нас от звезд, как расплывалась тогда нефть перед множеством смеющихся глаз, на исходе лета, в мягком свете неяркого солнца — смутным переливчатым пятном.

Я сказал им это. Сказал и о том, что слышал когда-то с Грандэном и что слушал с Юссом на Марсе. Сказал, что это не вывод физика, но догадка поэта, ведь я всего лишь психолог и почти ничего не смыслю в математике, в волнах и помехах, зато верю в самое простое: в море и пространство, в скалы и время, в острова и материки и в людей — все это опять и опять повторяется и там, за горизонтом.

Меня слушали, и никто не улыбнулся.

Я сказал спутникам, что в своих поисках они потерпели неудачу, потому что искали не так, как надо. Чем без конца жадно, с завистью вглядываться в пучины Пространства, которые еще долго останутся недостижимы, лучше просто бродить по песчаным берегам и шарить в расселинах скал с надеждой отыскать обломок кораблекрушения, выброшенную волнами доску со следами резьбы, масляное пятно на воде, и в глубине души твердо верить, что где-то там,

за краем света, есть другие люди, другие живые существа.

Я сказал, что рябь от камешка, брошенного с западного берега, неминуемо дойдет до берега восточного, что корабль, разрезая носом волну, отбрасывает ее, и от этого неуловимо меняются все волны, и ни кильватерная струя, ни пена за кормой не исчезают совсем уж бесследно.

Думается, мне поверили. Я уже очень немолод, но говорил как малый ребенок, вспоминал далекий летний день моего детства, и Юсса, и Грандэна, и всех, кто там, на Земле, поднимает глаза к небу и ждет вести.

— А почему бы и нет? — сказал кто-то.

— Может быть, это был никакой не метеор, а чужой корабль, — сказал другой.

Остальные только присвистнули.

— Не верю я в это, — сказал еще один, — но, пожалуй, самое разумное — проверить.

У всех заблестели глаза.

— Корабль с такой массой?

Способный изменить орбиту небесного тела?

Да, если его скорость близка к световой!

Вспоминаю день, когда я впервые ступил на палубу корабля. Был я не такой уж маленький, во всяком случае, современные дети знакомятся с морем раньше. И сразу ощутил, что со мной творится нечто новое, непонятное. Казалось, весь мир изменился, он не то чтобы ненадежен, но неустойчив, качается как маятник, я то тяжелею, то вдруг становлюсь легким точно перышко, и надо заново учиться сохранять в нем равновесие. Я качался из стороны в сторону, но мир у меня под ногами раскачивался и того быстрее. А потом, перегнувшись через борт, я увидел, как пароход зарылся носом в волну и тотчас задрал его на гребне нового вала, и меня осенило: так и надо, хоть мне это и непонятно. Таков новый мир, и в этом мире, в не знающем равновесия мире постоянного движения и силы надо освоиться. Устойчивости больше нет.

Так и теперь я знал: то же самое происходит, когда со скоростью света бросаешься в океан пустоты. Я знал, пространство и время сжимаются, масса возрастает. И знал — во всем, что нам знакомо, нет ни определенности, ни

устойчивости, и ветер меняет звук голосов.

Ветер Пространства, ветер полета, ветер света.

Они завершили расчеты, прогнозы и эксперименты и пришли сказать мне о том, что открылось. А я улыбнулся, ведь я уже знал все наперед, знал прежде, чем кто-нибудь выговорил хоть слово. Я все прочел по их глазам. То был не один корабль, а множество, и никому неведомо, как давно бороздят они Пространство.

А скорость их почти равна скорости света, и потому пространство для них сжимается, и каждый из них — как острей иглы, нет, еще гораздо меньше. А время их растеклось по окружающей пустоте. Они сеют время, оставляют его позади на всем своем пути. Минута их времени равна часу нашего. А быть может, больше... Не знаю. У меня никогда не было способностей к подобным расчетам.

И где ни проносились эти корабли в космосе, везде они говорили, звали. Но каждое их слово растягивалось на нашу неделю.

И когда нас тряхнуло на орбите в нашей коробке из стекла и металла, это они приветствовали нас, — так большие корабли, входя в гавань, подбрасывают на кильватерной струе многочисленные лодки, что высыпали им навстречу.

Да, они пока не ведают, кто мы и что мы такое, но еще год — и мы подберем ключ к их языку, и нам станет внятен их голос, мы уже не одиноки, теперь мы знаем, что больше не одиноки.

Я знаю, за морями, за всем, что я могу увидеть или хотя бы вообразить, в дали, не доступной ни глазу, ни ветру, есть еще материи.

И еще люди.

Я знаю, нет такого мыса, который был бы концом света.

Два телефона звонили одновременно. Жером Боск* колебался. Такие неприятные совпадения случались довольно часто. Но никогда еще так рано, в пять минут десятого, когда только-только пришел в контору и, еще ничего не делая, тупо глядишь на серую скучную стену напротив стола с абстрактными пятнами рисунка, настолько бледными и бесформенными, что они совершенно не дают пищи воображению.

Другое дело — в половине двенадцатого; в этот час работа уже кипит и все стараются поскорее закончить разные дела, чтобы выкроить лишнюю минуту для полуденного завтрака; в этот час линии перегружены, телефоны трезвонят повсюду и телефонные автоматические станции даже в глубине своих прохладных подземелий, должно быть, вибрируют, дымятся и плавятся от напряжения. Но не в такую рань!

Из этого положения было несколько выходов. Он мог ответить одному, и пусть другой ждет, пока не надоест, или перезвонит через пять минут. Он мог снять одну трубку, спросить, кто говорит, извиниться, снять вторую трубку, спросить, попросить подождать, выбрать того, кто важнее, или того, у кого имя длиннее, во всяком случае выслушать первой женщину, если одна из них будет женщиной, а уж потом мужчину. Женщины в делах менее многословны. Наконец, можно снять две трубки одновременно.

Печатается по изд.: Клейн Ж. Развилка во времени. — В сб.: Пески веков. — Пер. с франц. — М., Мир, 1970. — Пер. изд.: Klein G. Ligne de partage: Fiction, n° 183, mars 1969.

© перевод на русский язык с исправлениями, «Мир», 1986

* Жером Боск — французская транскрипция имени знаменитого голландского художника Йе-они-ма Босха (ум. в 1516 г.). — Прим. перев.

Жером Боск выбрал последнее. Трезвон сразу прекратился. Он взглянул на свою правую руку с зажатой в ней почти невесомой маленькой трубкой, черной и холодной. Затем на левую руку с точно такой же маленькой трубкой. И ему захотелось треснуть их друг о друга или, еще лучше, положить их рядышком на стол валетом — чтобы наушники были напротив микрофонов. И пусть оба абонента побеседуют, авось что-нибудь из этого и выйдет.

«Но для меня-то в любом случае ничего не выйдет. Я только посредник. Для этого я и сижу здесь. Чтобы слушать и говорить. Я только фильтр между наушником и микрофоном, записная книжка между двумя письмами».

Он поднес обе трубки к ушам.

Два голоса:

— Жером, тебе уже звони- — Я первый, не правда ли?
ли? Отвечайте!.. Скажите!

Голос отчетливый, уверенный. Голос взволнованный, на грани отчаяния. Оба удивительно похожие, они перекликались, как эхо.

— Алло,—сказал Жером Боск.—С кем имею честь?

Вопрос сдержанно-вежливый, безличный, пожалуй, несколько нелепый, но какого черта люди не называют себя по телефону?

— Объяснять слишком долго... Нас могут прервать... до тебя невозможно дозвониться. Слушай внимательно, это единственный шанс в твоей жизни. Говори «да» и отправляйся! (Щелчок, треск, шорох гравия по железной крыше) ...без всяких колебаний!

— Нет... нет... не надо...
любой предлог... я...
нет... ни в коем
.
.
.
.
.
.
.
.
.

— Кто вы?—крикнул Жером Боск сразу в обе трубки.
Молчание.

Шум помех с обеих сторон. Справа — скрежет сминаемого металла. Слева — рычание мотора. Справа — треск яичной скорлупы под ногой. Слева — визг напильника по стальной рессоре.

— Алло! Алло! — тщетно надрывался Жером Боск.

Клик-клик. Гудок. Тишина. Гудок. Тишина.

Справа и слева. Двойной сигнал, что линии заняты.

Он повесил трубку левого телефона. Другую трубку он несколько секунд продолжал держать в правой руке, прижимая к уху и прислушиваясь к печальной механической музыке из двух нот — звука и тишины, звука и тишины, — словно тревожная сирена надрывалась в глубине раковины из черной пластмассы.

Затем он положил на рычаг и правую трубку. Через открытое окно он видел блеклое небо с летящими городскими птицами в пятнах копоти или просто черными, перекаленную временем кирпичную стену, закрывавшую больше половины горизонта, а внутри комнаты, у самого окна, календарь с картинками, бесплатный дар фирмы электронных калькуляторов. Сейчас над таблицей с днями месяца сверкала сочная репродукция весьма странной картины «В гостях у носорога». Носорог с недовольным видом стоял спиной к зрителям, очевидно, чтобы потрафить знатокам искусства. По другую сторону довольно низкой решетки дама в длинном платье и полумаске, арлекин и две девочки в бантах забавлялись, разглядывая чудовище.

А голос-то был один и тот же. Но как один человек может говорить сразу по двум телефонам, по двум разным линиям, произнося при этом одновременно совершенно различные слова?

И мне этот голос знаком. Я его уже где-то слышал.

Он начал припоминать голоса друзей, голоса клиентов, голоса людей, с которыми он просто иногда сталкивался, хотя они не были его друзьями и сам он ничего не пытался им продать, голоса чиновников, врачей, лавочников, телефонисток, всевозможные голоса, какие слышишь по телефону, не имея ни малейшего представления о том, как выглядит собеседник, голоса жирные, голоса надменные или сухие, голоса насмешливые, веселые, язвительные, голоса металлические, хриплые, суровые, натянутые, изысканные, голоса манерные и простецкие, пропитые, мрачные и медоточивые, чуть ли не благоуханные, оскорбленные, обиженные, гневные, заносчивые, горькие и сардонические.

Для него было ясно одно: из обеих трубок слышался мужской голос.

«Они еще позвонят, — сказал он себе. — Вернее: он еще позвонит, ибо это явно был один и тот же человек, хотя в левом телефоне его голос звучал уверенно, четко, требовательно, почти торжествующе, а в правом казался

приглушенным, испуганным, чуть не плачущим. Удивительно, как много можно узнать о людях по одному их голосу в телефоне!»

Он принялся за работу. Пачка белой бумаги, маленькая коробка со скрепками, три шариковые ручки с разноцветными стержнями и стопка всевозможных бланков — все было под рукой. Ему нужно было подготовить письмо, подобрать досье, составить отчет, проверить несколько цифровых сводок. Этого хватит на первую половину дня. С отчетом, возможно, придется повозиться и после обеденного перерыва. В перерыв перед ним возникнет другая проблема: куда пойти — в столовую или в один из маленьких ресторанчиков по соседству. И как обычно, он пойдет в столовую. Первые два года службы он неизменно выбирал тот или другой из ресторанчиков, потому что столовая его угнетала. Она напоминала ему, что он живет не в том мире, который бы сам избрал, и, когда ему удавалось хотя бы символически вырваться из этого чуждого мира, ему казалось, что он здесь лишь временно, ненадолго, что это лишь неприятный период вроде школы или службы в армии, который надо пережить. И в конечном счете не так уж это страшно. Его работа зачастую оказывалась интересной, а сослуживцы — чуткими и культурными. Некоторые из них даже читали ту или иную из его книг.

«Не иначе, кто-то решил надо мной подшутить. Это можно сделать с помощью магнитофона. Ведь мы даже не разговаривали. Я только кричал «алло» и спрашивал, кто говорит. Бессмысленная шутка без конца и без начала».

Он стал работать. Любопытно, что за работой он не мог не думать о том, что ему хотелось бы написать, о рассказах, которые он желал написать и которые трудно и медленно писал по вечерам в своей ярко освещенной квартире, потому что не любил погружаться в темноту при переходе из одной комнаты в другую. И не менее любопытно, что в эти вечерние часы он думал о своей дневной работе, продолжал беспокоиться о каком-нибудь незаконченном деле, как там примут его не слишком-то связные объяснения, успеет ли он подготовить в срок отчет и о прочих вещах, которые бы должны были отступить на задний план, раствориться в тишине и оставить его наедине с образами, созданными его воображением. Человек не может целиком отдаваться двум совершенно разным де-

лам, говорил он себе. Дойдет до того, что у него начнется раздвоение личности и эти два разных «я» вступят между собой в непримиримую борьбу. И тогда он превратится в шизофреника.

Он схватил трубку, набрал номер внутреннего телефона.

— Мадам Дюпор? Да, это Боск. Как поживаете?.. Благодарю, все в порядке... Принесите мне, пожалуйста, марсельское досье... Спасибо.

Когда-нибудь, когда-нибудь он будет писать с утра до вечера, только писать! Но при этой мысли сердце его внезапно сжалось. Сможет ли он тогда писать, придумывать разные истории, находить иные слова, чем те, которые мелькают в отчетах и деловых письмах?

Раздался стук в дверь.

— Войдите,—сказал он.

Женщина была молода и хороша собой. У нее было круглое лицо с остреньким носиком. «Интересно, чем бы ты занялась,—подумал он,—если бы тебе не нужно было подшивать дела, стучать на машинке? Что бы ты делала: рисовала, шила, прогуливалась, флиртowała, умножала свои победы?» Такого вопроса он никогда никому не задаст. А жаль, это тема для настоящей анкеты, единственно стоящей из всех анкет. Надо было бы расспрашивать людей на улицах, в кафе, в кино и театрах, в метро и автобусах и даже в их собственных домах, что бы они стали делать, если бы были абсолютно свободны, как потратили бы драгоценнейшее из сокровищ, имя которому «время», каким способом пропустили бы сквозь пальцы считанные песчинки своей жизни. Он представил себе их смятение, недоверие, колебание, панический страх. Какое вам, собственно, дело? Не знаю, нет, право, не знаю — никогда об этом не думал. Погодите, я, может быть...

Она увидела, что он задумался, положила досье на стол и молча выскользнула из комнаты.

Он взял досье, раскрыл.

Зазвонил левый телефон.

— Алло,—сказал он.

— Алло. Жером Боск?

Это был тот же отчетливый голос.

— Да, слушаю.

— Я звонил тебе два дня назад. Слышимость была скверная. Теперь ты меня хорошо слышишь?

— Да,—ответил он.—Но это было только что, а не два дня назад. Если это глупая шутка...

— Для меня это было два дня назад,—оборвал его голос.—И это вовсе не шутка.

— Но послушайте!—возмутился Жером Боск.—Два дня назад или только что—это не одно и то же. А потом, почему вы обращаетесь ко мне на «ты»?

— Я потратил два дня, чтобы найти нужный номер, вернее, сочетание благоприятных условий. Не так-то просто звонить по телефону из одного времени в другое.

— Простите, как вы сказали?

— Из одного времени в другое! Предпочитаю сразу положить тебе всю правду. Я звоню из будущего. Я—это ты сам, только постаревший на... Впрочем, неважно. Чем меньше ты будешь знать об этом, тем лучше.

— У меня нет времени на розыгрыши,—сказал Жером Боск, не отрывая взгляда от досье.

— Но это вовсе не розыгрыш,—возразил голос, спокойный и рассудительный.—Сначала я не собирался говорить тебе правду, но ты не стал бы меня слушать. Вечно тебе нужно все объяснять, уточнять.

— И тебе тоже, поскольку ты—это я,—сказал Жером Боск, вступая в игру.

— Но я кое в чем изменился,—парировал голос.

— И как ты себя чувствуешь?

— Гораздо лучше, чем ты. Я занимаюсь делом, которое мне нравится, и могу писать целыми днями. У меня куча денег, во всяком случае с твоей точки зрения. Одна вилла на Ибице, другая в Акапулько. У меня жена и двое детей. Я доволен жизнью и счастлив.

— Поздравляю,—сказал Жером Боск.

— И все это, разумеется, твое, вернее, будет твоим. Надо только поставить на верную карту. Для этого я тебе и звоню.

— Понятно. Сведения из завтрашних газет. Прогноз биржевых курсов. Или выигрышный номер лотереи, тираж которой через неделю. Или...

— Послушай!—раздраженно оборвал его голос.—Сегодня утром, без двух минут двенадцать, тебе позвонит по телефону один человек, очень важная пишка. Он сделает тебе деловое предложение. Надо его принять. Отбросить сомнения и в тот же вечер отправиться на другой конец света. Без всяких колебаний.

— По крайней мере это будет честное предложение?— иронически спросил Жером Боск.

Голос в трубке зазвучал оскорбленно:

— Разумеется, совершенно честное. Это то, чего ты ждал годами. Я говорю серьезно, черт побери! Это единственный шанс в твоей жизни. Второго не будет. Большой босс часто меняет свои решения. Не жди, когда он раздумает, соглашайся сразу. И это будет началом плодотворной и блестящей карьеры.

— Но для чего ты мне звонишь, если ты уже преуспел?

— Я преуспею только в том случае, если ты согласишься. А ты привык сомневаться, раздумывать, тянуть. Кроме того...

Зазвонил телефон справа.

— Меня вызывают по другому аппарату,— сказал Жером Боск.— Пока!

— Не вешай трубку!— взмолился голос.— Не ве...

Он повесил.

Он подождал, прислушиваясь к звонкам другого телефона, и внезапно время замедлило бег. Звонки растягивались на километры секунд, а тишина между ними была как обширные оазисы покоя и свежести. Ибица. Акапулько. Названия на карте. Белая вилла и красная вилла на крутых склонах зеленых холмов. Все время только писать.

Жером Боск вспомнил, когда впервые услышал этот голос. Он звучал из динамика магнитофона. Это был его собственный голос. Телефон его, конечно, изменял, обезличивал, приглушал, но все же это был его голос. Не тот, который он привык слышать, а другой, восстановленный магнитофонной записью. Тот, который слышали другие люди, посторонние.

Телефон справа прозвонил в четвертый раз.

Он снял трубку.

Сначала ему показалось, что на другом конце провода никого нет: он слышал только обманчивую тишину, наполненную шорохами и слабыми отзвуками, механическими шумами, далекими-далекими, словно микрофон едва улавливал дыхание обширной пещеры глубоко под землей, где происходили микроскопические оползни, сочились крохотные ручейки, скреблись невидимые насекомые. Затем, еще не разбирая слов, он услышал голос, который что-то невнятно и протяжно бормотал без передышки.

— Очень плохо слышно!—крикнул в трубку Жером Боск.

— Алло, алло, алло, алло!—повторял голос, теперь немного отчетливее.— Не надо туда лететь... ни в коем случае... Жером, Жером, вы меня слышите? Слушайте, ради бога, ради всего святого! Не надо...

— Говорите, пожалуйста, громче!—попросил он.

Голос напрягся до предела, начал прерываться.

— Откажитесь... откажитесь... позднее...

— Вы что, больны?—спросил Жером Боск.— Может быть, кого-нибудь предупредить? Где вы находитесь? Кто вы?

— Я-я-я т-т-т-т,—задохнулся голос.— Я—ты!

— Еще один,—буркнул Жером Боск.— Но другой голос говорил, что...

— ...из будущего... не соглашайтесь... тем хуже... поймите...

В дверь робко постучали.

— Войдите,—сказал Жером Боск, на мгновение оторвав трубку от уха и машинально заслоня ладонью микрофон.

Вошел новый курьер. Это было его первое место работы, и он относился с глубоким почтением ко всем мужчинам и женщинам, которые, сидя в своих кабинетах, за день исписывали кипы бумаг. Он легко краснел и всегда был одет с безупречной аккуратностью. Он положил на край стола утреннюю газету и письма.

— Спасибо,—сказал ему Жером Боск, кивнув головой.

Дверь затворилась.

Он снова прижал трубку к уху. Но голос уже исчез, затерялся в лабиринте проводов, опутавших весь мир. Щелчок. Короткие гудки.

Он задумчиво повесил трубку. Неужели и это его голос, как и тот, первый? В этом он не был уверен. И в то же время оба голоса, справа и слева, имели что-то общее. «Два разных момента будущего,—подумал он,— два разных голоса из будущего пытаются со мной связаться».

Он вскрыл письма. Ничего интересного. Он их поместил и положил в корзинку для корреспонденции. А конверты кинул в мусорную корзину. Затем, вскрыв бандероль, быстро перелистал страницы газеты, спеша добраться до экономического раздела. Как всегда по утрам, его внимание привлек метеорологический прогноз. Не потому, что он особенно интересовался погодой. Просто метеокарта, раз-

украшенная всякими символическими значками, притягивала взгляд. Он прочел:

«В районе Парижа ожидается прохладная погода с незначительными...»

Он перескочил через несколько строк.

«Атмосферные возмущения, вызванные циклоном над Антильскими островами, распространяются на северо-восток... Следует ожидать...»

Взгляд его перенесся на верхнюю половину страницы, пробежал по диагонали сводку биржевых курсов и котировку основных видов сырья. Цены держатся твердо, но сделок пока маловато. Поднялось серебро. Незначительно понизилось какао. Абсолютно ничего интересного. Жером Боск свернул газету.

Он принялся за первый документ из досье. Четыре раза перечитывал первый параграф и ничего не понял. Что-то было не так, и не с этим параграфом, а с его головой. Мысли кружились в ней как ошалевшая белка в колесе, похожем на телефонный диск.

Не раздумывая, он снял трубку правого телефона и набрал номер коммутатора.

— ...вас слушаю,—сказал безличный голос.

Мне только что дважды звонили. Вы не знаете, эти люди не оставили номеров своих телефонов?

Телефонистки на коммутаторе обычно регистрировали все звонки, и вовсе не ради полицейской слежки, а для того, чтобы быстрее восстановить связь, если разговор по какой-либо причине будет прерван.

— Ваш номер?

— 413,—ответил Жером Боск.

— ...посмотрю. Не кладите...

На другом конце провода послышалось невнятное бормотание. Затем другой голос, женский, любезный:

— Мсье Боск, сегодня вам еще никто не звонил. Во всяком случае, никто из города.

— Мне звонили четыре раза,—сказал Жером Боск.

— Может быть, по внутреннему телефону? И, может быть, не по вашему номеру?

— Я все время сидел у себя.

— Уверяю вас...

Он прокашлялся.

— Скажите, звонок из города может дойти до меня, минуя коммутатор?

Телефонистка замешкалась с ответом, затем неуверенно:

— Не представляю, как это может быть.

С беспокойством:

— Я никуда не отходила!

Вежливо, но холодно:

— Вы можете подать жалобу...

— Нет-нет,— сказал Жером Боск.— Должно быть, мне почудилось.

Он повесил трубку и провел рукой по влажному лбу.

Значит, это был розыгрыш. Они воспользовались одним из магнитофонов секретариата и даже не сочли нужным звонить ему через городскую сеть. А теперь, наверное, надрываются со смеху в соседнем кабинете. Мальшиор—мастер по части подделки голосов.

Тишина. Дробь машинки, приглушенная двойными дверями. Отдаленные шаги. Городской гул, проникающий через открытое окно, шум проезжающих внизу автомашин.

Он смотрел на оба телефона так, словно видел их впервые в жизни. Это невозможно! Каждый телефон имел два различных звонка: пронзительный для вызовов из города и глухо жужжащий—для внутренних линий. Пронзительный трезвон, который предшествовал каждому из сегодняшних четырех разговоров, еще стоял в его ушах.

Он поднялся так резко, что едва не опрокинул кресло, в котором сидел. Коридор был безлюден. Он толкнул полуоткрытую дверь соседнего кабинета, затем второго, третьего. Все комнаты были пусты, и на полированных столах не осталось ни одной бумажки, которая хотя бы напоминала о том, что здесь кто-то работал. В последней комнате он снял телефонную трубку, нажал кнопку для внутренних переговоров и набрал свой номер. Глухое жужжание из его кабинета разнеслось по коридору. Система раздельных звонков работала исправно, никто ее не изменил.

Он пересек коридор, постучал и вошел в приемную; секретарша повернулась к нему, руки ее замерли над клавишами пишущей машинки.

— Что, сегодня никого нет?—спросил он.

— Начались отпуска,—ответила она.—Кроме меня остались только вы и помощник директора... И еще рассыльный,—прибавила она после паузы.

— Ах да! — сказал Жером Боск. — Я совсем забыл.

— У меня отпуск со следующей недели. — Секретарша пошевелила пальцем в воздухе. — Не забудьте! Наверное, нужно будет найти мне заместительницу?

— Право, не знаю, — сказал он растерянно. — Поговорите в дирекции.

Он оперся плечом о дверной косяк.

— Как, по-вашему, мсье Боск, погода установится?

— Не имею ни малейшего представления. Но будем надеяться.

— Утром по радио говорили о циклоне над Атлантикой. Значит, еще будут дожди.

— Надеюсь, что нет, — сказал он.

— Вам бы тоже надо отдохнуть, мсье Боск.

— Да, я скоро найду в отпуск. Только закончу кое-какие дела. Кстати, вы не слышали сегодня утром телефонных звонков в моем кабинете.

Она утвердительно кивнула.

— Два или три звонка. А что? Вас не было? Наверное, я должна была ответить?

— Нет, я был у себя, — сказал Жером Боск, чувствуя себя глупо и неловко. — Я сам брал трубку. Так что спасибо. А куда вы едете?

— В Ланды, — ответила она, поглядывая на него с любопытством.

— Желаю вам хорошей погоды.

Он вышел, прикрыл за собой дверь и несколько мгновений стоял в тишине коридора. Трескотня машинки возобновилась. Успокоившись, Жером Боск вернулся в свой кабинет.

Он снова взялся за папку с документами.

Зазвонил телефон справа.

Он взглянул на часы. Было точно без двух минут двенадцать.

— Алло?

— Мсье Боск? — спросила телефонистка. — Международный вызов. Одну секунду.

Щелчок. Он услышал расстояние, по которому шел вызов, — танец электронов, пересекающих границы без паспортов, танец волн, перепрыгивающих пространство, отраженных антеннами многочисленных спутников над океанами, проникающих сквозь невообразимое переплетение нитей телефонных кабелей, проложенных по дну морей.

— Алло! — произнес мужской голос. — Мсье Боск? Жером Боск?

— Да, это я.

— Оскар Вильденштейн. Я говорю с вами с Багамских островов. Только что прочел вашу последнюю книгу — «Как в бесконечном саду». Хорошо, превосходно, дорогой мой, очень оригинально.

Это был внушительный голос, мужественный, уверенный, с легким иностранным акцентом, то ли итальянским, то ли американским, но скорее с итало-американским. Голос, от которого пахло дорогими сигарами, голос человека, одетого в белый смокинг, который говорил, сидя у прохладного бассейна под чистым лазурным небом, еще не опаленным яростью солнца.

— Весьма вам признателен, — сказал Жером Боск.

— Я читал всю ночь. Не мог оторваться. Хочу сделать из этого кинофильм. С Барбарой Силвер в главной роли. Вы ее знаете? Прекрасно. Я хочу вас видеть. Чем вы сейчас заняты?

— Я работаю в конторе, — сказал Жером Боск.

— Вы можете уволиться? Отлично. Садитесь в самолет, аэродром Париж — Орли, четыре часа по вашему времени. Погодите... Мне подсказывают: четыре тридцать. Я заказываю билет. Мой агент в Европе проводит вас до аэропорта. С собой ничего не берите. В Нассо найдется все, что нужно.

— Я бы хотел подумать.

— Подумать? Подумать, конечно, надо. Я не могу вам сказать все по телефону. Подробности мы обсудим завтра утром за завтраком. Барбара мечтает с вами познакомиться и места себе не находит. Она сейчас возьмется за вашу книгу. Обещает прочесть ее к завтрашнему утру. Трудные места я ей сам переведу. Наташа тоже хочет вас видеть. И Сибилла, и Мерриел, ну, это уж слишком...

Голос как бы удалился. Но Жером Боск услышал смех женщин, затем голос Вильденштейна, не такой громкий, но вполне отчетливый, словно он говорил из соседней комнаты.

— Нет, сейчас с ним говорить нельзя, — сказал Вильденштейн кому-то по-английски, а затем перешел на французский: — Они тут все с ума посходили! Что-то удивительное! Они хотят говорить с вами немедленно. Но это невозможно. Я им сказал, чтобы подождали до завтра.

Хардинг или Харди, я уже не помню, в общем мой представитель в Европе, он обо всем позаботится. Я рад, что смог поболтать с вами. До завтра. Domani. Mañana*.

— Всего хорошего,—проговорил Жером Боск ослабевшим голосом.

«Который час там, на Багамах?—подумал он.—Часов шесть-семь утра. Наверное, он и вправду читал всю ночь напролет. Читал роман, который невозможно адаптировать для кино. Разве что я это сделаю сам. В конечном счете только я знаю, что я в него вложил, что внес. Он понял: все его сценаристы обломают себе на этом зубы. Это большой человек. Плодотворная работа, блестящая карьера. Две виллы. Ибица и Акапулько».

В дверь постучали.

— Войдите,—сказал он.

Секретарша остановилась на пороге со странным выражением лица. В руках у нее был клочок бумаги.

— Вам звонили, мсье Боск, пока вы разговаривали по другому телефону. Меня просили передать.

— Что передать?—радостно спросил Жером Боск.

— Я не совсем поняла. Слышимость была скверная. Видимо, кто-то звонил очень издалека. Вы уж извините, мсье Боск.

— Так в чем дело?

— Я разобрала только несколько слов. Он сказал: «Ужасно... ужасно»—два или три раза, а потом—«нелюбовь»... или «несчастье». Вот, я записала...

— Он не сказал, кто звонил?

— Нет, мсье Боск, он не оставил своего номера. Надеюсь, он перезвонит. Надеюсь, в вашей семье не случилось ничего страшного. Нелюбовь... несчастье... господи, нет ничего легче, как попасть в такую погоду под машину!

— Я думаю, нам беспокоиться не о чем,—сказал Жером Боск, пододвигая к себе принесенный секретаршей листок бумаги. Взгляд его пробежал по стенографическим иероглифам, затем задержался на трех расшифрованных ниже словах: «Ужасно... ужасно... нелюбовь».

В последнем слове буква «н» была подчеркнута, а наверху со знаком вопроса поставлено «сч».

— Спасибо, мадам Дюпор. Не беспокойтесь. Я не знаю,

* Domani (итал.), mañana (исп.)—до завтра.

с кем бы из моих близких могло случиться несчастье. Таких у меня уже нет.

- Может быть, не туда попали?
- Конечно, не туда попали.
- Ну, тогда я пошла обедать, мсье Боск.
- Приятного аппетита.

Когда она закрыла за собой дверь, он подумал, стоит ли ему подождать, чтобы она ушла, или сразу выйти самому? Обычно они договаривались, чтобы кто-то оставался на случай, если будут срочные звонки. Но сейчас было время отпусков. Вряд ли кто-нибудь позвонит.

Разве что один из этих двух голосов.

Он пожал плечами, искоса поглядев на картинку с носорогом. Сейчас главное было решиться. Черт возьми, пришло время отпусков, и он мог в конце концов отлучиться на неделю, никому ничего не объясняя. Хоть на Багамские острова. А что если агент Вильденштейна вовсе не появится? Что если этот телефонный звонок был всего лишь капризом миллиардера, который возник внезапно и так же внезапно исчез? Кто-то там, на Багамских островах, прочел его книгу или просто узнал, что о ней говорят, и решил услышать его голос, проверить, существует ли он на самом деле?

Жером Боск сунул утреннюю газету в карман. Несколько мгновений он смотрел на телефоны, словно ожидая, что они снова зазвонят, а потом пошел по коридору, по истертой дорожке с выступающими из-под нее параллельными полосами, словно тенями разохшегося паркета. И пока он спускался по широким каменным ступеням, он все время напрягал слух, почти удивленный, что его не зовет назад требовательный звонок телефона. Он пересек двор и очутился на улице. И направился к маленькому испанскому ресторанчику.

Он поднялся на балкон, где в это время года, как правило, почти не бывало клиентов. Меню он просмотрел больше по привычке, поскольку знал его наизусть, и заказал салат из помидоров, цыпленка а-ля-баск и полграфина красного вина.

Уже почти час пополудни. На Багамских островах сейчас, должно быть, около восьми утра. Вильденштейн, наверное, завтракает, и за его столом сидят Барбара, Сибилла, Мерриел, Наташа и еще нолджджины секретарш, и над ними чистое синее небо, синее-синее, и тени экзотических

пальм, и здесь же, не отрываясь от завтрака, он звонит в любые части света, в любые города мира, и голос его, мужественный, уверенный, звучит всюду одновременно, ибо он говорит сразу на трех или четырех языках обо всех книгах, которые он прочел за ночь.

Жером Боск развернул газету.

Он только приступил к салату из помидоров, когда к нему подбежала официантка.

— Это вы — мсье Боск? — спросила она.

— Да, — сказал он.

— Вас просят к телефону. Мужчина сказал, что вы сидите наверху, на балконе. Телефон внизу, возле кассы.

— Сейчас иду, — сказал Жером Боск, неизвестно на что обоблившись.

Неужели это снова чуть слышный, далекий, неясный голос, почти заглушенный помехами?

А может быть, другой, который говорил из Аканулько и Ибицы? А может быть, это представитель Вильденштейна?

Телефон стоял, как на троне, на шкафчике между кассой и входом в кухню. Жером Боск втиснулся в уголок, чтобы не мешать проходившим мимо официанткам.

— Алло, — сказал он, стараясь заслонить рукой другое ухо от звона тарелок.

— Нелегко же было тебя найти! О, разумеется, я знал, где ты находишься. Но я уже не помню телефона этой харчевни. Собственно говоря, я его никогда и не помнил. Не так-то просто найти нужный номер, когда не знаешь ни имени хозяина, ни точного адреса ресторана.

Это был голос слева, отчетливый, ясный, однако вроде бы более тревожный, чем утром.

— Вильденштейн тебе звонил?

— Да, точно без двух двенадцать, — ответил Жером Боск.

— И ты согласился?

Голос был натянут, как струна.

— Я еще не знаю. Надо подумать.

— Но ты должен согласиться! Ты должен отправиться туда! Вильденштейн — потрясающий тип. Вы сразу сговоритесь и понравитесь друг другу. С первого взгляда. С ним ты достигнешь всего!

— И фильм тоже удался?

— Какой фильм?

— Экранизация «Как в бесконечном саду».

Раздался веселый смех.

— Такого фильма не будет. Ты знаешь не хуже меня, что этот роман совершенно не годится для кино. Ты предложишь ему другую тему. Он будет в восторге. Нет, я не могу тебе сказать, что это за тема. Надо... надо, чтобы это случилось в свое время.

— А Барбара Силвер? Что она собой представляет? Голос смягчился.

— Барбара. О, Барбара! У тебя будет время ее узнать. Ты ее узнаешь. Потому что... Но, прости, я не могу этого сказать.

Пауза.

— Откуда ты звонишь?

— Не могу тебе ответить. Из очень пристойного места. Ты не должен знать своего будущего. Иначе очень многое может полететь вверх тормашками.

— Сегодня ко мне звонил еще кое-кто, — резко сказал Жером Боск. — Кое-кто, у кого был твой голос, вернее, мой голос, но только прерывистый, измученный. Я слышал его очень плохо. Он убеждал меня отказаться от чего-то. Может быть, от предложения Вильденштейна.

— Он звонил из будущего?

— Не знаю. — Жером Боск помолчал. Затем: — Он говорил о каком-то несчастном случае.

— И что он сказал?

— Ничего. Только одно слово: «Несчастье».

— Я ничего не понимаю, — жалобно признался голос. — Послушай, не обращай внимания. Отправляйся к Вильденштейну, и все устроится само собой!

— Он звонил много раз, — сказал Жером Боск. — И наверняка позвонит еще.

— Не трусь! — тревожно сказал голос. — Спроси его, из какого времени он звонит, понимаешь? Может быть, кто-то не хочет, чтобы ты преуспел. Просто из зависти ко мне. Ты уверен, что это был наш голос? Знаешь ведь, голос легко можно подделать.

— Нет, — сказал Жером Боск. — Я почти уверен.

Он подождал немного, потому что официантка остановилась как раз за его спиной.

— Может быть, он звонил из *твоего* будущего, — продолжал Боск. — Наверное, с тобой случится что-то нехорошее, и он хочет меня предупредить. Что-то связанное с Вильденштейном.

— Это исключено! — откликнулся голос. — Вильденштейн уже умер. Ты... ты не должен был этого знать. Забудь! Это ничего не значит. Все равно ты не знаешь, когда это случилось.

— Он... он погибнет в катастрофе, не так ли?

— В авиационной катастрофе.

— Может быть, об этом и шла речь. А ты... ты к этому причастен?

— никоим образом! Уверяю тебя!

Голос становился все более нервным:

— Послушай, надеюсь, ты не станешь портить свое будущее из-за этой чепухи? Ты не рискуешь ничем. Я знаю, что тебя ожидает. Я это пережил.

— Но ты не знаешь своего будущего.

— Не знаю, — согласился голос. — Однако я могу предвидеть и сопротивляться. Я буду осторожен. Со мной ничего не случится. А даже если и случится, то я уже много старше тебя... нет, я не могу сказать тебе, сколько мне лет. Предположим, у тебя впереди еще лет десять, если не больше, и превосходных десять лет! Я не отказался бы от них, даже если бы должен был умереть завтра.

— Умереть завтра? — спросил Жером Боск.

— Ну это так, к слову. Знаешь, десять лет — это немало. И я себя чувствую, как бог! Гораздо лучше, чем в твои годы, уверяю тебя! Соглашайся! Лети на Багамские острова! Это тебя ни к чему не обязывает. Обещай, что ты согласишься!

— Я хотел бы понять одно, — медленно проговорил Жером Боск, — как ты можешь со мной разговаривать? Вы что, изобрели в своем будущем машину времени?

Голос из другого времени залился смехом. Смехом, в котором было что-то искусственное.

— Такая машина уже существует в твоё время. Не знаю, должен ли я тебе говорить. Это тайна. Лишь очень немногие знают о ней. В любом случае ты не сумеешь этим воспользоваться. До сих пор, даже сейчас, никто толком не знает, как это действует. Нужна удача, счастливое стечение обстоятельств. Эта машина времени — телефон.

— Телефон? — удивленно переспросил Жером Боск.

— О, разумеется, не тот телефон, что у тебя на столе. А телефонная сеть, вся мировая сеть. Это самое сложное, что когда-либо было создано человеком. Гораздо сложнее самых больших компьютеров. Подумай о миллиард ки-

лометров проводов, о миллионах усилителей, о немых переплетениях соединений на автоматических центрах. Подумай о мириадах вызовов, обегаящих всю Землю. И все это взаимосвязано. Иногда бывает, что в этой путанице происходит нечто непредвиденное. Иногда бывает, что телефон вместо двух точек пространства соединяет два момента времени. Возможно, когда-нибудь об этом скажут открыто. Но я сомневаюсь. Слишком много непредусмотренного. И слишком рискованно. Лишь очень немногие в курсе дела.

— А как ты узнал об этом?

— У тебя в дальнейшем будут очень умные друзья, если ты примешь предложение Вильденштейна. Но я и так сказал слишком много. Тебе незачем это знать. Соглашайся! Это все.

— Не знаю,— пробормотал Жером Боск и услышал щелчок на другом конце провода.

Позади него кто-то стоял.

— О, простите!— сказал он.— Я заговорился...

Он попытался улыбнуться. Затем пошел вверх по лестнице, хватаясь за перила. Цыпленка принесли, пока его не было. Он был почти совсем холодный.

— Хотите, я отдам его подогреть?— предложила официантка.

— Нет,— ответил он.— Сойдет и так.

Значит, у них нет машины времени, на которой можно путешествовать. Но они открыли новое назначение телефона.

Итак, телефон.

Телефонная сеть покрывает всю планету. Ее линии тянутся вдоль шоссе, бегут рядом с железными дорогами— леса прямоугольных деревьев-опор выросли повсюду. Провода в каучуковых оболочках пролегли по дну океанов и рек. Они образуют плотную и одновременно тонкую, сложную паутину. Нити ее накладываются друг на друга и переплетаются. Сегодня уже никто не в силах нарисовать полную диаграмму мировой телефонной сети. А что будет через десять лет? А через двадцать? Эта сеть, по-видимому, превзойдет по своей сложности даже человеческий мозг.

Жером Боск попытался представить себе темные и прохладные подземелья больших телефонных центров, где в тишине и шорохах неуловимых помех кристаллические

полупроводники вылавливают и ориентируют бесчисленные голоса. Эта сеть — по-своему живой организм. Люди все время расширяют ее, тщательно ремонтируют, без конца совершенствуют. Телефонные станции становятся похожими на нервные узлы. Электронные вычислительные машины расчленяют разговоры на мельчайшие фрагменты, чтобы не допустить наложенных сигналов и в то же время до предела заполнить паузы. Так стоит ли удивляться, если телефон окажется способным творить и другие чудеса?

Он вспомнил истории, может быть даже выдуманные, которые он слышал про телефон. О том, что ночью будто бы можно набрать определенный номер и услышать незнакомый голос. И не просто голос, а голоса, анонимные бесплотные голоса, которые обмениваются банальными фразами, или шутками, или игривыми намеками, или такими чудовищными признаниями, на какие не решилось бы ни одно существо, обладающее человеческим лицом или хотя бы именем. Он вспомнил о голосах-призраках, которые будто бы годами блуждают по замкнутому кольцу сети и без конца повторяют одно и то же. Он вспомнил о говорящих часах и о пунктах подслушивания.

Рано или поздно, сказал он себе, любая вещь в мире находит совсем иное применение, чем-то, ради которого была первоначально создана. Например, человек. Миллион лет назад он блуждал по лесам, голыми руками собирая плоды, и охотился на зверей. А теперь он строит города, пишет стихи, сбрасывает бомбы и звонит по телефону.

То же самое и с телефоном.

Жером Боск отодвинул тарелку, заказал кофе, выпил его, расплатился и вышел на улицу. Солнце наконец разогнало тучи. Он сделал крюк, чтобы пройтись по набережным. Но прогуливаться там стало невозможно с тех пор, как набережными завладели автомашины. Даже рыбаки покинули свои насиженные места.

«Я кружусь на месте, — сказал он себе. — Я знаю здесь каждую улицу наизусть. Я работаю и живу в центре одного из самых чудесных городов в мире, но это меня больше не радует и не волнует. Этот город больше ничего не говорит моей душе. Мне надо уехать».

Он взглянул на часы. Почти половина третьего. Пора вернуться и взяться за работу, закончить то, что не смог сделать утром. Витрины и даже стены, все те же самые, казались серыми и как бы прозрачными, стертыми до про-

зрачности от слишком пристальных взглядов. Оставались еще, правда, женщины: смена времен года, случайности переездов, службы или туристских поездок делали их вечно новыми. Но даже с этой точки зрения год выдался скверным. Вот уже больше недели он не встречал по-настоящему красивого лица.

А на Багамских островах Барбара, Наташа, Сибилла и Мерриел плескались в бассейне под снисходительно-довольным взглядом Вильденштейна. «Он прав,— подумал Жером Боск.— Я должен согласиться. Такого случая больше не представится».

Дверь в приемную была приоткрыта. Секретарша явно поджидала его. «Опять кто-то звонил!»— подумал он, и сердце его сжалось.

Она наклонилась к нему:

— У вас посетитель, мсье Боск. Он в кабинете.

Жером Боск замер, стараясь проглотить комок в горле. «Я никого не жду! Кто бы это мог быть? Неужели они смогли физически переместиться во времени? Неужели им недоставало разговоров по телефону? Перед своей дверью он заколебался, потом взял себя в руки— нет, они могут только звонить, отправлять сквозь время только телефонные сообщения, только голоса,— и вошел в кабинет.

Его ждал человек, несколько не похожий на Жерома Боска. Он сидел на углу стола так, что одна его нога раскачивалась па весу, а другая твердо стояла на вытертом ковре. У него было длинное породистое лицо, темные волосы ниспадали до самого воротничка, но были аккуратно подрезаны. Костюм на нем был вроде бы недорогой, однако ткань в крупную клетку и невероятное число карманов— из нагрудного высывался художественно смятый цветной платочек,— а также сверхузкие лацканы подчеркивали изысканность покроя. Рубашка у него была в полоску, галстук— в горошек, туфли черные со сложным накладным узором, а носки ярко-красные. Возле правой его руки на столе лежала черная папка из блестящей кожи. Короче, он был англичанином от макушки до кончиков ногтей.

Посетитель встал.

— Мсье Жером Боск?— спросил он.— Весьма рад с вами познакомиться.

Голос у него был интеллигентный, ясный, с легким и, несомненно, британским акцентом. Жером Боск поклонился.

— Фред Харди,—сказал англичанин, протягивая очень длинную холеную руку с коротко обрезанными квадратными ногтями.— Мсье Вильденштейн позвонил мне, прежде чем заказать разговор с вами. Он выразил желание, чтобы я подготовил все необходимые бумаги.

Фред Харди открыл папку и выложил на стол пачку документов.

— Вот ваш билет на самолет, мсье Боск. Вот специальная виза, которую достаточно просто вложить в ваш паспорт. У вас ведь есть паспорт, не правда ли? В этом пакете пятьдесят фунтов стерлингов в дорожных чеках на предъявителя. Вам достаточно будет поставить свою подпись. Думаю, на дорогу вам хватит. А там мсье Вильденштейн возместит вам все ваши расходы. Это письмо вы предъявите на таможне в Нассо. Губернатор—личный друг мсье Вильденштейна. Вам ни о чем не надо беспокоиться. Возможно, мсье Вильденштейн не окажется в Нассо, но вас кто-нибудь встретит на аэродроме и проводит до острова, принадлежащего мсье Вильденштейну. Разрешите пожелать вам счастливого пути.

— Но я еще не дал согласия!—возразил Жером Боск. Харди вежливо рассмеялся.

— О, конечно, вы все решите сами, мсье Боск. Я все это подготовил на случай вашего согласия.

— Вы быстро справились,—пробормотал Жером Боск, ошеломленно глядя на билет, визу, пачку чеков и рекомендательное письмо.— Вы живете в Париже?

— Я прилетел из Лондона, мсье Боск,—сказал Харди.— Мсье Вильденштейн любит быстрогу и действенность. Мсье Вильденштейн порекомендовал мне самому проводить вас до аэропорта. К тому же мой самолет вылетает через полчаса после вашего. Расписание рейсов между Парижем и Лондоном весьма удобно.

Зазвонил телефон справа. Харди сунул папку под мышку.

— Я жду вас в коридоре, мсье Боск. Такси уже внизу. У нас хватит времени на все.

Он широко улыбнулся, обнаружив ряд безукоризненных крупных зубов, и дверь за ним закрылась. Жером Боск взял трубку.

— Алло,—сказал он.

Никого. Только эхо, как в пещере, как в длинном гуннеле. Или как из колодца.

— Алло! — сказал он громче. Ему показалось, что он не услышал своего собственного голоса, что микрофон поглотил его звук, заглушил, уничтожил.

— Из какого времени вы звоните? — неуверенно спросил он. — Что вам нужно?

Он придвинул к себе билеты на самолет, развернул их. Билет на рейс Париж — Нассо через Нью-Йорк и Майами. Билет на обратный рейс. Харди все учел. Здесь и не пахло ловушкой. Чтобы ни случилось, он сможет вернуться. И Харди специально ради него прилетел из Лондона. Значит, Вильденштейн позвонил ему в половине одиннадцатого, может быть, даже в одиннадцать. Харди сел на самолет в двенадцать. В час он был в Париже. А без четверти два — в кабинете Жерома Боска. Все предельно просто. Он жил в том мире, где с одного самолета привычно пересаживаются на другой, где носят костюмы, с виду неброские, но экстравагантные в действительности, а обувь — сделанную на заказ, где губернаторов запросто приглашают к себе поужинать и где в любое время звонят по телефону в любую часть света. «Нет, я не могу отправить его в Лондон не солоно хлебавши», — сказал себе Жером Боск.

Билет был в салон первого класса. В левом верхнем углу стоял штамп «VIP». Ниже кто-то приписал от руки: «From WDS».

«Особо важное лицо». «От Вильденштейна».

Харди для него в лепешку разбился. «Не могу я ему спокойненько заявить: завтра, может быть, но не сегодня, потому что я, мол, хочу подумать. Он просто рассмеется мне в лицо. Хотя нет, для этого он слишком хорошо воспитан. Он скажет: мсье Вильденштейн будет весьма огорчен, он рассчитывал встретиться с вами завтра утром. Он кивнет, спрячет в свою папку билеты, визу, пятьдесят фунтов стерлингов, письмо к губернатору и вернется в Орли, чтобы дожидаться своего самолета. Сколько сейчас времени? Почти три часа. Через полтора часа самолет взлетит. Париж — Нассо через Нью-Йорк и Майами. Не станут же они задерживать рейс на четверть часа только ради меня!»

— Алло, — сказал Жером Боск в молчащую трубку. Он отпер ящик стола, единственный, который запирался на ключ, приподняв официальные бумаги, выудил из-под них свой паспорт, синюю книжечку, положил его перед собой и раскрыл свободной рукой. Старая фотография, которой

уже года три, а то и четыре. В те времена он был даже неплох собой, худощав, остроглаз.

— Алло! — сказал он в последний раз и повесил трубку.

Ладони у него взмокли, пальцы дрожали. «Мне еще не случалось попадать в такой переплет! Не знаю, что делать». Правой рукой он сложил в одну стопку паспорт, билеты, визу, деньги, письмо. Быстро выдвинул большой ящик стола и торопливо сгреб в него карточки, досье, шариковые ручки и коробочку со скрепками.

Харди с улыбкой ожидал его в конце коридора. Он стоял очень прямо, даже не прикасаясь к стене, и небрежно двумя руками держал перед собой папку.

Жером Боск постучали вошел в приемную.

— Я должен отлучиться на несколько дней, мадам Дюпор, — сказал он секретарше. — Этот господин...

— Значит, все-таки несчастный случай? — перебила она с испуганным видом.

«Что она еще выдумывает? — подумал он. — Но как сказать ей правду? Я не могу сказать, что через час буду сидеть в самолете на пути к Багамским островам».

— Нет, — ответил он вдруг охрипшим голосом. — Это вовсе не несчастный случай, скорее наоборот... Это... личные дела. Меня не будет несколько дней. Пожалуй, вам стоит подыскать себе временную заместительницу. Чтобы... чтобы отвечать на телефонные звонки. А я пришлю вам открытки с видами.

Наконец она решилась улыбнуться.

— Счастливого пути, мсье Боск!

Он направился к двери, затем приостановился.

— Если... если кто-нибудь мне позвонит, скажите, что я в отпуске. Я сейчас очень спешу. Короче, вы объясните за меня помощнику директора, ладно?

— Не беспокойтесь, мсье Боск! Счастливого пути.

— Благодарю вас.

В коридоре Харди доставал сигарету из красно-золотой коробки. Постучав мундштуком по замочку папки, он сунул сигарету в рот, из его кармана появилась зажигалка, вспыхнул огонек. Харди глубоко затянулся и, почти не разжимая губ, выпустил тонкую струйку дыма.

— Хотите сигарету, мсье Боск?

— Нет, спасибо. Я... я курю трубку.

Он пощупал карманы, хотя знал, что его вересковой черной трубки там нет — он оставил ее утром дома. Трубка

уже имела трещину, и жить ей оставалось, видимо, недолго, но он предпочитал ее другим. И вот забыл. Впрочем, он ее никогда и не брал на службу. Он курил ее только дома, когда писал или читал в тишине и покое своей квартиры при свете всех зажженных ламп.

— Мсье Вильденштейн обрадует ваше решение, мсье Боск. Он будет счастлив с вами познакомиться. Он любит людей, которые решаются быстро и без колебаний. Время дороже всего, не правда ли?

Они спустились по широкой каменной лестнице.

— Может быть, вам нужно кого-нибудь предупредить о своем отъезде, мсье Боск? — осведомился Харди. — Вы сможете позвонить из аэропорта.

Он взглянул на свои часы.

— Мы уже не успеем захватить к вам домой. Впрочем, это и неважно. Мсье Вильденштейн примерно вашего роста и у него богатый гардероб. А если понадобится, вы найдете в Нассо все необходимое. Сам мсье Вильденштейн любит путешествовать без всякого багажа.

Гравий дорожки скрипел у них под ногами.

— У вас во Франции удивительно удобные такси, мсье Боск. Перед отлетом из Лондона я только позвонил, и в Орли меня уже ожидала машина. Это радиофицированные такси, не правда ли? Наши лондонские такси чересчур старомодны. А в Нью-Йорке страшно трудно договорится с шофером, чтобы он вас подождал. Как вам нравится погода? Чудесный день, не правда ли? А в Лондоне утром шел дождь. В Нассо погода наверняка еще лучше. Но там небо не такое голубое, там нет этого нежного оттенка. Мне бы хотелось поговорить с вами о вашей книге, мсье Боск, но, к великому моему стыду, я еще не успел ее прочесть. Мои знания французского языка слишком несовершенны. Надеюсь, книгу скоро переведут. Уверен, что мсье Вильденштейн вам понравится. Это человек с темпераментом. Или, может быть, по-французски лучше сказать «с характером»?

— А теперь куда, барон? — спросил шофер, когда они уселись на заднее сиденье «ситроена».

— В Орли, — ответил Харди.

— Через Распай или через площадь Италии?

— По бульвару Сен-Жермен, а потом по бульвару Сен-Мишель, — сказал Харди. — Я всегда с удовольствием проезжаю мимо Люксембургского сада.

— Как хотите, но этот путь длиннее.

На бульварах было почти пусто. Светофоры впереди сразу зажигали зеленый свет, словно шофер управлял ими на расстоянии. «Нашей машине,— подумал Жером Боск,— не хватает только флажка да сирены. Впрочем, сирена разорвала бы эту мягкую тишину. Истинное могущество скромно. Ни шумихи, ни багажа. Главное — неприметность. И вместо всех виз и паспортов — одно имя. Этого довольно».

Когда они проезжали мимо Люксембургского сада, радио в машине прерывисто зажужжало. Это был аппарат старого выпуска, с диском, как у телефона. Шофер, не снижая скорости, снял трубку и повесил ее на крючок на уровне уха.

— Слушаю,— сказал он.

Гнусавый голосок пропищал что-то.

Шофер глянул в зеркальце.

— Это вы, мсье Боск? — спросил он.

— Да, я,— ответил Жером Боск.

— Вообще это против правил, но кто-то хочет поговорить с вами. Должно быть, важный шишка, если оператор согласился вас соединить. Потому что это не телефонная будка, а такси. Есть разница! Но если уж соединили, берите трубку. Первый раз в жизни вижу такое! А я за рулем уже двадцать лет, так что сами понимаете...

С пересохшим горлом Жером Боск взял трубку. Для этого ему пришлось сильно наклониться вперед и почти лечь грудью на спинку переднего сиденья, потому что шнур был слишком короткий. Он положил подбородок на вытертый бархат обивки и сказал:

— Алло!

— Жером! — послышался голос. — ...удалось вас найти... очень трудно... Никуда не уезжайте, ради всего святого! Произойдет... Не...

Помехи. Треск.

— Из какого времени вы звоните? — спросил Жером Боск, стараясь говорить тихо и одновременно твердо.

— Зачем... зачем... зачем? — простонал голос, дребезжащий, жалобный, плачущий. — Из... завтра... или после... Не знаю.

— Почему я не должен...

Он умолк, боясь, что Фред Харди услышит. «Ведь он

специально прилетел из Лондона, чтобы проводить меня до самолета!»

— Несчастный случай,— сказал голос. Теперь он был гораздо ближе, чем все предыдущие разы. Но от того, что он стал отчетливее, этот голос показался Боску еще более усталым и жалким.

— Кто со мной говорит?

— Ввв... вы сами,—прошептал голос одному Жерому Боску.— Я уже...

— Тогда почему вы обращаетесь ко мне на «вы»?—резко спросил Жером Боск.

— Я так далеко... так далеко,—пожаловался голос, словно это что-то объясняло.

Машина прибавила скорость. Они мчались, заезжая на левую сторону шоссе.

Внезапная догадка ошеломила Жерома Боска, как удар по голове.

— Вы... вы больны?—с трудом проговорил он.

Другого он не осмелился сказать. Во всяком случае, не здесь, при шофере, при Фреде Харди.

— Нет, нет, нет,—зарыдал голос.— Не это... не это... хуже. Это ужасно! Не надо... ни в коем... Я... я жду.

— Не надо чего?

— Не надо уезжать,—отчетливо произнес голос и тут же смолк, словно убитый последним, невероятным, отчаянным усилием.

Жером Боск все еще опирался грудью о спинку переднего сиденья. По лбу его струился пот. Трубка выскользнула из руки, дернулась и повисла, раскачиваясь на коротком шнуре, то ударяясь о металл щитка, то задевая колено шофера.

— Вы кончили?—спросил тот.

— Да, кажется,—ответил Жером Боск почти шепотом.

— Ну и хорошо,—сказал шофер и положил трубку на рычаг.

Реактивный самолет пронесся очень низко над шоссе.

— Вы, кажется, нервничаете, мсье Боск,—заметил Фред Харди.

— Нет, ничего,—проговорил Боск.— Это пустяки.

Он думал: «Я еще никуда не улечу. Я могу раздумать. Сказать, что меня отозвали. Важное, срочное дело. Перенести все на завтра».

— Воздух Нассо пойдет вам на пользу, мсье Боск,—ска-

зал Харди.—Суета больших городов плохо действует на нервы.

— Куда подъезжать, к «отлету» или «прилету»?—спросил шофер.

— К «отлету»,—ответил Харди.

Машина остановилась у тротуара. Наклонившись вперед, Жером Боск увидел на счетчике трехзначную цифру. Харди расплатился. Стеклопанные двери аэровокзала автоматически распахнулись перед ними. Они миновали очереди у окошек регистрации пассажиров и вошли в маленькую скромную комнату. Жером Боск сунул руку в левый внутренний карман пиджака, туго набитый документами—паспортом, билетами, чеками, визой и письмом. Формальности заняли несколько минут.

— Нет, не сюда,—остановил его Харди, когда Жером Боск направился к большой лестнице. Он подвел его к узкому коридору. Здесь мрамор пола скрывал толстый ковер. Дверь бесшумно скользнула в стену.

— Уже возвращаетесь, мсье Харди?—спросил лифтер.

— Увы, да,—ответил Харди.—Мне никогда не удается погостить в Париже.

Они очутились в зале наверху.

— У вас достаточно времени, чтобы купить газеты, мсье Боск. Или книгу. До Нассо десять часов полета, включая остановки. Из Лондона есть прямой рейс, но только раз в неделю.

«Я могу отказаться,—подумал Жером Боск.—Поблагодарить, дожидаться, когда он улетит в Лондон, пообещать вылететь завтра. Сказать, что кое-что забыл. Из какого времени он мне звонил? Почему он сказал «завтра»? Как он мог звонить мне из завтра? Завтра я буду знать не больше чем сегодня, как звонить из будущего. Кто это был?»

Атмосфера зала ожидания начинала его опьянять.

— Вы не дали мне времени даже захватить плащ,—сказал он.

— А зачем? В Нассо он вам не понадобится. Скорее вам нужен будет легкий костюм. Но там есть превосходные английские портные. Из лучших лондонских ателье.

По ту сторону стеклянной стены пассажиров ожидали гигантские лайнеры. Одни стояли неподвижно, словно оцепенев, другие медленно катились на толстых колесах. Третьи с дальнего конца взлетной полосы, сверкая выхлопами реактивных двигателей, вдруг устремлялись вперед,

никак не могли оторваться, а затем так же внезапно круто взмывали в воздух. «Я попал в аквариум. Даже звуки не проникают в эту стеклянную тюрьму. Но там, по другую сторону, в синем небе—свобода!»

Внимание Жерома Боска отвлекла девушка, появившаяся в зале в двух экземплярах. Двойняшки. Похожи как две капли воды. Длинные локоны медового цвета обрамляли два одинаковых лица, довольно банальных, но удивительно свежих. Ноги у них были длинные и стройные. У каждой на ремне через плечо висела сумочка из красной кожи. «Снимаются в кино или для рекламы»,—подумал Жером Боск, искренне удивленный, что его не отделяет от них витрина фотографа, или непреодолимая глубина киноэкрана, или холодный лак журнальной обложки. Писательская фантазия тотчас принялась изобретать рассказ. Историю человека, который влюблен в одну из двойняшек, неважно какую, и не знает, кого выбрать. А или Б? Он избирает А. Вскоре оказывается, что у нее сварливый характер. Он понимает, что должен был жениться на отзывчивой и доброй Б, которая тайно в него влюблена. Что делать? Развестись и жениться на Б? Она никогда не согласится. Она слишком любит свою сестру. И тогда он придумывает способ звонить по телефону сквозь время. В тот день, когда он принял решение, он звонит самому себе. «Женись на Б!»—в отчаянии кричит он своему неуверенному «я» из прошлого. Что предпримет его прошлое «я»? А что, если Б со временем окажется такой же сварливой? «Абсолютный идиотизм»,—сказал себе Жером Боск.

— Это сестры Бертольд,—услышал он голос Фреда Харди.—Выдают себя за шведок, но на самом деле они из Австрии, а может быть, из Югославии. Мсье Вильденштейн хотел их использовать. Но они не умеют играть. Ничего не выходит. И никакой индивидуальности. Словно одна—зеркальное отражение другой, и наоборот. В Голливуде Джонатан Крэг утверждал, что у них даже тепь одна на двоих. Теперь они будут сниматься в каком-то маленьком французском фильме.

— Вы, наверное, встречаете в аэропортах одних и тех же людей, мсье Харди.

— О нет, но иногда попадаются знакомые лица. Особенно на линии Париж—Лондон—Нью-Йорк. Как в пригородной электричке. Лондон сегодня—это пригород Нью-Йорка, мсье Боск.

— А не опасно летать на самолетах?—неожиданно для себя наивно спросил Жером Боск. В ушах его звучал голос: «Несчастье... Несчастный случай!»

— Разумеется опасно, мсье Боск. Но не более чем ездить на машинах. Есть статистические данные. Я летаю по крайней мере три раза в неделю. А мсье Вильденштейн является членом Клуба миллионеров. Вы, наверное, слышали? Это значит, что он налетал больше миллиона километров. И ни одного несчастного случая. Вы летали на самолете, мсье Боск?

— Летал,—ответил Жером Боск, вдруг устыдившись собственного малодушия.— Два или три раза в Лондон, один раз в Тунис, один раз в Нью-Йорк. Кроме того, в Берлин и Ниццу... Но я не переношу взлет и посадку.

Ему захотелось рассказать, как в Алжире во время войны он видел горящий вертолет. В нескольких метрах над землей аппарат повис, словно огромная муха, потом вдруг неизвестно почему закачался, резко нырнул и опрокинулся. Пламя было, как при вспышке магния. И никакого взрыва, только густой черный дым и огонь, и вой пожарных сирен, и снежный саван пены из огнетушителей над жалким холмиком чуть больше метра высотой—один лишь мотор и остался от этого вертолета.

— Погода прекрасная, мсье Боск,—сказал Фред Харди.— Вы долетите великолепно. Смотрите, ваш рейс уже объявили.

Жером Боск повернулся к светящемуся панно, искал глазами и прочел: «Рейс 713. Боинг, Париж—Нью-Йорк—Майами—Нассо, зал 32».

— У нас достаточно времени,—успокоил его Харди.— Право, вам стоит купить газеты, книгу, трубку, табак. Или вы предпочитаете в полете поразмышлять? В самолетах так хорошо думается, никто не мешает.

Взгляд Жерома Боска скользнул на две строчки ниже: «Париж—Лондон, Эр Франс, рейс А, зал 57. Рейс Б, зал 58».

— Это ваши рейсы?

Фред Харди посмотрел на панно.

— Хм, их, оказывается, два!

— На каком самолете вы полетите?—спросил вдруг Жером Боск.

— Это не имеет значения,—сказал Харди.— Если на рейс А не будет мест, меня посадят на рейс Б. Насколько я знаю, они прибывают одновременно. «Но если с самолетом рейс-

са Б что-нибудь случится,—подумал Жером Боск,—может быть, стоит потребовать место на рейс А? Впрочем, с математической точки зрения шансы равны. Как тут выбрать?»

— Вас спрашивают,—сказал Фред Харди.

— Меня? Кто?

— Вызывают по радио,—сказал Харди.—Может быть, мсье Вильденштейн?

Он улыбнулся, легко держа сигарету пальцами, элегантный, безупречно одетый, с черной папкой, лежащей рядом на ручке кресла.

Радио молчало. Затем:

— Мсье Жерома Боска просят зайти в приемную аэропорта,—произнес какой-то бесполой и вместе с тем женский голос, вернее, ангельский, слишком серьезный, слишком мягкий, слишком спокойный.

— Наверное, вас просят к телефону,—сказал Фред Харди.—Вот сюда. Прямо. Хотите, я куплю вам газеты? Может быть, трубку? Пенковую или вересковую? Какой табак вы предпочитаете, мсье Боск? Голландский или данхилл?

Но ошеломленный Жером Боск уже уходил, спотыкаясь. Чересчур много шума. Чересчур много лиц. Как бы не заблудиться. Где же это? Таблички на дверях. Вот приемная.

Он уцепился за стойку, как утопающий. Он понял. Эта мысль только что пришла ему в голову. До сих пор она металась, как рыбка в закрытом аквариуме. В круглом аквариуме. Теперь он понял. Он верил всему.

— Я Жером Боск,—сказал он улыбающейся женщине в сером берете, лихо надвинутом на лоб. Глаза у нее были неестественно большие, густо подмазанные черной краской, и зубы тоже неестественно крупные.

— Меня только что вызывали,—нервно пояснил Жером Боск.—Я Жером Боск.

— Да, конечно, мсье Боск. Минуточку, мсье Боск.

Она нажала невидимую кнопку, сказала что-то, выслушала ответ.

— Вас к телефону, мсье Боск. Третья кабина. Нет, не сюда. Кабина налево.

Дверь закрылась за ним автоматически. Стало тихо. Рев самолетов сюда не доходил. Он снял трубку и, не дожидаясь ответа, сказал:

— Я не хочу лететь.

— Ты не можешь теперь отступить,— сказал голос левого телефона, голос твердый и решительный.

— Тот, другой,— сказал Жером Боск,— он звонит не из твоего будущего. Он звонит из другого будущего. С ним что-то случилось. Он сел на самолет, и произошла катастрофа, и он...

— Ты сошел с ума! — сказал твердый голос.— Ты просто боишься лететь и выдумываешь бог знает что. Я тебя хорошо знаю, представь себе.

— Может быть, я выдумываю и тебя тоже? — сказал Жером Боск.

— Послушай, мне и так еле удалось до тебя дозвониться. Я знал, что ты снова начнешь колебаться. Но я не хочу, чтобы ты упустил эту возможность.

— Если я не полечу,— сказал Жером Боск,— ты не будешь существовать. Вот поэтому ты и настаиваешь.

Ну и что? Ведь я — это ты, не так ли? Я тебе все рассказал. Ибица. Акапулько. Все время можно писать. И Барбара. Боже мой, я не должен тебе этого говорить, но ты женишься на Барбаре. Не можешь же ты от нее отказаться! Ты ее любишь.

— Я с ней еще незнаком,— сказал Жером Боск.

— Скоро познакомишься. Она будет от тебя без ума. Но не все сразу. Десять лет, Жером, у тебя впереди больше десяти лет счастья! Она будет играть во всех твоих фильмах. Ты будешь знаменит.

— Дай мне подумать,— взмолился Жером Боск.

Жером Боск взглянул на свои часы.

— Десять минут пятого.

— Тебе пора в самолет.

— Но как быть с другим голосом, который мне звонил неизвестно откуда? Он просил не улетать. Другое будущее, другая вероятность. Он говорил, что звонит из завтрашнего дня.

— Другое будущее? — неуверенно переспросил голос.— Но весь я уже в будущем, не так ли? Я сел на этот самолет и ничего со мной не случилось. Я летал на самолетах сотни раз. Теперь я член Клуба миллионеров. Ты знаешь, что это такое? И ни одной катастрофы.

— Тот, другой, попал в катастрофу,— упрямо сказал Жером Боск.

Тишина. Потрескивание. Какой-нибудь рачок грызет кабель где-нибудь на дне океана.

— Предположим,— сказал голос,— есть какой-то риск. Но почему не рискнуть? Посмотри на статистику. Девяносто девять шансов из ста за то, что ты долетишь благополучно. Даже больше! Девяносто...

— Почему я должен верить тебе?— прервал Жером Боск.— Почему не другому?

— ... шансов из двух...

— Алло!— сказал Жером Боск.— Я тебя плохо слышу.

— Но даже если бы оставался один шанс из двух,— теперь голос уже кричал, однако становился все тише, уходил все дальше, словно человек надрывался в наглухо закрытой удаляющейся автомашине,— даже тогда ты должен рискнуть. Ты ведь не хочешь всю жизнь корпеть в своей конторе?

— Нет,— признался Жером Боск, сдаваясь.

Голос ослабевал, уходил, словно тот, на другом конце, погружался в глубину, в путаницу водорослей, уходил в бесконечный лабиринт телефонной сети.

— Торопись!— пропищал он, как комар.— Ты опоздаешь на самолет.

Щелчок.

— Алло! Алло!— крикнул Жером Боск.

Тишина. Аппарат молчал. Он взглянул на часы: шестнадцать пятнадцать. «Подожду еще минуту-другую. Харди, наверное, думает, куда я пропал. Я опоздаю на самолет. А может, не улетать?»— спросил себя Жером Боск.

— Уже пора,— с улыбкой сказал Фред Харди.— Я купил вам папку. И пенковую трубку. Мсье Вильденштейн предпочитает пенковые трубки, потому что их не надо — как это вы говорите? — обкуривать. Три пачки табаку. Здесь «Монд», «Фигаро», «Нью-Йорк таймс», «Пари-матч», «Плейбой» и последний номер «Фантастики». Кажется, вы печатаете ваши рассказы в этом журнале? Еще я купил вам зубную щетку. Времени у нас в обрез. Нет, вот сюда!

Полицейский улыбнулся Фреду Харди и махнул рукой. Таможенник не задержал их.

— Скажите господину Вильденштейну, что в Лондоне все идет хорошо, мсье Боск. Я позвоню ему завтра. Нет, мсье Боск, сюда.

Из репродукторов лилась мягкая нежная музыка.

Они быстро шли по бесконечно длинному коридору, упиравшемуся в большое зеркало, как бы навстречу своим отражениям. Но не столкнулись с ними. Фред Харди, креп-

ко взяв Жерома Боска за локоть, заставил его сделать пол-оборота направо, и они спустились вниз по маленькому эскалатору.

Зал ожидания был разделен на две части. Справа — очередь пассажиров. Жером Боск хотел в нее встать. Но Фред Харди потянул его к другой двери. У нее почти никого не было. Только какой-то мужчина в сером костюме с каменным лицом, с черным портфелем из сверкающей кожи и женщина, очень высокая и очень красивая, с длинными платиновыми волосами, ниспадающими на обнаженные плечи. Она ни на кого не смотрела.

Оставалось пройти еще одну дверь.

«Я не хочу лететь, — подумал Жером Боск, бледнея. — Притворюсь, что мне плохо или что у меня свидание, о котором я забыл, или что я должен взять с собой рукопись. Нет, я им ничего не скажу. Не могут же они меня заставить! Не могут увезти силой!»

— Возьмите, — сказал Фред Харди, протягивая ему папку. Желаю вам счастливого перелета. С удовольствием полетел бы вместе с вами, но в Лондоне меня ждут дела. Может быть, я тоже выберусь на Багамы в конце месяца. Весьма рад был с вами познакомиться, мсье Боск.

Дверь открылась. Вошла стюардесса, улыбнулась своим трем пассажирам первого класса. Взяла их красные билеты и сделала приглашающий жест:

— Пожалуйста, проходите. Прошу занять места в автокаре.

Прощайте, мсье Харди, — сказал Жером Боск, выходя на поле.

В вагончике автокара, где сидит Жером Боск, почти пусто. Автокар медленно катится по гладкому бетону, маршрут его сложен и извилист, хотя никаких указателей вроде бы нет. Жером Боск не чувствует ничего, даже легкого возбуждения, которое вызывает любая поездка. Он думает, что теперь-то его уже никто не достанет по телефону, но в этом он ошибается. Он думает, что никто больше не попытается повлиять на его поступки, потому что это уже не имеет значения, уже слишком поздно. Автокар останавливается. Жером Боск сходит на бетон, и автокар тотчас уезжает за пассажирами второго класса. Он поднимается по передвижному трапу, придвинутому к носу самолета. Войдя в салон первого класса, он останавливается в нерешит-

тельности. Его проводят к креслу возле иллюминатора перед самым крылом самолета, и он покорно следует за стюардессой. Под ее бдительным взглядом он застегивает страхующие ремни. Позади он слышит топот ног и голоса пассажиров второго класса, которые занимают свои места. Он видит, как стюардесса направляется к кабине летчиков, исчезает там на мгновение, возвращается, берет в руки микрофон. Он слышит, как она приветствует пассажиров на трех языках, просит их погасить сигареты и проверить ремни. Зажигается табличка, повторяющая ее инструкции. Ему предлагают поднос с леденцами. Он берет один, покислее. Он знает, что это всего лишь дань традиции, потому что самолеты герметичны и его барабанные перепонки не пострадают, даже если он не будет сглатывать слюну; к тому же он проглотит свой леденец еще до окончания взлета. Самолет трогается с места. Жерому Боску кажется, что он видит за стеклянной дверью уже далекого аэровокзала высокий, элегантный силуэт Фреда Харди. Самолет останавливается. Моторы ревут, и самолет без предупреждения устремляется вперед, прижимая Жерома Боска к спинке кресла. Он пытается заглянуть в иллюминатор. Самолет уже в воздухе. Толчок снизу — это шасси спрятались в свои гнезда.

Жером Боск переводит дыхание. Ничего с ним не случится. Ему протягивают газету, утренний выпуск, машинально он открывает ее на экономическом разделе, и взгляд его останавливается на маленькой метеорологической карте. Он откладывает газету. Открывает молнию на папке, ищет и находит там трубку, разглядывает ее — высшего качества! — набивает и раскуривает. Ему подаются виски. Он плывет над облаками. Интересно, может быть, в складках этих облачных гор тоже возникают и развиваются эфемерные миры с их историей и культурой? Ему кажется, что он уже забыл все телефонные звонки. Он пробует представить себе Багамы, Нассо. И постепенно свыкается с мыслью, что он уже летит. Он начинает обживать свое место, свой салон. Пробует, как откидывается кресло. Раздумывает над относительной вероятностью своих двух будущих. Ему кажется, но в этом он не уверен, что голос слева, отчетливый и твердый, голос Ибицы, Акапулько, Барбары, от разговора к разговору все время удалялся, становился все менее разборчивым, в то время как тот, другой, приближался и становился яснее. Все дело

в телефонной сети. Ему приносят ужин. Предлагают шампанское. Он разглядывает стюардессу, которая, проходя мимо его кресла, каждый раз улыбается. Снова просит шампанского. Пьет кофе. И засыпает.

Когда он просыпается — который же теперь час? — самолет летит над океаном и в небе вокруг ни единого облачка. Жерому Боску ничего не спилось или он просто не может вспомнить свои сны. Глядя на воду внизу, он испытывает дурацкое сожаление, что не захватил плавок. Впрочем, у мсье Вильденштейна наверняка дюжина плавок. Наконец Жером Боск соображает, что стюардесса обращается к нему. Она протягивает ему голубой листок, свернутый по особому, как телеграмма. Вид у нее удивленный.

— Это вам, мсье Боск. Радист извиняется, но ему удалось разобрать лишь несколько слов. Вокруг полно статических разрядов. Он просил подтверждения, но ничего не добился.

Жером Боск разворачивает листок и читает всего два слова, нацарапанных шариковой ручкой: «До скорого...»

«Вильденштейн», — думает он. Но он в этом не уверен.

— Пожалуйста, — просит он, — пожалуйста, вы не можете спросить у радиста, на что был похож голос?

— Я узнаю, — говорит стюардесса, удаляется, исчезает в кабине пилотов и вскоре возвращается.

— Мсье Боск, — говорит она, — радист не может как следует описать голос. Он просит его извинить. Он говорит, что передача шла с очень близкого расстояния, сигнал был очень мощным и, несмотря на помехи, ему кажется, что, кроме этих слов, ничего не было передано. Он еще раз потребовал подтверждение.

— Благодарю вас.

Жером Боск видит, как стюардесса отходит, берет микрофон и, набрав воздуха, произносит глубоким нежным голосом:

— Дамы и господа, прошу внимания! Мы входим в зону воздушных возмущений. Пожалуйста, погасите сигареты и застегните ваши пояса. Леди и джентльмены, пожалуйста, застегните ваши пояса, — повторяет она по-английски.

Жером Боск больше не слушает. Сквозь иллюминатор он видит в глубине только что ясного неба почти черную тучку, воздух темнеет и завихряется над ней, и самолет летит прямо туда. Прямо в зрачок небесного синего окраса расширяющийся и черный, черный, черный...

— Почему «Стальные»?— спросил Жан Монье.

— Пятьдесят девять с четвертью,— ответила одна из двенадцати машинисток.

Стук их машинок, сплетаясь, создавал джазовый ритм. В окно видны были небоскребы Манхаттана. Телефоны гудели, торопливо ползли бумажные ленты, на которых теснились буквы и цифры, и, злоеюще извиваясь, наводняли помещение.

— Почему «Стальные»?— снова спросил Жан Монье.

— Пятьдесят девять,— ответила Гертруда Оуэн.

Она на минуту перестала стучать и взглянула на молодого француза. Тот сидел, откинувшись в кресле, закрыв лицо руками, и, казалось, был совершенно разбит.

«И этот тоже играл,— подумала она,— что ж, тем хуже для него — и тем хуже для Фанни...»

Жан Монье, доверенный нью-йоркского филиала банка Гольмана, два года назад женился на своей секретарше-американке.

— Почему «Кенникот»?— опять спросил Жан Монье.

— Двадцать восемь,— ответила Гертруда Оуэн.

За дверью послышался громкий голос. Вошел Гарри Купер. Жан Монье встал.

— Ну и денек на бирже!— воскликнул Купер.— Двадцать процентов понижения

Печатается по изд.: Моруа А. Палас-отель «Танатос». — В сб.: Рассказы французских писателей: Пер. с франц.—М.: Мир, 1964. Пер. изд.: Maurois A. "Thanatos" Palace-hôtel.— В сб.: Le dîner sous les marronniers, Paris, 1951.

© перевод на русский язык с исправлениями, «Мир», 1986

* Танатос — thanatos (греч.) — смерть.

по всей котировке! И еще находятся дураки, которые твердят, что это не кризис!

— Самый настоящий кризис,—сказал Жан Монье и вышел.

— И этот влип,—заметил Гарри Купер.

— И еще как!—подхватила Гертруда Оуэн.—Спустил все до последней рубашки. Мне Фанни сама сказала. Она сегодня же вечером от него уйдет.

— Ничего не поделаешь,—закключил Гарри Купер.—Наступил кризис.

Вычурные бронзовые дверцы лифта раскрылись.

— Вниз,—сказал Жан Монье.

— Почему «Стальные»?—спросил лифтер.

— Пятьдесят девять,—ответил Жан Монье.

Он покупал их по сто двенадцать: пятьдесят три доллара убытка на акцию. Со всеми прочими бумагами дело тоже обстояло не лучше. Небольшой капитал, сколоченный им в Аризоне, весь ушел на покрытие биржевых операций. У Фанни гроша за душой не было. Все кончено. Он вышел на улицу и, быстро шагая к станции метро, попытался представить свое будущее. Начать сначала? Если Фанни выкажет мужество, это не так уж неосуществимо. Он вспомнил первые этапы борьбы, огромные стада, которые он пас в прериях, свое быстрое возвышение. Ведь ему нет и тридцати! Но он знал, что Фанни будет безжалостна.

Он не ошибся.

Когда на другое утро Жан Монье проснулся в одиночестве, он окончательно пал духом. Несмотря на черствость Фанни, он ее любил. Негритянка, как всегда, подала ему ломтик дыни, овсяную кашу, затем попросила денег.

— Хозяйка где, мистер?

— Уехала на время.

Он дал ей пятнадцать долларов, после чего подсчитал свою наличность. Оказалось—без малого шестьсот долларов. На эти деньги можно было прожить два, пожалуй, и три месяца... А потом? Он посмотрел в окно. Вот уже неделя, как в газетах почти ежедневно печатались сообщения о самоубийствах. Банкиры, маклеры, биржевые спекулянты предпочитали смерть продолжению уже проигранной битвы. Броситься с двадцатого этажа? Сколько секунд займет падение? Три? Четыре? И затем шмякнешься оземь. А что, если не умрешь сразу? Он вообразил жесто-

чайшие страдания, раздробленные конечности, истерзанное тело. Вздохнув, Монье сунул под мышку газету, пошел в ресторан завтракать и был удивлен тем, что оладьи, политые кленовым сиропом, все же показались ему вкусными.

— Отель «Танатос», Нью-Мексико... От кого бы это? Какой у отправителя странный адрес!

Пришло еще и письмо от Гарри Купера; Жан Монье начал с него. Патрон спрашивал, почему он не является на службу, и уведомлял, что по его онкольному счету банку следует восемьсот девяносто три доллара. Как он намерен уладить это дело?.. Вопрос, подсказанный либо жестокостью, либо простодушием. Впрочем, простодушием Гарри Купер не грешил.

Жан Монье взялся за второе письмо. Под виньеткой с изображением трех кипарисов было написано:

Отель «Танатос»

Директор: Генри Берстекер

Глубокоуважаемый господин Монье, наше обращение к Вам сегодня — не случайность, а результат наблюдений, позволяющих надеяться, что наши услуги окажутся Вам полезными.

Вы, несомненно, заметили, что в жизни самого мужественного человека могут возникнуть обстоятельства настолько тягостные, что борьба становится непосильной и мысль о смерти представляется спасительной.

Закрывать глаза, уснуть, никогда уже не пробудиться, не слышать вопросов, упреков... Многие из нас тешили себя этой мечтой, деляли это желание... И однако, за некоторыми весьма редкими исключениями, люди не дерзают избавиться от своих бедствий, и это становится понятным, когда наблюдаешь тех, кто пытался это сделать: ведь большинство покушений на самоубийство оказываются трагическими неудачами. Человек хотел пустить себе пулю в лоб — и достиг лишь того, что повредил зрительный нерв и ослеп. Другой, надеявшийся при помощи сильнодействующего снотворного, ничего не почувствовав, перейти в небытие, ошибся дозой и три дня спустя проснулся парализованный, с размягчением мозга, начисто утратив память. Лишить себя жизни — искусство, не терпящее посредственности и дилетантства, а вместе с тем, по самой его сути, усовершенствоваться в нем путем опыта невозможно.

Так вот, глубокоуважаемый господин Монье, если, как мы полагаем, эта проблема Вас интересует, мы готовы помочь Вам приобрести такой опыт. Имея в своем распоряжении отель на границе Соединенных Штатов и Мексики, в местности настолько уединенной, что никакой стеснительный надзор там невозможен, мы сочли своим долгом предоставить тем из наших братьев, которые по серьезным и веским причинам желают уйти из жизни, возможность сделать это безболезненно и, если дозволено так выразиться, не подвергаясь никакому риску.

В отеле «Танатос» смерть постигнет Вас во сне самым деликатным образом. Благодаря высокой технике, достигнутой за пятнадцать лет непрерывной успешной работы (в истекшем году число наших клиентов превысило две тысячи), мы можем гарантировать точнейшую дозировку и немедленный результат. Добавим, что тех клиентов, у которых по религиозным мотивам возникают тягостные сомнения, мы искуснейшим образом освобождаем от всякой моральной ответственности за то, что случится.

Мы отлично знаем, что большинство наших клиентов располагают лишь ограниченными средствами и что число самоубийств обратно пропорционально цифрам погашения задолженности по банковым счетам. Поэтому мы старались без малейшего ущерба для комфорта снизить, насколько возможно, цены в «Танатосе»: Вам достаточно будет по прибытии внести в кассу отеля триста долларов. Эта сумма пойдет на покрытие всех издержек, связанных с Вашим пребыванием у нас (предполагаемая длительность которого должна остаться неизвестной Вам), на расходы по самой процедуре, на похороны и, наконец, на содержание в должном порядке могилы. По весьма понятным причинам, сюда входит и все прочее обслуживание, в том числе чаевые.

Необходимо упомянуть, что отель «Танатос» расположен в живописнейшей местности, что у нас имеются четыре теннисных корта, плавательный бассейн и гольф на восемнадцать лунок. Поскольку наша клиентура состоит из лиц обоего пола, принадлежащих главным образом к избранному обществу, пребывание там чрезвычайно приятно, а своеобразие всей ситуации придает ему особую прелесть. Приезжающих просят выходить на станции Диминг, куда из отеля высылают автобус. Просьба письмом или телеграммой известить о своем прибытии самое меньшее за два

дня. Телеграфный адрес: Танатос, Коронадо, Нью-Мексико.

Жан Монье взял колоду карт и принялся раскладывать пасьянс, которому его научила Фанни.

Ехать пришлось очень долго. Много часов подряд поезд мчался среди хлопковых полей, где над белой кипенью мелькали головы рабочих-негров. Затем сон и чтение попеременно заполнили еще два дня и две ночи. Наконец ландшафт стал гористым, величественно-пустынным, фантастическим. Поезд мчался по дну глубокого ущелья, меж сказочно высоких гор, изборозженных огромными лиловыми, желтыми, красными полосами. Нескончаемой лентой стлались низкие облака. На маленьких станциях, где останавливался поезд, толпились мексиканцы в широких войлочных шляпах, в кожаных, затейливо расшитых куртках.

— Следующая станция — Димини, — сказал Жану негроводник спального вагона. — Почистить ботинки, масса?

Француз убрал свои книги и закрыл чемодан. Он дивился тому, каким простым оказалось для него последнее путешествие. Послышался шум горного потока. Завизжали тормоза. Поезд остановился.

— Вам в «Танатос», сэр? — спросил индеец-носильщик, бежавший вдоль вагонов.

На его тележке уже лежали вещи двух юных белокурых девушек, шедших следом за ним.

«Неужели, — подумал Жан Монье, — эти очаровательные создания приехали сюда, чтобы умереть?»

Они тоже смотрели на него пристально, без улыбки, и едва слышно переговаривались.

Автобус отеля «Танатос» нисколько не походил на погребальную колесницу, как этого можно было опасаться. Ярко-голубой, отделанный внутри в синих и оранжевых тонах, он блистал на солнце среди ветхих колымаг, придававших площади, где переругивались испанцы и индейцы, сходство с рынком металлолома. Скалистые горы по обеим сторонам пути поросли лишайником; он сплошным сизым налетом обволакивал камень. Еще выше ярко сверкали прожилки руды. Шофер был толстяк с глазами навывкате, одетый в серую форменную куртку. Жан Монье уселся рядом с ним — из скромности и чтобы не мешать своим спутницам; затем, пока машина головокружи-

тельно крутыми поворотами подымалась в гору, француз попытался завязать разговор с водителем.

— Давно вы шофером в «Танатосе»?

— Три года,—пробурчал тот.

— Странная у вас, по-видимому, служба.

— Странная?—огрызнулся толстяк.—Чем это? Я веду свою машину. Что тут странного?

— А случилось вам везти вниз тех, кого вы доставляете наверх?

— Не так уж часто,—ответил шофер, несколько смутившись.—Не так уж часто... Но бывает. Я сам тому пример.

— Вы! Правда? Вы приехали сюда на положении... клиента?

— Сэр,—сказал толстяк,—я поступил на эту службу, чтобы забыть о самом себе, и эти петли—опасная штука. А вам ведь все-таки не хочется, чтобы я угробил и вас и этих милых девушек?

— Разумеется, нет,—ответил Жан Монье.

Затем у него мелькнула мысль, что его ответ смешон, и он улыбнулся.

Два часа спустя шофер молча указал ему на показавшееся над высокогорным плато здание отеля.

«Танатос» был выстроен в испано-индейском стиле: приземистое здание с плоскими крышами. Цементные стены в подражание глинобитным довольно грубо выкрашены в красный цвет. Комнаты выходили на юг, на залитые солнцем веранды. Навстречу путешественникам вышел портье итальянец. При первом же взгляде на его бритое лицо Жану Монье вспомнилась какая-то другая страна, улицы какого-то большого города, бульвары в цвету.

— Где, черт возьми, я вас видел?—спросил он портье, когда коридорный взял его чемодан.

— В Барселоне, мсье, в отеле «Риц»... Моя фамилия—Саркони... Я уехал из Барселоны в начале революции...

— Из Барселоны—в Нью-Мексико! В такую даль!

— О мсье! Служба портье всюду одинакова... Разве что бланки, которые вам придется здесь заполнить, чуть посложнее, чем в других местах... Прошу прощения, мсье.

Действительно, в печатных бланках, врученных вновь прибывшим, было множество граф, вопросов и всякого рода примечаний. Рекомендовалось точнейшим образом ука-

зять место и дату рождения, а также лиц, которых надлежит известить в случае несчастья. Далее значилось: «Просьба указать не менее двух адресов родственников или друзей, а главное — переписать от руки на том языке, которым вы обычно пользуетесь, нижеследующее заявление:

Я,, будучи в здравом уме и твердой памяти, настоящим удостоверяю, что ухожу из жизни добровольно и что дирекция и персонал отеля «Танатос» не должны нести никакой ответственности за мою смерть».

Сидя друг против друга за соседним столом, белокурые девушки старательно переписывали заявление. Жан Монье подметил, что они выбрали немецкий текст.

Генри М. Берстекер, директор отеля, — осанистый человек в золотых очках — гордился своим заведением.

— Отель принадлежит вам? — спросил его Жан Монье.

— Нет, мсье, отель принадлежит акционерной компании, но идея его создания возникла у меня, и я состою пожизненным директором.

— Как это вам удастся избежать неприятных осложнений с местными властями?

— Осложнений? — с удивлением и раздражением в голосе переспросил мистер Берстекер. — Но ведь мы не делаем ничего, мсье, что шло бы вразрез с обязанностями владельцев отелей. Мы доставляем нашим клиентам то, что они желают, все, что они желают, и ничего больше... Впрочем, мсье, здесь и нет местных властей, так как не известно, где именно в этом уголке земли проходит граница, и никто в точности не знает, принадлежит ли он Мексике или же Соединенным Штатам. Долгое время это нагорье слыло недоступным. По древнему поверью, сотни лет назад какое-то индейское племя собралось здесь, чтобы всем вместе умереть и таким образом избежать порабощения европейцами. Окрестные жители были убеждены, что души умерших возвращаются живым селиться здесь. Вот почему мы смогли приобрести этот участок по сходной цене и обеспечить себе независимость.

— И семьи ваших клиентов никогда не возбуждают против вас судебного преследования?

— Против нас?! — негодуя воскликнул мистер Берстекер. — Чего ради, великий боже! Да и какой суд станет нас судить? Семьи наших клиентов, мсье, бесконечно сча-

стливы, когда в тиши, негласно разрешаются дела щекотливые, более того — почти всегда весьма тягостные... Нет-нет, мсье, все происходит здесь по-хорошему, корректно, и к нашим клиентам мы относимся поистине дружески... Не угодно ли вам посмотреть вашу комнату?.. Если вы не возражаете, мы поместим вас в номере 113... Вы не суеверны?

— Отнюдь нет, — ответил Жан Монье. — Но я получил религиозное воспитание и должен вам признаться — мысль о самоубийстве несколько смущает меня...

— Но о самоубийстве не может быть и речи, мсье! — заявил мистер Берстекер таким безапелляционным тоном, что его собеседник не решился настаивать.

— Саркони, проводите мсье Монье в номер 113. Что касается условленных трехсот долларов — будьте любезны по пути занести их в кассу: это рядом с моим кабинетом.

В номере 113, ярко освещенном чудесным закатом, Жан Монье тщетно искал признаки каких-либо смертоносных устройств.

— В котором часу ужин?

— В восемь тридцать, сэр, — ответил слуга.

— Нужно переодеться?

— Большинство джентльменов переодеваются, сэр.

— Ладно, переоденусь... приготовьте мне черный галстук и белую рубашку.

Действительно, когда Жан Монье спустился в холл, он увидел, что все женщины в декольтированных платьях, мужчины в смокингах. Мистер Берстекер с любезным, почтительным видом поспешил ему навстречу.

— А! Мсье Монье... Я вас искал... Вы здесь в одиночестве, и я подумал, что вам, пожалуй, приятно будет сидеть за столом с одной из наших клиенток, миссис Керби-Шоу.

Монье жестом выразил досаду.

— Я приехал сюда не ради светских развлечений, — сказал он. — Впрочем... Вы могли бы показать мне эту даму, не представив меня?

— Разумеется, мсье Монье... Миссис Керби-Шоу — та молодая женщина в белом креп-сатиновом платье, которая сидит возле рояля и перелистывает иллюстрированный журнал... Я не представляю себе, чтобы ее внешность могла не понравиться... Это никак невозможно.

И она — особа очень приятная, воспитанная, образованная, понимающая толк в искусстве...

Бесспорно, миссис Керби-Шоу была очень красива. Темные небольшие локоны, красиво обрамлявшие высокий ясный лоб, на затылке были собраны в пышный узел, глаза светились умом и добротой. Почему же, черт побери, такая прелестная женщина надумала умереть?

— Неужели миссис Керби-Шоу... Ну, словом, неужели эта дама — ваша клиентка и находится здесь на тех же основаниях, по тем же причинам, что и я?

— Несомненно, — отчеканил мистер Берстекер, вкладывая в это слово, казалось, какой-то особый смысл. — Несомненно.

— В таком случае представьте меня.

Когда ужин, не слишком роскошный, но отлично приготовленный и красиво сервированный, кончился, Жан Монье в самых существенных чертах уже ознакомился с жизнью Клары Керби-Шоу. Выйдя замуж за человека богатого и доброго, которого она никогда не любила, Клара Керби-Шоу полгода назад покинула его и уехала в Европу с молодым писателем, очаровательным циником, с которым познакомилась в Нью-Йорке. Клара думала, что он с радостью женится на ней, как только она получит развод, а на деле тотчас по приезде в Англию убедилась, что он решил избавиться от нее как можно скорее. Ошеломленная и оскорбленная такой жестокостью, она пыталась объяснить ему, какие жертвы принесла ради него и в каком ужасном положении окажется. Он расхохотался и сказал:

— Клара, вы невероятно старомодны! Знай я, что у вас взгляды викторианской эпохи, я оставил бы вас вашему супругу и вашим детям... Надо вернуться к ним, дорогая... Вы созданы для того, чтобы добродетельно воспитывать многочисленную семью.

Тогда она ухватилась за последнюю надежду — уговорить своего бывшего мужа Нормана Керби-Шоу возобновить совместную жизнь. Она была уверена: если бы ей удалось повидаться с ним наедине, она без труда вернула бы его любовь. Но Керби-Шоу, которого родные и компаньоны все время восстанавливали против Клары, был непреклонен. После нескольких унижительных и тщетных попыток увидеться с ним она однажды утром нашла среди своей корреспонденции письмо-рекламу «Танатоса» и по-

няла, что легко и быстро разрешить эту мучительную проблему она сможет только там.

— И вас не страшит смерть?—спросил Жан Монье.
— Разумеется, страшит... Но не так сильно, как жизнь...
— Какой прекрасный ответ!—воскликнул Жан Монье.
— Я не думала о том, какое он произведет впечатление,—ответила Клара.—А теперь скажите мне, почему вы очутились здесь.

Выслушав Монье, она резко его осудила.

— Это прямо-таки невероятно!—говорила она.—Как!.. Вы хотите умереть, потому что ваши акции упали в цене!.. Неужели вы не понимаете, что через год, два, самое большее три года, если только у вас хватит мужества жить, вы забудете об этих потерях и, возможно, с избытком возместите их?

— Денежные потери — всего лишь предлог. Они ровно ничего не значили бы, имей я какие-либо основания дорожить жизнью... Но ведь я сказал Вам, что жена от меня ушла... Во Франции у меня уже нет родственников... Женщины, которая была бы мне дорога, я там тоже не оставил. Откровенно говоря, я и уехал-то в чужую страну из-за любовного разочарования... Ради кого мне теперь бороться?

— Ради себя самого... Ради тех, кто вас полюбит! Это непременно случится... Из-за того, что в тяжелые дни близкие вам женщины оказались недостойными вас, вы не должны быть несправедливы ко всем остальным.

— Вы в самом деле думаете, что есть женщины... я хочу сказать... что я еще встречу женщину, которую смогу полюбить... и которая согласилась бы вести в течение нескольких лет жизнь, полную лишений и борьбы?

— Я в этом уверена,—ответила она.—Есть ведь женщины, которые любят борьбу и в бедности находят какую-то романтическую прелесть... Да вот, например, я сама...

— Вы?—спросил он с волнением в голосе.

— Ах... Я только хотела выразить...

Она запнулась и минуту спустя сказала:

— Мне кажется, нам пора вернуться в холл... Ведь ресторан уже совсем опустел, и метрдотель бродит вокруг нас с отчаянием на лице.

— Не думаете ли вы,—молвил он, набрасывая на плечи Клары Кербн-Шоу горностаевую пелерину,—не думаете ли вы, что... уже сегодня ночью!..

— О нет!— возразила она.— Вы ведь только сейчас приехали.

— А вы?

— Я здесь всего два дня.

Прежде чем проститься, они условились совершить утром прогулку в горы.

Косые лучи утреннего солнца заливали веранду ярким, теплым светом. Жан Монье, только что принявший ледяной душ, поймал себя на мысли: «Как хорошо жить!»— но тут же вспомнил, что впереди у него всего лишь несколько долларов и несколько дней. Вздохнув, он прошелтал: «Десять часов... Клара, наверно, уже ждет меня».

Он быстро оделся: белоснежный полотняный костюм создавал ощущение легкости. После теннисного корта он встретился с Кларой Керби-Шоу. Тоже вся в белом, она прогуливалась по аллее в обществе обеих австрийских девушек. Увидев француза, они убежали.

— Что это они? Боятся меня?

— Смущаются... Они поведали мне свою историю.

— Интересную?.. Вы мне ее расскажете, да?.. Вам удалось хоть немного поспать?

— Я отлично выспалась. Мне думается, этот страшноватый Берстекер ко всему, что мы пьем, примешивает хлоралгидрат.

— Вряд ли,— возразил Жан.— Я спал как сурок, но сон не был тяжелым, сегодня с утра у меня голова очень ясная...

Помолчав, он прибавил:

— И я очень счастлив.

Она посмотрела на него с улыбкой и ничего не ответила.

— Пойдемте этой тропинкой,— предложил он,— и вы мне расскажете историю австрийских девушек... Вы будете здесь моей Шехерезадой...

— Только наших ночей будет не тысяча и одна...

— Увы! *Наших* ночей...

Она перебила его.

— Эти девочки—близнецы. Они росли вместе—сначала в Вене, потом в Будапеште и были друг для друга всем на свете, подруг у них не было. В восемнадцать лет они познакомились с венгром, отпрыском древнего графского рода, прекрасным, как полубог, музыкальным, как цыган, и обе в тот же день без памяти влюбились в него. Спустя пе-

сколько месяцев он сделал предложение одной из сестер. Вторая, охваченная отчаянием, бросилась в воду, но ее спасли. После этого избранница графа Ники приняла решение отказаться от него, и у сестер возникла мысль умереть вместе... Именно тогда, подобно мне, подобно вам, они получили письмо-рекламу «Танатоса».

— Какое безумие! — воскликнул Жан Монье. — Они молодцы, прелестны... Почему бы им не поселиться в Америке, где другие мужчины будут помогать их любви?.. Несколькими неделями терпения...

— Сюда, — с грустью заметила она, — все попадают из-за отсутствия терпения... Но каждый из нас мудр, когда дело касается других... Кто это сказал, что у людей всегда хватает мужества переносить чужие несчастья?

В тот день люди, живущие в отеле «Танатос», видели, как мужчина и женщина, оба в белом, бродили, горячо споря друг с другом, по аллеям парка, у подножия скал, вдоль ущелья. Когда стемнело, они повернули назад, к отелю, и садовник мексиканец, разглядев, что они идут обнявшись, отвернулся.

После ужина Жан Монье весь вечер в маленькой безлюдной гостиной шептал на ухо Кларе Керби-Шоу слова, казалось волновавшие молодую женщину. Затем, прежде чем подняться к себе, он разыскал мистера Берстекера. Директор сидел в своем кабинете, перед ним лежала толстая конторская книга в черном переплете. Мистер Берстекер проверял какие-то счета и время от времени красным карандашом решительно вычеркивал строку.

— Добрый вечер, мсье Монье! Могу ли я вам оказать какую-нибудь услугу?

— Да, мистер Берстекер... Во всяком случае я на это надеюсь... То, что я хочу вам сказать, весьма вас удивит... Такая внезапная перемена... Но такова жизнь... Словом, я пришел сообщить вам, что изменил свое решение... Я уже не хочу умереть.

Мистер Берстекер в изумлении вскинул на него глаза.

— Вы это говорите всерьез, мсье Монье?

— Я знаю, — продолжал француз, — я вам покажусь непоследовательным, неустойчивым... Но разве не вполне естественно, что с изменением обстоятельств меняются и наши решения?.. Неделию назад, когда я получил ваше письмо, я был в полном отчаянии, совершенно одинок... Я думал,

что бороться уже нет смысла... Сегодня все преобразилось... И в сущности — благодаря вам, мистер Берстекер...

— Благодаря мне, мсье Монье?

— Да. Ведь это чудо совершила молодая женщина, напротив которой вы меня посадили за столиком... Миссис Керби-Шоу очаровательна, мистер Берстекер.

— Я вам это говорил, мсье Монье.

— Очаровательна и способна на героические поступки... Я сказал ей всю правду о своих бедствиях, и она согласилась разделить их со мной... Вас это удивляет?

— Нисколько... Здесь мы привыкли к таким неожиданным развязкам... И я рад за вас, мсье Монье... Вы молоды, очень молоды...

— Итак, если вы не возражаете, мы вдвоем, миссис Керби-Шоу и я, уедем завтра в Диминг.

— Стало быть, миссис Керби-Шоу, как и вы, отказывается...

— Понятно — да... Впрочем, она сама сейчас подтвердит вам это... Остается только уладить еще один вопрос довольно щекотливого свойства... Триста долларов, которые я вам внес, — это почти все, что у меня было. Так вот, эти деньги навсегда перешли к владельцам «Танатоса» или же я могу, чтобы купить билеты для нас обоих, получить часть их обратно?

— Мы честные люди, мсье Монье. Мы никогда не взимаем платы за те услуги, которых не оказали. Завтра же утром касса сделает перерасчет: вы заплатите по двадцать долларов в день за полный пансион и обслуживание, а разницу вам вернут.

— Вы чрезвычайно любезны и щедры... Ах! Мистер Берстекер, как я вам признателен... Я вновь обрел счастье... Начну новую жизнь...

— Весь к вашим услугам, — сказал мистер Берстекер.

Он следил глазами за Жаном Монье, пока тот не исчез из виду. Затем нажал кнопку и сказал:

— Пришлите ко мне Саркопи.

Спустя несколько минут портье явился.

— Вы меня звали, синьор директор?

— Да, Саркони... Нужно сегодня же вечером пустить газ в номер 113... Около двух часов ночи.

— Прикажете, синьор директор, до летала пустить сомниал?

— Вряд ли это нужно... Он хорошо будет спать... На се-

годня это все, Саркони... А завтра на очереди девушки из семнадцатого, как было намечено...

Уходя, портье столкнулся в дверях с миссис Керби-Шоу.

— Войди,— сказал мистер Берстекер.— Я как раз хотел тебя вызвать. Твой клиент пришел объявить мне, что он уезжает.

— Мне кажется, я заслужила, чтобы меня похвалили. Я очень старалась.

— Да, ты быстро справились... Я это учту.

— Стало быть, сегодня ночью?

— Сегодня ночью.

— Бедняга,— сказала миссис Керби-Шоу.— Он был так мил, романтичен...

— Все они романтичны,— отрезал Берстекер.

Она продолжала:

— Ты все-таки жесток. Ты уничтожаешь их именно в тот момент, когда они снова начинают любить жизнь.

— Жесток?.. Наоборот, в этом-то и заключается вся гуманность нашей системы... Его тревожили сомнения, связанные с религией... Я его избавил от них.

Он заглянул в свою конторскую книгу.

— Завтра можешь отдохнуть... А послезавтра опять займешься вновь прибывающим... Тоже из банковских сфер, но на этот раз швед. И не так уж молод.

— Французик мне очень понравился,— мечтательно протянула она.

— Когда работаешь, разбирать не приходится,— сурово сказал директор.— Вот твои десять долларов и еще десять — премия.

— Благодарю,— сказала Клара Керби-Шоу и со вздохом положила деньги в сумочку.

Когда она вышла, мистер Берстекер взял красный карандаш и аккуратно, с помощью небольшой металлической линейки, вычеркнул в конторской книге некую фамилию.

Главы из Всемирной истории,
выпущенной издательством
Томбуктусского университета в 2027 году

Глава CXVIII 1984—чрезвычайные события на Земле.
1989—издание на Уране трактата «Жизнь
людей».
2012—первое земное издание перевода
«Жизнь людей».

Когда в конце 90-х годов XX столетия между Землей и большинством других планет установились дружественные отношения, ученые Земли выразили желание сопоставить свои теории и гипотезы с теориями коллег из иных миров. Подобное сопоставление наталкивалось порой на значительные трудности, ибо выдающиеся физики Венеры, Юпитера и Марса, как известно, не воспринимают ни световых, ни звуковых сигналов и живут в мире особых излучений, о которых нам ничего не было известно. Однако теория сенсорных эквивалентов быстро развивается, и уже сегодня, в 2027 году, мы можем перевести на земной язык практически все языки Солнечной системы, разумеется кроме сатурнианского.

Одним из интереснейших событий нашей эпохи было знакомство с трудами инопланетных ученых, посвященными нам, жителям Земли. Люди и не подозревали, что уже миллионы лет за ними с помощью гораздо более чувствительных приборов, чем наши, наблюдают натуралисты Марса, Венеры и даже Урана.

Земная наука сильно отставала от раз-

Печатается по изд.: Моруа А. Из «Жизни людей». — В сб. Пришельцы ниоткуда. Пер. с франц. — М.: Мир, 1967. — Пер. изд.: Maurois A. La vie des hommes: Oeuvres complètes (1950–1955), т. 4, Fayard, Paris, 1951.

© перевод на русский язык с исправлениями, «Мир», 1986

вития наук на соседних планетах, к тому же наши органы чувств не воспринимали радиоактивных излучений, которыми пользовались наблюдатели, а потому мы не могли знать, что даже в самые интимные моменты нашей жизни мы порой оказывались в поле зрения какого-нибудь небесного сверхмикроскопа.

Любой просвещенный человек может сегодня познакомиться с трудами инопланетных ученых в Центральной библиотеке Межпланетного общества; они особенно полезны молодым людям, которые намереваются посвятить себя науке: труды эти весьма интересны сами по себе, но главное — они учат мудрой скромности. Когда убеждаешься, к каким невероятным заблуждениям приводили этих высших существ, таких мудрых и вооруженных такими чудесными приборами, неправильно истолкованные факты, невольно хочется возвратиться к нашим собственным истолкованиям и спросить себя, а не смотрели ли мы на животных и растения нашей планеты точно так же, как, скажем, марсиане смотрели на нас?

Особого внимания заслуживает поразительная история, приключившаяся с уранианским ученым А. Е. 17, автором книги «Жизнь людей», впервые опубликованной в 1989 году. Эта работа считалась образцовой и была широко распространена не только на Уране, но и на Марсе и Венере в соответствующих переводах. Теперь она стала доступной и для нас, ибо среди всех наших инопланетных братьев по разуму только уранианс обладают зрительными органами, сходными с человеческими, а потому их язык сравнительно легко поддается переводу.

Эксперименты, проводимые высокочтимым А. Е. 17, достигли такого размаха, что в течение полугода вызывали замешательство на всем земном шаре. Мы располагаем опубликованными в земных газетах отчетами о событиях того периода, а также воспоминаниями очевидцев.

Ниже мы намереваемся воспроизвести:

а) краткое описание событий, зарегистрированных на нашей планете в тот достопамятный год;

б) их истолкование и выводы, сделанные прославленным А. Е. 17 на основании поставленных им опытов.

Необычная весна

В марте 1984 года многочисленные наблюдатели во всем северном полушарии отметили поразительные аномалии

в атмосферных явлениях. Несмотря на тихую и ясную погоду, в совершенно определенных и четко ограниченных районах разразились ураганы невероятной силы. Капитаны судов и штурманы самолетов сообщали в метеорологический центр, что их компасы на несколько минут словно обезумели без всяких видимых причин. Во многих местах люди замечали нечто похожее на тень от огромной тучи, скользившую по земле, хотя в небе и не было ни облачка. В газетах появились интервью с учеными-метеорологами, которые заявили, что давно предвидели подобные явления, что они вызваны пятнами на Солнце и что все войдет в норму, когда наступит равноденствие. Но вот оно наступило, а события приняли еще более необъяснимый характер.

Трагическое происшествие в Гайд-парке

В третье воскресенье апреля множество мужчин и женщин толпились, как обычно, близ Мраморной арки, внимая ораторам, пророчествовавшим под открытым небом. Вдруг все увидели над головами нечто вроде тени, словно незримое препятствие таинственным образом появилось между Солнцем и Землей. Несколько секунд спустя футах в трехстах — четырехстах от ограды, ближе к центру парка, почва внезапно вздыбилась. Деревья были вырваны с корнем, люди опрокинуты и погребены, а те, кто оказался за пределами зоны катаклизма, с ужасом и недоумением увидели, что в земле появилась огромная воронка глубиной по крайней мере в триста футов, причем выброшенная почва образовала рядом холм соответствующей высоты. На следующий день, когда началось расследование, один из полицейских показал:

— Все было так, словно какой-то гигант ковырнул землю в середине парка огромной лопатой. Да-да, словно кто-то всадил в землю и выворотил целую лопату, потому что на одном краю воронки был чистый и гладкий срез, а на другом, где появился холм, земля была рыхлая, осыпалась, и из нее торчали головы и рассеченные пополам тела.

Около трехсот горожан, прогуливавшихся в парке, были погребены заживо. Те, над которыми слой земли оказался невелик, сумели хотя и с трудом, но самостоятельно выбраться на поверхность. Некоторые, потеряв рассудок от внезапного потрясения, с дикими воплями бросились

вниз по рыхлому склону. И тогда на вершине холма возникла фигура проповедника Армии спасения полковника Р. У. Уарда, который с поразительным присутствием духа, вытряхивая песок из волос и одежды, завопил:

— Я говорил вам, братья! Вы поклонялись ложным богам, и вот истинный бог разгневался на свой народ и тяжелая десница господня поразила вас...

И действительно, это необъяснимое явление было настолько похоже на суд божий из Священного писания, что даже многие заядлые скептики, присутствовавшие при этом, мгновенно уверовали и с этого дня начали строго чтить все предписания церкви.

Это происшествие позволило горожанам оценить по заслугам лондонскую полицию. Трое полицейских оказались в числе пострадавших, зато двенадцать других устремились к месту катастрофы и принялись мужественно откапывать засыпанных. Кто-то сразу известил по телефону военные власти и пожарных, полицейский комиссар Кларкуэлл взял на себя руководство спасательными операциями, и всего через четыре часа Гайд-парк обрел свой нормальный вид. К сожалению, двести человек все же погибли.

Ученые, пытаясь объяснить катастрофу, давали самые разноречивые толкования. Если отбросить теорию о сверхъестественном вмешательстве, версия землетрясения казалась наиболее разумной, но и она не выдерживала критики, поскольку ни один сейсмограф не зарегистрировал толчка. Тем не менее широкая публика была вполне удовлетворена, когда эксперты заявили, что это, по-видимому, было землетрясение, но землетрясение совершенно особого рода, которое получило название «вертикально-горообразующий сейсмический взрыв».

Дом на улице Виктора Гюго

За катастрофой в Гайд-парке последовало множество аналогичных происшествий, которые, однако, привлекли гораздо меньше внимания, поскольку обошлось без человеческих жертв. Так или иначе, в различных районах Земли столь же внезапно появились странные холмы, нависавшие над воронками с крутыми гладкими стенами. Кое-где эти холмы до сих пор сохранились, например на равнине Айан в Перигоре, под Рожновым в Валахии и, наконец, близ Итапуры в Бразилии.

Но таинственная лопата, видимо устав ворошить землю в безлюдных местностях, к сожалению, принялась теперь за человеческие жилища.

Около полудня 24 апреля странный шум поразил всех парижан, находившихся в это время в районе, ограниченном примерно Триумфальной аркой, улицей Великой армии, улицей Марсо и улицей Анри Мартэн; одни свидетели сравнивали этот шум с визгом пилы, а другие — с шипением очень тонкой, но мощной струи пара.

Те, кто в этот момент оказался напротив дома № 66 по улице Виктора Гюго, увидели, как его стену рассекла огромная косая трещина; дом вздрогнул, покачнулся, и внезапно вся его мансардная часть, где размещались комнаты для прислуги, рассыпалась, словно от чудовищного толчка. Перепуганные жильцы нижних этажей высунились из окон и балконных дверей. Здание было буквально разрезано пополам, однако нижняя часть его, к счастью, не обрушилась. Когда спасатели добрались по лестнице до трещины, перед ними предстал ровный косой срез, сделанный каким-то неведомым орудием. Впечатление было такое, словно незримое лезвие прошло сквозь дерево ступенек, металл перил и ковровую дорожку строго в одной плоскости. Все, что встретилось на его пути, — мебель, ковры, картины, книги — все было разрезано так же чисто и аккуратно. Просто чудо, что обошлось без жертв! Комнаты для прислуги были пусты, потому что наступило время обеда. Только на четвертом этаже спала девушка. Кровать ее оказалась рассеченной наискосок, но разрез пришелся в миллиметре от ноги служанки — она не почувствовала даже боли, только короткий удар, как от электрического тока.

И это происшествие тоже получило множество объяснений. Снова была выдвинута «сейсмическая» версия. Впрочем, некоторые газеты обвинили архитектора и хозяина дома в том, что они использовали недоброкачественные строительные материалы. Депутат-коммунист выступил в парламенте с запросом. Правительство обещало принять меры, чтобы подобные инциденты в будущем не повторялись, и потребовало в связи с этим включить в повестку дня вотум доверия, что было утверждено простым поднятием рук.

Странные перемещения

Так же как и катастрофа в Гайд-парке, происшествие на улице Виктора Гюго не осталось единичным: за ним последовал целый ряд таких же или весьма похожих. Мы не будем о них рассказывать, однако отметим, что подобная закономерность, на наш взгляд, должна была бы убедить мало-мальски наблюдательных людей в том, что за всем этим кроется злая воля, преследующая совершенно определенную цель. Во многих странах незримое лезвие рассекало маленькие дома и большие здания. Несколько ферм — в Испании, Дании и Массачусетсе — было поднято в воздух, а затем брошено на землю и разбилось вместе с их обитателями. Один небоскреб на Медисон-авеню в Нью-Йорке оказался разрезанным пополам. Всего погибло около пятидесяти мужчин и женщин, но ввиду того, что катастрофы происходили в разных странах, жертв в каждом отдельном случае было немного, а главное, поскольку никто не мог придумать достаточно разумного объяснения, обо всем этом старались говорить поменьше.

Совсем иное освещение получили новые страшные события, будоражившие всю планету в течение двух последующих месяцев — с пачала мая до конца июля. Первой жертвой стала молодая негритянка из Хартфорда, штат Коннектикут. Она вышла из дома, где работала служанкой, и вдруг взлетела вверх, испуская ужасные вопли. Почтальон — единственный свидетель происшествия — увидел, как она поднялась на высоту примерно ста метров, а затем упала вниз и разбилась. Почтальон заявил, что не заметил в небе какого бы то ни было летательного аппарата.

Вторым «перемещенным» стал таможенник из Кале: очевидцы утверждали, что видели, как он тоже вертикально взмыл в воздух и на огромной скорости умчался по направлению к Англии. Несколько минут спустя его нашли на прибрежных утесах близ Дувра; он был мертв, однако никаких внешних повреждений на теле не оказалось. Можно было подумать, будто его осторожно опустили на камни, но лицо у таможенника было синее, как у висельника.

Затем начался период так называемых «успешных перемещений в пространстве». Первым человеком, который прибыл живым и невредимым к конечному пункту воздушного путешествия, оказался нищий. Незримая рука схватила его в тот момент, когда он выпрашивал милостыню на

паперти собора Парижской богородицы, и через десять минут опустила посреди Пикадилли к ногам потрясенного полисмена. Бродяга нисколько не пострадал. Ему показалось, что его перебросили по воздуху в какой-то закрытой кабине, куда не проникал ни ветер, ни свет. Те, кто присутствовал при его отлете, заметили, что, едва оторвавшись от земли, он вдруг стал невидимым.

Перемещения в пространстве продолжались изо дня в день в течение двух месяцев. Когда выяснилось, что это в общем-то безопасно, к таким происшествиям стали относиться с юмором. Незримая рука явно полагалась на волю случая. Сегодня ее выбор падал на девочку из Деновера, штат Колорадо, которая оказывалась где-то в заволжской степи, завтра она переносила дантиста из Сарагоссы в Стокгольм. Больше всего шуму наделало перемещение почтенного г-на Марка Лефо, председателя французского сената, который среди бела дня исчез из Люксембургского сада и очутился на берегу озера Онтарио. Он воспользовался случаем, чтобы совершить поездку по Канаде, а затем вернулся в Париж, где был с триумфом встречен на станции Булонский лес. Впоследствии такая неожиданная реклама, по-видимому, немало способствовала его избранию на пост президента республики.

Следует отметить, что после всех этих перемещений невольные путешественники почему-то оказывались с ног до головы заляпанными какой-то красноватой жидкостью. Но это было единственным неприятным последствием в общем-то безобидных приключений. Примерно через два месяца перемещения в пространстве прекратились, уступив место еще более странным событиям, которые начались достопамятным происшествием с двумя супружескими парами.

Эпизод с двумя супружескими парами

Первой из двух знаменитых супружеских пар была французская чета, проживавшая в маленьком доме близ Парижа, в Нейи. Муж, Жак Мартэн, преподавал в лицее Пастера, увлекался спортом, несмотря на молодость, был широко образован и даже написал замечательное биографическое исследование о Поле Моране. У супругов Мартэн было четверо детей.

Третьего июля около полуночи мадам Мартэн только начала засыпать, как вдруг услышала шипящий свист,

о котором мы уже говорили, ощутила легкий толчок и почувствовала себя так, словно ее очень быстро поднимают куда-то вверх. Открыв глаза, она была потрясена тем, что комнату заливал яркий лунный свет; целая стена исчезла, и сама она лежала на краю постели, разрезанной вдоль пополам. Там, где слева от нее только что находился муж, зияла бездонная пропасть, над которой мерцали звезды. В ужасе мадам Мартэн откатилась к уцелевшему краю постели и с удивлением убедилась, что кровать не опрокидывается, хотя держится только на двух ножках. Впрочем, в то же время это ее, как ни странно, успокоило. Она чувствовала, что подъем прекратился, но вся половина комнаты вместе с ней продолжает лететь с невероятной скоростью куда-то по прямой линии. Затем сердце у нее екнуло, как в лифте, когда опускаешься слишком быстро, и она поняла, что падает. В ожидании смертельного удара о землю мадам Мартэн зажмурилась. Но вместо удара последовал мягкий осторожный толчок, и когда она вновь открыла глаза, то ничего не увидела. В комнате было темно. Но предоставим слово ей самой.

«Видно, пропасть рядом со мной сомкнулась. Я позвала мужа по имени, хотела ему рассказать, какой страшный сон мне приснился. Внутри все во мне дрожало. Тут я нащупала мужскую руку и вдруг слышу низкий незнакомый голос: «О, дорогая, как ты меня испугала!» И говорит по-английски! Я отпихнулась, инту выключатель — свет зажег — и не могу пайти. «Что случилось?» — спрашивает незнакомец, и опять по-английски. Тут он сам зажег свет. Увидев друг друга, мы оба вскрикнули. Передо мной в постели был всклокоченный молодой англичанин с эдаким маленьким носиком, близорукий, еще полусонный, в синей пижаме. Смотрю — матрас, простыни, одеяло, вся постель, разрезаны вдоль пополам! И одна половина постели сантиметров на пять — десять ниже другой.

Как только мой сосед по кровати опомнился, он повел себя как истинный джентльмен. (С тех пор я об англичанах самого высокого мнения!) После короткого, но вполне понятного замешательства он обратился ко мне так естественно и вежливо, словно мы сидели не в одной кровати, а в гостиной. Я представилась ему по-английски. Он сказал, что его зовут Джон Грэхэм. Дом его, как выяснилось, находился в Ричмонде. Оглядевшись, я заметила, что вместе со мной сюда перекочевала половина моей спальни:

я сразу узнала свое окно с вишневыми шторами, большую фотографию мужа на комод, маленький столик с книгами возле изголовья; даже мои часики лежали на книгах. Но другая половина комнаты была мне незнакома — это была половина спальни мистера Грэхэма. Там, на тумбочке возле постели, стоял портрет очень милой женщины, фотографии детей, лежали журналы и пачка сигарет. Джон Грэхэм долго рассматривал меня и окружение, в котором я появилась, потом совершенно серьезно спросил:

— Как вы здесь очутились, миссис Мартэн?

Я объяснила, что сама ничего не понимаю, показала на большую фотографию и сказала:

— Это мой муж.

Он сделал такой же жест и сказал:

— А это моя жена.

Она была очаровательна, и я с беспокойством подумала, что сейчас мой Жак, наверное, держит ее в объятиях. Я спросила:

— Как вы считаете, когда половина моего дома прибыла сюда, половина вашего дома тоже перенеслась во Францию?

— Но почему? — спросил он.

Этот англичанин начинал мне действовать на нервы. «Почему?» Откуда я могла знать! Потому что во всем должна быть какая-то симметрия...

— Странная история, — сказал он, качая головой. — Возможно ли это?

— Это невозможно, однако это произошло, — констатировала я.

И в это мгновение откуда-то сверху, наверно со второго этажа, послышались плач и крики. «Дети!» — подумали мы одновременно. Джон Грэхэм выскочил из постели и босиком бросился к двери — к своей двери. Он открыл ее — плач стал слышнее, кто-то закашлялся, потом я услышала громкий голос англичанина — проклятия перемежались со словами утешения. Я поспешила встать, чтобы посмотретья в зеркало. Лицо у меня было, как всегда, в порядке. Я поправила прическу, потом, заметив, что моя ночная рубашка слишком открыта, оглянулась в поисках халата. Но тут вспомнила, что сбросила его в той половине комнаты, которая осталась во Франции. Так я и стояла, разглядывая себя в зеркале, когда за моей спиной раздался умоляющий голос англичанина:

— Пойдемте, помогите мне!

— Конечно, конечно,— сказала я.— Но дайте мне сначала халат и туфли вашей жены.

Он протянул мне свой собственный халат и повел в детскую. Детишки были великолепны, но у них оказался коклюш. Больше всего мучился самый младший, прелестный белокурый младенец. Я взяла его на руки, и он как будто меня признал.

Так мы провели в детской несколько часов в мучительном беспокойстве: он думал о своей жене, а я—о своем муже.

Я спросила, нельзя ли позвонить в полицию. Он попробовал, но оказалось, что провода неререзаны. Не работало и радио. Когда рассвело, мистер Грэхэм вышел наружу. Дети к тому времени заснули. Через несколько минут англичанин вернулся и сказал мне, что на фасад стоит полюбоваться. И он был прав! Неизвестный волшебник, сотворивший это чудо, видимо, хотел разделить пополам и сложить два дома одинаковой высоты, с примерно одинаковым расположением комнат, и это ему удалось. Но наш дом в Нейи был кирпичным, очень простым, с высокими окнами, обрамленными каменной кладкой, а английский оказался типичным коттеджем, выкрашенным в черную краску, с белыми дверями и наличниками, с широкими эркерами. Сочетание двух прямо противоположных по стилю половин производило весьма странное впечатление—вроде арлекина Пикассо.

Я попросила мистера Грэхэма поскорее одеться и отправить во Францию телеграмму, чтобы выяснить судьбу его жены. Он ответил мне, что почта открывается только в восемь часов. Этот флегматичный увалень явно не способен был даже представить, что в таких чрезвычайных обстоятельствах можно разбудить телеграфиста, не считаясь ни с какими правилами. Я настаивала, как могла, но все без толку. Единственное, что он мне отвечал, было:

— Почта открывается только в восемь утра.

Наконец в половине восьмого, когда англичанин все-таки собрался выйти из дому, я увидела полицейского. Он с изумлением посмотрел на дом и вручил нам телеграмму от префекта парижской полиции: префект запрашивал, здесь ли я, и сообщал, что миссис Грэхэм жива, здорова и находится в Нейи...»

Вряд ли стоит далее цитировать подробный рассказ ма-

дам Мартэн; достаточно сказать, что миссис Грэхэм ухаживала за ее детьми точно так же, как мадам Мартэн заботилась о маленьких англичанах, что обе супружеские пары были очарованы знакомством с товарищами по несчастью и остались близкими друзьями до конца своих дней. Десять лет назад мадам Мартэн была еще жива, хотя и переселилась к тому времени в свое поместье в Шамбурси, департамент Сена и Уаза.

Недостаток места, отведенного для этой главы в данном томе, не позволяет нам подробно пересказать аналогичные случаи, которые приводили в изумление человечество на протяжении всего августа.

Серия так называемых составных домов оказалась даже более массовой, чем серия «перемещений в пространстве». Более ста пар были перемещены аналогичным образом, и это стало излюбленной темой романистов и киношников. Широкой публике особенно по вкусу пришелся присутствующий здесь элемент некой причудливой скабрёзности. Кроме того, публику забавляли ситуации, когда — как это действительно случалось — королева просыпалась в постели полицейского, а балерина — рядом с президентом Соединенных Штатов. Затем эта серия внезапно оборвалась, чтобы уступить место новым событиям. Все выглядело так, словно таинственные существа, забавлявшиеся вмешательством в жизнь людей, были капризны, непостоянны и быстро охладевали к своим забавам.

Клетка

В начале сентября незримые существа, могущество которых к тому времени было всем известно, почтили своим вниманием самых известных ученых Земли. Двенадцать человек, в большинстве своем физики и химики, прославленные выдающимися достижениями, были одновременно похищены из самых разных городов и перенесены на поляну в лес Фонтенбло.

Группа подростков, приехавших, как обычно, в лес, чтобы полазить по скалам, заметила нескольких пожилых людей, потерянно бродивших по лужайке среди деревьев и камней. Видя, что те пахотятся в каком-то затруднении, ребята хотели к ним подойти, но с изумлением обнаружили, что путь им преграждает незримая, но совершенно непреодолимая преграда. Они попытались ее обойти, сделали полный круг и убедились, что невидимое препятствие

окружает поляну правильным кольцом. Юноши узнали одного из ученых. Они окликнули его, но тот, по-видимому, ничего не услышал: звуки не проникали сквозь преграду. Знаменитые ученые оказались изолированными, словно звери в клетке.

Довольно скоро они, по-видимому, смирились со своей участью и улеглись на солнышке. Потом они принялись о чем-то оживленно спорить, испещряя найденные в карманах клочки бумаги математическими формулами. Один из юных наблюдателей сообщил обо всем происходящем властям, и к полудню в лес Фонтенбло начали стекаться любопытные. К тому времени ученые уже проявляли беспокойство: все это были люди преклонного возраста. Они устало бродили вдоль незримой стены, что-то кричали, а когда убедились, что их не слышно, начали подавать знаки, чтобы им доставили еду.

Среди зрителей оказалось несколько офицеров, и одному из них припила в голову на первый взгляд блестящая мысль — перебросить ученым продовольствие на вертолете. Часа через два в небе послышался рокот мотора, и летчик, искусно снизившись, сбросил пакеты с едой точно над поляной. Однако, не долетев метров двадцать до земли, все пакеты вдруг подпрыгнули, да так и остались висеть в воздухе. У круглой клетки оказалась плоская крыша из того же невидимого силового поля.

Когда начало смеркаться, узники впали в отчаяние. Они объясняли знаками, что умирают с голоду и страшатся ночного холода. Но встревоженные зрители ничем не могли помочь. «Неужели эти выдающиеся умы так и погибнут у нас на глазах?» — с тревогой спрашивали они друг друга.

Как только немного рассвело, зрителям сначала показалось, что положение не изменилось, но, присмотревшись внимательнее, они обнаружили в центре «клетки» какое-то новое устройство. Невидимая рука сделала так, что пакеты с продовольствием, сброшенные с вертолета, теперь были подвешены на веревке и раскачивались метрах в пяти над землей. Рядом с этой веревкой до самой земли свисал канат. Любой молодой человек без труда сумел бы подтянуться по нему вверх и достать пакеты со спасительной едой. К несчастью, было весьма маловероятно, что хотя бы один из ученых мужей — самому младшему было лет семьдесят — сможет выполнить столь сложное гимнастиче-

ское упражнение. Зрители видели, как ученые подходили к канату, примеривались, словно пробовали свои силы, но дальше этого дело не продвигалось.

Так прошел второй день. Наступила ночь. Зеваки постепенно разбрелись. Около полуночи один студент решил убедиться, не исчезла ли невидимая стена. К своему величайшему изумлению, он обнаружил, что ничто более не преграждает ему путь. Он спокойно прошел на поляну и издал торжествующий крик. Жестокая сила, двое суток забавлявшаяся людьми, благоволила наконец выпустить своих пленников. Ученых согрели и накормили; к счастью, все они остались живы.

Таковы основные события этого периода. В то время они казались необъяснимыми, но теперь мы знаем, что это был период экспериментов, проводимых с планеты Уран. Ниже мы публикуем наиболее интересные, по нашему мнению, выдержки из трактата знаменитого уранианского ученого А. Е. 17.

Читатель должен помнить, что нам приходилось подыскивать земные эквиваленты уранианским словам, поэтому перевод нельзя считать точным. Год на Уране длится гораздо дольше, чем на Земле, но мы постарались все данные перевести в единицы земного времени. Кроме того, ураниане пользуются для определения людей термином, приблизительно означающим «двуногие бескрылые», однако это чересчур усложняет изложение, и мы всюду пишем просто «люди» или «земляне». Точно так же странное слово, которым они обозначают наши города, мы заменили термином «людской муравейник», который, по нашему мнению, достаточно точно передает сложившееся у инопланетных наблюдателей представление о нас. И наконец, читатель не должен забывать, что хотя ураниане и обладают сходными с нашими органами зрения, они не воспринимают звуков. Между собой ураниане общаются с помощью специального органа, состоящего из набора миниатюрных разноцветных светильников, которые вспыхивают и гаснут в различных комбинациях. Установив, что люди не имеют подобного органа, и будучи не в силах представить себе звуковую речь, ураниане, естественно, решили, что мы не способны обмениваться мыслями.

В этой главе мы можем предложить лишь несколько коротких отрывков трактата А. Е. 17 „Из «Жизни людей»“. Но мы настоятельно рекомендуем студентам прочесть эту книгу полностью; существует превосходное издание с приложениями и комментариями профессора Ах Чух из Пекинского университета.

*„Из «Жизни людей»“. Трактат академика
А. Е. 17*

Когда рассматриваешь малые планеты, например такие, как Земля, в обыкновенный телескоп, можно различить на их поверхности большие пятна с более размытыми границами, чем у озер или морей. Если наблюдать за этими пятнами достаточно долго, нетрудно установить, что на протяжении нескольких земных столетий они расплываются, достигают максимальной величины, а затем уменьшаются или даже совсем исчезают. Многие наблюдатели связывали это явление с каким-то заболеванием почвы. В самом деле, оно поразительно напоминает возникновение и рассасывание опухолей на теле! Но после изобретения ультрамикроскопа удалось установить, что мы имеем дело со скоплениями живых организмов. Несовершенство первых приборов позволяло различить лишь смутное кипение этих существ, нечто вроде дрожащей слизи, что привело даже такого авторитетного исследователя, как А. 33, к выводу, будто эти земные колонии состоят из существ, слитых в один живой организм. Современные приборы позволили установить, что это не так.

Мы ясно различаем отдельные живые существа и даже можем следить за их передвижениями. Пятна, замеченные А. 33, в действительности оказались огромными гнездилищами, которые можно до известной степени сравнить с нашими уранианскими городами; мы их называем «людскими муравейниками».

В этих муравейниках гнездятся крохотные существа — люди. Это бескрылые двуногие млекопитающие с редким волосным покровом, в большинстве своем снабженные искусственной эпидермой. Долгое время считалось, что они самостоятельно выделяют эту дополнительную кожу из своих желез. Однако собственные наблюдения позволили мне с уверенностью отбросить эту гипотезу; на самом деле обитатели Земли, подчиняясь могучему инстинкту, собирают шкуры некоторых зверей и растительные волокна,

которые склеивают таким образом, чтобы они защищали их от непогоды.

Я не случайно употребил слово «инстинкт» и хочу с первых же страниц настоящего труда ясно выразить свое отношение к вопросу, который вообще никогда не должен был возникать, но тем не менее, особенно в последние годы, обсуждался с неподобающим легкомыслием. Странная мода появилась у наших естествоиспытателей младшего поколения: некоторые из них допускают у этих земных организмов наличие разума, сходного с нашим! Пусть другие доказывают абсурдность подобных «теорий» с религиозной точки зрения — это не моя специальность. Я же в своей книге покажу, насколько эти взгляды несостоятельны с точки зрения науки.

Разуместся, захватывающее зрелище, которое предстает перед наблюдателем, когда он впервые рассматривает через ультрателемикроскоп некое подобие слизи и вдруг начинает различать отдельные существа и живые сценки из их жизни, вызывает вполне объяснимый энтузиазм. Мы видим длинные улицы-дороги, вдоль которых обитатели Земли движутся в разных направлениях, останавливаются и, казалось бы, даже разговаривают между собой; мы видим маленькие индивидуальные гнезда, где самец и самка заботятся о своем выводке; мы видим передвижение армии или строителей за работой... Однако для серьезного изучения этих животных простого наблюдения случайных явлений недостаточно. Чрезвычайно важно создать наиболее благоприятные условия для наблюдений и не менее важно, чтобы эти условия были как можно разнообразнее. Иными словами, необходимо проверять предположения экспериментами, ибо наука опирается лишь на твердо установленные факты.

Именно это мы и постарались сделать путем проведения целой серии разнообразных опытов, описанных ниже. Но прежде чем приступить к их изложению, я хочу, чтобы читатели представили себе, с какими огромными трудностями было связано осуществление нашего проекта. Правда, эксперименты на дальних расстояниях стали относительно доступными с тех пор, как в нашем распоряжении оказались W-лучи, позволяющие брать предметы, манипулировать ими и даже переносить их через космос. Но для обращения с такими крохотными и хрупкими существами, как люди, даже W-лучи — слишком грубый и несовер-

шенный инструмент. При первых опытах они чаще всего убивали зверьков, которых мы хотели исследовать. Для того чтобы приобрести необходимые навыки обращения с живой материей, нам пришлось создать передающие устройства чрезвычайно высокой чувствительности. В частности, когда мы впервые начали переносить живых существ из одной точки земной поверхности в другую, мы не учли их низкой сопротивляемости. Мы переносили их слишком быстро сквозь разреженный тонкий слой окружающей Землю атмосферы, и они умирали от удушья. Пришлось соорудить специальную лучевую камеру, в которой транспортировка не оказывала на подопытных пагубного воздействия.

Точно так же, когда мы только начали разделять на секции и переносить половинки людских гнезд, мы не сразу определили особенности строительных материалов, используемых обитателями Земли. Лишь впоследствии мы научились манипулировать половинками гнезд, предварительно укрепив их соответствующими излучениями.

Ниже читатель найдет карту того района земной поверхности, где проводилась большая часть экспериментов. Прошу вас обратить особое внимание на два больших «людских муравейника», где были поставлены первые опыты: мы назвали их «Ненормальный муравейник» и «Нормальный муравейник», и оба этих названия были впоследствии приняты астросоциологами.

Названия были выбраны в соответствии с тем, что оба этих муравейника построены по совершенно различным планам. Первый поражает невероятно запутанной сетью улиц, в то время как второй отличается почти геометрической правильностью планировки. Между «Ненормальным муравейником» и «Нормальным муравейником» находится ровная сверкающая полоска, по-видимому морской пролив. Самый большой на Земле — «Геометрический муравейник» — построен по еще более упорядоченному плану, нежели «Нормальный муравейник», но он расположен очень далеко от первых двух «людских муравейников» и отделен от них широкой сверкающей поверхностью.

Первые попытки

В каком районе Земли наиболее целесообразно сосредоточить наши усилия? Как повлиять на жизнь земных обита-

телей, чтобы вызвать наиболее характерную реакцию? Должен признаться, что, когда я готовился к первому эксперименту, мною овладело глубокое беспокойство, хотя я располагал соответствующим оборудованием.

Рядом со мной находились четыре моих не менее взволнованных ученика, и мы все пятеро по очереди вглядывались в очаровательный миниатюрный пейзаж на экране ультрателемикрокопа. Направив наш прибор на «Нормальный муравейник», мы выбрали наиболее свободный участок, чтобы яснее определить реакцию людей на наше вмешательство. Тоненькие деревца сверкали в лучах весеннего солнца, а между деревьями можно было различить множество крохотных неподвижных насекомых, образовавших неправильные кружки; в центре каждого такого кружка стояло одно изолированное насекомое. Сначала мы пытались разгадать значение затеянной ими игры, но не придя ни к какому заключению, решили применить луч. Результат был поразительный. В почве образовалась воронка, некоторые насекомые оказались погребенными под выброшенной землей, и тотчас все остальные пришли в движение. Самое удивительное, что их действия казались почти разумными! Одни бросились откапывать своих заваленных землей соплеменников, другие побежали за подмогой. И довольно скоро произведенный нами беспорядок был устранен. После этого мы еще несколько раз применяли луч в различных точках земной поверхности, однако старались выбирать ненаселенные районы, чтобы не подвергать объекты наших исследований ненужной опасности. При этом мы учились уменьшать интенсивность излучений и действовать более избирательно. Только обретя уверенность в результатах нашего воздействия, мы приступили к первой серии экспериментов.

Я разработал программу, согласно которой мы должны были изъять несколько существ из разных «людских муравейников», пометить их и перенести в отдаленные районы, чтобы затем определить, сумеют ли они найти дорогу в свой родной «людской муравейник». Вначале, как я уже говорил, мы столкнулись с непредвиденными затруднениями: во-первых, потому что подопытные животные умирали во время транспортировки, а во-вторых, потому что мы не учли искусственной эпидермы, которую вырабатывают эти создания. Они с необычной легкостью освобождаются от своего верхнего покрова, поэтому мы теря-

ли их из виду, как только они попадали в чужой «людской муравейник». Впоследствии мы сдирали с них верхнюю эпидерму во время транспортировки, чтобы непосредственно пометить их тела, но в этих случаях, едва добравшись до «людского муравейника», животные делали себе новую эпидерму.

Наконец, приобретя достаточный опыт, мои ассистенты научились с помощью ультрателемикроскопа следить за подопытными животными, не теряя их из виду. Они установили, что в 99 случаях из 100 наши испытуемые возвращались в то место, откуда были изъяты. Я произвел транспортировку двух самцов из «Ненормального муравейника» в самый удаленный, так называемый «Геометрический муравейник». Через десять земных суток мой достойный ученик Е. Х. 33, день и ночь следивший за ними с беспримерным упорством, сообщил мне, что оба подопытных возвратились в свой «Ненормальный муравейник». Они вернулись, несмотря на полное незнание местности, куда я их перенес, причем это были домоседы — предвзвременно мы долго за ними наблюдали, — которые наверняка видели столь отдаленный «людской муравейник» впервые. Как нашли они обратный путь? Транспортировка произошла почти мгновенно, поэтому запомнить дорогу у них не было ни малейшей возможности. Что же служило им указателем? Разумеется, не память, а какое-то особое чутье, столь чуждое нашей психологии, что мы не можем ни определить его, ни объяснить.

Опыты с транспортировкой вызвали у нас еще один вопрос: будут ли узнаны вернувшиеся индивидуумы оставшимися? По-видимому, на этот вопрос следует ответить положительно. Обычно возвращение подопытного животного в гнездо вызывает большое волнение. Те, кто оставался в гнезде, обхватывают вернувшегося верхними конечностями, а иногда даже прикладываются к нему ротовым отверстием. Правда, в отдельных случаях такие возвращения вызывали у оставшихся реакцию недовольства или даже ярости.

Первые эксперименты доказали, что некий инстинкт помогает землянам добираться до своего родного муравейника. Следующей нашей задачей было выяснить, существуют ли у земных животных чувства, аналогичные тем, которые свойственны уранианам, в частности известна ли им любовь, супружеская или материнская. Подобная гипотеза

теза с самого начала показалась мне абсурдной: принять ее — значило бы приписать обитателям Земли такую утонченность, какой мы, ураниане, достигли только после миллионов лет культурного развития. Однако долг ученого повелевал мне приступить к исследованию без всякой предвзятости и провести все необходимые опыты независимо от их возможного исхода.

Самец-землянин обычно проводит ночь рядом со своей самкой. Я попросил моих учеников разрезать несколько гнезд таким образом, чтобы отделить самца от самки, не потревожив их, соединить половинки гнезд А с половинками гнезд В, а затем пронаблюдать, заметят ли крохотные животные подмену. Для того чтобы соблюсти все условия эксперимента, необходимо было выбрать гнезда, как можно более похожие одно на другое, поэтому я поручил моим сотрудникам найти два гнезда с ячейками одинакового размера и одинаковым количеством детенышей. Мой ученик Е. Х. 33 не без гордости показал мне два почти идентичных гнезда, одно в «Ненормальном муравейнике», другое в «Нормальном муравейнике»: в обоих обитала пара взрослых особей с четырьмя детенышами. Тот же Е. Х. 33 с непревзойденным искусством произвел разрезы гнезд и транспортировку отдельных половинок. Результат опыта не оставил никаких сомнений. В обоих случаях искусственно соединенные пары не выразили ничего, кроме легкого удивления в момент пробуждения, да и то, видимо, в результате толчка при стыковке гнезд. Затем, в обоих случаях, эти «пары» остались вместе: ни самцы, ни самки не пытались даже бежать и вели себя, как будто ничего не случилось. Но самое поразительное заключается в том, что обе самки — факт поистине невероятный — тут же принялись ухаживать за чужими детенышами, не выказывая ни ужаса, ни отвращения! Они явно не могли понять, что это вовсе не их потомство.

Этот опыт был повторен неоднократно. В 93 случаях из 100 обе подопытные «пары» одинаково заботились и о гнезде и о детенышах. Самки продолжали слепо выполнять свои функции, не отдавая себе ни малейшего отчета в том, кого они опекают. Они хлопотали с одинаковым усердием независимо от того, чьи детеныши оказывались вверенными их заботам.

Можно было предположить, что подобная путаница вызвана предельным сходством гнезд. Однако на следую-

щей стадии экспериментов мы выбирали гнезда самые несхожие, например соединяли половинку жалкого маленького гнезда с половинкой богатого гнезда, выглядевшего совершенно иначе. Результаты оставались более или менее одинаковыми. Мы убедились: люди неспособны отличить свою собственную ячейку от чужой.

Доказав таким образом, что в области чувств обитатели Земли являются животными, стоящими на самой низкой стадии развития, мы решили поставить соответствующий опыт, чтобы испытать их интеллектуальные способности. Для этого, по нашему мнению, проще всего было бы изолировать несколько индивидуумов в лучевой клетке и поместить внутри пищу, до которой подопытные могли бы добраться только с помощью все более и более сложных действий. Для эксперимента я нарочно отобрал определенных индивидуумов, на которых мне указал мой коллега Х. 38, утверждавший, что эти обитатели Земли якобы обладают признаками научного мышления. В приложении В изложены все подробности опыта. Он с несомненной убедительностью доказал, что время жизни людей слишком ограничено, поэтому они мгновенно утрачивают даже простейшие инстинкты самосохранения, заложенные в них генетически, и абсолютно неспособны придумать что-либо новое, когда сталкиваются с задачей, хотя сколько-нибудь отличной от тех, которые привыкли решать.

После длительных экспериментов с отдельными обитателями Земли я и мои ученики настолько хорошо изучили этих маленьких животных, что могли наблюдать их в обычной жизни, не прибегая к вмешательству извне. Особенно поучительно было проследить, что я и сделал, развитие одного «людского муравейника» на протяжении ряда земных лет.

Происхождение этих людских скопищ неизвестно. Когда и почему обитатели Земли отказываются от личной свободы, чтобы сделаться рабами «муравейника»? Этого мы не знаем. Возможно, процесс объединения в сообщества был вызван необходимостью давать отпор другим существам или бороться со стихиями, но если это и помогало, за такую помощь приходилось платить слишком дорого. Землянам менее всего доступны досуг и радости жизни. В больших муравейниках, особенно в «Геометрическом муравейнике», лихорадочная деятельность начинается

с рассветом и не утихает до глубокой ночи. Будь вызвана такая деятельность необходимостью, это было бы еще понятно, но земляне настолько ограничены, настолько подавлены своими инстинктами, что продолжают суетиться и что-то производить при отсутствии всякой нужды. Не раз и не два я наблюдал, как в кладовых «людского муравейника», загромодив все проходы, скапливались громадные запасы каких-либо предметов. И тем не менее где-нибудь поблизости другая группа землян продолжала производить точно такие же предметы.

Почти отсутствуют сведения о разделении землян на касты. Установлено, что некоторые из этих животных обрабатывают почву и производят основную массу продуктов питания, другие изготавливают искусственную эпидерму или строят гнезда, а третьи, по-видимому, ничего не делают, а только быстро перемещаются по поверхности планеты, едят и совокушаются. Почему же две первые касты кормят и одевают третью? Для меня это остается неясным. Мой ученик Е. Х. 33 написал интересную диссертацию, в которой пытается доказать, что подобная терпимость объясняется сексуальными особенностями обитателей Земли. Он утверждает, что по ночам, когда представители высшей касты собираются на празднества, работники толпятся у входов в гнезда, где это происходит, чтобы полюбоваться полуголыми самками. Согласно его теории, низшие касты получают таким образом эстетическую компенсацию за свои жертвы. Его гипотеза кажется мне весьма остроумной, но она недостаточно обоснована, чтобы я мог ее принять.

Со своей стороны, я полагаю, что объяснение скорее следует искать в поразительной глупости землян. Пытаться понять их поведение исходя из нашей уранианской логики было бы полнейшей нелепостью. Это путь ложный, заведомо ложный. Землянин не руководствуется разумом. Он подчиняется неосознанному роковому побуждению: не выбирает, что ему делать, а безвольно плывет по течению или, вернее, неудержимо скользит вниз по наклонной плоскости к своей неизбежной гибели. Я забавлялся, наблюдая за отдельными особями, для которых любовные функции, очевидно, были основным жизненным стимулом. Самец начинал с завоевания самки, взваливая на себя заботу о ней, о детенышах и гнезде. Но, видно, ему было мало этой обузы, и он пускался на поиски новой подруги, для ко-

торой строил новое гнездо. Одновременные любовные связи приводили несчастное животное к постоянным столкновениям с окружающими. Но для самца все это ничего не значило, из бесчисленных неприятностей он не делал никаких выводов и бросался очертя голову во все новые и новые авантюры, причем не становясь раз от разу умнее.

Одно из самых поразительных доказательств абсолютной неспособности обитателей Земли учить уроки прошлого я нашел, наблюдая ужасающие сражения между особями одного и того же вида. На Уране сама мысль о том, что одна группа ураниан может напасть на другую, осыпая их метательными снарядами или пытаясь умертвить их отравляющими газами, повторяю, сама эта мысль показалась бы дикой.

Но именно это происходит на Земле. В течение нескольких земных лет я наблюдал, как большие скопления землян сражаются между собой то в одном, то в другом районе планеты. Иногда они дерутся в открытую, иногда зарываются в землю и стараются из своих нор разрушить противостоящие норы, осыпая их кусками металла, а иногда приделывают себе рудиментарные крылья, чтобы поражать противника сверху. Заметьте, что обороняющиеся отвечают нападающим тем же. Получается отвратительная и бессмысленная свалка. Сцепы сражений, которые мы наблюдали, настолько ужасны, что, будь у этих созданий хотя бы зачаточная память, они бы не прибегали к подобным методам, по крайней мере пока не сменится несколько поколений. Однако даже на протяжении короткой жизни одного поколения те же самые особи, как мы убедились, снова и снова участвуют в безумных и смертоубийственных драках.

Еще одним удивительным примером рабской зависимости землян от инстинктов может служить отмеченное нами упорное стремление восстанавливать «человеческие муравейники» в определенных точках планеты, где они заранее обречены на разрушение. В частности, я внимательно наблюдал, как на одном густонаселенном острове в течение восьми земных лет все гнезда трижды разрушались в результате сотрясения земной коры. Для любого разумного существа было бы совершенно очевидно, что обитатели этого острова должны переселиться. Но земные животные этого не делают. Наоборот, словно выполняя

какой-то ритуал, они собирают те же самые куски металла и дерева и кропотливо восстанавливают свой «муравейник», который будет снова разрушен на следующий же год.

Но позвольте, могут заметить мои оппоненты, какой бы абсурдной ни казалась преследуемая обитателями Земли цель, их деятельность можно назвать целенаправленной, а это свидетельствует о некоей руководящей ими силе, которой может быть только разум.

И снова те, кто так думает, ошибаются! Суета землян, потревоженных землетрясением, как я отметил, напоминает движение молекул в газообразной среде. Если проследить за каждой такой молекулой в отдельности, то окажется, что она движется по очень сложной и прихотливой траектории, однако сочетание множества молекул сводит движение всей среды к простейшим элементам. Точно так же, если мы разрушим «людской муравейник», тысячи насекомых начнут сталкиваться друг с другом, мешать друг другу, выказывая все признаки беспорядочной суеты, и тем не менее через некоторое время «муравейник» оказывается отстроенным заново.

Вот что представляет собой так называемый интеллект людей, который последнее время стало модным сравнивать с разумом ураниан! Но мода проходит, а факты остаются — факты, подтверждающие старые добрые истины о неповторимости уранианской души и избранном предназначении нашей расы. Со своей стороны, я буду счастлив, если мои скромные и осторожные эксперименты помогут рассеять пагубные заблуждения и поставят земных насекомых на то место, которое они и должны занимать в ряду живых существ. Разумеется, они весьма любопытны и достойны тщательного изучения, однако наивность и непоследовательность их поведения должна служить для нас постоянным напоминанием о том, сколь непроходима пропасть, отделяющая животные инстинкты от уранианского разума.

Смерть А. Е. 17

К счастью для себя, А. Е. 17 не дожил до установления дипломатических отношений между Землей и Ураном, когда факты писпровергли труд всей его жизни. До конца своих дней он пользовался почетом и уважением. Это был про-

стой добрый уранианин, выходивший из себя, только когда ему противоречили. Для нас небезынтересно отметить еще одну подробность: на цоколе памятника, воздвигнутого в его честь на Уране, высечен барельеф — точная копия телефотграфии, изображающей беспорядочную толпу людей. В глубине изображения почти безошибочно угадывается перспектива — нью-йоркская Пятая авеню.

В самом центре золотистой равнины готовился к старту имперский лайнер, высотой соперничавший с хрустальными башнями космопорта. Его нос был острым как лезвие кинжала, и на нем в желто-фиолетово-белых лучах трех искусственных солнц Земли переливалась эмблема Верховного Коммодора. Эти же три цвета соседствовали на государственном флаге империи. Четвертое солнце, настоящее, — оранжевый жаркий шар — приближалось к зениту и словно разбухало на глазах.

Себастьян Сюш изнывал от скуки. Он стоял на балконе своей квартиры на восемьдесят восьмом этаже блока «Рай» и разглядывал звездолет. По квартире порхали сказочные рыбы — плод изощренной фантазии психографа. В комнатах — искусном подобию Эдема — резвились обнаженные девушки.

Наступил полдень. Себастьян Сюш печально вздохнул и оттолкнул снедь, которую услужливо поднесла ему рука робота-кулипара. Чуть позже он все-таки пригубил стаканчик канопской амброзии и опять печально вздохнул.

Вздохнув в третий раз, он ушел с балкона. Его окутали облака ароматов, но он спешил покинуть свою огромную квартиру. Тщетно завораживали его сладостными мелодиями хрустальные колонны и фонтаны с чистейшей родниковой водой — он шел мимо.

Он вышел к Центральному колодцу и на личной стрекозе спустился вниз.

Печатается по изд.: Ферре Ж. М. (псевдоним М. Демюта). Скучная жизнь Себастьяна Сюша. — В сб. Нежданно-негаданно. Пер. с франц. — М.: Мир, 1973. — Пер. изд.: Ferrer J.-M. La vie terne de Sébastien Suché: "Fiction", n° 145, décembre 1965.

© перевод на русский язык с исправлениями, «Мир», 1986.

Когда он подлетал к Великой Площади Звезд, ежедневный послеполуденный дождик весело забарабанил по энергозонтикам прохожих.

Себастьян отпустил стрекозу, та полетела домой, а он пешком отправился к Трехэтажному проспекту. Он торопился и не обращал внимания на толпу, жаждущую удовольствий большого города.

Кто только не попадался Себастьяну по пути — и формалтейцы с дрожащими усиками, и прозрачные веганы, и громадные насекомые, только что прибывшие с единственной обитаемой планеты системы Мяго, и беспрерывно щебечущие розовые шары с зелеными глазами, и крохотные динозавры. Он едва не столкнулся с лентой густого тумана, скрывавшей жителя четвертой планеты 6,804 Альфа + 3° — новой союзницы Земли.

Ему встречались чиновники многочисленных Посольств Рынка, Принцы Дружественных Созвездий со своими свитами...

Вооруженные до зубов члены Мальвовой Лиги...

Путешественники по времени, на мгновение вынырнувшие из прошлого, дабы после утомительной охоты на милодонта набраться сил накануне оргии у фараона Аменхотепа...

Капитаны Флота, чьи лица стали бронзовыми под лучами многоцветных солнц...

Равнодушные девушки-мутантки; рои птиц, с жужжанием парящие над толпой...

Слепые убийцы, безобидные днем и опасные ночью...

Но вот наконец Великая Площадь Звезд осталась позади.

Себастьян на мгновение вскинул голову, провожая взглядом звездолет, рванувшийся в небо, вдаль, к одному из миров на краю галактики Треугольник.

Но он даже не глянул на мальчика с глазами на стебелях, который предлагал ему любое путешествие в прошлое, будь то третичный период или эпоха Кублай-хана.

Он ступал по громадным прозрачным плитам — крыше Всемирного Агентства Путешествий, которое могло отправить человека в какой угодно мир, в том числе и потусторонний.

Он не подмигнул и Продавцу Снов, которому ничего не стоило исполнить любую его прихоть.

Себастьян шел быстро, никуда не сворачивая.

Позади осталась Радужная арка, стоявшая там, где Трехэтажный проспект пересекал Парк Чудовищ. Сюш миновал Космический Вербовочный Центр, обогнул Храм Неслыханных Наслаждений, прошел мимо Дворца Немыслимых Радостей.

Затем он спустился вниз по проспекту, пройдя мимо громадных проекций Публичного Психографа, мгновенно изображавшего все, что крутилось в головах бессчетных прохожих. Это была причудливая мозаика из обнаженных полуженщин, полусолдат, полудеревьев, полудетей, страш-ангелов и зверосокомах...

Два этажа проспекта слились в один неподалеку от Спиральной башни, торчащей на берегу реки, по которой чередой плыли суда-кувшинки да старые барки с многочисленными художниками-андроидами, без усталости малевавшими под Моне одну и ту же Девушку с цветами.

При виде башни взгляд Себастьяна словно вспыхнул. В него будто влились новые силы. Он вдохнул полной грудью, радостно и облегченно.

Зонтик-летун вознес его на последний этаж, высоко-высоко над рекой, которая блестела в лучах четырех солнц и сверху походила на застывшие волны пламени.

И вот Себастьян Сюш внутри башни. Он идет по длинному безлюдному коридору с серыми стенами и минует стеклянную арку с надписью «Библиотека».

Чуть дальше, у пересечения двух коридоров, фонтанчиком журчит чудесное вино.

Себастьян сворачивает направо, в коридор, по которому снуют всяческие существа. Сначала мимо него пробегает вечно спешащий Заяц, то и дело поглядывающий на свои большие карманные часы. Потом появляется Кот. Он на чем свет стоит поносит того, кто украл у него второй сапог. Мгновение спустя его уже спрашивает о бабушке девчушечка в красной шапочке. Это его закадычная приятельница, но сегодня ему не до нее.

Сейчас его не мог задержать ни один из этих хитроумных андроидов. Он на ходу машет рукой Принцу с печальной улыбкой на устах. Нарочно не замечает Мальчика-с-пальчика и Бременских музыкантов, которые идут под звуки веселого марша. Цель Сюша близка. Еще один поворот — и перед ним оказываются гуляющие под ручку Синяя Борода и Снежная Королева, которые делятся друг с другом своими кознями.

Но Себастьяну Сюшу некогда слушать и их. Дверь уже совсем рядом.

Четыре шага, три — и вот она уже отворяется с чарующим шорохом.

Себастьян входит и, как обычно, в восхищении замирает перед горами книг.

Его ждут здесь Бредбери и Шекли, Саймак и Тенн, Кэмп и Азимов, Андерсон и Лейнстер, Лейбер и Найт, Янг и Блиш, Гаррисон и Шоу, Вейнбаум и Мейтсон, Диксон и Купер... и многие-многие другие.

Чуть не на ощупь, словно слепой, Себастьян Сюш приближается к подножию горы. Он спотыкается о Макинтоша и, падая, хватается за Гамильтона. Он неловко встает на ноги, толкает пирамиду разноцветных томиков и приземляется на мозаичный ковер из Крайтонов и Финнеев.

Из его груди вырывается блаженный вздох: он знает, что мгновением позже его скука исчезнет, ибо он умчится в мир фантастики.

Содержание

	А. Горбунов
	<i>Предисловие.</i> 5
Франсис Карсак	<i>Бегство Земли.</i> 17
	Перевод Ф. Мендельсона
Веркор	<i>Люди или животные?</i> 149
	Перевод Г. Сафроновой и Р. Закарян
Жозеф Ронн-старший	<i>Ксипехузы.</i> 345
	Перевод А. Григорьева
Пьер Буль	<i>Бесконечная ночь.</i> 368
	Перевод В. Котляра
Жерар Клейн	<i>Голоса Пространства.</i> 403
	Перевод Норы Галь
	<i>Развилка во времени.</i> 418
	Перевод Ф. Мендельсона
Андре Моруа	<i>Отель «Танатос».</i> 453
	Перевод А. Кулишер
	<i>Из «Жизни людей».</i> 467
	Перевод Ф. Мендельсона
Мишель Демяут	<i>Скучная жизнь Себастьяна Сюша.</i> 491
	Перевод А. Григорьева

Литературно-художественное издание

Библиотека фантастики в 24-х томах
т.23

Французская фантастическая проза

Ст. научный редактор А.Г. Белевцева

Мл. научный редактор М.А. Харузина

Мл. редактор И.В. Ильченко

Художник Н.С. Ящук

Художественный редактор Ю.Л. Максимов

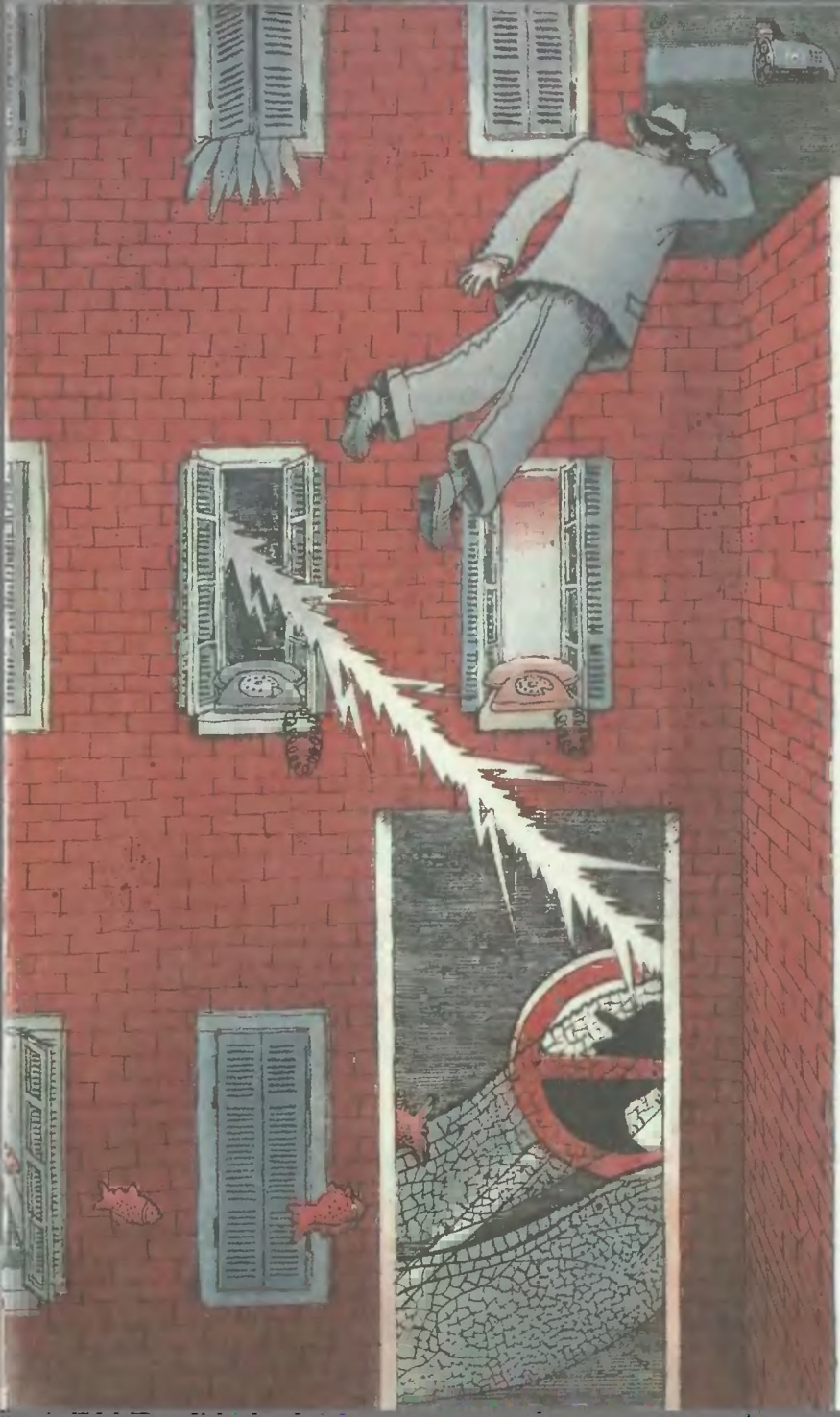
Технический редактор Л.П. Бирюкова

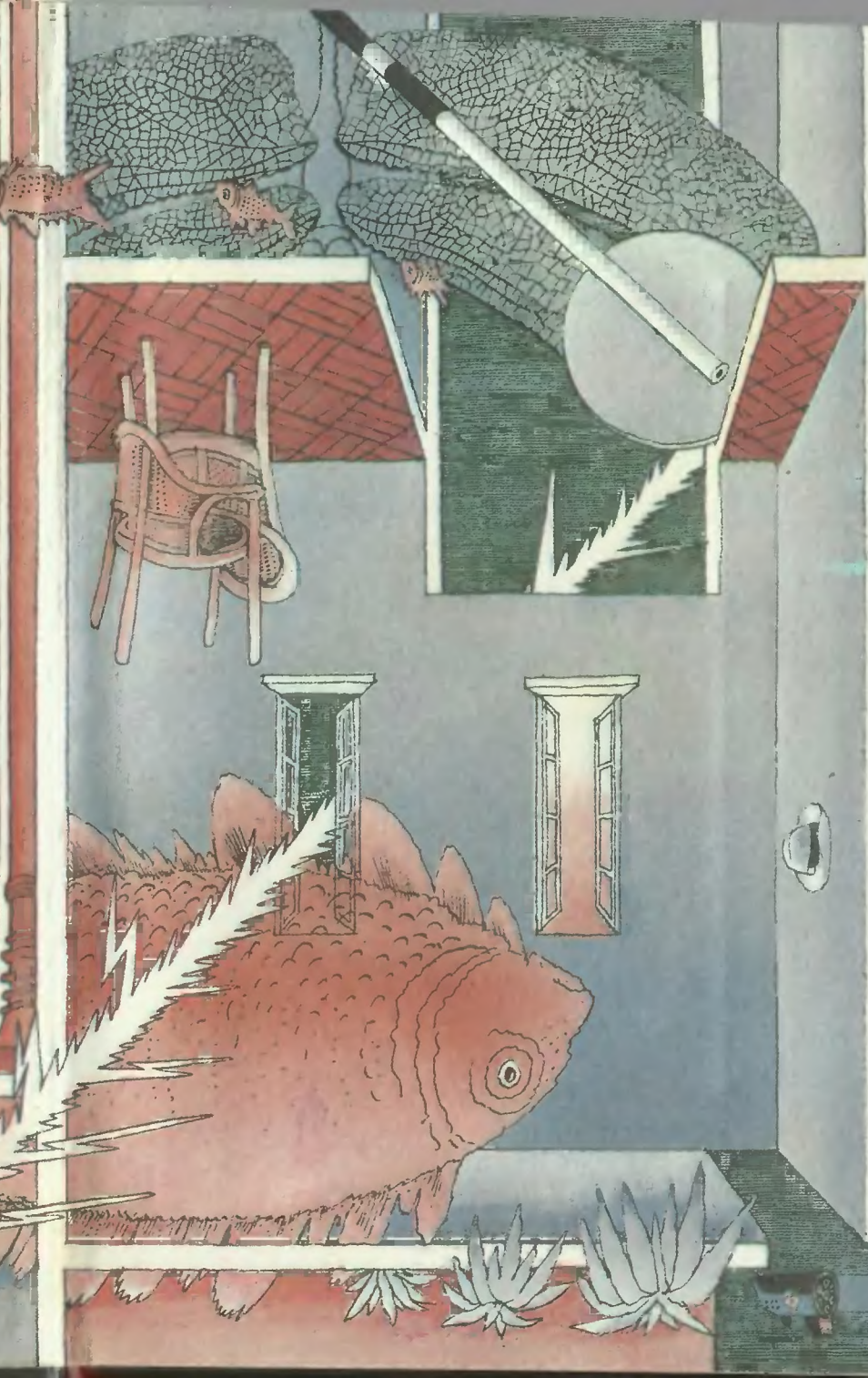
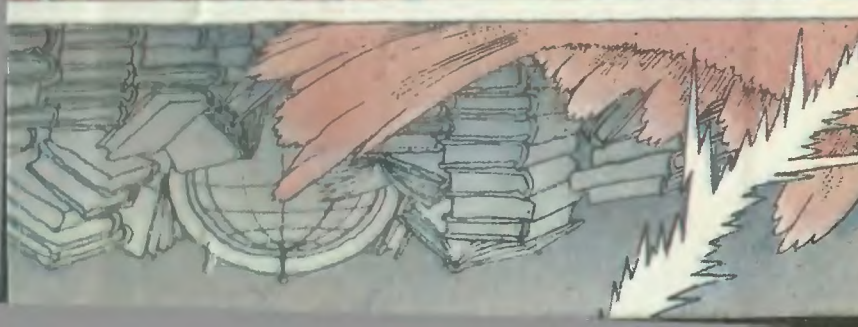
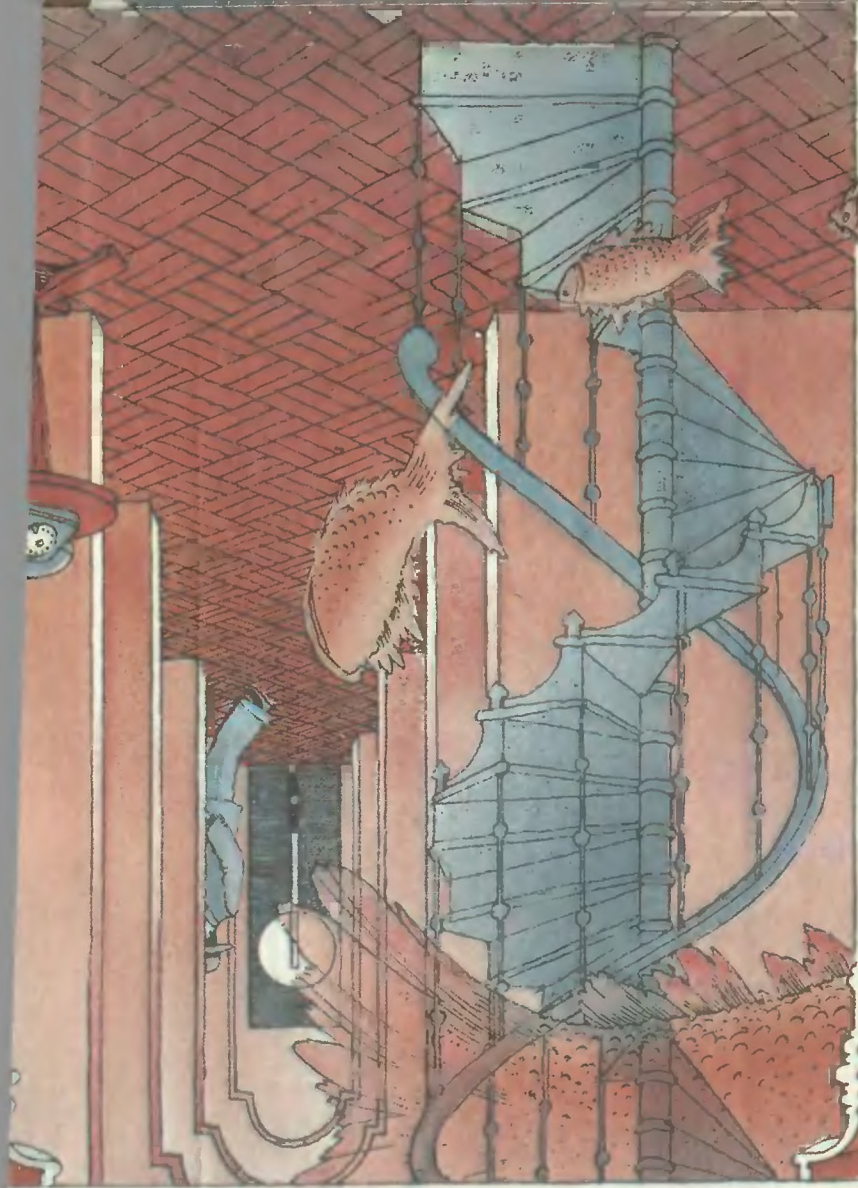
Корректоры Т.И. Стифеева, Л.И. Леонова

ИБ № 6309

Сдано в набор 15.05.86. Подписано к печати
19.11.87. Формат 84 x 108 1/32. Бумага офсетная.
Гарнитура таймс. Объем 7,75 бум. л. Усл. печ.л.
26,04. Усл. кр.-отт. 4341. Уч изд. л. 28,85.
Изд. № 9/5038. Тираж 400 000 экз. II завод
(200001—400 000 экз.). Зак 412. Цена 3 р. 40 коп.
Издательство "Мир" 129820, ГСП, Москва, И-110,
1-й Рижский пер., 2.

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпро-
ма при Государственном комитете СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли,
г. Можайск, ул. Мира, 93.





Французская
фантастическая проза